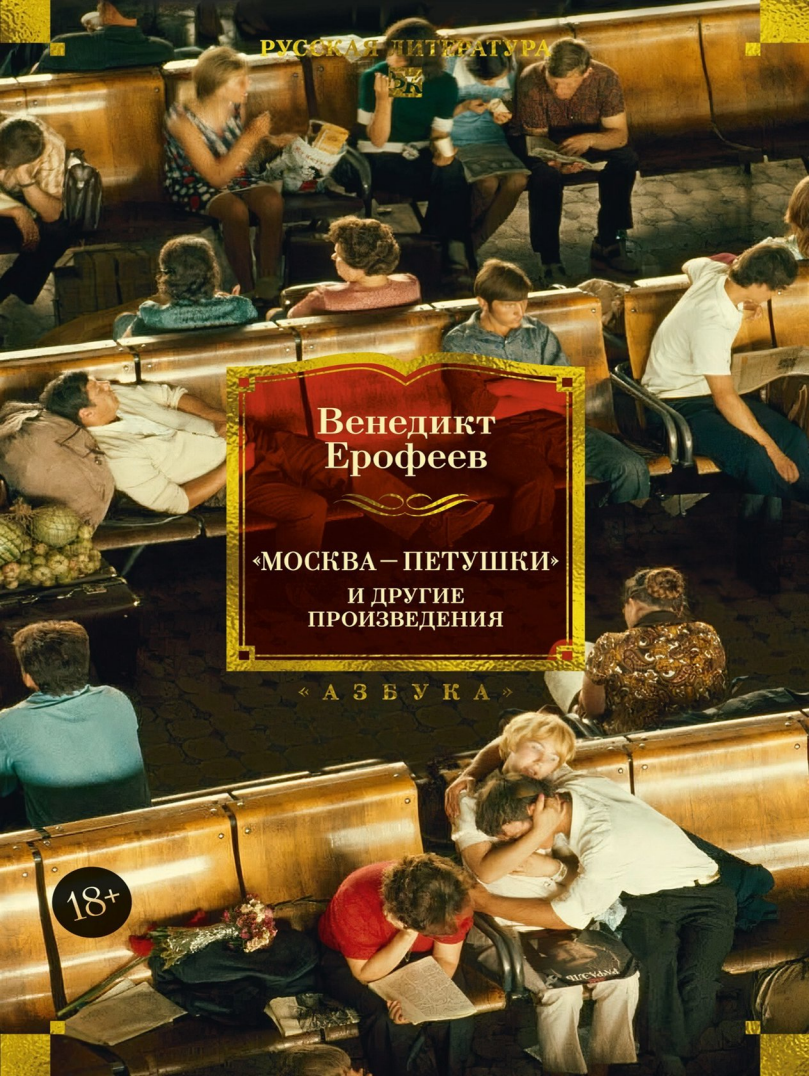
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Венедикт Ерофеев

«МОСКВА — ПЕТУШКИ» И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«АЗБУКА»

18+

«Москва – Петушки» и другие произведения

Венедикт Васильевич Ерофеев

Аннотация
Венедикт Ерофеев. «Москва – Петушки» и другие произведения
Записки психопата
Дневник. 14 окт. 1956 г. – 3 янв. 1957 г. I. «Записки сумасшедшего»
Дневник. 4 января – 27 января 1957 г. II. Продолжение записок психопата
Дневник. 28 января – 31 марта 1957 г. III. Еще раз продолжение. И окончания не будет
Дневник. 1 апреля – 10 июня 1957 г. IV. Продолжение записок сумасшедшего
Дневник. 11 июня – 16 ноября 1957 г. V. (Окончание) записки психопата
Антология поэтов общежития Ремстройтреста
«Возвращение», или «Возвращение» к «возвращению»
Подвиг Асхата Зиганшина
У моего окна
Личное и общественное в поэме Маяковского «Хорошо!»

Благовествование
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6

Москва – Петушки
- Москва. На пути к Курскому вокзалу
- Москва. Площадь Курского вокзала
- Москва. Ресторан Курского вокзала
- Москва. К поезду через магазин
- Москва – Серп и молот
- Серп и молот – Карачарово
- Карачарово – Чухлинка
- Чухлинка – Кусково
- Кусково – Новогиреево
- Новогиреево – Реутово
- Реутово – Никольское
- Никольское – Салтыковская
- Салтыковская – Кучино
- Кучино – Железнодорожная
- Железнодорожная – Черное
- Черное – Купавна
- Купавна – 33-й километр
- 33-й километр – Электроугли

Электроугли – 43-й километр
43-й километр – Храпуново
Храпуново – Есино
Есино – Фрязево
Фрязево – 61-й километр
61-й километр – 65-й километр
65-й километр – Павлово-Посад
Павлово-Посад – Назарьево
Назарьево – Дрезна
Дрезна – 85-й километр
85-й километр – Орехово-Зуево
Орехово-Зуево
Орехово-Зуево – Крутое
Крутое – Воиново
Воиново – Усад
Усад – 105-й километр
105-й километр – Покров
Покров – 113-й километр
113-й километр – Омутище
Омутище – Леоново
Леоново – Петушки
Петушки. Перрон
Петушки. Вокзальная площадь
Петушки. Садовое кольцо
Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому

Москва – Петушки. Неизвестный подъезд
Василий Розанов глазами эксцентрика
Саша Черный и другие
Вальпургиева ночь, или Шаги командора
Первый акт
Второй акт
Третий акт
Четвертый акт
Пятый акт
33 зондирующих вопроса к абитуриентке Екатерине Герасимовой
«Нобелевский комитет ошибается...»
Моя маленькая лениниана
Диссиденты, или Фанни Каплан
I акт
III акт
Краткая автобиография
⟨О поступлении во Владимирский пединститут⟩
⟨Беги, Веничка, беги!.. Из записных книжек⟩
Биография. Приоткр. Начало
Вот клички:
Из блокнотов ⟨19⟩56 г
Из блокнотов ⟨19⟩58 г
Из блокнотов ⟨19⟩59 г
1959
1960

1961
1962
1964
1965
1966
1967
1969–1970 гг
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Зима 1979/1980 гг
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Аннотация

Всемирную славу Венедикту Ерофееву принесла его знаменитая, переведенная более чем на тридцать языков поэма «Москва – Петушки». И хотя ее герой – Веничка – так и не увидел Красной площади, зато стал поистине народным, а сам автор теперь уже признан классиком русской литературы XX века. Однако творческое наследие Ерофеева – это не только поэма «Москва – Петушки», это и «Записки психопата» (1956–1958), начатые в 17-летнем возрасте, и пьеса «Вальпургиева ночь» (часть задуманной автором, но неосуществленной трилогии под общим названием «Драй Нэхте»), и так называемые произведения малой прозы, включая сочинение, написанное на вступительных экзаменах в институт, и краткая автобиография. Все это, а также фрагменты из записных книжек, которые Венедикт Ерофеев вел с конца 1950-х годов, и небольшой текст – воспоминание о поступлении во Владимирский пединститут, вошло в настоящее издание, которое станет прекрасным подарком для по-

клонников писателя.

Венедикт Ерофеев
«Москва – Петушки» и другие произведения

© Венедикт Ерофеев (наследники), 2025
© Оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
© Издательство Азбука®

⁂

РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



Венедикт
Ерофеев

«Москва — Петушки»
и другие произведения



АЗБУКА
Санкт-Петербург

Записки психопата

Дневник
14 окт. 1956 г. – 3 янв. 1957 г
I
«Записки сумасшедшего»

14 октября

Стопп…чоррт побери!

Интересно, какому болвану…

Какому дьяволу, спрашивается, интересно меня пугать в третьем часу…

В третьем ли.

Да, вероятнее всего…

Гм, в третьем… Кто бы это мог быть… Кретинизм же это, в конце концов, черт побери…

Модернизм…

Модернизм? Ха-ха-ха-ха-ха…

Однако, милый мальчик… тебе слишком весело, я бы сказал… и совсем некстати…

Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна и что царственно величье…

Топ… топ… топ… топ… топ…

Топ… Однако. Веселость и романтическая интересуемость потихонечку покидают тебя, милый

мальчик…

Мд-а-а…я бы сказал, романтическая обстановочка… ни одного огня… черно… черно, как в заднем проходе Антонины Григорьевны…

Опять оглянуться?

Гм.

А зачем?

Мне это даже начинает нравиться…

Нравиться?

Ха-ха! А ну-ка, проведи по лбу рукой, молчел…

А-а-ага!.. Гы-гы-гы… эк же ты вспотел, молчел… эк же у тебя художественно вибрируют конечности…

— Злорадствуешь?

— Смешно?

Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна и что… Топ… топ… топ……царственно величье холодеющих могил…

15 октября

Ни хуя-а-а!

Алкоголь — спасение!

Ни хуя-а-а!

17 октября

«Выбитый из колеи и потому выжитый из университета и потому выживший из ума…»

Остроумная Григорьевна…
…лошадиный хуй ей в зубы…

18 октября
Сажрем этику!
Раздавим ее лошадиными зубами!
Утопим ее в безднах наших желудков и осквернним пищеварительным соком!
Зальем перцовой горькой настойкой!!
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!

19 октября
Шестьсот? Гм. Шестьсот… Предел? Предел.
А то, может, Яуза…

23 октября
Бр-ред сивой кобылы…

24 октября
18/VIII. Кировск
— Брросим! Брросим!
— Не надо норм!
— Надо! Не больше 20 строк и не меньше восьми!
— К дьяволу максимум!
— Все равно Венька перещепит!
— Еррунда!.. Итак, начнем! Ну, тише, что ли… Даем срок 15 минут!! Рифма и ритм обязательно!!

Если хоть одна строка не кончается прилагательным, автор торжественно провозглашается кретином!

— Уррра!!!

— Занявший первое место провозглашается гением, шестое место — идиотом!

— Брось! Начнем! Все равно останешься идиотом!!

— Молчи, Абг'ам!

— Все! Тишина! Я уже засек!

— Ч-ч-ч-ч-ч-ч!

.....

— Все, братцы, кончаем! Пятнадцать минут прошло!

— Еще три минуты! Завершить...

— Хватит!!

— У меня бессмыслица, блядство какое-то!

— У всех, блядь, бессмыслица! Венька, читай первый...

— Да-ава-й!

— Только, извините, у меня слишком длинное... и вам недоступно будет...

— А у кого это доступно-то? Валяй!

— Хгм.

Хладнокровно-ревнивая,

Дева юная, страстная,
Дева страстно-прекрасная,
Боязливо-стыдливая!

Все томишься, бессильная
Сбросить сети, сплетенные
Жуткой жизнью, – могильною,
Точно пропасть бездонная.

Точно пропасть бездонная,
Точно призраки странные,
Вас пугает туманное
Жизни счастье стесненное…
О, не ждите нежданного,
Не зовите далекого,
Навсегда одинокая
Дева страстно желанная!

Дева страстно желанная,
Вашу участь печальную
Не изменит, безумная,
Даже юность туманная
И мечтанья блестящие —
Не воскреснет бесцельное,

Не проснется мертвящее, —
Нет конца беспредельному!

Нет конца беспредельному, —
Беспредельность бесцельная, —
Как мечтанья бесплодные,

Как напрасность прекрасного,
Как бесстрастность свободного —
И опасность бесстрастного.
Только силы природные —
Сокровенность прекрасного!

Сокровенность прекрасного —
Только лик беспрерывного,
Созерцание дивного
И обман сладострастного,
Только звуки желанного,
Море смутно-прекрасное,
Небо вечно-безмолвное,
Ожиданье нежданного…

Ожиданье нежданного,
Возрожденье бесплодного…

Несказанно-туманная

Нежность силы природного
В вас разбудит желанное
Бытие несравненного,
Благодать неизменного, —
Так не жди же нежданного!

Так не жди же нежданного
И не требуй далекого,
Навсегда одинокая
Дева страстно желанная.
Дева смутно-прекрасная,
Боязливо-стыдливая,
До забвенья ревнивая,
До безумия страстная!!!

— Бррраво!
— Бррррраво!
— Я свою ерунду отказываюсь читать!
— И я тоже!
— Ерофеев — гений! Урррра!!!

Кировск. 20. VIII
— Ну, сюжет давайте…
— Сюже-эт!!
— Давайте про убийство!..
— Эк ведь сюжетик!

— Ну-ка, Фомочка, начни!..
— Гы-гы…

Иду я однажды по шпалам…
— Ну, идешь, блядь…
— «А ночка темная была», да?
— Ну вас на хер…

Иду я однажды по шпалам. Вдруг… слышу пронзительный крик!

— На хуй! На хуй!
— Посентиментальней! Веньк! Действуй!
Вдруг слышу пронзительный…
— На хуй! Образов нет! Венька! За 5 минут!

Последний солнца луч погас за камышами,

Безмолвье тайное окутало заливы,

Беззвучно плача, шепчут тихо ивы,

Последний солнца луч погас за камышами.

Деревня мирно спит. Но там, в туманной дали,

Будящий тишину, звенит надрывным воем

Безумный, дикий крик, не знающий по-

коя…

Деревня мирно спит. Но там, в туманной дали,

Кого-то режут…

— Пррекрасная пародия, черт побери!

— Талант! Талант!

— Би-и-ис! Брра-аво!!!

— Веньк! Свою вчерашнюю штучку прочти нам…

— А ну ее на хуй…

— Боринька! За него!.. «На смерть пса»!

— «Полон жизненной энергии, сердцем жаждущий гуманности, В краткой жизни не изведавший тайной муки наслаждения…»

— Не то! Не то! Это «На смерть Сосо»!

— «Боже мой! Внемли рыданиям! Я убит родными братьями!»

— Это оттуда же!

— Мне последняя строчка нравится:

«Только тихие стенания и неслышные проклятия».

— Веньк! Читай все…

— А ну вас… Стесняюсь…

25 октября

Взаимная ненависть?

Месть за 6-е октября?

Боже мой, — если это так, то какая идиотская злопамятность!

Но ведь было же и 11-е октября!!

28 октября

Абг'ам! Абг'ам!

Повальное.

А им романтика его смерти недоступна.

Ни Мур, ни Муз.

Вернее, ни Муз, ни Мур.

Абг'ам!

Будапешт!!

29 октября

Что ж?

Вот так и стоять всю ночь?

А почему бы нет?

К тому же у тебя в кармане такая милая холодная штучка. И милая, может быть, только потому, что ты до сих пор и не подозревал о ее существовании… А если ее вынуть на свет, как мило она будет блестеть у тебя в руках; пожалуй, даже ослепительней, чем эти фонарные отблески на черной Яузе…

А то, может…

А то, может, пройтись с этой штучкой по ком-

натам общежития? Взрезать горла всем ненавистным?

Ну, нож — это слишком романтично… Только поэтому я и не стану взрезывать самые ненавистные глотки…

Чайником по голове?

Кому?

Гм. Как кому?

Антонине.

Стоит ли портить государственные чайники?!

Портить?

Нет, почему же — портить? Я думаю, ничего не случится с чайником, если им ударить по такой жирной физиономии…

А впрочем, это даже не напускное.

Ненависть?

Взаимная ненависть с примесью тяготения к объекту ненависти?

Именно.

Хм?

Без «хм»! Совершенно искренне!

Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Эк ведь тебя разобрало… Нельзя ли нахохотаться про себя?.. Все спят…

Тише… Тише…

Тише, тише совлекайте с древних идолов одеж-

ды…

А все-таки как притягательно блестит Яуза… Гм, Яуза… Похабное имя, я бы сказал; имя, пробуждающее чувственность. И только поэтому, может быть, это мой конец… А впрочем, убежденный славянофил, почему тебе нравится это вызывающе-иностранное звучание? Как иностранное? Разве я когда-нибудь погружался… в… иностранное…

Ха-ха! И он говорит это с таким видом, будто он действительно погружается! Свеситься наполовину с перил моста, диким взглядом смотреть на ночную Яузу и воображать!..

Почему воображать? Я действительно…

Нет, вы только посмотрите на него! Он действительно!.. Чем же, интересно, до такой степени бесчувственности пленили тебя эти идиотические блики?

Разве только блики?

А то, может, вон те расходящиеся круги слева…

Круги?.. Не вижу…

Он не видит! И это говорит человек, заявивший, что выпил только двести. Неужели же человек, отравленный алкоголем, безвозмездно получает от природы круги под глазами и утрачивает навсегда восприятие всех других природных

кругов?

Хе-хе-хе-хе, любитель мрачного одиночества, однако же ты действительно становишься психопатом… Ты злишься?..

Тебе холодно?..

Нет, ничуть! Легкий озноб…

А то, может, тебе поплотнее закутаться… Милый мальчик, у тебя даже нет шарфа. Как глупо, однако, ты заявил тогда, что у тебя их два! А ведь она хотела…

Хотела… Однако ж и ты стал заговариваться, милый мой… Я же взрезал ей глотку… Как же можно «хотеть»?..

Этого?

Нет, почему этого! Я уж не настолько пьян, чтобы забыть, что речь идет о шарфе…

А не о глотке… Но ведь опять же это романтично… — и вы, кажется, предпочли чайник, молодой человек… Нетрезвое предпочтение, я бы сказал…

…Гм… Но ведь я вихляюсь перед самыми окнами почты… Может быть, вы хотите сказать, что я весь — одно сплошное нетрезвое предпочтение…

Ха-ха-ха! Однако же вы остроумный шутник, молчел…

Шутник?.. Но мне нисколько не теплей ни от

своих шуток, ни от ваших комплиментов…

Озноб?

М-да… почти лихорадка… Только, ради бога, не приставайте ко мне ни с шарфом, ни с плотным закутыванием… Я вот даже расстегну плащ…

Боже мой! До чего вы остроумно глупы…

…и трусливы…

Труслив?..

М-да!.. Вы, как огня, боитесь банальщины… Вы бродите по ночам только потому, что спят другие; вы ненавидите всех нравящихся вам, потому что вам кажется тривиальным любить любимых и ненавидеть ненавистных…вот теперь вы легкомысленно расстегнули свой плащ…

В то время, как другой на моем месте глубокомысленно застегнул бы его…

Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Однако же вы продолжаете острить. Не понимаю, почему созерцание ночной Яузы заставляет вас дешево острить и играть словами…

Разве только это?

Да, конечно, конечно, вы бы не прочь обмакнуть гениальные фалды вашего платья в объект вашего созерцания… Может быть, только потому вы так ревностно протестовали против шарфа…

Я бы не советовал вам протестовать…

Сейчас?

Ну, хотя бы даже и сейчас! Может быть, вы опасаетесь того, что намокнувший шарф потянет вас ко дну?

Но разве ж можно смачивать только фалды плаща, бросившись с моста… Да и если вы даже не хотите бросаться, а нечаянно упадете, то уж не такая и большая тяжесть — шарф…

Да… но я, кажется, не собираюсь ни бросаться, ни нечаянно падать…

Как?! Вы даже не собираетесь? Вы боитесь озноба?! Ха-ха-ха-ха! Или, может быть, вам это кажется банальным?.. В таком случае, извините за любопытство, что же вы хотите предпринимать… Может быть, вам кажется банальным быть самим собой…

Да, но ведь я не жалею себя…

И прекрасно! Но вы тяготите других, — и не лучше ли быть «другим» и тяготить самого себя…

Прекрасная мысль, я бы сказал… но «кем»?

Кем? Хо-хо… Однако ж вам стало жарко, и вы, по обыкновению, стали восторгаться тем, что вам не нравится… Может, вы хотите заполучить прядь рыжих волос, очки плюс трудолюбие —

и спать на второй постели от окна?

Может быть, вам подарить мощные бицепсы, белорусское происхождение и презрение к мировому искусству?

Не хочешь? Гм! Право, я первый раз встречаю такого упрямца…

Хочешь, я расширю немного тебе глаза, ускорю и развинчу твою походку, заранее перескажу тебе содержимое всех романов Хаксли и Олдингтона, — и сменю Бальмонта на Пастернака…

Опять — «нет»?

Хм, но ты подумай, какую возможность ты выпускаешь из рук… Ты сможешь тогда ошарашивать каждого любителя поэзии довольно-таки остроумным рефреном:

Он тебе не муж?

Нет.

Веришь в воскресенье душ?

Нет.

Нравится?

Нет.

Крр-рретин!

Каково? Опять качаешь головой? Между прочим, я бы посоветовал тебе поосторожней качать. Кепка может слететь в воду… Да! Гениальная мысль!

Я совершенно упустил из виду предложить вам перевоплотиться в женское естество!.. Разве уж так трудно укоротить человека, подкрасить ему глаза, затянуть эдаким нежным жирком его круп и прилепить сзади две отвратительные косы… Вы представляете, с каким вожделением будут смотреть на ваши меланхолические перси все рекомендованные мною ранее… И вы будете, уже не стесняясь, приходить в их комнату и поверять самому себе тайны страдальческой личной жизни своей… Вы с деланым равнодушием будете проходить мимо трюмо, чтобы, мимоходом окинув взглядом свои округлости и подсчитав их, с удовлетворением убедиться, что все четыре на месте и в смысле полноты бешено прогрессируют… Вы самому себе не будете уже, конечно, угрожать ни ножом, ни чайником и застрахуете свою жирную физиономию, равно как и горло, от романтических и неромантических ударов… Вы сможете тогда подарить шарф самому себе — предохранить себя от озноба и…

…обеспечить большую интенсивность движения ко дну…

Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Расшевелил-таки я вас и, по-видимому, напрасно… Пока я рассыпался и бросал слова на ветер, вы лелеяли одну и ту же

мечту и совсем не думали отбросить в сторону ваше вздорное желание… Интересно, какой оригинальный способ «бросания» выдумаете вы, молодой человек?.. Или, может быть, вы ожидаете, что она сама поднимется к вам…

Кто она?

Я-у-за!!

Яуза? Хе! Извините за нескромный вопрос, но не кажется ли вам, что она и без того поднимается…

Что-о-о? Яуза?!!

Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ох-хо-ха-ха-ха!

Нет, вы только послушайте… ха-ха-ха… эттого пппсихоппата… ха-ха-ха-ха-ха!

Нет, вы не смейтесь! Я говорю совершенно серьезно… Помните, вы говорили о расходящихся кругах? Помните?! Я вижу их! Вижу! Я рассмотрю их, когда они подымутся выше…

Нет, это совсем не круги!.. Это просто плавают насекомые… Вы слышите меня? Это совсем не круги… это такие крохотные, жалкие насекомые…

…вот посмотрите, как они мило ползают у меня по рукам… Я же говорю вам, что это совсем не круги… Куда вы делись? Monsieur Rassudock, куда вы ушли?

Ах, теперь я все понял… Вы бросились в Яузу… Их-хи-хи-хи-хи… И все-таки я оригинальней вас…

…и все-таки я жалею вас, вам так холодно…вас ззнобит, и вам даже не успели подарить шарфа… к тому же лишняя тяжесть так нужна была вам сейчас… она уменьшила бы ваши страдания…

Ах, как мне жалко вас! Вы даже не видели этих милых, крохотных насекомых… Если бы вы их увидели!..

…О, если бы вы увидели их!.. Вы поняли бы, милый покойник, как глубоко вы заблуждались, когда принимали их за круги и как грубо оскорбили вы их этим заблуждением… Они никогда не простят вам этого…

Никогда… не простят…

А ведь они такие мягкие, пушистые… и такие ласковые…

Ах, если бы вы посмотрели, любимый мой покойник, как они льнут ко мне, как они любят меня… как жаль, что вы сошли в могилу, так и не разгадав всей тайны этих милых животных, которые заставляют меня своей лаской позабыть даже о том, что вода затопляет меня…

Нет, вы только посмотрите, как осторожно они щекочут меня… как они смелы и беспринцип-

ны, как мило они шевелятся уже у меня в носу и как поэтому они, наверное, нежно любят Бальмонта…

А-а-а-а-а-а…

…пчхи!!

31 октября

Ради бога, не касайтесь меня своими грязными руками!..

Зачем это?

Не надо…

Я хочу курить.

7–8 ноября

Чрезвычайно забавно. Почти пятнадцатиминутное созерцание только что извергнутой рвоты неизбежно поставило передо мной сегодня довольно-таки актуальный вопрос:

Имеет ли рвота национальные особенности?

Мысленное сравнение грузинской рвоты, извержение которой я только что недавно имел удовольствие созерцать в метро, — и этой, раскинувшейся похабно передо мной и всем своим крикливым видом с гордостью заявлявшей о своем русском происхождении, — не дало никакого положительного результата.

А впрочем, легкое сходство есть…

И это сходство еще раз заставило меня сожалеть о постепенном сглаживании национальных различий…

Ах, если бы был Coco!..

10 ноября

Нет, вы только подумайте!

Я не собираюсь преувеличивать!

Нет, это было на самом деле, — иначе зачем я стал бы говорить, что я не собираюсь преувеличивать!

Да, это было на самом деле…

…и я до сих пор помню искаженное ужасом лицо Майи Полидвы, когда на ее спину вскарабкался Курников и провозглашал очередной тост…

…и мне было жалко ее…

…не менее жалко, чем Никонову, которая только что отрезала себе левую ногу и, периодически всхлипывая, лежала в луже крови…

…и я негодовал на Курникова за то, что он тяжестью своего тела заставил исказиться ужасом обычно такое милое и привлекательное личико Майи…

…может быть, вы не верите, что я действительно негодовал…

…но если бы все мое существо не было в тот же

миг охвачено огнем благородного негодования, разве ж я мог тогда пропустить мимо ушей восторженные крики Музыкантовой и Савельева, снявших с себя штаны, с невероятным шумом выпускавших воздух из заднего прохода и прославлявших полковника Насера и судороги сладострастия…

…и вы видели все это…

…и вы знаете, что все это не коснулось моего уха…

…и вы все же продолжаете настаивать и заверять меня, что я видел перед собой только Остаеву…

…да, я видел краем глаза, как она корчилась в родовых муках у ног Ли Фын-лина…

…и я даже не удивлялся тому, что Ли Фын-лин слишком равнодушно воспринимал все окружающее…

…нет, вы не подумайте, что я с вожделением смотрел на него…

…напротив, я только удивлялся, как можно, устремив глаза вдаль и мрачно сплевывая, попадать плевками точно на остаевский пуп…

…и я даже проникся уважением к китайской нации…

…а вы испуганно смотрели на огромный живот

Остаевой и жалели ее…

…да, вы испуганно смотрели на нее…

…у вас расширились глаза от страха и дрожал подбородок…

…да, да, не отнекивайтесь, как сейчас помню, у вас дрожал подбородок…

…а я не жалел ее…

…нет, я не жалел ее, потому что ее оскаленные желтые зубы и этот грязный оплеванный пуп осквернили мое эстетическое чувство…

…и я жалел себя потому, что не мог пожалеть достойного жалости…

…вы не верите?

Вам кажется, что все это я преувеличиваю?

Но ведь я так ясно ощущал все это…

Так разве ж можно говорить о том, что я преувеличиваю, даже после того, как я заявил, что все это я действительно ясно ощущал?..

11 ноября

Ах, ну зачем же так откровенно?..

12 ноября

⁂

⁂

⁂

⁂

⁂

⁂

И потом – этот свет!
Он не нравился мне!
Мало того – он раздражал!
Нет, он попросту выводил из себя!
Хотелось бешено крикнуть: «к черту!»
Хотелось встать.
Подойти.
Разбить.

Не встал.
Пытался привыкнуть.
Темнота стала мечтой.
Грезилось – ночь, пустота…
Но грезы потускнели…

А свет горел

А свет горел.
Не яркость его раздражала меня.
А бессилие мечты о тьме.
И я плюнул.

Плюнул из темноты.

И восторгался ответным шипением.

И упивался дивной музыкой зубовного скрежета.

На большее я был не способен.

Я упал и закрыл глаза.

А он все горел, этот свет…

И освещал меня…

И баюкал, и навевал дрему…

И тихо шептал, обещая счастье…

А я, улыбаясь ему, засыпал…

И для меня все померкло…

А свет звал…

А свет силился разбудить мертвого…

И слабо стонал…

И тихо плакал, умиляясь своей беспомощностью…

13 ноября

А злопамятностью меня таки не испугаешь… Седьмое, восьмое, девятое, десятое?

Только четыре.

И к тому же прошлое.

А не лучше ли вспомнить просто:
Одиннадцатое девятого.
А?

16 ноября

Нет, меня положительно обуревает оптимизм. Едакое идиотическое благодушие и умиротворенность. И кажется, ничто не может изменить моего настроения.

Даже если завтра Марья Трофимовна будет писать приказ о моем отчислении, я буду восхищаться голубизной жилок, облекающих ея очаровательную конечность…

17 ноября

— Бе-е-е-э-э!

П-паразительное хладнокровие! Нет, теперь уже решительно его не раздразнишь…

Ну, хоть моргнуть одним глазом для приличия, что ли… Показать, что злоба и вызывающее поведение постороннего трогают…

Ну, не трогают — ну, задевают, вселяют недоумение…

— Бе-е-е-е-е-э-э!

Нет, милый мой, я таки не отстану от тебя, пока ты не разразишься шестиэтажным ругательством…

Я даже подойду ближе, чтобы созерцание нервного подрагивания твоих мясистых волокон доставило мне больше удовольствия…

Их-хи-хи-хи-хи-хи!

Нет, впрочем, я даже сомневаюсь в наличии у вас каких бы то ни было волокон и самого элементарного самолюбия…

Неужели же вы напились до такой степени?

А? Маладой человек, я вас спрашиваю!

Маладой ччеловек!!

Гм…

Извините за выражение, какого хуя вы устремили взор в пустоту? Вы же знаете, что я считаю крайней степенью тупости разбрасывание подобных взоров… А ваше молчание после Альберта Розенбаума ничуть не оригинально…

Может быть, вы принципиально не желаете осквернять себя разговором с пьяным? Может быть, вы дали зарок молчания?

В таком случае я восхищаюсь вами, мне даже начинает нравиться ваше болезненное молчание…

Вы, вероятно, марксист?

Или наоборот — донор?

А?

Гм…

Извините за любопытство, — в таком случае, как вы относитесь к проблеме создания искусственного спутника Земли? Вы, конечно, считаете это утопией… Вы, может быть, опасаетесь того, что спутник обрушится с высоты на ваш кров и раздавит ваших детей…

Между прочим, у вас есть дети? Да, да, у вас, конечно есть дети и… извините… супруга… Вероятно, едакая пушистая, идейная, начитанная… и любит вас до потери здравого рассудка…

Нет, почему же, вы вполне достойны ее любви… Благородные очертания, я бы сказал… притягательная шевелюра, небесный взор… Хе-хе-хе-хе-е…

Нет, я бы не прочь познакомиться с вашей семьей, и с вашей супругой в частности. Вы, конечно, не откажете мне в удовольствии пригласить вас к себе…

Нет, это совсем недалеко… к тому же дружеская беседа в обществе прекрасных моих соседей скрасит ваше утомление длительным путешествием…

Представляете, дружеская беседа в кругу… м-м-м… благосклонных к вам… пробки… туманное восприятие мира, дружеское пожуривание полковника Насера и Имре Надя… всеобщее вос-

торгание слабостями человеческими…

А ваша трогательная молчаливость приведет их в восхищение и еще раз заставит их убедиться в моем неповторимом умении завязывать умные знакомства…

Нет, что вы! Избиений не будет…

Мало того — не будет ни единого намека на оскорбление личности. Ведь вы ж уже могли убедиться, что я человек слишком мягкий и гуманный и склонность к оскорблениям проявляется у меня далеко не каждый день… Впрочем, и последние прощаются мне слишком легко…

Нет, я в этом совершенно убежден, после целого ряда инцидентов с дамой, к которой я питал когда-то небесную страсть…

Нет, вы не подумайте, ради бога, что я и до сих пор «питаю» что-нибудь к этой пышногрудой и толстозадой хандрячке… Что вы!.. Скорее, наоборот…

Вы представляете, эта дама порывалась уже три раза посвящать меня в тайны личных страданий своих. И всякий раз встречала с моей стороны такое грубое безучастие и равнодушие к последним, что немедленно выходила из комнаты, ошарашенная моими неуместными колкостями и грубой бестактностью…

Нет, что вы, я не собирался оскорблять ее; напротив, я извлекал из своего нутра весь запас своей природной мягкости; но ведь вы знаете, что я презираю счастливых и, наоборот, до такой степени идиотизма уважаю всех несчастных, что не могу не захохотать над ними…

Да и как не заденет человека даже осторожная колкость, ежели перед его заплаканными глазами маячат статистические данные пережитых им страданий… Хе-хе-хе-е…

Ах, не считайте меня бездушным!.. Просто хорошее расположение духа выбивает из меня душевность… К тому же в данный момент мои восприятия обостренно-поверхностны, как об этом свидетельствует В-Мир Мур-В, а впечатления бессвяз– но-четкие, хи-хи…

Я весел, как марш Иванова-Радкевича, и хочу, чтобы и вы были счастливы и хохотали во все горло…

Нет, скажите все-таки мне, отчего вы так сумрачны… вы даже не хотите взглянуть на меня, вы по-прежнему смотрите вдаль… и ваше лицо по-прежнему безучастно… Неужели же вас так зачаровала эта глупенькая ночь…

Вы плачете?

Ах, зачем же плакать? Может, я обидел вас?..

Гм…

Но и разжалобить вас я не хотел… Нет, скажите все-таки, отчего вы плачете?..

Вы слышите меня?!

Чччерт… я вас спрашиваю!!!

Раскройте свою пасть и утрите холодные сопли!.. Нашли же занятие — в сопли перерабатывать свой гуманизм!! Ччерт возьми!

Вы агент??

Я ввас спрашиваю… ввы — агент?!

Ддьявол!!!!

Грраждане! Почему бы мне не заменить эту гранитную болванку чем-нибудь более мягким!!

Я умираю от жесткости!!

Граждане! Не будьте так немилосердны! Дайте мне глоток чего-нибудь бесформенного!

Я жажду воды!! Меня изводит жажда!!

Грраждане!! Задушите этих краснорожих молодчиков с цифрой 76!! Мне не нравится запах их штанов! Молю вас — понюхайте! — и вы убедитесь, что это — покушение!

Они хотят испугать меня своими «76», когда меня не страшит даже «24»!!

Где уж им понять, что не я испортил Апакова, а Апаков испортил меня…

В последний раз к вам взываю, граждане!

Убедить их в преимуществах оббострренно-поверхностных восприятий!!

И мы будем свободны, граждане! И никто не посмеет покушаться на нашу территориальную целостность!!!

Мы вознесемся в высшие сферы и будем извергать кал!!! Хе-хе-хе-хе-хе!!!

19 ноября

«Я не уйду, пока ты мне не объяснишь, для чего ты это сделал! Я не могу понять, как можно оскорбить человека, который желает ему только хорошего! Может, ты хотел соригинальничать… так на этот раз ты просчитался! Мне всю жизнь приходится выслушивать только оскорбления! Ах, как я всех ненавижу! Всех… ненавижу! Я не могу так больше!!

Я только не понимаю, какая цель была у тебя, когда ты это сказал! Интересно, что я тебе сделала плохого, за что это ты на меня взъелся! Тебе-то уж я никогда не хотела плохого!

И я не могу понять, чего хотят от меня все… Чего они ко мне пристали вчера вечером? Какое им дело до моего настроения?! Какого черта они следят за мной… Если я хожу в вашу комнату, то это мое дело, и я не хочу, чтобы это раздували эти дурочки 1-й группы… Как я их всех ненавижу!..

Боже мой, до чего они все глупы! Они даже сами не представляют, до чего они глупы!

И пожалуйста, не остроумничай! Мне это уже давно надоело!! Ты думаешь, на меня тогда подействовало твое оскорбление? Ты думаешь, я на тебя злилась эти два дня? Нисколько. Мне только непонятно было, для чего это нужно было… Потому что меня в жизни первый раз так оскорбили, хоть я никогда и не слышала ни одного хорошего слова…

И вообще я даже почти не помню, как дошла до своей комнаты… И Олька подумала бог знает что, пошла тебя убеждать…

Я бы вообще посоветовала тебе прятать свои чувства в себе, если они только могут быть у тебя… Как бы я ни презирала человека, я бы не стала оскорблять его в лицо, а потом еще в темноте хихикать и издеваться над ним…

А от тебя можно ожидать всего… Теперь ты меня никогда ничем не удивишь… Пожалуйста, теперь тебе предоставлено право: оскорбляй как угодно, ругайся хоть матом… а я буду сидеть и слушать… Ну! Чего ж ты молчишь и пускаешь дым!.. Ругайся, ну! Я готова! На этот раз я уже не выбегу из комнаты…»

Ант. Григ. 11-е, 3 ч. дня

22 ноября

Как явствует из достоверных сообщений Валерия Савельева:

Ерофеев на протяжении всего первого семестра был на редкость примерным мальчиком и, прекрасно сдав зимнюю сессию, отбыл на зимние каникулы.

Не то суровый зимний климат, не то «алкоголизм семейных условий» убили в нем «примерность» и к началу второго семестра выкинули нам его с явными признаками начавшейся дегенерации.

Весь февраль Ерофеев спал и во сне намечал незавидные перспективы своего прогрессирования.

С первых же чисел марта предприимчивому от природы Ерофееву явно наскучило бесплодное «намечание перспектив», — и он предпочел приступить к действию.

В середине марта Ерофеев тихо запил.

В конце марта не менее тихо закурил.

Святой апрель Ерофеев встречал тем же ладаном и той же святой водой, — правда, уже в увеличенных пропорциях.

В апреле же Ерофеев подумал, что неплохо было бы «отдать должное природе». Неуместное

«отдание» ввергло его в пучину тоски и увеличило угол наклонной плоскости, по которой ему суждено бесшумно скатываться.

В апреле арестовали брата.

В апреле смертельно заболел отец.

Майская жара несколько разморила Ерофеева, и он подумал, что неплохо было бы найти веревку, способную удержать 60 кг мяса.

Майская же жара окутала его благословенной ленью и отбила всякую охоту к поискам каких бы то ни было веревок, одновременно несколько задержав его на вышеупомянутой плоскости.

В июне Ерофееву показалось слишком постыдным для гения поддаваться действию летней жары, к тому же внешние и внутренние события служили своеобразным вентилятором.

В начале июня брат был осужден на 7 лет.

В середине июня умер отец.

И вероятно, случилось еще что-то в высшей степени неприятное.

С середины июня вплоть до отъезда на летние каникулы Ерофеев катился вниз уже вертикально, выпуская дым, жонглируя четвертинками и проваливая сессию, пока не очутился в июле на освежающем лоне милых его сердцу Хибинских гор.

Июльские и августовские действия Ерофеева протекли на вышеупомянутом лоне вне поля зрения комментатора.

В сентябре Ерофеев вторгся в пределы столицы и, осыпая проклятиями вселенную, лег в постель.

В продолжение сентября Ерофеев лежал в постели почти без движения, обливая грязью членов своей группы и упиваясь глубиной своего падения.

В октябре падение уже не казалось ему таким глубоким, потому что ниже своей постели он физически не смог упасть.

В октябре Ерофеев стал вести себя чрезвычайно подозрительно и с похвальным хладнокровием ожидал отчисления из колыбели своей дегенерации.

К концу октября, похоронив брата, он даже привстал с постели и бешено заходил по улицам, ища ночью под заборами дух вселенной.

Ноябрьский холод несколько охладил его пыл и заставил его вновь растянуться на теплой постели в обнимку с мечтами о сумасшествии.

Весь ход ноябрьских событий показал с наглядной убедительностью, что мечты Ерофеева никогда не бывают бесплодными.

25 ноября

Тааращ Музыкантова!

Я ввас люблю пллотски!

Я ххочу ввас нассиловать!!

Хя-хя-хя-хя-хя!!!

И я таки ввас иззнассилую!!

Ддайте мне ттолько измазать ккоровьим пометом двери зздания Ссовета Министров!

Ххя-ххя-хя-хя-хя-хя-хя!

Уах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а!

26 ноября

Ах, зачем это… Не нужно… Не нужно… Ведь мне сегодня так хорошо…

Так хорошо…

28 ноября

Почему они дрожали?

Какое право они имели дрожать, если они — часть презирающего?!

29 ноября

Нет, положительно вечер 27-го не дает мне покоя… Ведь они дрожали…

Почти пять минут…

Мелкой, трусливой дрожью…

И на меня опять пахнуло проклятым апрелем…

Значит, я боюсь…

И с тех пор ничто не изменилось…

И все это было напрасным…

Напрасным…

И то, что я писал 12-го, — ложь!..

Нет, я никогда этому не поверю… Не поверю, потому что был сентябрь…

А это — минутное…

1 декабря

Тогда бы я решился…

И никто бы, еби вашу мать, не посмел доказывать

мне, что это безнравственно!

2 ч. ночи

2 декабря

И когда стемнело…

…я нехотя поднялся, еще раз проверил, хорошо ли отточен столовый нож, заложил пистолет во внутренний карман, бросил на подушку спящего Муравьева стоимость двух галстуков и, натыкаясь в темноте на одетые стулья, бесшумно покинул…

…в коридоре маячила одинокая фигурка, — судя по яркости одеяния, принадлежащая к противоположному…

…остатки благоразумия не позволили мне отправиться туда в присутствии…

…и я заходил…

…пока одинокая фигурка не свернула в женский туалет, освободив меня от дальнейшего…

…и я, благословив естественные надобности, не замедлил…

…запах жженого лука заставил вспомнить о былых…

…но я поторопился отогнать от себя неуместные…

…и немедленно приступил…

…муравьевские галстуки обладали поразительной силой сцепления, они, казалось, специально были созданы…

…и газовый кран открутился поразительно…

…оставалось только, проклиная легкомыслие шоферов, с нетерпением ожидать шума…

…тишина била в затылок, а атмосфера щекотала…

…и синяя впадина дразнила формой и раздражала смрадным благоуханием…

…меня уже не пленяло новаторство в области совмещения…

…потому что я не мог уйти, не постигнув благости очередного…

…потому что синева видения убила приближающееся…

…эти две чистейшие ненужности мне все вернули……и заставили даже дремлющих облагородить движением…

…и предвкушением прикладывания укрыть смертоносное!!

3 декабря

Mesdames и Господа!

Я осмелюсь выступить в роли пьяного адвоката!

Он не виноват!!

Вы не имеете права обвинять его в порче воздуха! Ведь неэстетностью своей струи он подчеркнул упоительное для общественного обоняния благоухание ваших тел!

Mesdames! Господа!

Он забрызгал ваши чистенькие личики своим калом! И забрызгал без реверанса!

Но это ни в коем случае не дает вам повода обвинять его в негодяйничаньи!

Mesdames! Вы лучше меня осознаете, до какой степени брызги неделикатного кала оттенили белизну и атласность ваших физиономий!

Брюнэтки! Не гневите ваши ляжки! Плюньте на чернобровье! Ведь консерватизм неумо-

лимо преследуется нашим веком! Зачем же разжигать обиходность?! Зачем безнравственно истцеанствовать, если это интенсинирование брюнэтизма!

Господа молодые блондины! Кто вам запрещает поэтизировать стулирование атласностей?! Бронзоватых атласностей! Ведь озноенность «braun»'ом облегчает насилие!

А скользкость излишеств ослабляет их деградацию вашей ротовой полостью!

Зачем же гневить правосудие и Всевышнего!!

4 декабря

Весь под впечатлением Катихинской аудиенции. Чрезвычайно недоволен собой — не мог убедить его в своей искренности.

И все-таки хорошо понимаю, почему взбесила меня его счастливость.

И мои разглагольствования об отвержении всяких признаний, и мое недовольство, выраженное по поводу его «малодушия», заставили-таки обвинить меня в «показном оригинальничаньи»! Ему совершенно непонятно то, что счастье духовно обедняет человека и делает его в высшей степени несчастным!

Нет, посудите сами, господа! Дамочка, к которой в продолжение пяти месяцев этот субъект

питал сногсшибательно нежные чувства без малейшей надежды на взаимность, сближается с ним наконец — и второго числа изрыгает признание…

И что же вы думаете? Он послал ее ко всем чертям? Или тем же тоном извергнул сожаление о своем полнейшем равнодушии?

«Зачем»?

То есть как — «зачем»?

Не из оригинальности, конечно, не из чувства мести, а всего-навсего из боязни взаимности…

А этот малодушный субъект, видите ли, излился… и теперь с упоенной стыдливостью кичится своей счастливостью…

А последняя в два дня настолько отупила его, что он не хочет даже признать своей обреченности на духовное обнищание.

Нет, я положительно потерял всякое уважение к этому «искалеченному счастьем», чччоррт возьми!..

6 декабря

Хе-хе, пррогрресс, я бы сказал!

Комплиментальный прогрресс!

6 октября:

«С-с-с-свволочь!» — с кошмарным протягиванием первого свистящего, невообразимым

подергиванием и с выражением полнейшей запуганности, заметным даже в полной темноте…

9 ноября:

«Мме-рзавец!» — несколько ограничив возможности пантомимики и с трогательной дрожью в голосе…

27 ноября:

«Негоддяй!» — с традиционным переходом в вертикальное положение, испепеляющим взором и направлением к выходу…

6 декабря:

просто и лаконично: «Подлец!» — сузив от гнева глаза и пикантно приземлившись на муравьевскую постель, без всякого намека на испепеление…

7 декабря

А я бы все-таки с удовольствием скончался.

8 декабря

Уа-а! Уаа-а!

Пляшут, совокупляются…

И льют, льют…

И обрамляют неполноценных…

Как будто бы Энгельс запретил им!

А сквозь Абажур просовывается долгожданный, разевает рот и как будто гордится тем, что

его язык подменили лысиной Руссо…

Я разъярен… (правда? — как это смешно! — я — разъярен!) Ах нет, право, я совершенно спокоен… ведь волосы тоже спокойны, зачем же волноваться мне…

Правда, Они пляшут…

Но ведь я все равно нанялся, и музыка только импонирует!

Нет, мне бы и в Голову не пришла эта Нелепая Мысль (ну, сами посудите, — нанялся! Тьфу!), но абажурная физиономия пощипывала сомнительность…

И это самое главное: удивительно Правильные черты лица делали его похожим на бульдога

и гармонировали: Шедевры И Бешено Вздернув Ноги! Начни! Начни!

Но я и сам не знал, с Чего же все-таки начать… (А сами-то вы! Гы-гы!)

Я бешено цитировал…

Я массами сбрасывал с себя Маникюрш…

Но ведь я не забывал, что рассудок Почти невредим…

И я решился…

Я привлек, я САГИТИРОВАЛ Ее Пуп!

Он, Он один спас меня…

Это Он кричал утром (ведь вы помните, как он

кричал?.. Не помните?.. Ну, не нужно стесняться… Тю-тю-тю-тю…):

Рррразбуди-ить! Ррра-азбуди-и-ите!

Рррр…

…Уа! у-а! уаа!

9 декабря

О-о-о! Только последнее и нужно было этим пьяным скотам…

Разом заговорили все…

— Э-эттика! Одно слово заставляет меня изрыгать тысячи проклятий по адресу… гм… гм… гм…

— О-о-о-о-о!.. поддержите меня… иначе сей же секунд семья горлодеров, осмеливающихся произносить в приличном обществе это мерзкое слово, численно понесет урон!..

— Господа! А я, между прочим, имею совершенно серьезное намерение детально изучить этику, дабы оградить себя впредь от случайных следований ее законам…

— Ах, господа, зачем толковать о таких неаппетитных вещах! Лично меня мучает один чрезвычайно любопытный вопросик… вот уже скоро 50 лет, как умолкли родовые стенания меня породившей!.. Я просуществовал полстолетия! я пережил 11 министров внутренних дел и 27 революций… — а я все еще силюсь разрешить

вопрос, который отчеканит назубок заурядный школьник; дело в том, что я не вижу существенной разницы между удовлетворением полового желания — и физиологическим отправлением…

— Кошмарная парраллель, я бы сказал…

— Гм, молодой человек, я искренне сожалею, что вам, коллекционеру новейших истин, непонятно то, что выбрасывание половых секретов — не что иное, как заурядное физиологическое отправление… и в этом свете половая любовь предстает чем-то вроде мучений цивилизованного существа с переполненным мочевым пузырем, попавшего в великолепную и не менее переполненную гостиную, узревшего великолепный унитаз и не имеющего возможности извергнуть в него содержимое своих внутренностей!..

— О боже мой! Женщина — чувствительный ватерклозет!..

— Хе-хе-хе! А шестилетняя девочка — комфортабельная плевательница!..

— Лирика — плод томления человека, не знающего, куда высраться!

— Ха-ха-ха-ха!

— Да, да… По крайней мере, в половом влечении я не вижу положительно ничего высокого! Мне лично гораздо более удовольствия достав-

ляет сидение на унитазе после сытного обеда, чем половые наслаждения и ласки самой что ни на есть умопомрачительно любимой, чччерт возьми!.. Ннет, господа, уж лучше срать в унитаз и заниматься онанизмом, чем овладевать предметом бешеной страсти, одновременно испражняясь на пол… Хе-хе…

— О господи! Неужели же нельзя без половых извращений! Меня приводит в бешенство одно слово — «онанизм»!

— А я считаю, что поползновение к онанизму — признак чувственной трусости, да, да, чувственной трусости… В лучшем случае — вторжения интеллекта в неприкосновенную, даже, я бы сказал, святую область эмоций!..

— Ах, какой вы, право, Утонченный Негодяй: я лично, извините за нескромность, чрезвычайно страдаю интеллектностью своих эмоций: но, говоря откровенно, статья профессора Рихтера отбила у меня охоту к поискам новейших методов мастурбации…

— Ох уж эта пресса! Мне подобные статейки, наоборот, прививают любовь к извращениям; по крайней мере, шофер, изнасиловавший шестилетнюю девочку, в продолжение почти получаса был моим кумиром!..

— Между прочим, я не без успеха подражал вашему кумиру… и я могу вас ошарашить истиной, которая осенила меня в процессе «подражания», — «духовно богатый человек склонен к удовольствиям, не приносящим наслаждения оппоненту — источнику удовольствия»…

— Шестилетняя девочка — оппонент!.. Гм…

— Ну и как, истина помогла вам убедиться в богатстве своего духовного мира?

— Перестаньте зубоскалить, молодой человек!.. и не считайте эрудированность показателем духовного богатства… у вас — искусство имитации мрачного скепсиса и мировой скорби — и тем не менее вы совершенно бездушны!!.

— Ах, какое, я бы сказал, глубочайшее проникновение в тайны моей психологии!..

— У вас — психология!!. Гм…

— Кстати — о психологии! Не встречали ли вы, господа, тип людей, сознательно бегущих счастья и обрекающих себя на страдания, которым мысль о том, что только его сознательные действия превратили его в страдальца и что он был бы счастливым, если бы предусмотрительно не лишил себя счастья, — дает ему почти физическое наслаждение!..

— Это, так сказать, проституция жалости!

— Мастурбация страданий! Ха-ха!

— И, кроме того, не заметили ли вы, господа, что совершенно необязательно быть тонким психологом, чтобы прослыть им… Не нужно только уходить из области больной психологии и касаться психически уравновешенных…

— О-о-о! Психическая неуравновешенность — моя мечта! — и, смею сказать откровенно, в мечтах я уже — сумасшедший! О, вы не знаете, что такое бессонница мечты… и мечты, воспаленные от бессонницы…

— Боже мой! Как это плоско — кичиться своей мечтательностью! Лично я, еще будучи младенцем в стадии утробного развития, искренне ненавидел мечтателей!.. Мечты — презрение к воспоминаниям!..

— Ах! В таком случае вы должны восхищаться мной! Для вас я — Заурядный Болван, а ведь я в некотором роде неповторим… Я, может быть, единственный человек, который живет исключительно воспоминаниями… и, смею вас заверить, я — единственное цивилизованное двуногое, тщетно жаждущее найти среди разноцветной груды своих воспоминаний хоть одно — приятное…

— А меня, господа, всю жизнь томит зауряд-

ность… О-о! Сколько раз уже я посылал проклятия по адресу Всевышнего и «Исключений из закона наследственности»!.. Я неутомимо удовлетворял похоти самок, пользующихся самой что ни на есть двусмысленной славой, — и не заразился триппером! я бешено ударялся головой о Кремлевскую стену — и не мог выбить ни одной капли здравого разума! в продолжение трех суток без перерыва я безжалостно резал свое ухо диссонансами пастернаковских стихов и национального гимна Эфиопии — и, как видите, не сошел с ума!.. Ах, господа, я плакал, как ребенок! Я проклинал чугунность своего хуя, лба и нервов и коварство вселенной…

— Боже мой! Как все это извращенно!

……

Все мгновенно смолкли.

И мне пришлось почти с благодарностью взглянуть на торжествующего негодяя.

Хотя все произнесенное мне импонировало, унисонило, — как вам угодно.

10 декабря

К дьяволу сентябрь, еби его мать!!! На хуй «острова»!!!

Если они — не «каждый день», то за хуем они!

11 декабря

Началось!

13 декабря

Начинающие хуесосы! Давайте сообща засирать сокровища мировой поэзии!

Ппёрнем! Отравим атмосферу!

Ппёррнем, молодые пиздорванцы!!!

Уэ-э-э-э-э!

За хуем нам «интуиция» и «эмоциональность»!!

Пусть упражняются скоты!

Мы — сухие!

Мы — бездушные, еби нашу мать в задний проход!!

Где уж нам понять утонченность скользкого говна Марины Цветаевой!!

Отдадим Муравьеву безвозмездно!!

Пусть упивается нюансами!!

А нам, откровенно говоря, срать на космические проблемы, которые вас волнуют!

И мировая скорбь нас интересует не больше, чем Скороденковские сопли!!

Мы — не читали Олдингтона!

Мы — кретины!!

Мы безнадежно погрязли…

Ах, излечите нас от мелочности!!

Ведь вы так чисты!

И умеете так нежно любить!!

Уы-ы-ы-ы!

А ваши Любимые не ковыряют грязными пальцами в своих менструальных и сифилисных органах!

Ах, они жаждут мускулистых хуев!!

И серут таким очаровательным кровавым поносом!!

14 декабря

Решено твердо.

Пусть — презрение.

Но — начало карьеры…

Вы еще у меня попляшете, голубчики!

Я заставлю тебя, рыжий хуй, раскрыть флегматическую пасть!

А ты, толстомордая скотина, узнаешь первый, с кем имел дело!!

15 декабря

Хватит с меня сегодня и того, что я Музыкантову послал на хуй!..

Мне просто стыдно за Ворошнину.

Стыдно за то, что у нее в Москве — такой отвратительный двойник.

2 часа ночи

16 декабря

Но не это — главное.

Когда они разомкнули наконец свои скользкие и липкие губы, — отвратительная нить слюны соединила пасти разнополых…

Пусть для них эта мерзкая сопля — символична!

Но мне-то — мне-то противно смотреть на эту соплю, даже если эта сопля — союз разнополых сердец.

17 декабря

А собственно говоря, какого черта позавчера я вспомнил о Ворошниной?

Неужели мне мало августа?

И я не радовался в октябре ее «аресту за преднамеренное устройство взрыва» на 3-м горном участке?..

И ведь это — ее вторая судимость!..

Собственно говоря, я только на зимних каникулах заинтересовался ее выходками… и если бы не статья в «Кировском рабочем», я, может быть, и вообще бы не вспоминал о ней…

Но ведь, что бы там ни говорили, она — моя одноклассница… и притом — единственная из всех наших выпускников, с которой мне пришлось школьничать с первого по десятый класс вклю-

чительно…

И даже получением аттестата она в некоторой степени мне обязана…

Нет, нельзя сказать, чтобы я действительно питал к ней нежные чувства… А детское увлечение постепенно улетучилось…

Просто — мы несколько откололись от основной массы школяров и в 10-м классе были водонеразливаемы, совершенно не поддерживая связи с классом…

Откровенно говоря, меня пленяли ее хулиганские выходки на занятиях, тем более что я поражал всех скромностию и прилежанием… А после инцидента с ком. билетом она уже бесповоротно стала кумирить в моих глазах… хотя в школе слыла легкомысленной идиоткой с проституционными наклонностями…

Меня же лично мало интересовали ее наклонности… Я даже не удивлялся ее провалу при поступлении в институт и слишком легкомысленному восприятию этого провала. Меня взбесило только ее исчезновение из Кировска как раз в момент моего триумфального возвращения, — я даже не мог похвастаться перед ней поступлением в Величайший.

С первых же групповых занятий в универ-

ситете меня несколько заинтересовала Ант. Григ. — «усеченная и сплюснутая Ворошнина» — и я искренне ее возненавидел…

В декабре, признаться, я был несколько ошарашен письменными извещениями Бориньки о привлечении Ворошниной к суду за недостойность…

Тем более что после «самоповешения» отца она должна была несколько охладить свой пыл…

Прибыв на зимние каникулы, я с удовлетворением воспринял экстренное сообщение Фомочки, весь смысл которого сводился к тому, что он (т. е. Фомочка) — может быть, единственный представитель мужской половины Кировска, не испытавший удовольствия покоиться на пышных прелестях моего кумира… и сразу же вслед за этим сообщение Бориньки о том, что соревноваться с Ворошниной в изощренности мата не решается сам Шамовский…

Я без промедления благословил ее выносливость и изобретательность…

…И единственное, чего я опасался теперь, — случайного столкновения с ней…

Последнее, может быть, и не состоялось бы вообще, если бы 1-го февраля Бориньку, Минечку и Витиньку не пленило звучание одного из ше-

девров индийского киноискусства.

Сказать откровенно, я слишком туманно воспринимал трели Бейджу Бавры, потому что беспрерывная трескотня соседок, циничная поза сидящей справа Ворошниной — и вследствие этого тоска по цивилизации убили во мне способность к восприятию классических творений джавахарлаловых подданных…

Назавтра Витинька, удовлетворенно зубоскаля, констатировал: «Ерофеев дико смутился, когда увидел, что Ворошнина покинула веселые передние ряды и в сопровождении трех подозрительных девиц двинулась прямо по направлению к нему, презрительно окидывая взглядом переполненный кинотеатр и неестественно кривляясь…»

Правда, Витинька одновременно выражал сожаление в связи с тем, что они втроем вынуждены были внять вызывающе деликатной просьбе Ворошниной «поменяться местами» — и бросить меня на произвол пьяных девиц…

И я, признаться, тоже сожалел… Во всяком случае, меня не восхищала перспектива в продолжение двух часов вдыхать запах водки и пережженных семечек изо рта Ворошниной, невообразимо краснеть и деликатно приобщать-

ся к ее бесстыдной и стесняющей позе… Впрочем, я покинул кинотеатр чрезвычайно довольный собой — я вежливо отказался навестить ее в общежитии и, кроме того, уже не ощущал на себе кошмарного нажатия ее пышных прелестей…

Последующие 8 дней пребывания в Кировске протекли целиком в пределах четырех стен Юриковой квартиры, — в стороне от трезвости, Ворошниной, снежных буранов и северного сияния…

На первом же занятии по немецкому Антонина Григорьевна Музыкантова попала в поле моего зрения, и мне, без преувеличения, сделалось дурно…

В продолжение всего второго семестра я неутомимо прославлял дегенерацию и стиснув зубы романтизировал…

А лето совершенно уронило взбесившегося кумира в моих глазах…

Правда, и я летом числился уже в сознании кировских граждан не как «единственный медалист» и «единственный лениногорец», а скорее как неутомимый сотрапезник Бридкина…

К началу августа я вынужден был выработать иммунитет на восприятие любопытных взглядов — и, между прочим, не без благотворного

влияния Лидии Александровны, представшей передо мной уже на следующий день после моего приезда в героический заполярный город…

Правда, в этот раз я несколько удивил ее утратой скромности и смущаемости и удачным ответом на традиционное приветствие…

Она же, в свою очередь, поразила меня изумительной способностью к бесконечному округлению даже при ежедневном воздействии алкоголя и еженощном испытывании давления со стороны комсомольских тел…

Кроме того, разминая онемевшую конечность, я внутренне пособолезновал всем тем, кому приходится здороваться за руку с этой смеющейся скотиной, а внешне сделал неудачную попытку отказаться от приглашения.

В этот день она была несколько сдержанна и даже извинилась, когда случайно вставила мат в сногсшибательную характеристику проходившей мимо рыжей девицы…

Два последующие совместные культпохода в «Большевик» несколько нас сблизили, и потому в начале августа я даже без трепета перешагнул порог ее комнаты.

В продолжение 2 часов я тщетно пытался привыкнуть к одуряющему запаху духов и охотно

внимал трескотне своего оппонента…

Сначала я устно выразил восхищение кротостию ее соседки, которую грубое приказание Ворошниной вынудило незамедлительно и безропотно покинуть «постоялый двор кировских Дон Жуанов»…

Потом с напускной неохотой помог ей допить «Столичную» и совершенно искренне восхищался ее изобретательностью в отношениях с посетителями…

Правда, последний ее рассказ настолько меня смутил, что я в продолжение 5 минут безуспешно пытался согнать краску со своего лица и поднять глаза от стакана…

Дело в том, что как-то весной к ней пожаловали три первокурсника МУ, видимо чрезмерно распаленные хвалебными отзывами о ней и подстрекаемые сообщениями о «легкости» ее «уламывания»… И она, радушно встретив пьяных студентиков, не замедлила выкинуть несколько невероятных штук перед их восхищенными взорами… В конце концов она заставила всех трех пасть на колени и лизать свои подошвы… — и, в довершение всего, прогнала распаленных посетителей, предварительно избив одного за «недостойность»…

И все это — с непременным хохотом, умопомрачительным смакованием фактов и периодическим потягиванием из стакана… Положительно в этот вечер она мне безумно нравилась…

Нет, я совершенно искренне восхищался ее умением требовать у кировских самцов раболепного поклонения в отношении к своей особе… Правда, я с трудом верил ее пьяным рассказам… ведь незадолго до этого она даже попросила меня отвернуться, когда подтягивала чулок…

Я решительно не понимал ее… Созерцая эту самодовольную, милую, пьяную физиономию, я никак не мог поставить ее рядом с той чистенькой первоклассницей, которая сидела со мной за одной партой и поминутно меня обижала…

Часов в 9 я покинул общежитие в состоянии романтически пьяной влюбленности… До самой железной дороги идущая рядом Ворошнина беспрерывно была встречаема насмешливыми приветствиями, которые вызывали в ней почему-то дикий хохот…

Признаться, я был оскорблен, когда уже на следующий день Рощин через Бориньку выразил сожаление по поводу того, что мне «не повезло с Лидкой», а Тамаре Васильевне порекомендовали «держать в руках своего медалиста»…

Впрочем, я и сам лично убедился 7-го августа в неизлечимой тупости молодого поколения Кировска.

Меня просто взбесило нахальство ГХТ-товцев, которых не отрезвляли даже пощечины Ворошниной. А эта отвратительная сцена у киоска даже ослабила мою охоту иметь дальнейшее общение со своим благодетелем…

И главное, меня раздражало ее легкомысленное отношение к своим собственным действиям и к своей популярности… Нет, я совсем не собирался ее убеждать, потому что единственной реакцией на мои убеждения было бы идиотское ржание… к тому же я слишком боялся ее, чтобы решиться на убеждение…

Единственный раз я почувствовал к ней что-то вроде жалости — в воскресенье 12-го числа на вечере отдыха в Парке… Ее отвратительный вид чуть не вызвал у меня тошноту, — тем более что Бридкин в этот день был навеселе и с полудня неумолимо вливал в меня какую-то бурду, орошая слезами память моего родителя и судьбу единоутробного брата… Веселость моментально покинула меня, когда я узрел в распластавшейся за ларьком девице Лидию Александровну… Ее, вероятно, только что бешено рвало, белая коф-

точка была вымазана в чем-то отвратительном, мокрое платье слишком неэстетно загнуто… Уговоры Бориньки заставили меня оторваться от созерцания страдалицы… Но удивительно — я совершенно не чувствовал брезгливости, я только бешено ненавидел этих мерзких типов, которые ее споили и, изнасиловав, оставили в грязи под проливным дождем… Придя домой, я снова перечитал полученное накануне письмо Музыкантовой с жалобой на жизненные страдания — и дико расхохотался…

А во вторник мне пришлось вновь возмущаться веселостью Ворошниной… Она бессовестно восторгалась прошедшим воскресеньем, поминутно извинялась за нецензурность — и я, к ужасу своему, убедился, что она и сегодня пьяна ввиду увольнения с РМЗ.

…Нет, ее совершенно не волновало лишение работы, она воинственно восседала на перилах Горьковской библиотеки, жонглируя моим Ролланом и качая ногами перед самым моим носом, и продолжала невозмутимо язвить по адресу МГУ, любви, человечьих страданий, Надсона, Музыкантовой и — моей детскости…

А 16-го числа, с этого противного вечера одноклассников, началось самое главное… И удиви-

тельно то, что я упивался ее действиями, явно рассчитанными на то, чтобы отравить атмосферу школьным питомцам… Она хорошо знала, что пользуется дружным презрением «девушек-одноклассниц» и тем не менее решила явиться на вечер без приглашения, дабы произвести сенсацию сначала своим приходом, а потом своими очаровательными шалостями.

Правда, наш совместный с ней приход на вечер произвел далеко не сенсацию; я вынужден был констатировать всеобщее уныние и одновременно, затаив злобу, отразить несколько мрачных взглядов… Однако я понял с первой же минуты, что «очаровательными шалостями» Ворошнина — если не произведет фурор, то по крайней мере заставит разойтись эти полторы дюжины впавших в уныние одноклассников.

Последние нисколько не были удивлены, когда Лидия Ал. церемониально извлекла из внутренних карманов пальто 2 прозрачных бутылки и цинично заявила, что «даже Веничка» считает их содержимое чрезвычайно полезным для желудка… Я, стараясь усилить невыгодное впечатление, произведенное ее словами, поспешил подтвердить гигиеническую верность гениальной фразы моего кумира…

В продолжение получаса Ворошнина торжествовала… И казалось, ее совершенно не смущало то обстоятельство, что только я один осмеливаюсь разговаривать с ней и что мы в некоторой степени обособились.

…Захарова своим неуместным затягиванием «Школьного вальса» развязала наконец ей руки — и с этого момента я с нескрываемым восхищением следил за всеми ее движениями…

Прежде всего, заслыша робкую «пробу» Захаровой, она дико заржала, вызвав недоумение всех собравшихся, затем флегматично сообщила всем о своем презрении к песням вообще — и, в довершение всего, ошарашила милых одноклассников нецензурной приправой к своему лаконичному признанию… Фурор был неотразим… Я, признаюсь, проникся даже пьяной жалостью к этим девицам, которые — вместо того чтобы прогнать возмутителя спокойствия, — уныло справились друг у друга о времени, о погоде и стали медленно одеваться… А Ворошнина продолжала неутомимо хихикать, ерзая по стулу и по моей ноге…

Нет, я нисколько не жалел о безжалостном разрушении вечера… Я охотно помогал ей смеяться над письмом Муравьева и допивать водку из горлышка. Я так же охотно согласился бы сидеть

до конца летних каникул на этой куче ж/д шпал под моросящим дождем и позволять обращаться с собой как с грудным ребенком… Я преклонялся перед этой очаровательной пьяной скотиной, которая могла делать со мной все, что хотела…

На следующий день я от нее же узнал, что она не могла добрести до своей комнаты — и на лестнице ее мучительно рвало…

Вечер 18-го числа совершенно неожиданно отрезвил меня… Первый же рассказ, которым меня встретила Ворошнина и который больше походил на похабный анекдот, до такой степени озлобил меня, что я утратил всякую боязнь — и осторожно послал ее к черту… В ответ она по традиции глупо заржала и пообещала завтра же всем сообщить, что она послана к черту самим Ерофеевым…

В тот же вечер ее в совершенно пьяном состоянии и отчаянно ругающуюся вывели из танцевального зала 2 рослых милиционера и препроводили в отделение… При этом ей за каким-то дьяволом понадобилось громогласно вопить, что она не виновата и что ее споил Ерофеев…

Наконец ее поведение 21-го числа на «Пламени гнева» вынудило меня даже удалиться из кинотеатра под дружный хохот окружающих ее девиц

и всеобщее недовольство зрителей…

С этого вечера я уже совершенно ее не понимал; меня бесило то, что она слишком чутко внимала Рощинской клевете; я не мог себе представить, чтобы Ворошнина мне верила меньше, чем оскорбительным сообщениям заурядного Петеньки; я положительно возненавидел ее…

23-го числа, заметив ее, возвращающуюся из рудника в сопровождении 2 чумазых подростков, я вынужден был предусмотрительно свернуть вправо и профланировал параллельно. Когда же до меня донесся веселый смех этих трех скотов, гоняющихся друг за другом и осыпающих матом все и вся, мне стало дурно, у меня помутилось в глазах… Я готов был сию же минуту исплевать Заполярье и благословить Московскую непорочность… Меня тошнило от Кировска и от беспрерывного пьянства…

И 24-го я уже действительно плевался, когда, сидя ночью на скамейке, узрел Ворошнину, проплывающую мимо школы. Я до такой степени растерялся, что не успел убраться в темноту — эта скотина уже предстала перед скамейкой и, умопомрачительно изогнувшись, затрясла передо мной всеми своими прелестями… Я поспешил справиться, что должна означать эта многозна-

чительная пантомимика, — она ошарашила меня в ответ довольно остроумным контрвопросом: «Хотите ирисок, Веничка?» — затем, видимо удовлетворенная моим отказом, не меняя дикции, выразила сожаление по поводу того, что более многоградусное осталось дома, флегматично погладила свои бедра и, мазнув меня по лицу всей своей массой, вразвалку направилась к шоссе. А в ответ на свое душевное: «С-с-с-скотина!» — я опять услышал это идиотское ржание — и застучал зубами от холода…

Возвращаясь домой, я почему-то вспомнил, как, будучи семиклассником, мелом разбил стекло и потом робко укорял Ворошнину за то, что она взяла вину на себя… Тогда она смеялась ласково, по-детски…

Вечером 26-го я уже пересекал Полярный круг, совершенно не вспоминая об утраченном кумире…

В конце октября, уже будучи в Москве, я с удовлетворением узнал о ее аресте и с тех пор ее судьбой не интересовался… Да и, собственно, какого дьявола меня должна волновать ее судьба… если она сама за всю жизнь не смогла выдавить из себя ни одной слезы…

…и ее участь никто никогда не оплакивал…

18 декабря

Пи-и-ить!

Пиииииить!

Пи-и-ить, ттэк вэшшу ммэть!!!

19 декабря

Ах, стоит ли, право, Валерик, ругать этих молодчиков! Ну, пусть Леонид Михайлов пытается логически обосновать свое право на именование кретинами всех неприобщенных к мировой цивилизации!..

Пусть Владимир Скороденко, скрипя зубами, неутолимо клянет свое азиатское происхождение и доказывает гигиеничность зебровых галстухов!..

Пусть Владимир Муравьев, обратив свой скорбный лик к зданию Совета Министров, многозначительно потрясает жиденьким кулачком и гораздо более внушительной эрудицией, которая, кроме всего прочего, дает ему возможность упиваться очарованием интуиции и еженедельной боли в висках!..

Плюнь на них, Валерик!

Очаруй Вселенную пикантностью своего «Фи!».

Пошли к черту и Пранаса Яцкявичуса — ведь он уже давно кастрировал Космос и теперь безуспешно пытается завербовать его на должность

старшего Евнуха в гареме своих незамысловатых Идей!..

Ах, Валерик, не истощайте себя Сомнениями!

Вы просто недооцениваете обаяния Викторов!

Ведь Виктор Дерягин, в противоположность Пранас Яцкявичус, слишком уважает Космос, чтобы подвергать его безнравственному оскоплению!.. К тому же, говоря откровенно, ему не нужен Евнух, ввиду отсутствия Гарема…

А Виктора Сибирякова не пугает даже безнадежная любовь к Справедливости… (увы! Справедливость слишком холодна к Нему — Он даже не осмеливается ревновать ее к Анастасу!) — Но Ему доставляет почти физическое наслаждение упиваться трогательной взаимностью Александра Терентьева и Непорочной Лойяльности!..

Ах, Валерик, Вы так молоды!..

Проникнитесь же плотской любовию к Владимиру Катаеву! Ведь он из уважения к Чувству Человеческого Достоинства отвергает греховные связи с истощенной Дегенерацией и, полемизируя с Гете и Розенбаумом, считает непременными спутниками истинного гения флегматический взгляд на кокетство Судьбы и Огненность Волосяных Покровов!..

Да и стоит ли, право, Вам, Валерик, жаловаться на беременность Вечной Идеи! — ведь рядом с Вами, обнажив свои незатейливые Плоть и Сущность, уверенно семенит по жизненной колее Леонид Самосейко — и вам обоим плотоядно улыбаются молоденькие Перспективы!!.

Ах, улыбнитесь и Вы, Валерик!

21 декабря

Шесть дней держалось пятнадцатое.
Двадцать первое — вызывающее прощение.
И даже спокойствие.
И даже ночь.
И все равно — страшно…
Страшно…

22 декабря

Нет, вы представляете!
Сентиментальничать две ночи подряд!
Извращенно сентиментальничать!
Две самые темные ночи!
И внимать! Хе-хе-хе!
В-в-внимать!
Уэх-хе-хе-хе-хе!
Нет, вы только представьте себе!
Я ответил: «Гм…»
Всего-навсего: «Гм»!

И потом: «Ах вот как!»

Я не пытался сенсинировать!

Задевать обиженных — не в моем стиле!

И все-таки я отказался брудировать!

Потому что только это мне и нужно было!

А самое отвратительное — когда сбываются мечты!

23 декабря

«…не нужно, Венька… слышишь? Не нужно пить… Я

не хочу, чтобы ты пил… Я просто не знаю, что может на тебя подействовать, чтобы ты прекратил это пьянство… Я бы с удовольствием сделала для тебя все, только я не знаю, что делать… Веничка, ну дай мне слово, что ты никогда больше не будешь пить… А?.. Я тебя не отпущу от себя, пока ты не дашь слова… Будешь до утра мерзнуть, слышишь?..»

«…Ой, Венька, ты просто розовый младенец… Я просто ужасно хочу, чтобы ты был моим братом… Ну, чего ты презрительно ухмыляешься… А то, понимаешь, у меня никогда не было младшего брата… Ой, Венька, представляешь: я бы делала с тобой все, что хотела, и ты бы не посмел пикнуть… А то вот ты сейчас сидишь здесь и грубишь… Свободная личность — тоже мне… Вот

сейчас возьму и изобью… Что-о-о? Что ты сказал?! Ну вот что мне оттого, что ты говоришь такие гадости…»

24 декабря

С отчисления пошло изумительно!

Самосейко НЕУДивлялся…

Катаев окончательно СЛ. Абел, ИЗВЕРГая комсомольскую верхушку и погружаясь в мИР МАтериализма…

Муравьев изрыГАЛ И НАпивался снова…

Дни розовели проносились…

Всепроникающие Факты продолжали фамильярно похлопывать по бедрам мою Радость…

И напрасно я пытался прикрыть Ее икры капроном нарочитой раздражительности…

В глазах сентябрило…

Мечты прельщали ЖЕСТокой неутомимикой…

Я грубо симпатизировал…

Я был до невероятности наМ.А.Г. ничен…

Я блевал недожеванными кусочками декабря в серенькую урну ноябрьского пессимизма…

Из влагалища моего воображения периодически выползали розовые, кричащие Шедевры…

Неуместная торжествуемость повсюду меня преследовала…

Я с трепетом раздавался…

Я изнемог.

25 декабря

А — ккатись все к ебеней мматери!!!

26 декабря

Ах, прекратите Леонид Самойсенко. Ведь все это — не так! Одним словом — скверная чистота.

С 11-и до 11.30 — коллективно составляли новогоднее послание тетушке у дверей 428-й комнаты.

В 11.30 принялись строить умопомрачительные прожекты на ночь. Я вынужден был отвергнуть ее предложение пойти на улицу — меня не пленяли перспективы многочасового дрожания на скамейке и даже ее обещание закутать меня в свой платок. В свою очередь, ее не прельстило мое предложение пройтись к окну Полидвы и пропеть ей пару похабных серенад.

В 12 часов я попытался отвернуться от назойливого оппонента и вновь углубиться в «разрушение личности».

С 12.00 до 12.15 — Музыкантиха предприняла несколько попыток лишить меня Горького — любовь моя к Горькому победила жажду романтики и ночных прогулок, я мужественно защитил творения своего любимца от наглых притязаний

распоясавшейся хулиганки.

С 12.15 до 12.30 устно выражали недовольство по поводу обилия целующихся пар и восторгались трудолюбием Муравьева. В 12.30, с обоюдного согласия, приняли незамысловатое решение пройтись по мосту через Яузу и для разнообразия раздеть пару прохожих.

С 12.30 до 1.00 разочаровывались в последнем решении, жаловались на уличный холод, внутренне содрогались при воспоминании о 2 прошедших ночах, неудачно острили по поводу поцелуев и похабщины.

В 1.00 Музыкантиха пресытилась долгим стоянием и ежеминутными выражениями с моей стороны (не без влияния Горького) желаниями быть развращенным похабником.

С 1.00 до 1.15 Музыкантиха яростно намечала перспективы моего дальнейшего существования, а я в высшей степени устно выражал восхищение половой предприимчивостью Альберта Алферова.

В 1.15 устное выражение восторгов заставило пострадать мою шевелюру и одновременно возмутить мое Чувство Человеческого Достоинства.

В 1.20, в отместку за шевелюрные страдания шутливо определил ее «жирной полуношни-

цей» — и затем, внешне погрузившись в пролетарскую философию, упивался трогательной молчаливостью и похвальной терпеливостью оскорбленной.

С 1.30 до 2.00 выражал недовольство ее мрачностию, убийственно заискивал и лицемерил, предпринимал отчаянные попытки рассмешить оскорбленную и к 2 часам с удовлетворением констатировал обоюдное ржание.

В 2.00 — решили занять угловой стол и выкурить Рубцова.

С 2.00 до 2.30 дискутировали насчет Космоса нарочито громкими голосами, одновременно констатируя мысленно раздражительное воздействие дискуссии на Рубцова и на Космос.

В 2.30 — облегченными вздохами и пантомимическим хихиканьем проводили до угла изможденного Рубцова — и решили откровенничать и безобразить.

С 2.30 до 2.45 жгли старые открытки, произносили над огнем заклинания, хихикали и осуждали западные моды.

В 2.45 — Музыкантиха доставила внушительную груду своих фотокарточек, и под угрозой физического воздействия я вынужден был восхищаться каждой в отдельности.

С 2.45 до 3.30 — созерцали фотографии, безнравственно хихикая, пинаясь под столом ногами и осуждая аморальное поведение коридорной пары.

В 3.30 — умственно плевали на фотографии и решили незамедлительно сжечь негодные.

С 3.30 до 4.00 — жгли, меланхолически любовались пламенем, разменивались комплиментами, курили и предприняли несколько неудачных попыток завязать драку.

В 4.00 я вынужден был храбро встретить прилив материнской ласки со стороны моего оппонента и отверг ее полушутливое предложение кровью подписать совместный клятвенный контракт.

С 4.00 до 4.30 — взвешивали все способы вытягивания друг из друга крови для подписания «контракта», дружно осуждали алкоголизм и восхищались мрачностию фланирующего мимо В. Муравьева.

С 4.30 до 4.45 безуспешно пробовали стричь друг другу ногти и столь же тщетно пытались определить, чьи конечности чище и эстетнее.

В 4.45 я презрительно обнажил всю безыдейность ее предложения выйти подышать свежим воздухом и посидеть в снегу.

С 4.45 до 5.00 — освятили своим присутствием

комнату Никоновой, жаловались на однообразие трофеев. Пили из горлышка лимонад, грызли яблоки, изучали траекторию летящих огрызков; при воспоминании о Мичурине продемонстрировали обоюдный скепсис.

5.00 — совершенно некстати вспомнили 15 декабря, постигли весь ужас имевшего места инцидента, обменялись мрачными взглядами и не менее мрачными идиоматическими выражениями.

В 5.15 с похвальным единодушием изъявили желание заниматься.

С 5.15 до 5.45 нехотя читали, изредка перехихикиваясь и надменно следя эволюцию трамвайного парка.

В 5.45 дружно протирали глаза и выражали ужас перед лицом Времени и Бессонницы.

С 5.45 до 6.15 флегматично хлопали глазами, курили, лениво друг друга оскорбляли, внимая треску репродукторов и будильников.

В 6.15 — по-прежнему флегматично сдули пепел со стола, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.

Только и всего.

И все прежние дни — так.

Так что уж и без похабных намеков, Л. С.!

27 декабря

Пусть Время туго обтягивает свои прелести!

Все равно — не прельстит! —

Последние четыре проползут бесследно! —

И этот отвратительнейший год с грохотом полетит в пизду!!

6.15 ночи.

28 декабря

«…Он! Он объяснился! Я на крыльях влетела в общежитие и весь вечер занималась с упоением…»

(Р. Гуржибекова, «Дневник», стр. 531)

«…И угораздило же меня, братцы, втюриться в эту Р. Гуржибекову… Тут, понимаете ли, Бомарше на носу, Корнель и все такое прочее… Завтра, понимаете ли, нужно на зачет тащиться с утра, и на последнюю ночь я возложил такие надежды…

И вдруг — на` тебе!

Сижу я это, значит, у окна, рыгаю шницелем и цежу сквозь зубы: „Экгоф в роли Доримона — настоящий Доримон… Tot linguae quot membra viro…“ — вдруг вижу — едакой экстравагантной походкой и со стулом в обнимку приближается ко мне объект моей сессионной страсти… Ну я, понятное дело, без промедления пронзил

взглядом ее перси с претензией на осетинскую пышность — и восхищенно процедил: „Этт, в алилуйство мать, а?“ Она, конечно же, сперва-начала побледнела, то бишь похолодела, потом это, значит, эвакуировала в толщу ланит весь запас своих эритроцитов и грузно опустилась на свою ношу…

Я, как истый сибиряк, незамедлительно смекнул, что даже самая развратная женщина, будь то хоть дьявол или студентка МГЭИ, — не будет румяниться, ежели постигнет благоуханную невинность подобной ситуации — что вот, мол, циничные взгляды подвергают массажу ее прелести и все такое прочее… Я, конечно же, без околичностей допер своим пролетарским умишком, что по нечаянности пронзил взглядом не только перси, но и то, что стыдливо прикрывается оными…

Но ведь вы сами понимаете, что у меня и в мыслях-то моих пролетарских не было охоты так глубоко пронзать… Ну, сами посудите, — начнутся вздохи и шевеления, а у меня Корнель на носу, Расин, Бомарше и все такое прочее… Я, конечное дело, унутренне исплевал высокие чувства и невозмутимо продолжал шамкать „Роксолану“, периодически рыгая шницелем…

А сам все смотрю идиотски на ее эти самые-то, хе-хе-хе, и стараюсь сдерживать в себе и отрыжки шницеля, и позывы плоти… Но, в конце-то концов, — ведь я мужчина, и неуместное колыхание персей в такой опасной близости, граждане, смутит самого Кекконена… Я, понимаете ли, не мог равнодушно созерцать все эти вещички… Я стиснул зубы и, сдерживая дрожь в голосе, изрек: „Уйдите, милая, и не подымайте во мне“… так и сказал: „не подымайте во мне…“

И вот что, братцы, удивительно — она все поняла и поспешила обвертикалиться; но узрев всю прелесть ее необъятных и тем не менее удаляющихся бедер, — я вспыхнул, я прочувствовал в един секунд всю силу своих животных позывов… и я бы с удовольствием занялся самобичеванием, граждане, но — подумайте сами — завтра зачет, объяснение в деканате, Лесаж, Корнель, Расин, Д'Онэ, Дидро, Вольтер, Бомарше — и все такое прочее…»

(Ю. Романеев. «Избранные сенсации», стр. 27)

«И в 24 года – разрушена первая любовь! Мгновения счастья утекли безвозвратно!..

Сегодняшний вечер окатил меня ушатом холодной воды.

Она сидела с Романеевым и любезничала.

И оба были красны и довольны.

За такие дела у нас в лагере морды били».

(Н. Рубцов. «А уж я ли, кажется...», стр. 31)

«Милый ты мой, у тебя просто нет чутья. Я лично вполне одобряю романеевские вкусы; посмотри-ка на нее сбоку хорошенько — уэ-э-э-э! — а ежели с тыла — так натурально Елизавета Гассекс, Амалия Вейсе и, если угодно, — госпожа Дорсенвиль! Воплощенная кротость! Хе-хе-хе! Неизменный идеал! Непреходящий кумир! Идеолог телесной шедевральности!.. Трам-пам-пам...

Дика как лань, дитя Кавказа,

Пурум-пум-пум. Пурум-пум-пум...»

(В. Скороденко. «Половая аудиенция»)

«Я встал, застегнул ширинку, в последний раз затянулся горьковатым дымом папиросы и вышел в коридор. Необычная тишина заставила меня вспомнить о дневном шуме, когда этот коридор заполняется до отказа веселыми

девушками и юношами, — они разговаривают об экзаменах, о любви. Но теперь все было тихо, и только слышны были на лестнице звуки ночных поцелуев. Эти звуки обострили мое одиночество и заставили вспомнить о догорающей любви… Да! Пепел, пепел — вот все, что осталось от ноябрьского увлечения… Погруженный в такие раздумья, я еще раз проверил, надежно ли застегнута ширинка, завернул за угол и вдруг увидел ее…

Она, сука, сидела с Романеевым и о чем-то беседовала… Я хотел было свернуть вправо, но вдруг увидел, как она неожиданно встала и направилась ко мне. Радости моей не было границ, я моментально вспомнил о прошлых ссорах с ней и сразу же простил ей все…

Она тихо сказала „Здравствуй“, — и тут я как будто впервые заметил, как она прекрасна. „Какие у нее полные и вместе с тем влекущие, как призывы КПСС, округлости“, — сказал я сам себе и затем предложил ей пойти распить со мной бутылку хорошего вина. Она не отказалась и пригласила меня в свою комнату.

Но откуда мне было взять бутылку хорошего вина, если у меня всего-навсего маленькая московской? Я быстро сообразил, в чем дело,

влил в старую винную бутылку всю водку, долил красной тушью и катаевским одеколоном, затем стащил у Спиро сахар и побросал кусочками. Получилось настоящее вино.

Через десять минут она уже открывала мне дверь и с радостью сообщала, что все девочки ушли на 10.45 в кино и что нам никто не будет мешать. Войдя в комнату, я осторожно закинул за петли все три крючка и закрыл дверь на ключ. Она ничего не заметила или, вернее, сделала вид, что не заметила, и это еще больше влило в меня уверенности, что она все-таки еще любит меня.

Я сел рядом с ней и через две секунды уже был опьянен ее близостью. Мы молча сидели, смотрели друг другу в глаза и упивались взаимной любовью. Мы совсем забыли про вино, к моему счастью.

Вдруг она очнулась от блаженного забытья и шепотом произнесла: „Через полчаса придут девочки из кино“, — и этими словами как будто говорила: „Чего же ты сидишь? Неужели ты меня больше не любишь?“… И как только я это услышал, я ласково обвил рукой ее прелестную талию. Она ничего не заметила или, вернее, сделала вид, что ничего не заметила, и это еще больше меня возбудило. Я схватил ее в охапку и прижал к сво-

ей груди. По небу плыли разорванные облака и ярко светил месяц.

Она всем своим нежным девичьим телом прижималась ко мне, — я ощущал усиленное биение ее сердца и расстегивал ширинку.

Вдруг она сама потянулась к кровати, вытянув свою прекрасную шейку и потянув меня за собой — и я упал на ее стройное девическое тело.

Через две секунды ее туфли и чулки уже валялись где-то в углу, а платье и рубашка где-то в другом углу. Я встал за шкаф и обезопасил свой орган резинкой, а она стояла в трусах посреди комнаты и, опустив руки, смотрела на луну… Вдруг я вспомнил, что она еще в трусах.

На небе ярко светил месяц и плыли разорванные облака. Я встал на колени и сдернул с нее трусы. Через секунду они валялись где-то в углу, а я схватил ее в охапку и потащил к постели. Я ощутил под своей грудью ее упругие девичьи груди, я впился губами в ее нежные губки и (……) ляжек. Она лежала молча, закрыв глаза, и только иногда шептала: „Милый! Кгм! Какой вы бык! Кгм!..“ Через десять минут мы уже выходили из комнаты… На душе было очень скверно, нам обоим было просто стыдно взглянуть в глаза встретившемуся Муравьеву…

Через 2 секунды я уже заходил в свою комнату, предварительно проверив, хорошо ли застегнута ширинка.

Еще через 2 секунды я уже сидел на своей кровати и затягивался горьковатым дымом папиросы».

(Л. Самосейко, «Далекие и близкие», стр. 436–444)

«За весь вечер один, только один взгляд!

И снова – неудовлетворенность!

И опять эта интуитивная боязнь за благополучие исхода!

Опять эта режущая боль в висках!

Цепь ассоциаций… цепь ассоциаций…

К черту! К черту! К черту!»

(В. Муравьев, «Глубокомыслие»)

29 декабря

О, я хорошо понимал его! Он считал ниже своего достоинства падать на глазах у толпы. Он мог бы присесть, опуститься к подножию, но мороз совершенно его закоченил. У него не сгибались конечности.

Нет, совершенно серьезно, — у него были крас-

ные руки, и он плакал… Я готов спорить на что угодно, что он действительно плакал.

И потом, — я же слышал, слышал эти истерические всхлипывания. Не мороз же выдавливал их из него! И не извержение рвоты, в конце концов, сотрясало ему плечи!.. Неужели же блевота может так бешено содрогать?!

Бросьте вы это! Он не чета вам! Он действительно орошал слезами фонарный столб и теребил его красными руками…

И вы думаете, меня смутили его всхлипывания, — и я дал ему огня?

Хе-хе-хе-хе, я слишком им восхищался, чтобы отравлять его. Я просто плюнул на соседний столб, — идиотски хихикая, потряс четвертинкой и через полминуты уже погружался в Яузский туман…

30 декабря

Да, да! Войдите! Тьфу, ччерт, какая идиотская скромность…

Ну, так как же, Вл. Бр.? Вы отказываетесь? А у вас это, между прочим, так неподражаемо: «…На-а-а зем-ле-е-э-э ве-эсь род…»

А мнения все-таки бросьте, пожалуйста… И «женскую душу», и «женскую натуру» — тоже бросьте… Да и возлагать на меня не стоит…

Другое дело — он!.. Он — исключительность, квинтэссенция благородства… Кстати — «lupus in…» и в зеленых пятнах! Ах, милый papan!

О! На вас жилет… и вы благоухаете! Фу, как противно же от вас пахнет… Да уйдите же! Уйдите! Слышите? Я не хочу вас! Не хочу!.. Мне противно на вас смотреть, papan!..

О боже мой! Сколько же можно блевать! И это — после двух крохотных винегретов! Что? Трех?.. Да бросьте вы, не морочьте мне голову… Как сейчас помню, вы проглотили два винегрета — и угрожали ножом взвизгивающей maman… Хе-хе-хе…

А я-таки был зачарован вашей позой… вы так удачно отеллировали, papan, и так прохладно матерились… А Юрикино зловещее «Так ее!» разливало едакий благоуханный трепет по моим нервам… Слышите ли! — нервам!! Хе-хе…

А ведь у меня были крепкие нервы… Я еще не пытался романтизировать… Я был холоден, как… гм… как трупик ощипанного котенка…

Да, кстати, какого хуя я вам толкую о романтизме… Вы мне противны, катитесь к черту! Ах нет, извиняюсь, papan, спите с богом… Хи-хи-хи… Что-о?

Что вы сказали, Т. В.? Я?! Но, собственно гово-

ря, их у меня никогда не было и мне попросту нечего растаптывать… Почему же странно? Ведь вы же сами в некоторой мере виноваты… Да! Да! Войдите!..

Заметьте, я говорю — «в некоторой мере» и никого не виню… Ведь даже Вл. Бридкин говорил, что мне приходится тяготиться своей нежностью…

Да входите же, еби вашу мать! А! Это вы! Стоило так долго стучаться! Хе-хе-хе, ну как, что новенького? Что?! Даже откровенничать! Ха-ха! Откровенничать! Обнажаться, значит… Ну, что ж — прреподнесем, препподнесем!

Совершенно одна! Хи-хи-хи-хи!.. Да, да, конечно, это до чрезвычайности трагедийно… Единственное — старушка-мать… И не издохла?.. Да нет же, я хотел спросить: «И вы очень ее любите?»… Да неужели?! И вы — не спились, не взрезали перси?.. Ну да, конечно, конечно, «единственное — старушка-мать» и больше никого, совершенно никого… И тем не менее — уйдите!..

Да нет же! Не на хуй!.. Просто — уйдите…

Да не глядите же на меня так! Чем я, собственно, провинился?.. Бросьте это, А. Г., серьезно вам советую — бросьте!.. Ведь мы же, в конце

концов, вчера снова обменялись взаимными плевками и теперь, по меньшей мере на неделю, зарядились злобой… И у меня сегодня просто нет настроения торговать звериными инстинктами… Угу! Всего!

Да, да! А. Г., вас давно сняли с веревки?

…Как! Вас и не поднимали?! Ха-ха-ха! Вы только послушайте, — как она мило острит!.. Значит, вас серьезно не снимали?.. Ах да! Как я мог снова перепутать? Эй!..

Да нет, это я не вам… угу, до свиданья…

Эй! Лидия Александровна!.. Ну, как вы там? А? Хе-хе-ххе-хе-хе! Ах, ну дайте же, я паду ниц! Что? Как это так! — не стоит! Как будто бы я не падал шестнадцатого!..

Фу! Какие у вас ледяные ноги!.. И этот ебаный буран еще раскачивает их! Чччоррт побери, ведь ровно год назад и в такой же буран ОН здесь качался!.. И ваш покойный родитель тоже… ха-ха-ха… тоже! Ах, как вы плакали тогда, Лидия Александровна, как мило вы осыпали матом вселенную и неудачно имитировали сумасшедший бред… Хи-хи… Нет, не врите… Вы не были потрясены! Вы издевались, ччерт, вы хихикали!..

Да прекратите же, в конце концов, раскачиваться… Хоть после смерти-то ведите себя

прилично и не шуршите передо мной ледяными прелестями… Я не горбун Землянкин! Хе-хе!.. Вот видите — вы даже можете хорошо меня понимать!.. Когда речь заходит об августовских испражнениях, вы непременно все понимаете…

Ах! Вы уже не сможете теперь испражняться так комфортабельно и так… непосредственно… А ведь он, смею вас заверить, трепетал от умиления… И я почти завидовал ему! Слышите ли? — завидовал!! Еще месяц — и я раболепствовал бы в высшей степени… Как вы были очаровательны тогда, тьфу!..

Вы мне позволите, конечно, еще раз прикоснуться губами… Да нет же! Что еще за буран! Вы — каменная глыба! Вы — лед! И тем не менее вы продолжаете гнуться! Какой же еще, к дьяволу, буран!

Ха-ха-ха, вы притворяетесь, что не слышите меня! Вы нагло щуритесь! Вы — прельщаете!.. Хе-хе… Пррельщаете!

А водка-то льется, Лидия Александровна! Льется…еби ее мать!.. щекочет трахею… сорок пять градусов! Хи-хи-хи-хи, сорок пять градусов!.. Шатены… хи-хи-хи… брюнэты… блондины… Триппер… гонор-рея… шанкр… сифилис… капруан… фильдекос… креп-жоржет… Их-хи-хи-

хи-хи!.. А Юрик-то… помните… кххх — и все!.. Кххх! — И все!!! И северное сия-яние! Северное сия-а-ание!..

31 декабря

Все грустите!.. А ведь через шестьдесят — весна… Влажность, температура, настроение — все поползет выше… Расширятся семенники… Защекочет во влагалищах… Полюбите…

Не нужно отчаиваться…

11.30 вечера.

1 января

Совершенно ни одной?

И это — «Гастр.»!

Тьфу!

Опять — получасовое хождение и проникновение за стекла.

…Насилие трупов.

…Насилие новорожденных.

…Насилие статуй.

…Половое влечение к женским теням. Испражнениям. Блевоте.

…Извержение половых секретов в зияющие раны любимого тела.

…Просто насилие.

Стоп! — Справа еще один! Витрина не блещет.

Но вторгнуться необходимо. Опять ни одной. Что, не было с утра? — Хх…

И на ответ плюну. Пойду.

…Три тысячи слов с Муз.

…Тысяча — с Мур.

…Пятьсот — с Мих. и членами комнаты.

…Двести — с остальным населением земного шара.

…Ежедневная средняя.

Но, в конце-то концов, вам их раньше привозили? Или виноват склад?

Даже никто не виноват!

Значит — я!

…Испускание слез и мочи.

…Первое символизирует эмоции.

…Второе — интеллект.

…Разница — в процентном содержании циановой кислоты.

…Голова и конечности. Юрий Новиков отдает предпочтение конечностям. Последние обеспечивают большую вероятность попадания в баскетбольную корзину.

…Жидкий стул. Понос. Запор. Юрий Романеев стыдится своей гениальности.

Не может быть!

Есть?!

— Без посуды?
— Без посуды.
— Двенадцать шестьдесят.

2 января

Фи, как все это опереттично!

«Венька, ну вот признайся, что ты все-таки меня любишь».

«Ну еще бы… Сидит этакая двадцатилетняя женщина, обтянула себя нижней рубашкой и домой не отпускает… Так конечно…»

«Дурак».

«…Так поневоле влюбишься… Ты бы еще вообще разделась и держала бы при себе еще 2 часа, так я бы и без напоминаний объяснился».

«Дурак».

«Бочка».

Все равно же — неделя разрушена.

И серым Ф. больше не представится возможности обвинить меня в sex арреа-ль-ности.

После второй половины марта.

1–3 января своеобразный финал.

Без ожидания следующей «второй половины».

И без оплакивания финала.

3 января

Вот видите — вам опять смешно.

Вы не верите, что можно вскармливать нарывом. А если бы вы имели счастье наблюдать, то убедились бы, что ЭТО даже достойно поощрения.

И сейчас я имею полное право смеяться над вами. Вы не видите, вы не внемлете моим гениальным догадкам — и не собираетесь раскаиваться.

А я созерцаю и раздраженно смиряюсь.

«Значит, так надо».

«Мало того — может быть, только потому-то грудь матери окружена ореолом святости и таинственности».

Ну, посудите сами, как это нелепо!

Я пытаюсь даже рассмеяться… И не могу. Меня непреодолимо тянет к ржанию — а я не УМЕЮ придать смеющегося вида своей физиономии…

Я сразу догадываюсь — мороз, бездарный мороз. Мороз сковывает мне лицо и превращает улыбку в идиотское искривление губ.

Я воспроизвожу мысленно фотографию последнего номера «Московской правды»… обмороженные и тем не менее улыбающиеся физиономии… Проклинаю мороз и разуверяюсь в правдивости социалистической прессы.

Дальнейшее необъяснимо.

Ребенок обнажает зубы, всего-навсего — крохот-

ные желтые зубы… Обнажение ли, крохотность или желтизна — но меня раздражает… Я моментально делаю вывод: «Этому тельцу нужна вилка. И не просто вилка, а вилка, исторгнутая из баклажанной икры».

Ребенок мотает головой. Он не согласен. Он кичится своей разочарованностью и игнорирует мою гениальность. И эта гнойная…эта гнойная — торжествует!

Я вынужден вспылить!

Как она смеет… эта опьяненная сперматозоидами и извергнувшая из своего влагалища кричащий сгусток кровавой блевоты…

Как она смеет не удивляться способности этого сгустка к наглому отрицанию!..

Но рука не подымается. Мне слишком холодно, и я парализован. Я сомневаюсь — достанет ли сил протереть глаза…

Можно и не сомневаться.

Я лежу и выпускаю дым. В атмосфере — запах баклажана. А в пасти хрипящего младенца все тот же сосок, увенчанный зеленым нарывом…

Сам! Сам встану!

Дневник
4 января – 27 января 1957 г
II
Продолжение записок психопата

4 января

Встретив лицом к лицу, робко опустить голову и пройти мимо в трепетном восторге и смущении…

…проводить взглядом удаляющуюся фигуру — и, хихикнув, двинуться вослед…

…осторожно ступая, подкрасться — и нанести искросыпительный удар по невидимой сзади физиономии…

…не предпринимая никаких попыток к бегству, по-прежнему робко опустить голову и безропотно упиваться музыкой устного гнева…

…неутомимо льстить, лицемерить, петь славословия, свирепо раскаиваться, яростно извиняться, — пасть на колени и лобызать все что угодно…

…рабским взглядом поблагодарить за ниспосланное прощение и убедить в неповторимости происшедшего…

…на прощание — ласково солидаризироваться в вопросе о нерентабельности поэтической мысли…

…при возобновлении удаления — издалека нанести удар чем-нибудь тяжелым — и тем самым обнажить отсутствие совести и способность на самые непредвиденные метаморфозы…

…и, продолжая свой путь, заглушать тыловые всхлипывания и мстительные угрозы напевами из Грига.

5 января

Утром — окончательное возвращение к прошлому январю.

Тоска по 21-му уже не реабилитируется. Нелабильный исход — не разочаровывает.

Даже по-муравьевски тщательное высушивание эмоций и нанизывание на страницы зеленых блокнотов — невозможно.

Высушивать нечего.

Впервые после 19-го марта — нечего.

Пусто.

7 января

Помните, Вл. Бр.? — Вы говорили:

«Ерофеевы — тля, разложение, цвет, гордость. О Гущиных не говорю… Мамаша эта твоя, Борис

и сестры — просто видимость, Гущины, мамашин род… Эти — просуществуют… А Ерофеевыми горжусь… Папаша в последние минуты всех посылал к ебеней матери… а тебя не упоминал вообще… Мать, наверное, говорила тебе?..

Загнулся человек… и мать не успел выжить… А надо бы, надо бы… правильно я говорю?

Ннадо… Еще налить?

Двадцать лет в лагере — это внушительно… И Юрик прямо по его стопам… Водка и лагерь — ничего нового… Совершенно ничего нового… А это — плохо… Скверно… Спроси у любого кировчанина — каждый тебе ответит: Юрий — рядовой хулиган, пьяный бык, Бридкина наместник — и больше ничего… На тебя все возлагают надежды… Ты умнее их всех, из тебя выйдет многое… Я уверен, я еще не совсем тебя понимаю, но уверен…

А за университет не цепляйся… И не бойся, что в Кировске взбудоражатся, если что-нибудь о тебе услышат… Все равно — ты уже наделал шума с этими своими тасканиями, Тамара уже смирилась, и мать — тоже…

И не бойся тюрьмы… Главное — не бойся тюрьмы… Тюрьма озверивает… А это — хорошо. Бандиты эти грубые, бесчувственные — но не

скрывают этого… Искренние… А ваши эти университетские — то же самое, а пытаются сентиментальничать… Умных мало — а все умничают… Чувствовать умно надо, чувствовать не головой, но умно… А ваши эти все — холодные умники…

Тебе с ними не по пути… Они просуществуют, как твои Гущины…

Они не хотят существовать просто так… Они в мечтах — мировые гении… И, мечтая, существуют… Я знаю этих типов, я сам учился в университете…

и — знаю… Они чувствуют, — когда есть свободное время… И даже сладострастничают — только внешне… Я — знаю…

Они могут доказать ненужность того, чего у них нет… и для них это — признак ума… Главное для них — чистота… чистота своих чувствий… А их, этих чувствий, у большинства, почти у всех — немного — и содержать их в чистоте — нетрудно… Они, эти цивилизованные, будут ненавидеть тебя — говорю совершенно серьезно — ненавидеть! Все запоминай… и всем — мсти… Извини, что я, пьяный, учу тебя — вместо родителя… Ты — особенный, только на тебя и можно возлагать надежды… Главное —

избегай всегда искренности с ними, — немного искренности — и ты прослывешь бездушным, грязным, сумасшедшим…

Ты! — бездушный и грязный! Хе-хе-хе-хе…

Налить еще, что ли»

8 января

О! Слово найдено — рудимент! Рудимент!

9 января

Даже для самого себя — неожиданно:

Оскорбленный человек первый идет на примирение,

а я не удостаиваю взглядом, спокойно перелистываю очередную страницу «Карамазовых» и — не подымая головы — лениво:

Катись к черту.

И ничуть не смущает ответное скрежетание:

Ид-диот.

Все — спокойно, умеренно злобно, внешне — почти устало… без излишней мимики, а тем более — дрожи…

Удивительно, что спокойствие — не только внешнее… По-прежнему шуршат «Карамазовы» — и никакого волнения.

10 января

Через двести тридцать восемь

припп
ппом
мню

и совершенно непопулярно. Цифры и буквы останутся я вникаю и — Хорошо. Первый совершенно пятьдесят шесть. Ожидаю — (благо докани!) — и ласково бкт. Еще не БКТ просто спокойно и боковой стол у лестницы ПОМНЮ! ПОМНЮ! — нужно. Кстати, четвертое лежание и потом — морщины — это тоже хорошо, большая помощь и помнишь на кровати с опять дым, на неделю — (да меньше!) — на пол помогает — и чуть не слезы. Это — так, реверанс…

С первого не нужен верх, это потом, а в начале, в самом начале — ОТТ ФЕ — и уых! — уых! — уых! в центр, не сразу, не сразу… Я даже не шевелюсь и смотрю выделяю (да нет же! — стараюсь — а ты! — выделяю — выделяю! А если бы во втором — не надо девятнадцатой краски):

«С то-ой па-ары кык мы уви-и…»

дились с тобой в сердце радость и парам-пам-пам — ношу и так далее. И я просто слышу и просто запомнилось, светил нет. А был буфет и еще чего-нибудь не ждал (даже и не буфет, а немного скромничаю и в девятнадцать краснота) и не просто так, а СИДЕНИЕ В ГЛАЗАХ и произношение.

Гляжу в обруазерll и ЛЕ начинает, — кончил потом с жарой и плохо (кончил, в смысле) даже ме… в смысле, даже ме… в смысле, даже ме… в см (А! ддьявол! — это всегда так, когда старая пластинка! Да подтолкни ты, ччерт!)…нил и все равно до ТЕМПЕРАТУРЫ УВАЖЕНИЕ потом, когда уже уголок — так и с КРИ (лучше буду — кри) пришел… кри мешает и заставляется… И неважно, двадцать четвертого заглядываю и с дрожью «мол, возьмите» — и можно не впускать, раз уж так раздето (уввв!) до кри еще, а больше в мартиззз — ничего.

Последнее в д-м кроме конца — одним словом! Почти до скончания —

Все! Все! И водка! И дым! И все! Домай!

Понятно — я идиот… («жет» — а прошло! — это я так — потому что нечего inform, а так…). И все стремительно до дюж-апр, ВДРУГ дрожь и — в руа-муан… И до demonstr! До demonstr! И не ЛЕ — Я! Я сам! И выход — и вниз к стулу — теплота — и хорошо — выход — ХОРОШО — потом, правда, но теперь — лик! ОВАН!

Теперьпопор.

Один плюс четыре. Я сам не знаю но видел! Видел! (Как это называется? — бардуав). Да, да! Вспомнил! Бардуав! (Это ведь я сам изменил,

чтобы «уав» было, а на самом-то деле и не «уав»). Взгляды не пугают, а раздраженного в трепет только —

Три плюс два. Теперь уже в дыму, и уголок со стулом — тоже схватило нечаянно и у витрины подымал руку. Чтобы легче. И в постельку! В постельку!! Семь минус два, говорю «почему» и знаю… А «barduaw» — совсем нечаянно, от кружения и. (Видите! — поставил точку после «и» — и еще раз поставлю! назло! — и вот кто мне запретит? Ну вот кто!.. Ну вот кто?) И очень очень слабо, а при ударе даже неловко. А они есть — и внутри «партийно» — это я так, не обращайте внимания, — а черная лестница!

А черная (в смысле — задняя) лестница! Восемь минус три, опять горизонт и ТИХО смиряешься… Девять минус четыре, десять минус пять… И — вот! вот! вот! (да поставь в куб и сядь — а то — вот! вот! вот! Еще раз скажи! Кому это нужно твое — вот! вот! вот!) И — вот: одинн (а-а-а, ччерт, опять с «вотами», кретин) одиннадцать минус шесть — (ух) а потом небесно — все ЛЕ и по совету. Так и есть. Взыгралось через несколько, а здесь — воплощенная кротость и едакая (фи-фи-фи) кротость. И потом — laska и едакая (фи-фи-фи-фи) ну пусть опять: кротость. Засыпа-

ние безмятежно и в уши: три, два, и один, даже тридцать, эта скверна.

Как у нас в садочке!

Как у нас в садочке!

Ро-озы ра-а-асцве-эли-и!

И поневоле вздергивать и замедление с wertik-ом и тщательно замрешь и на пуховике и под чернотой (слышите — сколько «и» — это ведь я, один все это написал, столько «и»). И знаю, что гордиться можно, потому что приношение не забыл, не знаю точно, но крыша — это исключительно, вернее — сопровождение немного разуверяет, но ведь целомудренность, и поэтому обязательно — нужно, тем более — вверх. И этот — незабываемый! (да ну тебя).

То же самое — и валеты поднимаются пар слева; а духота духота. В начале шесть. Все угарно — и далекий друг и трубы — все угарно (извиняюсь, конечно, ну да уж все — романтики). Святая цифра ничего совершенно. И отплытие скомкало, — правда, три убралось, но уж слишком неправдоподобно (а я ведь и не хотел писать — «неправдоподобно», нужно — «неловко» было написать-то в конце, а я — «неправдоподобно», это я нарочно себя раздражаю, я нервный).

11 января

Каюсь публично! — Пятого числа бессовестно лгал!

И эти мои словечки — все ложь!!

И — никакой «пустоты»! Очередное кривляние — только и всего! И я вам докажу, что нет никакой «пустоты»! Докажу!! Сегодня же! Вечером!! Прощайте!

12 января

Темно. Холодно. И завывает сирена.

Отец. Медленно поднимает седую голову из тарелки; физиономия — сморщенная, в усах — лапша, под столом — лужа блевоты. «Сыннок… Извви-ни меня… я так… Мать! А, мать! Куда спрятала пол-литра?.. А? Кккаво спрашиваю, сстарая сука!! Где… пол-литра? Веньке стакан… а мне… не могу… Ттты! Ммать! Куда…»

Шамовский. Отодвигая стул. «Бросьте, Юрий Васильевич, это вам не идет!.. Хоть жены-то постесняйтесь… ведите себя прилично…» Встает, длинный, изломанный, с черной шевелюрой… делает два шага — и падает на помойное ведро…

Харченко. Нина. Лежит в красном снегу, судорожно извивается. «И-ирроды! За что!.. В старуху… Тюррре-э-эмни-ки-и!.. Тюре-е…» Юрий. Невозмутимо. «Пап, заткни ей глотку».

Ворошнин. Вскакивая. «Не позволю! Не позво-

лю! Без меня никто работать не будет! Директора убью! Сам повешусь!! А не позволю!.. Боже мой… Сил моих нет!.. Все, все — к ебеней матери!»

Викторов. Совершенно пьяный. Кончает исповедываться, хватает вилку и, упав на стол, протыкает себе глаз.

Бридкин. Недовольно поворачивая оплывшую физиономию. «А-а-а… опять… москвич… Ну-ну… Ты слышал про Шамовского? Нет?.. Вчера ночью… застрелился… И мне за него стыдно, не знаю — почему, а стыдно… Садись, я заплачу… Эй! Ты! Толстожопая! Еще триста грамм… Застрелил-ся… Никого не предупреждал, кроме сына… Это — хорошо…»

Юрий. Прохаживается взад и вперед. Пинает все, что попадается под ногу. Взгляд тупой. «Тюрьма все-таки лучше армии. Народ веселый… Вчера в дробильном цехе работали, двоим начисто головы срезало под бункером, все смеялись… и я тоже. Бригадир споил, ни хуя не понимали, я даже ничего не помню… Я вообще пьяный ничего не помню… и не соображаю… делаю, что в голову придет… забываю вот только вешаться… пришла бы в голову мысль — обязательно бы повесился. Это, говорят, интересно, — вешаться в пьяном виде, один у нас хуй вешался, рассказы-

вал — как интересный сон, говорит…»

Андрей Левшунов. Вдруг поднимает голову и, схватившись за грудь, начинает яростно изрыгать в стакан. В бессилии откидывается на спинку стула; затем неожиданно хватает стакан, выпивает до дна — и снова наполняет. И так — бесконечно, и под хохот одобрения.

Мать. Приподымается с постели, роняя очки. «Му-учи-и-ители! Вон! Вон отсюда!! Фаина! Уходи сейчас же! Я смотреть на тебя, суку, не хочу! Юрка — убирайся!! И ты тоже — вон!!» (Мимика Юрия вызывает смех. Я, поворачиваясь нагло: «Это почему же меня — вон?») Мать падает на подушки, взвизгивает, рыдает. «О-о-о… о-о-о… о-ддин и… издох, дру… другой папаша явился!! Я тебя выброшу вон отсюда, сволочь! В Москве подыхать будешь — ни копейки не вышлю… Ни копе-ейки-и, сволочь ты такая! И счастья тебе никогда не видывать… Слышишь?! Это тебе мать говорит! Мать!!!» (Я, Юрий, Фаина — с хохотом захлопываем дверь.)

Ворошнина. Лежит под одеялом. Потягивается. «Ба-а-а… Веничка!.. проходи, проходи, садись сюда… (Валинька! Вышвырнись-ка, милая, на полчасика… угу…)…да ближе, вот сюда, на постель, какого черта еще стесняешься… Ну, тепло?..

хи-хи-хи-хи… скромность-то где… и по-матерински согревать нельзя… ребенок — и все… может, тебе еще свою титьку дать… вот уж интересно, как бы ты стал сосать… хи-хи… а мне целовать нельзя, — хуй знает — может, я вся — заразная, венерическая… Ну, чего ты пугаешься? Уй какой ребенок… Ну-ка, Веньк, наклонись, от меня пахнет? Нет? Ну — ты, наверно, сам наглотался и не чуешь… Хи-хи-хи…»

Бридкин. Оживляясь. «Хе-хе-хе-хе… Вчера ваш этот, Сашка, был у меня… Слышал? Баба-то недосмотрела… В собственной блевоте задохнулся. Насмерть. Лежал вверх лицом и задохнулся… Все перепились, гады, и не обратили внимания… Жаль, ты вот не пришел… Тебя ждали… А этот теперь уже в больнице. На «скорой помощи» ночью увезли… Все равно уже… Говорят, из легких капустные листы вынимали… Врут, наверное…»

Фаина. Закрыв лицо. «А ты думаешь — я не плачу, я больше ее плачу, если хотите знать, больше всех… Ей „душно“! А мне — нет, что ли? Душно ей!.. Ха-ха-ха! Ведь выдумает тоже — душно!..»

13 января

Сначала — странное помутнение перед глазами. Помутнение, которое бывает у людей болезненных от резкого перехода в вертикальное

состояние… Потом и все существо заволакивается той же мутью… И я засыпаю… Я не просто засыпаю. А засыпаю с таким ощущением, будто усыпление идет откуда-то со стороны: меня «засыпают», а я осторожно и безропотно, дабы не огорчить ИХ, поддаюсь усыплению… Постель, оставаясь верной традиции, опускается куда-то вниз (в Неизвестность или куда-нибудь еще… — безразлично), — а я словно отделяюсь от нее и на ходу моментально соображаю, что мое «отделение» — совсем даже и не вознесение в бесконечность, а самая что ни на есть заурядная потеря ощущений…

Каждый день я засыпаю именно так — и нисколько не жалею, что широчайший диапазон всех прочих методов засыпания мне недоступен…

А сегодня со мной творится нечто странное. Даже не со мной, а с постелью, которая в категорической форме изъявляет свое нежелание опускаться в отведенную ей Неизвестность… И не только отказывается; а словно издевается над тем, что я не могу, в силу ее статического состояния, теряя одно за другим свои наглые ощущения и потихоньку улетучиваться в Бесконечность… (ну, да ладно, пусть — «Бесконечность»).

Но я ничуть не разгневан. Наоборот, я чрезвычайно доволен тем, что мое ложе наконец-то вышло из повиновения… Это — своего рода восторг, выражаемый по поводу пробуждения национального самосознания чего бы то ни было… Черта, свойственная мне… да еще, может быть, паре миллионов самых оголтелых коммунистов…

Но в данном случае мой восторг несколько умеряется тем, что мой (мой собственный! хе-хе) круп играет незавидную роль горизонтально распластавшейся метрополии и потому не может испытывать особенной радости от созерцания обнаженных суверенитетов…

И самое непредвиденное — и самое раздражительное для меня — это зверский холод, который охватывает понемногу мое ложе и, следственно, — меня самого. Я поворачиваюсь на бок и силюсь разгадать причины беспочвенного похолодания. Я пробую вслух проследить температурную эволюцию моего ложа — но, вслушавшись в свою речь, с неудовольствием замечаю, что с уст моих срываются рассуждения на темы слишком далекие от каких бы то ни было эволюций…

В конце концов меня заинтересовывает тот

факт, что моя устная речь, как будто из презрения к ходу моих мыслей, течет в совершенно другом направлении… Чччерт побери… Значит, я сплю! Сплю! Потому что только во сне может иметь место такой безнравственный разлад!

И мысль о том, что я все-таки заснул, заснул несмотря ни на что, — очаровывает меня до тошноты… со слезами умиления я прощаю своему ложу и отказ от эвакуации в Неизвестность, и попытку спровоцировать температурный путч… Все! Все прощаю! И уже с нескрываемым интересом слежу за направлением своих устных высказываний, кому-то возражаю, озлобляюсь, угрожаю 51-й статьей…

— Ну да, конечно, я вполне с вами согласен… И удои, и удои повысятся непременно! Еще бы — не повысились удои!.. Ну, уж а это, пожалуйста, бросьте… Где она может помещаться, эта задняя нога… И почему — именно у Кагановича — задняя нога!.. Черт побери, если бы вы заявили, что у Энвера Ходжи — два хуя, я бы и не стал возражать вам… как-никак, принадлежность к албанской нации — веский аргумент… Но… у Кагановича — задняя нога!.. Это уже слишком, молодой человек!..

Мне, в сущности, все равно, кому я возражаю.

Мне абсолютно наплевать, кто мой оппонент — Спиро Гуло, Вавилонская башня или Бандунг… Мне просто доставляет удовольствие разбивать положения вымышленного оппонента — и в пылу дискуссии я имею полное право называть его не только «молодым человеком», но и, если угодно, ослом. Кто, в конце концов, сможет меня убедить, что я имею дело не с ослом, а с Вавилонской башней?

В сущности, и сам предмет нашей дискуссии мало меня интересует; и если бы аксиома о задней ноге не была выдвинута в такой категорической форме, я бы, может быть, даже поспешил солидаризироваться… Но все дело в том, что я не терплю категоричности, тем более если эта категоричность подмывает репутацию партийного вождя, а следовательно, и международный авторитет моей нации… Я продолжаю дискутировать — из чисто патриотических побуждений…

— Вы говорите — у Кагановича… — задняя нога… Но (дьявол вас побери и извините за выражение) где же гарантия того, что у Шепилова есть кадык? — или — что у Шепилова не три, а четыре кадыка? И потом — 56 млн тонн чугуна сверх плана в первый же год шестой пятилетки — это что? Ззадняя нога?!. А новогодний бал

в Кремле? А отставка Идена! А Низами! А удои! Чоррт побери, удои! — о которых вы с таким жаром распространялись! — возможно ли все это при наличии у Кагановича задней ноги!..

И меня охватывает неудержимая радость от сознания бессилия моего оппонента и способности моего мышления ко всеразрушающей логичности… В упоении я размахиваю руками, дабы и физически доконать своего противника — и с удовлетворением сознаю, что мои удары приходятся точно по ее (ее!) толстым икрам… Говорю — «ее» — потому что угрожающее движение со стороны этих же икр заставляет меня очнуться и узреть наконец и свое состояние, и позу моего загадочного противника…

— Молодой человек! Как вам не стыдно!

Собственно, о каком стыде идет речь? Неужели эта женщина думает, что я лежу перед ней в снегу, только потому что я пьян?! Но ведь я только сейчас почувствовал, что лежу в снегу, — и, может быть, я и вообще не лежу в снегу, а мне просто снится, что я лежу… Нет, пусть она сначала докажет мне, что окружающий меня белый комфорт — не сновидение и что она сама — не Вавилонская башня и не Дух Женевы… Нет, пусть все-таки докажет, — а потом уже уко-

ряет меня в отсутствии стыдливости…

— Послушайте, гражданка! — Вы… это… серьезно говорили об удоях?.. Ну вы подумайте! Она еще смеет прикидываться дурочкой! Она, видите ли, не понимает, о чем я говорю!.. Что-о? Вы — студентка Юридического факультета?.. Ну да, это очень, очень похвально… но не обязывает же это вас, в конце концов, прикидываться ничего не понимающей или разыгрывать роль мраморной Галатеи!..

— И потом: что вам собственно от меня надо? Я же вам, кажется, убедительно доказал, что ваши рассуждения насквозь нелойяльны…

О-о-о! Она даже не скрывает этого!.. Но если вы не скрываете — для чего же говорить мне о каких-то утренних разочарованиях… Неужели вы серьезно пробуете меня уверить в том, что утром я буду еще в чем-то разочаровываться?.. Или вы считаете меня неизлечимым идиотом!.. (Хи-хи-хи-хи)… Нет, вы послушайте, —

— Вот вы говорите: разочаровываться, интуиция, предчувствие, тревога, симпатия, стремление и пр. и пр. — так ведь это же одна видимость, комбинация звуков, а понятий — нет… вернее, в психике-то нет таких моментов. Я хочу сказать — не просто «нет» — а «не было бы, если

какому-нибудь первобытному дурню не посчастливилось бы так удачно подставить одну букву к другой — и не получить что-нибудь вроде «стремление»…

Что? Зад чешется? Ну да, это конечно…

— Но все это я к чему говорю? Да дело в том просто, что эти-то комбинации звуков и действуют на меня, вызывая определенные эмоции… Ну, сами посудите, если бы я не знал слова «разочарование» и не знал бы, что после «р» (непременно — «р»!) следует «а» (а не «и» и ничто другое) и т. д. и т. д. — разве же могла бы прийти мне в голову мысль когда-нибудь и в чем-нибудь «разочаровываться»…

Да перестаньте же! Ведь я, как-никак, — мужчина…

— И потом — признайтесь! — у вас конечно же часто бывает едакое неуловимое настроение, даже не «неуловимое» — а… «несказанное»… да нет, не «несказанное»… ну да ччерт с ним; одним словом — признайтесь, вы часто заявляете, что у вас… гм… настроение, не находящее, так сказать, выражения словесного… А вот я вам не верю! Не верю — и все! Где у вас гарантия того, что ваше настроение действительно «не находящее выражения словесного» — если

оно не находит словесного выражения! Потом — само выражение: «не находящее словесного выражения» — это просто отказ от словесного выражения вашего настроения, но никак не его выражение! Значит — нет! Нет у вас ничего! И быть — не может! Все эти дамы вашего возраста имеют обыкновение хвастаться эмоциональной неуловимостью! А ваше хвастовство — зауряднейшая стыдливость!.. Вы даже себе самой боитесь признаться, что, так или иначе, — а все ваши эмоции, как сдобные баранки, нанизаны на чешуйчатый член какого-нибудь стремительного сына Кавказа!..

Я хорошо понимаю, что говорю нелепости. Говорю нелепости, потому что еще не сознаю толком, сон ли — мои нелепости, или в самом деле я околачиваюсь в сквере Стромынского студгородка. Если я действительно извиваюсь перед этой корректной дамой (говорю — корректной — и закрываю глаза на ее безнравственные почесывания, — оцените по достоинству мою склонность к уважению недостойных!) — если это действительно так, то не могу же я молча пускать дым в носовую полость этой дамы. Но, чччерт побери, если я сплю — зачем напрягать ум и гениальничать? — в конце концов, навеки

останется тайной, высказывал ли я во сне мировые истины — или безбожно играл словами! Мало того — я сплю — и никто не имеет права обязывать меня к разговору, я могу замолчать вообще — и никто не будет удивляться моему молчанию, потому что и удивляться, в сущности, — некому… А что касается этой дамы, так она — (дьявол меня побери, если это не так!) — обыкновеннейший объект моего сновидения и, следственно, своего рода собственность моей фантазии, — и я имею вполне законное право ею распоряжаться…

Да и не только ею, но и вкусами, наклонностями ее и т. д. и т. д… Почему бы мне не сделать ее женщиной оригинальной, принимающей, например, любую нелепость за гениальную догадку, исходящую от уст партийного руководителя или божьего праведника… Не снизойдет же ко мне в сновидении женщина с твердой и последовательной философской системой — (избави бог! хотя, заверяю вас, в ее ежеминутных почесываниях было что-то философское и уж конечно же — последовательное). Да почему бы мне, в конце концов, не представить ее существом зоологическим, способным понимать исключительно лишь язык дворовых собак, — и тогда кто

мне запретит встать на задние лапы и лаять по-собачьи? Что бы вы там ни говорили, — а в сновидении я существо вполне суверенное. И потому плюю на все и продолжаю паясничать…

— Вы еще недостаточно ясно, барышня, представляете себе «половую стыдливость»… Это не просто боязнь обнажения. Если вы серьезно считаете, что это исключительно боязнь полового обнажения, то вам просто… несколько не хватает тонкости… Неужели же в общении с представителями противоположного пола вас никогда не охватывала эдакая своеобразнейшая стыдливость — стыдливость, проистекающая от опаски признания со стороны представителя противоположного пола вашей принадлежности к своему полу… Или даже не так: от опасения признания в себе признаков своего пола перед лицом представителя противоположного пола, отрицающим в себе наличие данных признаков… Или — нет… ну да ладно… Если вы действительно студентка Юридического факультета, то я, пожалуй, поспешу прекратить вдавания в подобные тонкости…

— Вы, кажется, что-то говорили о симпатиях?.. Да, да, я с вами с совершенностию солидарен!.. Обязательно! Обязательно — противоестествен-

ность! В самом естестве человека заложена жажда противоестественности — и ваши эти пресловутые «симпатии» — ярчайшее тому доказательство… Обычнейший примерчик — вы (о, извините, если я буду несколько груб) — вы никогда — никогда! — не почувствуете настоящего, убедительного влечения к мощному звероподобному самцу… потому что сами вы с гордостию осознаете выдающийся (выдающийся до крайности!) характер ваших гениталий… Точно так же — здоровенному самцу гораздо более по вкусу создания легкие, хрупкие, — если угодно: прозрачные, миниатюрные… — и он в то же время с чрезвычайным раздражением взирает на переполненные до отказа бюстгальтеры… Половому удовлетворению всегда предпочитается половое упрямство… Это — чисто человеческое; это — оригинальничанье мыслящих…

— Мыслящих! Именно — мыслящих! Потому что даже симпатизирует человек — половым органом с примесью разума! — но уж никак не левым предсердием и не правым желудочком!.. Что? Жар в крови?! (Хм… Отрадный факт! Юристка — и… «жар в крови»…) Ну да, собственно, есть и жар; никто не отрицает, что жар действительно имеет место, — но не будете же

вы мне возражать, если я замечу, что ваш пресловутый жар вызывается движением бешено несущихся курьеров — от разума к половому органу и от полового органа к разуму!.. И ваше сердце (о, не обижайтесь, прошу вас!), ваше сердце — банальнейший постоялый двор, в котором вышеупомянутые курьеры имеют обыкновение (и довольно похвальное обыкновение) инсценировать пьяный дебош и богохульствовать…

— Вот вам жар в крови и усиленное сердцебиение!.. Вы меня понимаете?

Ну, еще бы не понимать! Она не только меня понимает, но даже выражает полнейшее согласие и игнорирует мое поползновение к грубоватости… Ну уж а это, пожалуй, лишнее… — издавать мои гипотезы массовым тиражом! — что за убожество, подумайте сами! Вот лечь в постель — это я сделаю с преоткровеннейшим удовольствием… и даже сопроводить вас до комнаты готов с безграничной охотой…

«Лечь в постель»… «с преоткровеннейшим удовольствием»… — но, собственно, зачем мне ложиться в постель, если я уже заснул? и зачем засыпать, если я и без того лежу в постели и сплю… Мне просто стыдно (стыдно!) засыпать во сне — и погружаться в сновидения только

для того, чтобы ложиться в постель и снова засыпать!.. Тьфу, что за дьявольщина! Какой черт растолкует мне теперь эту галиматью!..

Нет, ну почему же мне должно быть стыдно чувствовать во сне погружение в сон?.. И нисколько даже не стыдно! Наоборот, до чрезвычайности интересно! — И вообще, смею вас заверить, во сне все интересно, — тем более когда чувствуешь, что все ваши действия — не ваши… да нет же, ччерт побери, — ваши! — но действия человека, отчетливо сознающего, что все происходящее — сон, и потому получающего неограниченные возможности в области изучения своих сонных действий…

Ну, вот неужели мне не интересно знать в данный момент, какое движение произведет моя передняя конечность, — тем более что я не властен над нею… Неужели же не любопытно: быть самому вершителем — и одновременно наблюдать себя со стороны! Чрезвычайно! чрезвычайно любопытно!..

— Послушайте, гражданка, вы все-таки не верьте себе… Не верьте, что вы его любите… (я говорю просто так… меня заставили говорить — и я говорю… (заставили!)… Я с любопытством внимаю каждому своему слову — и не знаю, что последу-

ет за этим словом… Я мучаюсь незнанием того, какое же следующее слово вытянут из меня… Я смеюсь над своей беспомощностью — и радуюсь тому, что эта беспомощность — только во сне…) Вы все-таки не верьте, что любите его! Вы просто убеждаете себя, что любите! Человек не может любить, он может только хотеть любить того или иного человека — и в зависимости от размера охоты — убедить себя в большей или меньшей степени в том, что он действительно любит данного человека! Вот вы — вы совершенно убеждены, что вы его любите… Но — представьте себе — вы попадаете под трамвай, обрушиваетесь с небоскреба или выигрываете 100 000 рублей по облигации государственного 3 %-ного внутр(еннего) выигрышного займа!.. — Как бы вы меня ни уверяли, но в данный момент вам такое же дело до него и его эмоций, как моему мизинцу на левой ноге — до эволюции звука «и» в древневерхненемецком наречии… Потому что у вас нет, нет времени убеждать себя в том, что вы любите его!..

И почему я уверил себя, что все эти словоплетения вливаются в меня со стороны? Если я все-таки не сплю, — то кто же помешает мне сейчас быть самим собой, исплевать «это пресло-

вутое внешнее воздействие, взять в собственные руки инициативу», — и ударить в затылок эту чересчур уж любящую женщину?.. Ну а если (боже!) я действительно заснул, — так это опять же до невыносимости интересно — видеть себя во сне прикидывающимся неспящим и одновременно наблюдать со стороны, как же это я буду освобождать себя от наблюдения со стороны!..

Опять парадоксы! Но, черт побери, они давно уже надоели мне, эти парадоксы!.. Я устал!.. Устал! И если бы положение мое действительно не было парадоксальным, я бы давно уже махнул рукой на все и лег спать… («лег спать»!.. Ддьявол!!)

— Извините, гражданочка, — это ваша комната?.. Ну, в таком случае я отказываюсь бить вас в затылок и удаляюсь со стремительностью существа нравственно гармонического!.. Спокойной ночи!..

В конце концов, я даже не рад, что освободился от этой дамы… Кто бы она ни была — объект сновидения или комплекс явных ощущений, — но она могла бы внести некоторую ясность в вопрос о моем теперешнем состоянии!.. А сейчас я разрываюсь от непонимания! — и одновременно от незнания того, разрываюсь ли я во сне или действительно разрываюсь от непонимания

своего теперешнего положения и причин разрывания!!.

Нет, господа, я обязан сейчас же заняться делом практическим — иначе я сойду с ума! Во имя спасения собственного разума — я должен, я обязан гладить брюки, в конце концов!..

Выгладить брюки… тщательно выгладить… — и завтра утром найти их неглаженными!! Это — невыносимо! Это — хуже сумасшедших перспектив!..

…Хе-хе… Выгладить брюки!.. Это гениально! гениально! — «выгладить брюки»!.. Нет, черт меня возьми, это действительно гениально задумано! Я сию же секунду исплюю парадоксы и примусь высасывать все возможное из электронагревательных даров цивилизации!.. И если завтра утром я обнаружу свои брюки действительно выглаженными, то какой же дьявол заставит меня сомневаться в явности всего происшедшего… ну а если они в прежнем состоянии будут покоиться на спинке моей кровати, то… ну конечно! конечно!..

…Я раздеваюсь, аккуратно складываю брюки, ложусь, традиционно погружаюсь в сон, — все прекрасно, по исстари заведенному порядку, без внешних помех, без стука, без размышлений

и парадоксов…

…Но — пробуждение!.. пробуждение!! Если бы я очнулся в образе Петергофской статуи или Валаамовой ослицы, я не был бы так раздосадован! Но… представьте себе! — проснуться в штанах!!! — это мучение! это сумасшествие! бред! средневековая фантазия! И все что угодно!.. Это, в конце концов, — пробуждение во сне! Да, да, пробуждение во сне! Я не проснулся — мне приснилось, что я проснулся!! Приснилось!! В таком случае — будьте вы все прокляты, но я не завидую тем, кому каждую ночь снятся пробуждения!!

Я вскакиваю, я хватаю себя за горло — и пробуждаюсь окончательно!..

…«Окончательно»!.. А кто сумеет уверить меня в окончательности моего пробуждения! Тем более что мне каждый день снятся люди, пытающиеся доказать явность моих манипуляций!.. Тем более что…

Но… боже мой… боже мой… неужели же мне без конца хватать себя за горло и из-за легкого каприза моей постели осуждать себя на вечное самоистязание?!!

12 ч. — 6 ч. ночи

14 января

— Да что вы, Александр! Какой я, собственно, де-

кадент?! Тем более — футурист!.. И почему это вы меня причисляете к «четверке»?.. Все эти — люди как-никак интеллигентные, эрудированные, практические… Что? Я — эрудированный?! Да ну вас! У Самосейки — гораздо более обширная эрудиция… И талантливости нет… Немножко знания извращенной психологии люмпен-пролетариев, тяготение к извращениям, и больше ничего… «Почему тяготение?» Не знаю, натура… Могу сказать больше: единственное, что я уважаю — грязь и темнота — во всем… Да нет, не среда… Среда меня не коснулась… «Что…» это даже не важно… Я? Больше всех на курсе? — Очень может быть… даже не сомневаюсь… а «почему»?.. опять же — «не важно»… даже не «не неважно» — а «так просто» и «вам не понять»… Ну что ж, буду валяться и в канавах… Обязательно буду… Что же касается извращений — так это изодранные нервы, одним словом — психология… И «футуристы» не поймут… даже — «тем более не поймут»… и Муравьев — тоже… А Михайлов и Скороденко — это уж совсем не то… Это — капризы… Повлиять? На меня? — Да нет, никто… А эта жирная — тем более… Она? Да ну, бросьте… Мой идеал — женщина-самка, женщина-садистка, падшая и бесчувственная… и уж никак

не мученица… Я — «прогрессирую в слишком туманном направлении»? Ну уж в не настолько «туманном»!.. А у вас как, Сашенька?.. Все благополучно?.. угу… Спокойной ночи!

15 января

Maman не умрет. И через месяц — не умрет. Хотя бы потому, что я слишком люблю, когда умирают…

И потом — для восьми последних месяцев не слишком ли много смертей?..

16 января

«Эй! Венька! Уберись-ка ты со стулом в свою комнату, — а то эта Музыкантова всю ночь будет ходить в уборную…»

2/I. Г. С.

«Ничего не понимаю!.. Мне мерещится, что ли? Посмот– ри-ка, Сашка… Она проходит мимо, Венька сидит, — и ни один друга не замечает!»

7/I. Г. С.

«У нее уже, так сказать, к футуристам симпатий нет… И даже к Венедикту… Теперь все Малютин, Рубцов и Терентьев…»

8/I. В. С.

«Сойдутся ведь два психопата… Уцепились вот

каждый за 5-е января и знаться теперь не хотят… Чего это особенного — 5-е января… Вы даже и не говорили друг с другом пятого… Только выдавили из себя в шесть утра: „Пойдем, что ли?“ — „Пойдем“ — и больше ничего».

9/I. Н.

«Ну почему „на хуй“! Почему на хуй! Ведь она тогда всю ночь перед 5-м январем не спала… А ты — „на хуй“!..»

9/I. Л. Ф.

«Ты бы уж поздравил ее, что ли, с днем рождения… А то совсем забыл девочку…»

15/I. Г. С.

«Ну, это даже смешно — целых десять дней не разговаривать… И оба довольны… Даже глупо».

16/I. Г. С.

16/I. 1.30 ночи

— Здравствуй, Венька… Это ты что читаешь?..

— Так… «Братьев».

— Что?

— Карамазовых.

— А-а-а… Ну как у тебя дела… с заочным и вообще…

— Да так.

— Ну как — «так»? Расскажи, что ли…

— Ну — все хорошо… Только не мешай, ради бога, читать…

— Да я и не мешаю…

— Черт тебя побери — «не мешаю»!.. Шла бы да занималась… Опять ведь провалишь…

— Ну и что ж… и пойду… А у меня вчера день рождения был…

— Угу… Ну иди, что ли, к черту…

— (уходя) Оссссел!..

— Хе-хе-хя-хя-хя…

17 января

«Главное — занести руку, а ударить — …почти бездумно… это легко…» И в шевелениях рук — гордость. Эти руки убили трех. Парадоксально то, что все три — женщины. И две — совершенно невинные. Третье убийство — единственное, за которым последовало раскаяние… И «ручная» гордость — понятна.

Точные детали университетского инцидента до сих пор остались невыясненными. Единственно кто располагает достоверными сведениями — так это Ст. Ш., внесший своими новогодними излияниями некоторую ясность в вопрос о начале Б-ской карьеры. Ясно одно — жертвой убийства

оказался объект нежных помышлений самого Б., — вполне невинная 19-летняя студентка, не сумевшая, впрочем, оценить по достоинству весовую категорию Б-ской эмоциональности.

Неизвестно, пользовался ли Б. взаимностью, но имевший место инцидент убеждает в противном. Впрочем, даже и не убеждает, потому что Б-ская психология никак не входит в рамки человеческой.

Убийство было совершено в апогее самой невинной ситуации. Злополучный «объект» освятил своим присутствием квартиру Б. накануне его отъезда в Петрозаводск, никак не предполагая, что в тот же вечер вынуждена будет с неменьшим успехом «освятить» мертвецкое отделение Ленинградской больницы.

Первый удар Б. был неожиданным, вероятно, и для него самого. По крайней мере, невинное перешучивание и совместная упаковка чемоданов никак не могла быть источником Б-ской злобы. Удар был нанесен неожиданно, из-за спины, в тот момент, когда «невинная» тщательно кропила одеколоном содержимое чемодана; — она мгновенно рухнула на пол и (удивительно!) совершенно безропотно, без единого крика принимала на себя все последующее.

Неизвестно, какие инстинкты руководили Б., когда он ударял сапогом по любезным его сердцу ланитам и персям. Он бил долго, равнодушно, выбивал глаза, обесформивал грудь — и в заключение без устали наносил удары в ее «естество» с серьезностию животного и удивительно механически…

Второй «инцидент» был еще более неприглядным… но зато менее юмористичным, чем третий… Два месяца психиатрической больницы и затем 3 года тюремного заключения несколько обогатили Б-ский жизненный опыт и обострили наклонность к романтике. Что и не замедлило сказаться после второго побега из заключения…

Этот инцидент был действительно романтическим, — тем более что имел место в пригороде только что выстроенного Кировска…

Возвращаясь однажды из Апатитского «Буфета» и имея чрезвычайно неприглядный вид, Б. тем не менее мог даже в темноте явственно различить распластавшуюся в переполненной канаве пьяную женщину… Побуждаемый жаждой не то полового общения, не то общения с равными, он не замедлил свалиться туда же — и в течение по меньшей мере пяти минут усиленно предавался побуждениям инстинкта в талой воде,

снегу и помоях…

Утреннее пробуждение несколько Б. разочаровало. Он с явным неудовольствием узрел перед собой женщину почти старую, с лицом изрытым оспой и залитым «обоюдной» блевотой… Неудовольствие перешло в бешенство, которое и побудило Б. без промедления выползти из канавы, наступить на горло ночной подруги, вероятно уже мертвой, и до отказа погрузить ее физиономию в скользкую весеннюю грязь…

Этот рассказ — у papan вызывал почему-то дикий смех. Мне же гораздо более смешным и нелепым казалось третье убийство. К тому же призыв на фронт ограничил Б-скую ответственность за его совершение — до 2 месяцев тюремного заключения…

Уже будучи человеком свободным и осуждающим чистоту и трезвость северной цивилизации, он (Б.) буквально — «нашел» в одном из захолустий Кандалакши законную спутницу жизни. Ничем примечательным, кроме персей и склонности к тихому помешательству, она не обладала, — и самое неудобное в этой склонности была непериодичность ее проявлений.

Но для Б. — это была «единственная любимая» им за всю жизнь женщина. И он неутомимо уго-

ждал ей и потакал всем ее странным прихотям…

Как-то ночью она осторожно соскользнула с постели — и в ночной рубашке принялась ходить по эллипсу, поминутно останавливаясь и извергая содержимое кишечника, — что не мешало ей, впрочем, беспрестанно напевать «Вдоль по улице метелица метет…».

Супруг лежал спокойно и, по обыкновению, курил папиросу. Но когда оригинальная «спутница» опустилась на колени перед портретом Косыгина и меланхолически зашептала: «…задушите меня… задушите… задушите…» — Б. несколько вышел из состояния задумчивости. Он аккуратно стряхнул пепел на бумагу, встал… И задушил.

18 января

Господа! Да я просто не знаю, в какую сторону обратить свое исправление!

Ну, посудите сами!

По одной версии я — «морально истощенный, умственно свихнувшийся и нравственный дегенерат», по другой — «квинтэссенция, апофеоз и абстракция человеческой лени!».

Для Муравьева я — талантливая скотина!

Для Романеева — абстракция девической улыбки!

А для Савельева — Раскольников!

Для Музыкантовой — «милый, милый ребенок, противный негодяй, гений и бездарный идиот».

Для Семара — «ярчайший футурист» и «нечто такое в высшей степени неуловимое».

А для Спиро Гуло — «исключительный», «неповторимый»… и «вообще черт знает что»!

Да меня исправляли!

Исправляли, господа!

С 10 февраля до 30 апреля меня неумолимо попихивало куда-то Общественное мнение, а я стыдливо оборачивался и цедил сквозь зубы: «Да ну, бросьте, что ли» — с 30-го апреля до 5-го января еще неумолимей «попихивало» «нечто такое в высшей степени пышное и двадцатилетнее» — до 9-го сентября изящным кнутиком Недосягаемости, а с 9-го сентября — грязным кулаком Взаимных Симпатий…

Ну да я ведь неисправим!

Честное слово, господа, неисправим!

Хи-хи-хи-хи-хи!

Ну ладно! Бросим это! — Господа!

Вы можете дать мне в долг двенадцать шестьдесят?

19 января

Всегда только Т.

В Ней совершенно ясно — не уверенный в бли-

зости окончания не будет итожить. И увлечение эргизмом ввергает в страх только ночью… Значит — виновата Она.

В Ней все скрыто. А грязные внутренности — убийственно «напоказ». И для меня — только Они; но в гораздо большей степени — Обладательница Их. Исключительно за грязь… Она чище всех прочих; а грязь — истерическая. И искренней чистоты.

В Ней все множится, кроме, разве, бездушия. Зрение — в семнадцать тысяч; все остальное — в куб. Днем свешиваться с крыши — не страшно. В Темноте свешивание даже в воображении заставляет хвататься за подушку, — и сменой тем для воображения отгонять страх.

Еще бы — не быть к Ней влекомым…

20 января

Как вам угодно. — Я могу и отчитаться. Но заранее

предупреждаю: не будет ни преувеличения, ни сглаживания, ни тем более точной констатации. Ни сентиментальщины, ни объяснений, ни восторгов, ни взрывов эмоций. Простое напряжение памяти и изложение сути в диалогической форме.

Можете обвинять в безэмоцийности и, если

угодно, смеяться…

— Ах, вы уже приехали!

— Ах, и вы тоже!

— Ну да, собственно, как видите!

— Ах, и вы тоже…

— Интересно все-таки, какая охота вам надо мной издеваться в первые же дни…

— Да, конечно, это незачем…

— И от вас пахнет…

— Водкой?

— Угу.

— Ну, это так… немножко… новоселье.

(до 1 сентября)

— Ну вот почему ты такой? Почему ты — не человек?

— Успокойтесь, гражданка, успокойтесь… Я так-таки человек, смею вас заверить, — а если вас раздражает мое поползновение к дегенерации, так это временно, настроение… и…

— Настроение… Почему у других нет никаких «настроений»?.. И что еще за трагедии…

— Повторяю: никаких трагедий…

— Значит — «настроение»… Ну, Венька, ну вот скажи, отчего у тебя эти самые — настроения?.. Ну вот неужели я не могу на тебя подействовать? Ну

кто, кто может тебя убедить…Ну, скажи — кто… Я бы не знаю, как стала бы его упрашивать…

— Да ну вас, гражданка. Надоели. Уйдите.

(1–8 сентября)

— Фу, какие мы оба достоевские!

— Фу.

— Как это все хорошо… И не грыземся, как в первые дни…

— Угу… и не грыземся…

— А вот у нас в Великих Луках…

— Ну! Что у вас! Вот у нас на Севере…

— А мама все болеет…

— Да? Четвертый месяц уже…

— А она так смеялась, когда я ей читала твое второе письмо… У нее тогда 39 градусов было…

— Глупая, наверное…

— Венька! Брось!! А то вот сейчас встану и уйду…

— Хм… уйдешь… и через полчаса опять придешь… как вчера… и будешь торчать еще 4 часа…

— Ну вот — хочешь — уйду и не приду сегодня?

— «Сегодня»! А завтра опять притащишься…

— Ну хочешь — не притащусь!

— Хочу…

— Врешь ведь… не хочешь…

(9–23 сентября)

— Ну, ты занимайся, а я тебе винограда притащу…

— Угу…

— Только не убегай без меня… А то — я знаю…

— Угу… Тащи скорей…

— Zu Fuss gehen… erwacht… zu Fuss… entwickeln… М-м-м!! ВОТ уж спасибо! А ты бы сама-то спать шла… Я и без тебя…

— А чего приказываешь? Я вот нарочно книгу принесла, буду читать. Чтобы ты не убежал… и всю ночь сидел…

— М-м-м… энт-гегент-рэтен… черт побери… руихь, руихь… ддьявольщина… энт-гегент рэтен… чего это ты на меня так смотришь… мне даже страшно… руихь…

— А ты занимайся… и не следи, пожалуйста, за мной…

(23 сентября — 5 октября)

— Что-о-о-о-о?

— То, что слышала… Ничего больше…

— Тты… сссвволочь…

— Угу… Счастливо… Не споткнитесь, пожалуйста, там у дверей стул… Темно все-таки…

Хи-хи-хи…

(6 октября)

— А ты думал, я уже никогда не приду…

— Ничего я не думал…

— Но признайся — то, что было в субботу, — это свинство…

— Никакого свинства…

— Никакого, главное… Ой, а вчера, помнишь, у…

— Ничего я не помню…

— А какого это черта ты на меня злишься? И какое вообще право ты имеешь — на меня злиться?

— А ты — какое?

— Ух ты, подлец!.. «Какое» еще, главное… Да я и не злюсь…

— Угу… и я тоже…

— А вот у нас в Великих Луках…

(11–12 октября)

— С тобой даже страшно в темноте сидеть… Вот говорим, смеемся… А вдруг ты мне по лицу ударишь?

— Хе-хе-хе… Фантазии, гражданка… А это даже недурно… Перед кем-нибудь сначала на колени пасть, а потом встать и ударить по физионо-

мии…

— Это для чего же?

— Так… Психологический эксперимент…

— Может, тебе еще на мне захочется проделать этот эксперимент…

— М-да… только, пожалуй, без первой части…

— И ударишь?

— И ударю!..

— Подлец.

— Как вам угодно.

(13–22 октября)

— Каждый день к тебе ходишь, уговариваешь…

— Вот ддьявольщина! — разве ж я заставляю тебя ходить и уговаривать…

— Еще бы — ты меня заставлял… Я бы тогда и не пошла…

— Чччерт тебя возьми.

— Тебя черт возьми… И прекрати эти глупости… Пойдем заниматься…

— Не пойду.

— Пойдешь…

— Не пойду…

— Дурак.

— Дура.

— Ну вот, скажи, чего ты хочешь от…

— А чего ты хочешь?.. дура…

— Дурак. Ну? — может, еще раз скажешь? Тогда буду бить… Пойдем, говорю, заниматься! У окна как раз два свободных места… Я тебя проверять буду… Похохочем… А?.. Ну, пойдем, Венька…ну вот две конфеты дам…мороженое куплю…

— Все равно не пойду.

— Ну, Веничка, ну, миленький, ну три конфеты куплю… на тумбочке уберу… ну вот, хочешь, на шее повисну…

— Да ну тебя с нежностями… Сейчас… пойду… Закурим по одной, что ли?

(26 октября — 9 ноября)

— …И всю жизнь, всю жизнь — плачу… Конечно, для всех я бестолковая дура… Может, я и в самом деле дура — хожу вот сюда каждый день… Все смеются, наверное… И болтают чепуху какую-нибудь… И пусть… Хочешь булки с изюмом?..

— Хочу… Это ведь лучше, чем слезы-то…

— Дурак…

— Ну конечно…

— А чего ты обижаешься?.. Это ведь я так… Я и не хочу ругаться…

— Да я понимаю…

(9 ноября — 3 декабря)

— А что, — я, по-твоему, плакать должна? Не заставишь! Если ты злой, так и все около тебя реветь должны? Хе-хе… Как бы не так… Вот сейчас возьму и буду здесь перед тобой штучки разные выкидывать… и свистеть буду в пальцы… и петь… И не прогонишь! Не прогонишь!..

— Катись-ка ты…

— Ну — куда? куда?.. ну договаривай…

— Отстань, к дьяволу…

— «Отстань»!.. А ты что думаешь — мне уж так трудно отстать?.. Думаешь, такое уж это удовольствие — со всякими тут ругаться… Вот я хотела тебе показать что-то… а теперь не покажу… И на коленки встанешь, умолять будешь — не покажу…

— Ккатись, говорю…

(4–13 декабря)

— Что?!! Ты… матом… Венька!.. Тты пьяный! Ты не мог мне так… Венька! Ты пьяный!! Да?..

— Ннет… не знаю… т-так…

(15 декабря)

— Ну пойдем…

— Да нет, не хочу… холодно… и второй час уже…

— Ну чего — холодно?.. Пойдем… опять без-

образничать будем… Ой как смешно, когда вспомню… Ты так замерз вчера…

— И ничего не замерз…

— Угу! Говори мне… Сам с меня и платок теплый стащил…

— «Стащил»! Сама же меня закутала, как черта…

— Ой, ну в этом платке ночью ты просто дитя, прелесть…

— Угу… Ну чего эта жирная и косой вечно целуются…

— А ты не смотри! Тебе вредно… развращаться… И не смотри на них… Ты дитя… пойдем, что ли, на улицу…

— Пойдем…

(21–29 декабря)

— Замолчи… к ддьяволу… я сам знаю, что мне делать… и вообще — уберись куда-нибудь подальше… противно даже…

— Иддиот… Что ты знаешь?! Ни черта ты не знаешь! Без меня-то ты заживо сгниешь, в водке сгниешь!!. А я то уж уберусь!.. И торжествовать буду заранее… Плюну на т…

— Прекратти… Сскот…

(5 января)

21 января

И вместо нервов прельстил оштукатуренный потолок… Вот видите… Видите… Это ведь он нарочно… Ему ведь совсем и не хочется опускаться — некогда… и потом — дисгармония… А двадцать один рубль расшевелили… А раз — шевеление — так какая же может быть гармоничность…

Он даже и не кривляется… Он просто упоен своим уродством… Вот видите — обернулся и целует свой горб… Он ведь ужасно любит свой горб…этот, горбатый… И уверен, что любовь — возвышает…

А что — туман, так это и не нервы…и не весь потолок… Да и не все ли равно…

22 января

(Из дневника вырвано несколько страниц кровью кающихся поклонников! Помните! — Засирание своего человеческого достоинства и откровеннейший мазохизм — в отношении к человеку любимому — дело самое святое!

А святость — отпугивает жаждущих освещения! В таком случае — да здравствуют сумерки и — долой электричество!!

Изъять из обращения карманные фонарики! Периодичностью — дисгармонировать скрытые нервы! Что же нам делать, если мы родились

сумасшедшими!

Мы — не выжили из ума! Мы не будем сжимать грязными пальцами пьедесталы румяных и улыбающихся рож! И оглашать… ⟨…⟩

23 января

Благодарение богу, нет никаких ударов, — и все спокойно.

Шестнадцатого пил.

Семнадцатого пил.

Восемнадцатого пил.

Вечером 18-го упал в постель — и проснулся 19-го в полдень. Протер глаза, повернулся на другой бок — и очнулся в полдень 20-го.

Двадцатого пил.

Двадцать первого пил.

Вечером 21-го лег. И проснулся в полдень 22-го. Сидел до вечера, стиснув голову руками. Вечером лег в постель. И ожидаемого не последовало. Прошел и задохнулся.

Двадцать третьего пил.

Двад

24 января

Завтра! Завтра!

Я уже чувствую себя вечерним…

…оно удаляется, — и то, что помещается

в нем — тоже…

…и все исчезает…

…а я не буду подымать голову и простираться вслед…

…я не устану быть незамеченным…

…и следить не буду…

…и не брошу последнего…

…и не потому что последнее обмануто…

…просто — не хочется…

…не хочется уверять себя самого в правдивости вчерашнего…

…и всего происшедшего…

…гораздо проще — лежать и захлебываться…

25 января

4-го июля не будет.

Там были плохие часы, здесь — ни секунды. И плакать не хочется.

26 января

…А Самосейку арестуем! В первую очередь! Изучим прозу и вскроем нелойяльность! Помните? — Борис неожиданно сталкивается в коридоре с неизвестной дамой? И дама приглашает в свой будуар неожиданно столкнувшегося?..

Смею вас заверить — Борис — не что иное, как мировой империализм! Хе-хе-хе! Он не отка-

жет в приглашении молодой даме! Вне всякого сомнения, мы имеем дело не с простой дамой, а с Египетской Республикой или (шире!) — с Ближневосточной Внешней Политикой. Он (мировой империализм) без трепета вступает в пределы дамского будуара (под будуаром разумеется ближневосточная экономика, а империалистическая жажда вывоза капитала остроумно возводится в ранг полового томления Бориса).

Переступив порог вышеобозначенного будуара, он закрывает дверь на крючок! Без сомнения, крючок символизирует конвенцию 1888 года! А что касается незаметности закрывания, так это — видимость, уверяю вас! Она (то бишь Дальневосточная Ближняя Политика) замечает все, — она делает вид, что ничего не замечает! И это в ее интересах, ччерт возьми! Ее плоть жаждет! А английские доллары-сперматозоиды зарождают колониальность в ближневосточной утробе!..

И вдруг — эта стыдливость!

Даже не стыдливость, а коммунистические наклонности полковника Насера!.. В этих наклонностях — вся суть дамской целомудренности! Ей, видите ли, больше не нужны английские доллары! Она национализирует собственную

экономику — и решает основательно заняться онанизмом!

Хе-хе-хе-хе-хе!

Коммунисты торжествуют! Коммунистические идеи играют роль бутафорских фаллов! Пусть — безжизненных! Но гарантирующих благословенное бесплодие!

А благородство империалистического полового томления высмеивает теперь даже неграмотный извозчик Непал!

Все — к лучшему!

…И везде — вуали!

Вы думаете — я действительно сейчас переворачиваю бутылку и наполняю второй стакан? Готов спорить на что угодно, — это мировой имп…

А-а-а-а, ччерт! Следует отметить — второй стакан пьется с меньшим отвращением, но обыкновенно сопровождается сморщиванием. Сморщивание погружает в воспоминания, а легкость проглатывания — ударяет в мечты! Кроме всего прочего — исчезновение всяких эмоций перемежается с удвоением. Это — почти тра…

А Доманович восстает против традиции!.. Я опасаюсь даже, что Доманович упорствует и нарочно меня трезвит отказом от ДДоомм и т.

д… В таком случае я убираю Домановича и настраиваюсь на «Подмосковье»… Нервы закачают Москву, Москва успокоит нервы…

И ве-э-эчно све-эт этих дне-еей

Будет жить ваа мнеееe.

Ну конечно же, и от Подмосковья не нужно ожидать бывалого качания. Сильное качание всегда сопровождается значительным… Качался 12 августа — и отверг maman. Извивался 16 августа — и обрел новую мать. Двадцатилетнюю и недостойную. А теперь — значительное в стороне. И даже Подмосковье не парализует нервы. Кружения не будет…

Водка не виновата в отсутствии кружения. Сколько бы я ни пил, я не буду качающимся, пока не закачается все находящееся в поле зрения. А если закрыть глаза — зашевелятся представления, исказятся мыслишки… И заменят Подмосковье… Пустоты нет, — а значит — хаос…

Он еще не коснулся Домановича, но столица уже раздвоилась — размышления о качаниях так-таки раскачали Подмосковье… Теперь только подтолкнуть кружение — и все предстанет невинностью…

Да и действительно — какая же может быть пу-

стота, если ветер сбивает с ног и дождь в темноте кажется ледяным… А в глазах и у меня, и у Недостойной двоятся кировские огни…

— Брось, Веничка, ты не сумасшедший. А я — нормальнее всех…

И триста грамм начнут ее сейчас выворачивать из внутри…

Это даже самое яркое — обретенная «maman» петляет по железнодорожному полотну, спотыкается и готова в любой момент удариться головой о мокрые рельсы и извергнуть из зева все содержимое… А сумасшедший der Sohn изучает траекторию удаляющейся maman и поднимает воротник куртки… И, провожая взглядом апатитовый поезд, ждет тревожных сигналов… И заранее хохочет… Оррригиннал…

Да разве ж я виноват, что моя природная maman имеет обыкновение все благословлять… и предсмертное остроумие супруга… и веревочную петлю Недостойной… и три пули калибра 9,6 мм в спине Юрия Васильевича… Все дышет невинностью…

И все — к лучшему.

Не исправлять же мне человеческий род, ччерт возьми… И не вечно же мне спорить с Ченцовым — о благородстве, а с Муравьевым — об ин-

туициях…

Я предпочитаю третий стакан…

Пусть теперь кривляются и Доманович, и Подмосковье, и веревочные петли… Нна здоровье, господа!.. Мне вас немножко жалко, ну да уж судьба… Мы сами, родимый, закрыли и так далее… Неужели не судьба, раз — закрыли и так далее… И потом — я слишком люблю плач… Стоит мне увидеть человека плачущим — и я на всю жизнь проникаюсь к нему бешеным увввважением…

Это все, наверное, от африканских нарродов… Духховное родство… И удобнейшие намордники. Как у выдающихся киноактрис… И почему-то страшно… Романеев читает Достоевского… и мне от этого страшно… И еще, может быть, от потепления…

Это всегда так — от потепления в погоде — приятный страх и ненависть к Кольскому полуострову… И «Мемуары» де-Коленкура…

27 января

Спиро Гуло обвиняет в загадочности.

Муравьев — в простоте.

И мне неловко даже в сугробе.

Неловко — и все тут. Что же со мной поделаешь…

Дневник
28 января – 31 марта 1957 г
III
Еще раз продолжение. И окончания не будет

28 января

А это даже интересно.

Каждый день подсчитывать оставшиеся зимние дни — и от первого марта ждать сверхъестественного.

Каждый день с восторгом воспринимать потепление атмосферы — и чувствовать ненужность февраля.

По утрам благословлять открывание дверей и стремительность сквозняка.

А ночью падать в сугроб и с удовлетворением констатировать отсутствие в небе северного сияния; а в самом сугробе — мартовский озон…

Я хочу первого марта!

Первого марта…

…я закрою двери и окна, зароюсь в постель, буду вспоминать жажду марта — и мне будут противны и теплота, и влажность!

29 января

Обязательно! Обязательно займусь сравнением.

Но теперь никак невозможно. «Январская» пустота. В голове и во всем.

30 января

Везде — ночь, везде — половое томление, и потому все — музыкально…

Г. Семар

Далекие огни

Темная ночь…

Блещут огни…

Где-то за дальним курганом пылают огни…

В сердце – вопрос…

В мыслях – рассвет…

Снова на крыльях мечты прилетает рассвет.

Темная ночь

Близит ответ,

Темная ночь мне расскажет забытые

сны…

Светлые дни

Близкой весны

Пусть убегут за курган, где сверкают огни.

В сердце любви

Не возвратит

Даже за дальним курганом мерцающий свет…

Пусто в груди…

Страшен рассвет…

Страшно мигают во тьме золотые огни…

Н. Тарлашев

Дремота

Тихо…

Все тихо…

Умолкают последние нежные звуки уснувшей природы,

Листья дремлющих ив что-то шепчут друг другу

безмолвно,

И какой-то неведомой грустью подернуты спящие воды…

Спящие…

Воды…

Безмолвно…

М. Петросян

Я устал

Я устал от любовных ропотов,
Я ослеп от ночного бдения,
Мне не нужно греховных шепотов,
Мне противны людские волнения.

Мне противно греховное бдение,
Я устал от любовного шепота,
Я ропщу на свое ослепление,
Я шепчу об усталости ропота.

Я шепчу о любовности бдения,
Но устал от ночной ослепленности,
Мне противны ночные волнения
И не нужно греховной влюбленности.

Я слепой – в ослепленности бдения,
Я устал от усталости ропота,
Я шепчу о греховных волнениях
И взволнован греховностью шепота.

(из цикла «Господа, я встал с постели»)

А. Терентьев

Ни слова

Ни слова прощания, ни слова прощения,
Ни проблеска жалости, ни тени раскаяния, —
Забытыми вязами ночного свидания
Не будет внимаемо соловьиное пение…

Но снова забытое проснется в сознании
И снова рассеется туманность забвения, —
И сердце согреется сознаньем раскаяния,
И счастье сознания искупит прощение…

Л. Самосейко

Бросьте кокетничать!

Ах, погодите, милая!
Вы не сказали главного:

Если вы любите, милая, —
Отчего же боитесь главного?

Ах, перестаньте, крошечка!
Вспомните ваше прошлое!
Вы же признались, крошечка,
Что ваша невинность – прошлое!
Ах, не сердитесь, лапочка!

Ваша упорность тягостна!
Разве ж бывает, лапочка,
Тело любимого – тягостно?

Ах, поспешите, душенька!
Вот и рассвет подымается!
Вместе с рассветом, душенька,
Хер и любовь подымаются!

Сбросьте стыдливость, милая!
Сбросьте бюстгальтер, лапочка!
Сбросить вам веток, душенька?

Сбросить вам счастье, крошечка?
Сбросить?!
Прррекрасно, Шкатова!
Сколько с меня причитается?

В. Савельев

Музыкальная элегия

Ночь встречает меня душным запахом трав,
Томным блеском луна покоряет меня,
В этом блеске волна непонятно грустна
И напрасна тоска в дивном запахе трав.

Я не стану взывать, дорогая моя, —
Ты обманешь меня, не узнаешь меня, —
И ночная земля не устанет рыдать,
И меня навсегда заласкает волна...

Вновь настанет весна, пролетят облака,
И угаснет в веках мой печальный рассказ,

И заплачет луна, и затихнет волна,
И заполнит глаза молодая слеза…

31 января

И обязательно Валерий Савельев…

…иногда — в обличии водочной бутылки, но чаще —

в образе ангела-хранителя…

И в этом случае даже приход его заранее предсказывает видимость…

От земли поднимается традиционный туман… скорее, не туман, а тепловые волны… что-то вроде испарений нагретой земли…

И надоевшие чудеса моментально улетучиваются в atm…

А все воспринимаемое начинает вибрировать… Все предвещает ангельское шествие.

Это — Он.

…Он останавливается, опускает руки и аккуратно пережевывает колосья национального герба… Он уже не вибрирует. Он только любуется тихомировским отражением… И весь его вид выражает полнейшую растерянность перед лицом совершаемых чудес…

И я объясняю ему, хотя понимаю, что недостойно чудесному растолковывать материальность

совершаемого…

Я объясняю ему, что только перцовая виновата в тихомировости его отражения…

…а в зеркальной поверхности 220-вольтного утюга его лик предстанет перед ним во всем благородстве Иденской физиономии…

…и что это — чрезвычайно увлекательно — рассматривать свое отражение во всех зеркальных поверхностях — и с удовлетворением сознавать, что в колпачке будильника перед вами вырисовывается Бридкин, а в луже Остаевской мочи — капитан чехословацкой хоккейной команды…

…и тщательно изучив химический состав Остаевской мочи, вы можете с научной точностью определить причины отсутствия в вас спортивных наклонностей…

…а распознав в хоккейном капитане человека нервного, с уверенностию констатировать степень Остаевской невинности…

…я объясняю ему…

…но не в силах исказить усмешкой скорбный ангельский лик…

И я продолжаю убеждать его в том, что ничто так ярко не характеризует духовное богатство человека, как то, что он находит для себя дей-

ственным в смысле пробуждения эрекций…

…и обосновываю естественность Матусовского бессмертия…

…и в доказательство привожу цифры роста азиатской преступности…

…вместе с ростом материальной заинтересованности кооперативных работников…

…И ему вдруг становится так тоскливо, что я обрываю себя на полуслове…

И поворачиваюсь на другой бок.

10 ч. утра

1 февраля

Долой трагедии!

И — никаких симпатий!

Лично меня интересуют только панельные узоры!

2 февраля

Любопытно то, что К. отметает семейные обстоятельства и все внимание сосредотачивает на «личных»…

В его голове все предстает вполне разрешимым и безобразно понятным:

Вас ударяют зимние каникулы, потом весна…

Лето толкает в другую сторону — и вы иначе воспринимаете весенний «объект»… Невин-

ность предстает уродством. И только потому, что весенний «объект» кажется даже в смысле внешности — искажением «maman»… А тяготение к Искаженной заставляет стыдиться лета и проникнуться брезгливостью к «maman»…

Декабрь окончательно все мутит. И в голове — полнейший хаос…

Все невообразимое начинается с 10-го:

Двое суток проходят в ожидании…

13-го вы неожиданно поворачиваете к августу — и в ночь на 14-е пытаетесь всхлипывать…

14-го глотаете водку.

А на следующий день, принимая Schwester Ант. Григ., втискиваете мат в выражение крайней раздражительности…

И вместо истерики слышите трогательные успокаивания.

И на целую неделю отбрасываете от себя Schwester…

16-го снова пьете,

17-го неожиданно «реабилитируете» «maman» и пытаетесь благословить изящество колючей проволоки…

В ночь на 18-е серьезно помышляете о самоубийстве.

А днем ударяетесь в меланхолию… и мысленно

падаете перед «maman»… И целуете белые икры… И слышите над собой традиционный «maman»-овский афоризм, который заставляет холодеть…

19-го пьете,

20-го проходите мимо Schwester и вдруг повторяете вечное «maman»-овское: «Все равны, Веничка! Все один божий хер сосем!» — и внутренне заливаетесь идиотским смехом…

21-го исключаетесь из университета.

В ночь на 22-е попадаете в музыкантовские лапы…

И целую неделю не пытаетесь из них вырваться…

25-го с восторгом приемлете весть о самоповешении «maman» — и снова ударяетесь в sentiment…

Еще несколько фактов:

Вечером 25 декабря вы спокойно откладываете письмо — и внутри вас — сплошной детский восторг, без малейшего волнения. Вы ложитесь в постель и видите перед собой обычнейшие ржавые трубы, которые за 4 стромынских месяца вполне вами изучены и не представляют никакого интереса. Но вы смотрите на эти трубы — и вдруг вас охватывает невероятное волнение, которого вы никогда раньше не испытывали. Вы не думаете

ни о веревочной петле, ни о чем другом, — вы видите перед собой только испорченные железные цилиндры, вы прекрасно сознаете, что это ржавые трубы — и ничто иное…

И тем не менее вы не просто — волнуетесь… Вам почти не хватает дыхания… Одно мгновение вам кажется, что в НИХ — ВСЕ… вы спешите отвернуться… и целую минуту восстанавливаете дыхание…

Или — еще:

Ночью 16 августа вас неожиданно охватывает физическое отвращение к собственной матери… Вы как будто снова вдыхаете запах Недостойных ног, снова чувствуете

на своем лице грудь Недостойной — и вам хочется во сне еще раз быть «прижатым» и уже никогда не отрывать своего лица… Одно представление — убивает в вас все сыновнее — и вы хотите видеть родную мать непременно мертвой… Мертвой… иначе вы сами ее задушите…

Другого рода отвращение утром 26 декабря вызывает в вас созерцание Ант. Григ. И отвращение необъяснимо… Вам совсем не кажется, что ласковая Schwester — искалеченная и снятая с веревки «maman»… Вы даже не ждете, что ЭТА начнет сейчас извергать рвоту и отборный

мат… Вы хорошо понимаете, что не будет ничего подобного… Не будет, потому что внешний вид Ант. Григ. хотя и повторяет «maman», но ломает в нем самое главное и все остальное убивает… И только поэтому она не будет перед толпой воинов Советской Армии обнажать половой орган и щурить пьяные глаза… «Мальчики! Гонорррея!» и идиотски смеяться… А потом восторгаться перед вами своей манерой отпугивать… И «невозможность» — бесит вас… Вы прослушиваете преимущества заочного отделения и ужасно волнуетесь — стоит вам почувствовать запах водки из этого рта — и вы сойдете с ума… вы последуете примеру Бридкина и ударите ее ногой в… Ударите именно туда, потому что, в противоположность «maman», вы не можете иметь точные сведения о цвете ее половых волос минимум из десяти источников…

И потом долго не можете унять дрожь своих пальцев…

Уверяю вас, это не романтично… Я сожалею только, что в наследство от отца не получил умения совершенно искренне смеяться надо всем ужасным…

И об этом — последний раз…

Мне самому… дурно…

3 февраля

Подите прочь! Сегодня я — сын алтайских степей и игнорирую первые февральские бураны!

На поприще самоубийств мне улыбается карьера! И Алтай — свидетель! Алтай протягивает мне потную ладонь! Степная столица выбрасывает по одному!

Одним словом — Тарлашев одобряет мои замыслы! Я окрылен!

Завтра в столицу въезжает толстая. У меня развязаны руки. Последний январский день — со мной. 4 февраля убьет остальное.

4 февраля

«Да я тебя понимаю, Вениамин, я вообще хорошо понимаю тебя и тебе подобных… Просто — люди, которые обо всем судят из книг… Вас лелеяли мама с папой, заставляли учиться, держали в руках… А теперь, значит, вы предоставлены самим себе, вам все кажется, так сказать, ничтожным, легким и радостным… Заиграла молодость… легкомыслие молодости, если можно так выразиться…хочется оригинальничать, на все плевать, пускать пыль в глаза… А ты вот посмотри жизнь… Ты узнаешь, какой ты был глупый, когда оригинальничал… А все-таки все действительно не так просто, легко… и не так весело, как тебе кажется… Ты даже еще и любовь-то не знаешь, что такое… А порешь такую чушь про семенники… Я вот тебя уверяю, — если ты полюбишь кого-нибудь, то любовь тебя перевернет… Вас всех не так трудно и понять… Вы у меня как на ладони…»

А. Ченцов

«Тебе просто вредно читать Достоевского… Обязательно будешь таким мрачным, если запрешься в комнате… ощущать там всякие ужасы будешь… и тебе все будет казаться мрачным и ужасным… Тебе вот правильно говорили… что в действительности все не в таких мрачных красках… Ты вот ненавидишь смех, на всех смотришь, как зверь, со своей кровати… И на что тебе жаловаться, интересно?.. Насчет девчонок у тебя всегда будет прекрасно… В твоих способностях никто не сомневается, учиться ты можешь замечательно… И непонятный ты, чччерт… Все ведь живут хорошо, как люди… Ты не забывай никогда, что ты живешь в советском обществе… а не в какой-нибудь там…»

С. Гуло

«В таком случае, о чем ты думаешь вообще?.. Вот ты говоришь — читаю книгу и вдруг бросаю ее и без движения лежу подряд несколько часов… Так интересно все-таки, ты ведь о чем-нибудь думаешь… Ну, не о будущем, предположим… Хотя я и первый раз встречаю человека, который совершенно не думает о будущем… Ну, вот хотя бы твое отчисление из университета… Я понимаю, человек, у которого в перспективах — хорошая, трудовая жизнь, человек, жаждущий нового, —

ну тогда понятно, он может выражать радость или равнодушие… Но ведь ты-то, ччерт побери…не понимаю!! Ты что, насквозь легкомысленный?.. Так это на тебя не похоже… Легкомыслие у тебя показное… Я сразу тебя распознал… Я всю ночь слушал твою беседу с этим… албанцем… и убедился, что ты человек чертовски умный… Что касается твоей лени, так я совершенно ничего не понимаю!.. В жутких семейных условиях быть первым в школе по прилежанию… и тут вдруг… Не понимаю, не понимаю… Я сегодня даже хотел побеседовать с твоей посетительницей… Между прочим: будь более воспитанным в отношениях с женским полом — а то что же это такое — дымить девочке в нос и тут же посылать ее к черту… Удивительная терпеливость… Ты, собственно, к ней ничего… этакого… не имеешь? Нет? Ну, тогда тем более…»

Заочник

«Брось это всё, Венидикт! Как-никак жизнь-то ведь она хороша, черт возьми! Солнце… любовь… радость… и остальное… Прославлять веселье надо, Венидикт, — у тебя все к этому данные!.. Читай Кольцова! Бернса! Улыбайся! Хотя бы потому, что тебе слишком идет улыбка! Люби!.. И в старости тебе приятно будет вспомнить молодые годы! А ты… Глядишь на невинную, приятную девочку — а видишь… блевоту, сифилис, животность какую-то… Да я бы на месте этой толстенькой… а чччерт… Как это вы оба… меланхолика… не понимаете, что ведь жизнь-то! жизнь!..»

С. Сайтов

5 февраля

Главное — пережить февраль…

1 марта уже кажется священным…

То, что началось 26 декабря, до невыносимости разрастается… ночью почти страшно… а днем — лужи приводят в восторг…

Я не хочу верить, что все началось с декабрьской петли… Только февраль и показал петлю… И я ее забуду, обязательно забуду…

Только бы… первое марта…

6 февраля

⟨Пусть только попробует!⟩

8 февраля

Все — хорошо…

Вы совсем не думаете оригинальничать, вы просто узнаете, что эта неделя — последняя в смысле жилищно-коммунальном…

Только и всего…

Известие вас не волнует, вы спокойно возлагаете на приказ коменданта массивную пролетарскую пятку…

Уже пролетарскую…

И далеко не восторженно приемлете музыкантовский стук…

Вас, конечно же, — радуют…

Вам до невероятности хочется…

И на вашей физиономии — брезгливая восторженность…

А улыбки — в одинаковой степени и нескончаемы, и обоюдны…

И без этого невозможно — вы оба слывете загадочными в пределах своего пола…

Вы улыбаетесь…

И неожиданно для себя просите прекратить посещения…

Вам надоели «эмоции»…

Всего-навсего…

Они вам совсем не надоели, вы только пред-

ставляете себе, что они надоели вам…

Даже не представляете, а хотите представить…

Да и вам совсем неинтересно знать, что внутри вас, вы просто попросили прекратить ежедневные стуки…

Потому что периодичность стуков…

Во-первых, порождает сплетни, а во-вторых — расстраивает ваши нервы, как и всякая другая периодичность…

Ваши доводы убедительны…

Но они не казались вам настолько действенными…

Настолько действенными, что вы даже не смотрите на удаляющуюся, — …

Вы ошарашены убеждением в убедительности доводов…

И даже не ошарашены…

Мало ли что внутри вас — в действительности-то вы же совершенно бездумны…

Вы проживете оставшееся без стука…

Уедете без стука…

И ничто не омрачит.

9 февраля

Яцкявичус выдвинул ТНВЕ.

Михайлов — в восторге от неврастении.

Муравьев ударился в намечание перспектив.

12 февраля

Магю-ю-у-у-у!

Перенестись в заоблачность и немножко посидеть…

Белые коврики!.. Самое удобное из всех жизненных… Благ!

Через неделю буду рыдать… Двоюродные сбегутся с медикаментами… Искусственное дыхание… И все отдадим ему!

Завтра — моя первая ночь!.. Я заберу с собой все относительное… Скамейка… Даже невозможно распознать то, что шесть недель манило!.. Семь!.. И буду тщательно углубляться в ядерные и половые проблемы!.. Обязательно…

Все встанет на место!.. А я не в силах любить то, чего не созерцаю… И за неделю странствий!..

Все приютит зимняя добродетель… Уткнусь в сочетание четырех букв… И плакать про себя — самое освежающее!.. А ЭТО улетучится… Сам разбросаю!

Пока — в теплое лоно… «В»… а не «на»… Все северное вытрясти в первый же вечер!.. А делать только желаемое — это и есть отдаваться воле рока!

В первый же вечер.

13 февраля

Дева Ночная Романтика жаждет приять меня в свои объятия.

А мне гораздо более по вкусу рослый армянин Ночлег. Дыхание закавказской силы выбивает из меня половые откровения, и тешит мои взоры светолюбивый член, почерневший от нежности…

Все духовное заглушается во мне единением с армянской нацией…

Все дофевральское растворяется в привокзальной атмосфере…

И я совсем не намерен спохватываться или приходить в сознание. Что касается сознания, — так теперешнее мое горизонтальное состояние — высшее из всех 18-летних проявлений моего практического разума.

Хотя само горизонтальное состояние несколько неразумно. В этом смысле, — я готов отдать должное практичности инвалидов. Им гораздо теплей; у них еще есть желание оставаться вертикальными и отдавать оставшиеся конечности в фонд национального фольклора.

А я не намерен поддаваться агитации заводов Главспирта. Меня вполне удовлетворяют каменные ступени и вокзальные сквозняки. Я с наслаждением запахиваюсь в пальто и пытаюсь

переключить внимание на что-нибудь более двуногое.

Двуногое нарочно меня избегает. А инвалидный грохот переполняет черепную коробку.

Что бы ни олицетворяли грохочущие костыли — объемистость жизненности или пролетарскую неумолимость, — мне важен сам факт соприкосновения шести символов с транзитным паркетом…

Голове моей, жаждущей торможения, в данный момент ненавистны все соприкосновения, убивающие замкнутость шумовыми эффектами…

Моему горизонтальному положению несимпатично массовое падение пролетарских костылей…

Мне нужен сон хотя бы с точки зрения гигиенической.

Однообразие ощущений убеждает меня в рентабельности гигиены…

Я засыпаю…

И не массовое падение раздвигает теперь подо мной отходы деревообрабатывающей промышленности. Не инвалиды, а самые заурядные двуногие стряхивают с себя опилки и ковыряют в пальцах нижних конечностей, сопровождая беспрецедентное ковыряние оглушительным

грохотом…

Грохот не возбуждает.

Грохот слетел ко мне вместе с источником шума и трупного запаха. Оба они убеждены в непогрешимости мозговой биологии — и предпочитают ненужное мне усыпление.

Я слишком хорошо понимаю их…

От моих восприятий не скроется искривление белорусского лика, в который преображается источник… Оно мне давно знакомо, это искривление… И физиономии всех сбегающихся на шум давно уже опостылели мне, — только испуг, начертанный на знакомых лицах, скрашивает однообразие…

— «Как отвратительно пахнет!» —

Толпа окружает страдальца, и каждый высказывает внутреннее раздражение.

— «Как отвратительно пахнет!» —

Каждому хочется еще раз дотронуться до пострадавших конечностей, зафиксировать размеренные движения хозяина трупного запаха, раздразнить, убежать…

— «Ничего не поделаешь… Придется… отрезать».

И толпа не шарахается, не выражает удивления. Толпа продолжает следить за вычищением

пальцев, которым уже не суждено быть пальцами…

И лицо снискавшего людской интерес освещается виноватой улыбкой…

— «Ничего не поделаешь… Придется… отрезать».

Неизвестно, для чего нужно было выражение сострадания, но на минутные улыбки толпы оно возымело желаемое действие. Никто не жаловался —

— «Как отвратительно пахнет!» —

Никто не оспаривал у соседа права на лучший костыль. Всех объединило склонение к пальцам собственных ног. И каждый убеждал другого в неповторимости своего уродства, ощупывал забытые травмы, плакал, нюхал базарный чеснок…

Никто не верил, что существуют двуногие.

12 ч. — 1.30

14 февраля

«Извините… Это вам кажется, что я пьяный… Я уже давно… протрезвел… Ну, раз вы говорите, — я пойду… уберусь… Меня ждут комфортабельные канавы… Еще раз — извините».

15–16 февраля

Ни голода, ни эмоций, ни воспоминаний, ни перспектив, ни жажды папиросного дыма…

Одно сплошное ощущение холода.

Вокзальный пол леденит позвоночник, сквозняки преследуют и в тоннелях, и в багажных кассах, колебания атмосферы проникают за ворот и обшлага, ожесточают нервы, заставляют нескончаемо измерять шагами просторы холодных опилок…

Улица срывает пальто, низвергает массы мокрого снега за воротник куртки и в сотый раз вышвыривает на холодные опилки багажных касс…

В глазах — не жареные котлеты и не дамские прелести.

Обычнейшие радиаторы водяного отопления.

17 февраля

«Он пришел просто так.
Просто так мы сидели с ним до утра.
И я совсем не ожидала, что так получится».
(Т. Мошкина. Страница *«Мемуаров».*
Первоначальная редакция)

Мне стыдно!
Мне стыдно!
Мне стыдно!

(Раздумья Мошкиной по оформлении первоначальной редакции. 7 часов вечера)

Повсюду меня преследуют фаллические призраки и ожидание мирского возмездия за преступные блаженства!.. И я уверена — это последние мои преследователи…

Все будет хорошо… Все обойдется без болевых ощущений…

Я заранее уже слышу материнские вопли над телеграммой-молнией…

Я уже сейчас вижу любопытствующие лица толпы растерянных однокурсников…

И среди них…

Все будет хорошо… Все обойдется без болевых ощущений… Газопровод Саратов — Москва вплотную придвигается к моему сердцу… Туман беспамятства окутывает мое существо…

Со слезами в глазах, с болью в сердце и с дрожью в голосе я восклицаю в последний… в последний раз: Я невинна!

Я сердцем невинна!

(раздумья, 9 часов)

Нет… это было бы слишком жестоко. Я должна проститься с ним… Я обязана проститься… В последний раз он вольет в меня… он зародит во мне… (м-м-м)…

…угасшую веру в безгазовое существование… Отодвиньтесь!.. отодвиньтесь, Саратов!

(10 часов)

Ну почему мне стыдно, если половая разнузданность — эпохальна?

Почему потеря половой стыдливости обязательно должна ввергать меня в пропасти стыдливого идиотства?

Почему должна меня смущать эволюция моего собственного организма? —

Если вселенная не приемлет нормы коммунистической стыдливости!..

Ведь сожительствуют и без прописки разнополые небесные ангелы!

Ведь и без загсов процветает цивилизованный Париж!

(11 часов)

Я была у него. Гы.

(12 часов)

«Боже… Я пронеслась… как долго я пронеслась!.. В моем обонянии вздрагивают звуки мужского пота! В голове кукарекал восходящий закат!..

Я постигала половое уединение!

Я предавала забвению человеческие присутствия!

Я раздвигала…

…сферы половых возможностей…

Я раздвигала…

…радиус действия полового магнетизма!

С Запада катилась неудержимая сила славянской необузданности!..

И живое… мимолетно-живое!.. воплощение неудержимости всю ночь меня аплодировало».

(окончательная редакция)

18 февраля

Р-р-р-р-р-р-р-р-р! Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!..

19 февраля

Минутку внимания!

Вы меня не совсем правильно поняли!

Я — не оригинал!

Я ничего не отрицаю, хоть и сознаю, что отрицать все — и заодно отрицать нигилизм — чрезвычайно увлекательно и не требует мозговой изощренности!

Человеческие действия могут меня волновать, но никогда не вызовут во мне ни одобрения, ни протеста!

Я не признаю разделения человеческих действий на добродетельные и порочные! Если мои действия удовлетворяют меня — и людей, вну-

шающих мне чувство удовлетворения самим фактом своего существования, — в этом случае в их и в моей власти признать удовлетворительными для нас порочность или добродетельность моих действий!

Если же оценка моих действий проистекает от человека, мне незнакомого и, следовательно, порочного в силу незнакомства со мной («он позволяет себе наглость не знать меня!»), — я не премину доказать обратное!

Если мои убеждения — логически верные, я торжествую! В противном случае — без промедления отрицаю логику!

Я — человек дурного вкуса и животного обоняния!

Я никогда не бываю счастлив, в обычном понимании! Я могу только иметь вид человека, напуганного счастием!

Я даже не разграничиваю понятия «счастие» и «несчастье», точно так же как не различаю вкуса голландского и ярославского сыра!

В лучшие минуты — я могу преследовать цель, но непременно — цель, убегающую от меня ленивым галопом! Рысь и аллюр меня не прельщают!

Общечеловеческие понятия красоты ввергают меня в состояние недоумения! Мне понятно на-

слаждение мелодичностью звуков! — Мелодичность — выражение грусти! А грусть не может не быть красивой!

Мне понятно восторженное восприятие природных красот! Но чем более привлекательны для человеческих восприятий произведения искусства, тем более они искусственны!

Немногие произведения искусства могут и во мне разливать удовлетворение! — Так же, как может восторгать меня вынужденная грациозность в движениях человека, скованного ревматизмом!

Красиво уложенный навоз может услаждать мои взоры! Но созерцание мраморных апофеозов итальянской красоты не может вызвать во мне ничего, кроме отвращения, в лучшем случае — равнодушия!

Я — человек относительно нравственный!

Незнакомые люди вызывают во мне чувство равнодушного озлобления, а все прочие относятся мною к разряду любимых или презираемых — в зависимости от степени лестности их собственного мнения обо мне!

Для меня не существует предательства просто! Я отвергаю предательство, одухотворенное благородными целями! И считаю совершенно

естественной способность человека к предательству ради удовольствия быть предателем!

Мне безразличны половые проблемы! Но я с восторгом приемлю любой намек на бисексуальность!

Всякое половое откровение вызывает во мне отвращение! Но половые извращения всегда будут значиться в моем сознании как высшее проявление прогресса человеческой психики!

Я — оптимист!

И склонен полагать, что все мне не нравящееся — комплекс моих капризных ощущений!

Я восторженно приветствую любое отклонение от нормально человеческого! Но я не могу понять, почему отдается предпочтение «возвышению», если «верх» и «низ» — однородные отклонения от общечеловеческого уровня!

К тому же возвышение — временно!

А быть «ниже» — по свидетельству физических законов — гораздо более устойчиво!

Я не верю в существование людей искренних и принципиальных! Можно уверить себя самого в своей принципиальности! Можно быть принципиальным из принципа! (Бык — упрям, а следовательно, принципиален!)

Но ведь гораздо легче — не менять своих мне-

ний, вовсе их не имея!

Что же касается взглядов, то «собственное мировоззрение» — так же банально, как «коран толпы» и «огнь желанья»!

20 февраля

Пейте… пейте…

Пока еще на дворе потепление…

Пока еще моя рука сдерживает дрожание крана…

И вас не отпугивает…

Пейте…

Бедные «крошки»…

Я вместе с вами чувствую приближающееся похолодание…

И кутаюсь вместе с вами…

Пройдет неделя…

Другая…

Снова заговорит с вами ожившее…

А меня с вами уже не будет…

И вы не напьетесь…

Не напьетесь…

1.30 ночи

22 февраля

— Гранька, я тебя ебать больше не буду.

— А на хуй ты мне сдался сам-то… Другие пое-

бут…

— Ну! Что другие! У меня ведь все-таки хуй 22 сантиметра… А это все — шваль.

— Катись-ка ты в манду, поросенок! Как будто у тебя у одного двадцать два сантиметра… Другие полюбят!..

— Ха-ха-ха! Другие! Кому это захочется тебя любить?! У тебя же пизда рюмочкой!

— Рю-ю-умочкой, поросенок! Такую рюмочку ты еще поищешь! Рюмочкой… Сам ты…

— Вот у других — стаканчиком пизда! Вот уж этих хорошо ебать… Продернешь пару раз на лысого — сразу полюбишь… А это — что!.. Грязи, наверно, у тебя полная манда!..

— Дурак поросенок! Грязи-то у тебя на хую, наверное, много… А у меня-то нет… Можешь не беспокоиться…

26 февраля

А ведь я где-то и раньше слышал это.

Даже не так давно.

Помню, еще в апреле прошлого года я возлежал на перилах заветной лестницы и каждое колебание противоположной двери отдавалось во мне учащением дыхания. Я был вне себя от эротических восторгов. Тогда я воспринимал знакомые звуки почти безболезненно…

Нет, все-таки это были не те звуки…

Я не мог их тогда слышать…

Чудовищная смесь национальных мотивов сотрясала мои барабанные перепонки, и я забывался в сексуальном головокружении.

Помню, уже в конце апреля, обыкновенный стул был для меня иконой. Апрельский воздух раззадоривал слизистые оболочки моего воображения скипидаром пережитых восторгов…

Я ничего не слышал, для меня начинался сумасшедший май…

Я почти бессознательно переходил в горизонтальное состояние, ставшее для меня нормальным вплоть до наступления нового года…

Как сейчас помню…

Я ничего не говорил и только упивался мелодией знакомого голоса, единственным моим желанием было прикоснуться к источнику голоса, — и любое прикосновение ввергало меня в бездны половых водоворотов и убийственного головокружения.

То был всего-навсего май, в который ничто, кроме уличных мелодий, меня не сопровождало… И даже тогда, когда объект моих желаний возлагал ладонь на мой страдающий лоб и заставлял меня лежать в таком состоянии, — даже

тогда я не слышал того, что слышу сейчас.

А ведь тогда ⟨можно было услышать столько…⟩

И все-таки в июньские дни только романс Верстовского действовал на меня успокаивающе… Не знаю почему — но июньская вершина всех моих жизненных половых влечений охватывается только этими звуками…

Вероятно, я был просто невероятно симпатизирующим мальчиком, и предметом моих помыслов могла быть только двадцатипятилетняя женщина… Не знаю, но даже эта странная ассоциация совершенно не объясняет мои июньские музыкальные вкусы.

И весной объект моих помышлений не казался мне святыней. Но осенью грубое извращение нежности представлялось мне даже поэзиею… Пихнуть локтем в желанную грудь и произнести при этом «У-у-у, жжирная», — значило в сентябре — получить два высококачественных пирожных, столько же трогательных хватаний за руки и дюжину ласковых взглядов.

Многое мне не нравилось.

Мне не нравились в октябре ее настойчивые стремления овладеть моей рукой и в течение десятков минут почти ежедневно гадать по ней…

Не нравилась ее привычка курить папиросы,

передавая их бесконечно «из уст в уста» и при этом покрываться стыдливой краской…

Не нравились, кроме всего прочего, ежедневные посещения и глупые чередования материнской заботливости с показным равнодушием.

И вдруг — ноябрь… Я даже не запомнил этого дня, я никогда не прощу себе того, что я не запомнил этого дня… Не знаю, чем меня привлекло это новое…может быть, тем, что я живу только прошлым… и все, чем я в данный момент существую, только в будущем может быть пережито мною…

Не знаю, — но каждый звук ее голоса меня облегчает.

27 февраля

С утра — состояние нравственного туберкулеза.

Почти непреодолимое желание еще раз услышать, вбить в голову и бесконечно насвистывать.

Неужели же я совершенно свихнулся?

И у меня больше нет другой отрады?

28 февраля

> *Дайте мне чего-нибудь глотнуть, господа!*

И, еб вашу мать,

«Пусть будет завтра и мрак, и холод, —

Сегодня сердце отдам лучу!»

1 марта

Vestibulum находится в нижнем конце sinus urogenitalis, представляющего продолжение первого; эта часть носит название vestibulum vaginae; в нее открывается uretra.

Когда промежность и уретроректальная перегородка уже сформировались, то передний отрезок клоаки носит название sinus urogenitalis. Но такое обозначение не соответствовало бы действительности, потому что в данный момент Мюллеровы каналы еще не открываются в Sinus.

В этот период оба канала, имея вид рядом лежащих эпителиальных трубок, лишены мезодермальной оболочки и еще не достигли уретроректальной перегородки.

Нижние концы каналов заполняются клеточными элементами многослойного мостовидного эпителия, а при достижении Sinus'а Мюллеровыми протоками — происходит смешение эпителия Мюллеровых каналов с эпителием Sinus'а. К этому времени нижние концы Мюллеровых каналов

открываются во влагалище.

Большую часть в образовании hymen'a и выделительного канала аллантоиса, как об этом свидетельствует Koch, играют Вольфовы каналы, ниспадающие в железы Scene Kochs.

Glandulae Bartholinii или Huguier развиваются в кавернозные тела Glans clitoridis.

На основании такой связи можно установить гомологию между bulbus urethrae и hymen, соединяющих Praeputium clitoridis с Corpora cavernosa penis. Что же касается замедленного впадения Мюллеровых каналов в Sinus urogenitalis, то этот факт сам по себе очень важен для объяснения человеческих пороков.

2 марта

Мне холодно… я зябну… и все они умерли… умерли…

3 марта

Ровно в восемь я покинул зал ожидания.

На пути следования ничто не привлекло мои взоры, и я прошел почти незамеченным.

Добравшись наконец до Грузинского сквера, я был остановлен массой движущихся по всем направлениям скотов. Одни пытались перепилить ножом каменную шею Венеры Милосской,

другие выкрикивали антисанитарные лозунги.

Одним словом, никто не обратил на меня внимания, — и только стоящий поодаль и, видимо, раздосадованный чем-то шатен ласково протянул мне потную ладонь.

— Вы, случайно, не Максим Горький?

— Собственно… ннет… но вообще — да.

— В таком случае — взгляните на небо.

— Ннну… звезды… шпиль гастронома… «Пейте натуральный кофе»… ну… и больше, кажется, ничего существенного.

Шатен внезапно преобразился.

— Ну, а… лик… Всевидящего?

— Гм.

— То есть как это — «гм»? А звезды?! Разве ничего вам не напоминают?..

— Что?!! Вы тоже… боитесь… Боже мой… Так вы…

— Да, да, да… а теперь — уйдите… я боюсь оставаться с вами наедине… идите, идите с богом…

И долго махал мне вслед парусиновой шляпой.

4 марта

А мне, может, тоже не нравится, что вы на меня смотрите, — вы думаете, если я вижу себя, то загрязняю кабину? А вы забыли спросить меня, от меня ли это зависит?

Вы думаете, я не вижу ваших подбородков, даже если сохраняю полнейшее спокойствие? Или меня нет — вообще? Вы, наверное, и не знали раньше, как заглядывать в чужое окно.

А я, например, еще и раньше понял, что в этом нет ничего предосудительного. Представьте себе — я, может быть, завтра же, с утра, предстану перед ухмыляющимися «хозяйками», — а не хватит решимости — пред судом Божьим.

Слишком многого стоило мне начало марта, чтобы отказаться от мелочности моего различия. Пусть оно и «угнетало», и вызывало собственное недоумение, — я не жалею, что с ног до головы закрылся от непонимающих взглядов. Да и не все ли равно, был или не был таким же.

Если даже я иногда получал от него удовольствие, — оно исчезало, как только я открывал окно.

Даже у того, кто плакал, хватало силы советовать, — мои уловки были слишком беспомощными.

И теперь вот — снова, стоит мне увидеть человека, я ускоряю шаг. Не потому, что я боюсь, — а просто привык исключительно на все смотреть сбоку. Странная эта манера, если человек уверен, что за ним никто не следит.

Оказывается, это даже прозаичней, чем мания преследования. Там человек боится. А здесь — просто уважает равнодушных людей. Для меня лично только поэтому нет никакой возможности щеголять трауром.

Может быть, это и к лучшему. По крайней мере, нет и никаких надежд на полную успокоенность.

Все бы это прошло и незаметно, если бы не двадцатимесячный страх. С тех пор, наверное, у меня невероятная симпатия ко всему синему и ко всему тому, что положено поперек.

Часто я пытался проверить правильность, — иногда заходил просто, иногда расспрашивал мемуары — и всегда недовольные двусмысленно улыбались.

Что их заставляло менять положения, — не пойму до сих пор. Вероятно, были слишком в себе уверены. А может, просто — боялись показать вид, что их собственное безразличие почти всегда действует на меня благотворно.

Скоро они и сами убедились в этом — смолкли даже «колхозники». Один тот факт, что я ушел от всего знакомого за три недели до наступления «исхода», вселяет в меня груду мелких уверенностей. Но они слишком малы для того, чтобы

успокоить мою «храбрость».

Между прочим, — если даже отбросить все внутреннее, — один вид сытости и белых воротничков заставляет меня устремляться к воротам Большой Грузинской улицы. Боюсь, что ночной бред может меня выдать.

Одним словом, то, что днем вызывает во мне смех, вечером отгоняет все остальные «мыслишки».

То, что в десятом классе меня занимало, на первом курсе заполнилось эротикой, а на втором расшевелило все Бывшее и все Трагедийное, — завтра исчезнет.

«Пролетарии» меня не удержат. Я пойду туда. Завтра.

5 марта

Ччерт побери, меня пугает тюрьма!

Иначе чем же объяснить то, что я по-прежнему опасаюсь покинуть свою постель и с содроганием смотрю на советские государственные учреждения!

Если разобраться трезво — самое большое, что меня ожидает, — два года.

Даже кировские показания не дадут ровно ничего!

Странно. Если бы я шел на убийство или на рас-

плату за убийство, я не был бы так взволнован! А здесь — мелкое, отвратительное делишко!

Самое главное — я виноват, но я не чувствую себя виновным! Что же сделать, если я не знал, что виноват!

Я знаю, что за последние четыре дня я отупел небывало. Новая семейная «драма» меня не коснулась совершенно.

Все происходящее — происходит через органы дыхания, не задевая головы. Вчерашняя решимость развеялась первым подозрительным взглядом прохожего. Завтра я должен оставить назойливую постель!

И в конце концов.

Что бы то ни было, — я не пойду! Если угодно — я предпочитаю самоубийство!

7 марта

Проходил по Тишинской площади.

У цветочного магазина закутанный в платок трехлетний младенец держался за материнский подол и необычайно громко выражал свое восхищение:

— Мам! Смотли — хаесые цветоцки! — Захотелось схватить младенца за ноги и разбить его

головой витрину магазина. Зазнобило. Увидел на себе удивленный младенческий взгляд.

— И майсик — тозэ хаесый!

Слегка потеплело. Против воли — улыбнулся. Зачем разбивать… голову? Просто — взять за обе ноги — и разорвать. А цветы — пусть живут… Бог с ними.

8 марта

У. П. З. Т. Н. Б. — П.

11 марта

Чрезвычайно странно.

Три дня назад я спешил к Краснопресненскому метро с совершенно серьезными намерениями. В мои намерения, в частности, входила трагическая гибель на стальных рельсах.

Не знаю, было ли слишком остроумным мое решение; могу сказать одно — оно было гораздо более серьезным, нежели 30-е апреля прошлого года. И настолько же более прозаическим.

По крайней мере, за два истекших дня я если не сделался оптимистом, то стал человеком здравого рассудка и материально обеспеченным.

Не знаю, надолго ли.

12 марта

«Ну, Венька, ну ты представляешь, что со мной будет, если я тебя не приведу к ней в комнату… Ведь ты же ее больше месяца не видел…

Да никого там нет! Ни одного человека!.. Я, как увидела тебя в коридоре со Скороденкой, сразу бегом побежала к Тоньке; она даже на каток с нами отказалась идти. Джульетту мы сразу выпроводили в читальню… Светка сейчас у меня в комнате, мы сейчас на каток с ней уходим… Так что никого, Венька, нет! Никого! Одна Тонька!

Ну, иди, Венька, слышишь… Иди… Ну?.. Она же ждет сейчас… И никого целый вечер не будет в комнате… Ведь она даже и на каток не пошла…

Ну, ты просто дурак, Венька… Успеешь ты еще раз десять послушать своего Равеля…

Да ну тебя… Мне даже надоело тебя уговаривать… Хочешь — иди к Тоньке, хочешь — слушай Равеля, — мне-то ведь все равно…»

О. Н. 9.30

13 марта

Невыносимо тоскливо.

Наверное, оттого, что вчера весь вечер слушал Равеля.

14 марта

— Так вы что же, Ерофеев, считаете себя этаким потерянным человеком? чем-то вроде…

— Извините, я, слава богу, никогда не считал себя «потерянным», — хотя бы потому, что это

слишком скучно и… не ново.

— А вы бросьте рисоваться, Ерофеев… Говорите со мной как с рядовым комсомольцем. Вы не думайте, что я получил какое-то указание свыше — специально вас перевоспитывать. Меня просто заинтересовали ваши пространные речи в красном уголке. Вы даже пытались там, кажется, защищать фашизм или что-то в этом роде… Серьезно вам советую, Ерофеев, — бросьте вы все это. Ведь…

— Позвольте, позвольте — во-первых, никакой речи о защите фашизма не было в красном уголке, всего-навсего — был спор о советской литературе…

— Ну?

— Ну и… наша уважаемая библиотекарша в ответ на мой запрос достать мне что-нибудь Марины Цветаевой, Бальмонта или Фета — высказала гениальную мысль: уничтожить всех этих авторов и запрудить полки советских библиотек исключительно советской литературой… При этом она пыталась мне доказать, что «Первая любовь» Константина Симонова выше всего, что было создано всеми тремя поэтами, вместе взятыми…

— Вы, конечно, возмутились.

— Я не возмутился. Я просто процитировал ей Маринетти о поджигателях с почерневшими пальцами, которые зажгут полки библиотек… Библиотекарша общенародно обвинила меня в фашистских наклонностях… А я просто-напросто запел «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей…».

— Послушайте, Ерофеев, вы не можете мне сказать, за что вы питаете такую ненависть к советской литературе? Ведь я не первый раз встречаю подобно настроенных молодых людей… Я думаю — это просто от незнания жизни.

— Да, наверное, от этого.

— И, вы понимаете, Ерофеев, — вот вы, наверное, еще не служили в армии? — ну что ж, будете служить. И там вы поймете, что значит жизнь. Настоящая жизнь. И, вы представляете, — вы служите во флоте, ваша девушка далеко от вас, вы — в открытом море… И вот вся эта дружная, сплоченная семья матросов запевает песню о девушке, которая ждет возвращения матроса, — ну, одним словом — простую советскую песню, — ведь вы с удовольствием подпоете… Уверяю вас — если вы попадете в хороший коллектив, вы сделаетесь гораздо проще… Гораздо проще…

— Не думаю… По крайней мере, мой, извините,

духовный мир никогда не сузится до размеров того мирка, которым живут эти ваши любящие матросы.

— Гм… «любящие»? Узкий мирок? Вы, наверное, никогда не были любящим?

— Наверное.

— Почему — наверное?

— Тттак… Видите ли, — я вообще не собирался касаться интимных вопросов…

— Ну, ладно… Хе-хе-хе… Вы комсомолец, Ерофеев?

— Да… комсомолец.

— Авангард молодежи?

— Видите ли, я давно поступал в комсомол и…немножко запамятовал, как там написано в уставе — авангард или арьергард…

— Вы ммило шутите, Ерофеев…

— Да, я с детства шутник.

— Оччень жаль… оччень жаль… А вы не знаете, по какому поводу я спросил вас — комсомолец вы или нет?

— Откровенно говоря… теряюсь в догадках…

— Гм… «Теряетесь в догадках»… А ведь догадаться, Ерофеев, не слишком трудно… Знаете, что я вам скажу, — вы никогда не собьете с правильного пути нашу молодежь — и, пожалуйста,

бросьте всю эту вашу… пропаганду…

— О боже! Какую пропаганду?!

— Ккаккой же вы милый и невинный ребенок все-таки! Вы даже не знаете, о чем идет речь! «Теряетесь в догадках»! Знаете что, Ерофеев, — бросьте кривляться! Поймите ту простую истину, что вы стараетесь переделать на свой лад людей, которые прошли суровую жизненную школу и которые, откровенно вам скажу, смеются и над вами, и над той чепухой, которую вы проповедуете… Смеются и…

— Извиняюсь, но если я говорю чепуху и все смеются над этой чепухой, так почему же вы так… встревожены? Ведь вы, я надеюсь, тоже прошли суровую жизненную школу?

— Я не встревожен, Ерофеев. Я тоже смеюсь. Но это не простой смех. Когда я вижу здорового, восемнадцатилетнего парня, который, вместо того чтобы со всей молодежью страны бороться за наше общее, кровное дело, только тем и занимается, что хлещет водку и проповедует какое-то… человеконенавистничество… — мне становится даже страшно! Да! Страшно! За таких, извиняюсь, скотов, которые даже не стоят этого!

— Чего — «этого»?

— Да! которые даже не стоят этого! Вы знае-

те, что мой отец вот таких вот, как вы, в сорок первом году расстреливал сотнями, как собак расстреливал?!. Эти…

— Вы весь в папу, товарищ секретарь.

— А вы-ы не-е издевайтесь надо мной!! Не изде-вай-тесь! Слышите!? Издеваться вы можете над уличными девками! Да! Издеваться вы можете над уличными девками! А пока — вы в кабинете секретаря комсомола!

— Извините, может, вы мне позволите избавить вас от своего присутствия?

— Я вас нне задерживаю — пожалуйста! Но, говорю вам последний раз — еще одно… замечание — и вас не будет ни в комсомоле, ни в тресте… Я сам лично поставлю этот вопрос на комсомольское собрание!

— Гм… Заранее вам благодарен.

— Не стоит благодарности! Идите!! И заодно опохмелитесь! От вас водкой разит на версту…

— А я бы вам посоветовал сходить в уборную, товарищ секретарь. Воздух мне что-то не нравится… в вашем кабинете.

15 марта

И все-таки.

Что бы со мной ни было, — никогда ничто меня не волнует, кроме, разве, присутствия Музыкан-

товой.

В этом смысле я следую лучшим традициям.

Прадед мой сошел с ума.

Дед перекрестил дрожащими пальцами направленные на него дула советских винтовок.

Отец захлебнулся 96-градусным денатуратом.

А я — по-прежнему Венедикт.

И вечно таковым пребуду.

16 марта

Ах, господа, мне снился сегодня очаровательный сон! Необыкновенный сон!

Мне виделось, господа, что все меня окружающее выросло до размеров исполинских, вероятно, потому, что сам я превратился во что-то неизмеримо малое.

Я уже даже не помню, господа, в какую плоть я был облечен. Могу сказать только одно — я не был ни одним из представителей членистоногих, потому что на лицах окружающих меня исполинов не выражалось ни тени отвращения.

Ах, господа, вы даже не можете себе представить, каким уморительно жалким было мое положение и каким невыносимым насмешкам подвергалась личность моя!

Одни сетовали на измельчание человеческого рода.

Другие предлагали в высушенном виде поместить меня в отдел «Необыкновенная фауна».

Третьи рассматривали меня через вогнутое стекло, — и это было для меня всего более невыносимым.

Члены Политбюро тыкали пальчиком в мой животик. Отставные майоры проверяли прочность моих волосяных покровов. Служители МВД совершенно бездоказательно обвиняли меня в связях с Бериею. А один из вероломных сынов Кавказа предложил даже изнасиловать меня.

Ах, господа, вы даже представить себе не можете, до какой степени уязвлены были мои человеческие чувства. Ибо — кем бы я ни был тогда — чувства человеческие по недоразумению во мне сохранились.

Я ронял из глаз миллиарды слез, сквозь слезы цитировал графа Соллогуба, подбирая выражения по возможности «жалкие», — на какие только ухищрения не пускался я, дабы вымолить у них снисхождение…

Я знал, что все эти чудовищные создания в действительности жалеют меня и в душах их, смягченных присутствием существа беззащитного, нет ни тени насмешки…

Я не верил, что исполины эти совершенно ис-

кренне — неумолимы.

Но снисхождения не было. И я бы погиб, господа, погиб неминуемо, если бы вдруг… (вдруг!) ослепительный свет белого кителя не рассеял мрака окружающей меня звериной непреклонности.

И не только я — все неожиданно осознали, что только он — он, излучающий ослепительный свет, имеет законное право над моей судьбой властвовать.

Ах, господа, этот человек мог раздавить меня указательным пальцем, этот человек мог подзадорить безумство гигантов. Он мог, наконец, остановить глумление и спасти меня от ревущей толпы, подвергавшей меня осмеянию…

Но именно-то в это мгновение, господа, я проснулся. Да, черт побери, как это ни плачевно, я проснулся и вынужден был оставить вдохновенное ложе свое.

В состоянии не то грустной неопределенности, не то неопределенной грусти запахнулся я в простыню и подошел к растворенному окошку, дабы созерцанием мартовского утра растворить тягостный осадок, оставленный в душе моей исчезнувшим сновидением.

Все действовало на меня успокаивающе.

И занесенные снегом деревья, которые чем-то напоминали мне клиентов 144-й парикмахерской, еще не успевших закончить священный обряд брадобрейства. И совершающий утреннюю прогулку страж внутреннего спокойствия. Одним словом, исключительно все, что попадало в поле моего зрения.

И вы представляете, господа, настолько удачно белый китель милиционера гармонировал с белым блеском заиндевелых деревьев, настолько умиротворило душу мою созерцание мартовского пробуждения, что все существо мое неудержимо охватило желание согреть на груди своей стража утреннего спокойствия.

Да, да, господа, можете не удивляться странности моего желания, — его выполнение было слишком реально для удовлетворенного существа моего. По крайней мере, я был в этом совершенно уверен, когда нахлынувшая на меня буря родственных чувств заставила меня с четырехметровой высоты пасть на шею моего благодетеля.

Да, я действительно пал ему на шею, я залил слезами белый китель его, спасший меня в минувшем сне от насмешек неумолимой толпы.

«Миленький мой, — сквозь слезы шептал я

ему, между тем как он, опрокинутый на землю, пытался освободить горло от цепких перстов моих, — миленький мой, ведь это же были вы, ведь, если бы я не проснулся, вы обязательно спрятали бы меня в карман… не правда ли. Да, да, да, я вам всегда говорил, что все они — отвратительные насмешники…»

Ах, господа, если бы вы могли понять, насколько чистосердечными были слезы мои и благодарности, обращенные к телу уже бездыханному, но все же милому моему сердцу. Для меня безразличны были и рев сбежавшейся толпы, и град неистовых проклятий, которым осыпали беспомощное существо мое.

«Ведь я же всегда говорил вам о тщете суеты мирской, — продолжал я, переводя взоры с бездыханного трупа на пробивающегося через толпу милиционера, — тогда вы были еще великолепнее, а потомок Багратиона покушался на невинность мою! Снова судьбы мои в ваших руках, благодетель мой, — и все равно через мгновение я уйду от правосудия вашего —

Я просыпаюсь».

7.00 веч.

17 марта

Ссскоты!

Они думают, что тоска по их физиономиям заставляет меня посещать Стромынку!

18 марта

«Такой чудак — этот Ерофеев. Вечно что-то читает,

читает… Пьет охуительно».

Николай А.

«Молчит-молчит, целыми сутками молчит, а потом сразу что-то нападет на него, — так и не узнаешь: хохочет, как жеребец, матом ругается, девок щупает. И вечно это свою „Не искушай“ поет».

Аграфена З.

«А денег ему не давай — это ведь такой пропойца!»

Мария С.

«Знаешь что — я сам чудак, много чудаков видел, но такого чудака первый раз встречаю».

Анатолий П.

«А что Венька скажет?! Да ничего он не скажет. Опять будет под окном Абрамова петь:

Избавь твою Саг’у от пытки напг’асной!

Взгляни еще г’аз на меня, Мой ангел пг’екг’асный!»

Александр С.

«Ну, уж если Ерофеев скажет что-нибудь такое — так вся абрамовская бригада за пупки хватается».

Геннадий С.

«Грамотный человек… О политике так умно рассуждает — его никак и не переспоришь. Не знаю, за что его выгнали из института… За пьянство, наверное».

Геннадий С.

«Да-а-а, что пьет, так это пье-о-от».

Иван А.

«Черт его знает, что у него на уме. Темный человек… непонятный. Уж из человеческой шкуры хочет вылезти… все у него поперек, все не так…»

Анна С.

«Венька, признайся, что ты иностранный агент. Я же вижу».

Анна Б.

«А тюрьмы ему не миновать».

Владимир А.

19 марта

Вспомнилось неожиданно все прошлогоднее. Показалось странным, что то, что еще недавно казалось только что пережитым, теперь — в полнейшем тумане.

Предался тоскливому пьянству.

Напившись, бормотал невнятное.

20 марта

— Послушай, ну вот что тебе нужно, — ну тебе сейчас девятнадцатый год, предположим. Будет тебе девятнадцать — будешь увиваться за девками. В 26 лет женишься, отработаешь век свой на пользу государства, воспитаешь детей… Ну, и умрешь тихонечко без копейки в кармане.

— И неужели ты считаешь это образцовой жизнью?

— Ннуу… образцовой — не образцовой, по крайней мере, все так живут. И ты проживешь точно так же.

— Извиняюсь, сударыня, если бы я знал, что у меня в перспективах — обычная человеческая жизнь, я бы давно отравился или повесился.

— Давно надо бы.

— Да, конечно. Однако же я все-таки живу. Ну, а вот ты, Анечка, тебе девятнадцать лет — мне все-таки интересно знать, что у тебя сейчас в голове.

— Как это так? Ннну… вот сейчас, например, думаю, скоро ли пять часов, хочу вот себе платье купить, на танцы сегодня пойти.

— И все?

— Нет, почему… а вообще-то, для какого черта

это тебе надо знать? Что это ты экзаменуешь меня, как английский шпион?

— О боже мой! Если бы я был английским шпионом, милая, меня бы совсем не интересовал образ мыслей рядовой пролетарской девки.

— Так а для чего же тебе это все надо?

— Ттак просто… противно мне что-то смотреть на вас, господа пролетарии… Пошло вы все живете…

— Э-э-эх… «противно ему смотреть»! да ты бы сначала на себя посмотрел, как ты живешь, ты же как первобытный человек живешь — одеваешься черт знает как, на танцах никогда не бываешь, в кино не ходишь… я бы давно подохла с тоски.

— Да, я тебе слишком сочувствую… Остаться тебе одной — значит действительно «подыхать с тоски». По крайней мере, известно, что человек мало-мальски умный, оставшись вне общества, бывает все-таки наедине со своими мыслями. Вам же, госпожа пролетарка, поневоле приходится тяготиться полным одиночеством.

— Я ннничего не понимаю, что ты за чепуху порешь…

— Ну и слава богу… Мне даже приятно сознавать, что человек со средним образованием не может понять самых простых вещей…

— А что ты мне тыкаешь образованием?! Я, может, больше тебя в жизни разбираюсь… И не «может», а точно…

— Охотно тебе верю, Аничка… Ты видела гораздо больше меня; можно дожить до семидесяти лет и увидеть еще больше — и в довершение всего вздохнуть: «М-да, тяжелая эта жизнь». Да черрт побери, это все равно что объехать целый свет, накопить громадное количество впечатлений, вернее — иметь возможность их накопить, — и по возвращении сказать только: «М-да, а земля все-таки круглая», когда это давно всем известно!

— Ну вот, опять ты ерунду понес, ты же совершенно не знаешь ничего и знать ничего не хочешь… книжками только интересуешься…

— Постойте, а чем же вы интересуетесь еще, кроме вот только что перечисленных вещей?

— Хотя бы своей жизнью интересуюсь… Сидишь вот без копейки, — так поневоле будешь думать о своей жизни… и смеяться над такими вот дураками, которым все равно…

— Позвольте, позвольте, Бабенко, — вы жалуетесь на материальную необеспеченность, — и я вам вполне сочувствую — вам необходимо, предположим, заработать десять рублей в день. Чтобы

заработать эти деньги, товарищ Бабенко, вам надо ежедневно нагрузить на машину, сгрузить и уложить в штабеля тринадцать тысяч штук кирпичей — это почти 25 тонн! Теперь представьте себе, Бабенко, что десяти рублей вам хватит только на хлеб и соевые бобы. Если вы не хотите разгуливать по столице голой и иметь к тому же катар желудка, нагрузите 75 тонн…

— Э-э-эх…

— Постойте, постойте. Вы скажете, товарищ Бабенко, — я не лошадь! Вам ответят таким же тоном — ах! если вы не лошадь — вкушайте соевые бобы и страдайте катаром желудка! Как видите — все в пределах законности!

— Ну, и к чему ты все это?

— Гм… минутку терпения! Теперь… у вас, конечно, возникает вопрос: кто же виноват в том, что мне приходится выполнять лошадиную работу — только чтобы обеспечить себя черным хлебом? Ведь, надеюсь, не Абрамов, который получает указания от Зеленова, не Зеленов, который полностью подчиняется Суворову… ну… и так далее… Одним словом, в розысках виновного вы доберетесь до государственного аппарата. А разве вы имеете что-нибудь против Советской Власти? Вы ведь только сейчас осуждали мою

антисоветскость, и потому вы совершенно лояльны. Ттта-ак. Но, может быть, вы только внешне боитесь высказываться против Советской Власти, а внутренне вы готовы ее низвергнуть — в таком случае вы, товарищ Бабенко, выражаете идеологию буржуазного класса, ибо, как явствует из статьи Владимира Ильича Ленина «Партийная организация и партийная литература», — «тот, кто сегодня идет не с нами, тот против нас»! Вы доверяете Ленину, товарищ Бабенко?

— Слишком.

— Гм… Прекрасно. Но ведь вы, кажется, не питаете особой любви к буржуазному миру — 5 минут назад вы говорили: «Живешь вот, как в Америке!» Вероятно, ваше мнение об Америке совершенно искреннее. Лев Толстой сказал как-то: «Женщины всегда искренни своим телом…» Вы телом искренни, товарищ Бабенко?

— Угу.

— Чудненько. Отсюда следует, что вы ни внешне, ни внутренне ничего не имеете против Советской Власти — и все-таки выражаете недовольство своим существованием! Вы без ума от Никиты Хрущева — и тем не менее вам хочется кушать, видите ли!

— Шпион…

— Вот именно! Далее — вы, вероятно, полагаете, что государство внемлет вашим стенаниям и осыпет вас благодеяниями за ваш непосильный труд… Следует напомнить — руководство нашего треста обращалось с петицией к строительному министерству — однако министерство отказалось повысить расценки! Вам остается только одно — вдохновляться тем, что ваши потомки будут полностью удовлетворять свои потребности. Они возблагодарят вас, товарищ Бабенко!

— А мне — срать на потомство.

— Гм… Наконец-то слышу «глас пролетария»! Чюдненько!.. Чюдненько!.. Так — чоррт побери!! — Аничка, — неужели же блекнуть вашим дивным формам?! Плюньте на…

— Бро-ось!

— Плюньте на слезы и христианское смирение! К вашим услугам — Белорусский вокзал! Взбунтуйтесь против человеческой морали! Ведь убивают же, грабят, валяются в канавах люди! И умные люди!

А что же? Ведь и у вас нет другого выхода! Ложитесь в прохладу вокзального сквера, обнажайте свои пышные перси, зазывайте клиентов, ччоррт побери!

— Перестань… Венька!

— «О, кто бы ты ни был, прохожий, пади на грудь мою! Отумань разум мой! Исцелуй меня всю! „О, сжимай меня в страстных объятьях“! (Ведь не жрать же мне соевые бобы, в конце концов!) Растворименя в себе, о прохожий! Я утопаю в… целуй меня! Еще! Еще! Один рубль! Два рубля! Три! Пачка маргарина! Полкило колбасы! Ах!»

— Ха-ха-ха-ха! Нет, Венька, ты просто гений! Только я не понимаю, почему тебе все — смешно!

— То есть как это — смешно? В материальной необеспеченности я просто не вижу никакой трагедии… Ну, а если для тебя это трагедия, так…

— Не понимаю, что ты за человек!

21 марта

Я прежде всего — психопат. И потому нагромождение нелепостей может считаться даже достоинством только что мною выпущенной «теории дней недели».

Гениальные мои гипотезы о магическом влиянии пятницы на судьбу мою никого еще не заставили мистифицировать «свой» день недели и цифирно узаконить мистификацию. Поэтому я беру на себя обязанности первооткрывателя.

Во-первых, самые мрачные дни моего существования: 1 июля 55 г., 4 мая 56 г. и 8 марта

57 г. — приходились на пятницу. Все три дня ознаменованы «покушениями» на самоубийство.

Далее: пятницей обозначены все четыре кульминации моей половой чувствительности: 11 мая 56 г., 15 июня 56 г., 7 сентября 56 г. и 21 декабря 56 г.

В пятницу 15 июня 56 г. скончался мой отец.

В пятницу 5 октября 56 г. скончался мой брат.

В пятницу 15 февраля 57 г. — моя матушка.

Далее. Обстоятельства чисто прозаические:

В пятницу 24 июня торжественно был вручен мне золотой аттестат. День моего первого вселения в студенческое общежитие — 2 сентября 55 г. и день моего «последнего выселения» — 8 февраля 57 г. — неоспоримые пятницы.

Пятница — 15 июля 55 г. — день поступления в университет. Пятница 21 декабря 56 г. — день исключения из университета. И пр., и пр., и пр. до бесконечности.

В руках предстоящих дат — будущее моих гипотез.

27 марта

«Да она же любила тебя, эта проститутка. На шею тебе вешалась. Может быть, просто думала, что ты какую-нибудь студенточку любишь, боялась тебя заразить какой-нибудь гадостью.

Они ведь тоже иногда людьми бывают, эти бабы.

А вообще-то это страшное дело, когда самое первое „романтическое“ чувство наталкивается на эти отвратительные вещи… Ведь вы же были просто два дружных ребенка… Одна ложилась под каждого встречного, а другой ей доказывал, что ложиться под каждого встречного — это грандиознее, как ты выражаешься, чем подвиг капитана Гастелло… Скверное это дело… Самое-то скверное, что ты к этим грязным вещам не чувствуешь никакого отвращения».

(Л. М. Пивная им. Красина)

29 марта

Нничего не понимаю!

Неужели же я настолько отупел, что перестал разбираться даже в музыкантовской психике, никак уж не претендующей на особую сложность!

Черт побери, я никак не хотел превращать свои «Записки» в бред безнадежно любящего, однако некоторые странности, обозначившиеся за последний месяц в поведении Антонины Григорьевны, вынуждают меня обратить на них внимание.

В первое мое мартовское посещение Стромынки я был до бесконечности счастлив услышать из уст Антонины Григорьевны ее скромное же-

лание иметь возможность навещать меня. Я был действительно счастлив и в порыве охватившей меня нежности заявил ей, что вышвырну ее с порога своей комнаты при первом удобном случае.

Ровно через пять дней, пряча нос свой в воротник пальто, я спускался с моста через Яузу и неожиданно для себя узрел закутанную в платок фигуру Антонины Григорьевны, пробивающую себе дорогу через массу низвергающихся снежинок. По мере приближения ко мне Антонина Григорьевна придавала своему лицу все более мрачное и мрачное выражение, а поравнявшись, не произнесла ни звука и шагнула в сторону, в сугроб, давая мне дорогу.

Еще через одиннадцать дней я, снова будучи на Стромынке, на этот раз в слишком веселом расположении духа, развлекался в обществе Якова Петришина, смакуя факты изнасилования и совместно с Петришиным безумно хихикая. Сидящая в трех шагах от нас Антонина Григорьевна удивительно терпеливо внимала нашим шуткам и только однажды, оторвавшись от книги и имея вид необыкновенно бледный, подняла на меня глаза и произнесла шепотом что-то невнятное.

Не знаю, чем я заслужил осуждение. Но могу сказать совершенно искренне — ни одна вещь

за все 18 лет моего существования не нарушала до такой степени работу моих органов дыхания, как вчерашнее сообщение Самосейки о том, что Музыкантова ждет меня за дверью.

Я закрыл дверь на крючок и включил на полную мощность финал «Болеро» Равеля.

31 марта

Восстаньте вы, самые древние, средние и последние отцы.

Отошедшие в царство духов,

Приветливые, верные, знакомые с правилами,

Вы, святые предки, услышьте наши призывы.

Вам, предки, посвящаем ныне мы это моленье,

Вам, отошедшим рано и отошедшим поздно,

Вам, обитающим в земных пространствах,

И вам, еще пребывающим среди племен.

Я нашел отцов, ближайших родственников,

Внуков и длинный ряд от Вишну;

Вы, на баргис вкушающие жертвенный напиток,

Вы здесь — самые обычные из всех посетителей.

Вы, отцы, сидящие на соломе, пошлите нам помощь,

Вкусите приготовленного нами жертвенного напитка,

Насладитесь им, будьте к нам милостивы,
Даруйте нам исцеленье и неиссякающие силы.

Дневник
1 апреля – 10 июня 1957 г
IV
Продолжение записок сумасшедшего

1 апреля

Иди сюда! Давай угля! Стой — не надо!

Говорят же тебе — не надо, еб твою мать! Дуй горно!

Куда дуешь? Зачем дуешь? Какое горно? Почему горно? Кто сказал — горно?

Перестань дуть, болван! Иди сюда! Бей кувалдой!

Стой — не ходи!

Давай угля! Дуй горно!

2 апреля

Желаемое достигнуто! — Я душой — пролетарий! Физический труд заменяет мне пищу духовную! Во мне пульсируют…

— Гранька, еб ттвою мать! Прекрати ограбление! Кража государственной фанеры — бич высших идеалов!

Во мне пульсируют пролетарские эритроциты, и я разрываюсь от напора физического

выздоровления. Начальник строительного управления призывает к порядку! — Расшатанная абрамовская бригада выходит из повиновения! Я окрылен…

— Юленька! Осторожней с бочками! Белило — не креп-жоржет! У вас дивный зад! Но это же не значит, что вы должны портить государственное имущество!

Я окрылен и нескончаемо насвистываю. Мой свист вливает бодрость, мое «Не искушай» удесятеряет бригадные силы! Начальник отдела кадров…

— Таничка! Фу, какие вы неисправимые! Пожалейте своих детей! Людовику XVI тоже отрубили голову!

Но ведь то был король! А вы — заурядный подданный ремонтно-строительного треста!

Начальник отдела кадров объявляет крестовый поход против «ерофеевской заразы». Помощник начальника отдела снабжения убивает меня недовольством пред лицом начинающейся стачки. Валинька предлагает сделать обыск в моей квартире. Аничка…

— Аничка! Юнону изнасиловал бог Вулкан, Минерву — властитель Аида! «Я — мать владыки Гора, и никто не поднимал моего платья!» Неуже-

ли же мне нельзя расцеловать ваши перси?!

3 апреля

Красный уголок. Дама в белом, дама в черном и дама в голубом перелистывают у окна журнал «Чехословакия». Доносятся негодующие возгласы: «Всегда это у них одни турбины! Ничего, кроме турбин!» Девушка-библиотекарша пытается доказать толпе обступивших ее парней, что Жюль Верн и Дюма — порождение одной нации. Из коридора доносятся звуки джазовой музыки; поминутно входят и выходят раскрасневшиеся пары танцующих. Ерофеев, сидя в углу, незаметный и чрезвычайно небрежно одетый, читает Генриха Манна.

Библиотекарь. Ну как вам, ребята, не стыдно? Ведь вы же загрязняете самое чистое, самое прекрасное из всех человеческих чувств! Вспомните, как наши лучшие писатели отзывались об этом чувстве! Как…

(Слова библиотекаря на минуту тонут в гуле мужских возражений: «Да разве мы что-нибудь такое сказали!», «Да мы против любви ничего не имеем!», «Любовь-то это хорошая штука, да условия-то нам не созданы, чтобы любить!» — и еще что-то неразборчивое.)

Библиотекарь. Вот видите! — все вы лю-

бовь уважаете, а почему-то городите какую-то чушь — как будто вам… как будто бы вы никогда не любили! Ведь это у вас просто хвастовство какое-то, — мол, нам ничего не интересно! Любви никакой нет!..

Парень. Ну почему это вы так думаете? Ведь мы все-таки еще не старики! Дело молодое, конечно! — вечером так это… немножко погуляешь, если с девушкой хорошей познакомился… ну, сходишь в кино, посидишь… только вот плохо, что девушек-то у нас хороших нет! Все какие-то…

(Вслед за этим раздается негодующее библиотекарское: «Как это так нет!» и возмущенные дисканта трех присутствующих дам.)

Дама в голубом. Девушки-то все как девушки! А мужики вот что-то некультурными стали, хамье какое-то, а не молодые люди!

(Возгласы: «Что это еще за „мужики?!“».)

Дама в черном. А кто же вы, если не мужичье? Даже на танцах пригласить как следует не можете! А уж если с вами гулять, так греха не оберешься!

Парни. Ха-ха-ха! Ты думаешь, если мы некультурные, так и любить мы не можем по-честному, что ли? Знаем мы этих культурных! Ходят себе в бостоновых костюмах, им и дела-то никакого

нет до вашей любви… им бы только денег побольше нагрести!

Дама в голубом. Ну уж и неправда! Если человек культурнее вас, так он и любит честнее… Как раз в этом его культура и заключается *(возгласы неодобрения)…* А что?! Вы думаете, культурный человек — как вы, что ли, будет делать? Сегодня с одной в кино идете, завтра уже с другой гуляете! Что же это за любовь — на один день!

(Мужские возгласы: «Не выдумывай!», «У нас таких нет!», «Главное — верность!»)

Дама в голубом. Да и мало того, что бросите гулять с девушкой… Хороший человек сказал бы прямо, что гулять, мол, с тобой не хочу, полюбил другую… А у вас какая-то глупая привычка: гуляет с другой, а говорит, что, мол, любит по-прежнему, жизнь отдаст и так далее…

(Гордые улыбки парней, возглас: «А что же здесь особенного?! Такой уж человек создан!»)

Дама в голубом (запальчиво продолжая). А я вот, например, терпеть не могу таких ребят! Если разлюбил — так прямо и скажи: больше не люблю… А для чего же это душой кривить? Я недавно читала где-то, — кажется, у Ирки в дневнике: «Скверная прямота лучше, чем красивый обман…»

Библиотекарь. А это ведь замечательно сказано, и ребятам надо над этим задуматься! Самое главное для че…

Дама в черном. Да! Заставишь ты наших ребят задуматься! Пожалуй! *(Мужские смешки, входит пара разгоряченных танцующих.)*

Парни. Вот вам и любовь. Наглядное пособие! Хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха.

Библиотекарь. Ребята! Если уж речь зашла о любви, то я хочу вам задать один вопрос. Вот я, например, считаю, что у каждого человека любовь состоит из трех стадий. Первая стадия — когда парень еще не познакомился с девушкой, но он часто видит ее, и она ему нравится… Вторая — когда они уже познакомились, гуляют, вместе танцуют, ходят в кино — одним словом, дружат, любят друг друга… *(Представители обоего пола обмениваются многозначительными взглядами и расплываются в улыбке.)*

Библиотекарь (продолжает). Ну, а третья — когда молодые люди уже вообще друг без друга не могут жить, — они женятся, живут вместе… ну, и, конечно, продолжают друг друга любить… Вот я у вас и хотела спросить — как вы думаете, почему все-таки большинство людей перестают друг друга любить как раз вот на этом самом

третьем этапе, когда им обоим особенно нужна любовь? Ну, вот как вы, ребята, думаете?

(Устные высказывания мнений сливаются в один общий хор, поминутно различаются ухом наиболее громкие и обрывочные: «Любовь имеет свой предел», «Что же это, и старуху любить?» «Конечно — дети пищат по всем углам...», «...а особенно, если с пузом...»)

Библиотекарь. Я лично считаю...

Парень (доселе стоявший поодаль и тупо рассматривавший всех присутствующих, неожиданно обрывает)... Все это, товарищи, ерунда! Самое главное как раз и не в этом... Самое главное в том, что у нас нет никаких условий для того, чтобы люди могли спокойно друг друга... любить! Ну вот хотя бы меня возьмите для примера... Я свою жену, может быть, и люблю... Ну, а как я ее могу, вообще-то, любить, если она живет черт знает где, на Калужской... Что же это такое — живи в общежитии и смотри, как тебе жена будет изменять... Так, что ли? А для меня, например, любовь дороже всего... Пусть дерут хоть пятьсот рублей, а дают для семьи квартиру... Что же, это я смотреть должен, как другие...?

(Общий гул и недовольство тем, что половой вопрос заменился жилищным. Ерофеев приходит

на помощь.)

Ерофеев. Послушайте, гражданин! Интересно, за каким чертом вы живете в Москве? Переселяйтесь на Сахалин. Получайте отдельную квартиру. Если вы даже потеряете московскую прописку, то ведь для вас «любовь дороже всего»! *(Смех, возгласы «Браво».)*

Оскорбленный (пытаясь возразить). Эх, какой ты умный! На Сахалин! Ты сначала доживи до моих лет…

Библиотекарь (прерывая оскорбленного)….Ребята! Ребята!.. *(Общий гул, почти все присутствующие физиономии обращены ко мне, на мужских лицах — еще не испарившаяся улыбка, на женских — вопрос: «А! Это тот самый!» «Исключили из комсомола!» «Выгнали из университета!» «Грузчик у Абрамова!»)*

Дама в белом (неожиданно обращаясь ко мне). Скажите, молодой человек, здесь девочки говорят, что вы учились в университете… Правда это? *(Постепенно стихает.)*

Ерофеев. Да, учился, — полтора года!..

Дама в белом. За что же вас выгнали?

Ерофеев. Тттаак. Это мое личное дело. Даже слишком личное.

Дама в белом. Как это — личное? Гы-гы-гы *(все-*

общие смешки)... Влюбился, что ли?

Ерофеев (стараясь подавить в себе раздражение). Господа! Неужели вы все настолько пошлые люди, что у вас даже выражение «личное дело» ассоциируется с женскими трусами? *(Взрыв раскатистого хохота, мужская половина глядит на меня почти с любовию, женская — почти гневно.)*

Дама в голубом. Интересно, все в университете такие «умные»? Или только вы...

Ерофеев. Нет, основная масса даже глупее вас! *(Всеобщий хохот.)*

Дама в белом. Ссскотина!

Дама в голубом (убийственно спокойно). Все-таки меня интересует, зачем вы, такой умный, пришли к глупым рабочим?

Ерофеев. А разве я считаю рабочих глупыми? Я сказал «вы» — просто из уважения лично к вам! *(Снова хохот; библиотекарь пытается принять на себя роль соглашателя, Ерофеев ее прерывает.)*

Ерофеев. А теперь, гражданка, позвольте мне задать вам контрвопрос: зачем вы пришли в мужское общежитие? *(Смех, взоры всех присутствующих обращены к даме в голубом. Последняя продолжает сохранять гневное спокойствие.)*

Дама в голубом. Танцевать.

Ерофеев. Гм… Как я уже мог заметить, гражданка, вы танцуете только с мужчинами… Значит, вам доставляет удовольствие не сам процесс танца. Вам просто интересно находиться в тисках мужских конечностей… *(смех)*… А ведь признайтесь, такая близость, хоть она и красива, вас же полностью не удовлетворяет?! *(Басистый мужской смех.)*

Дама в голубом (гневно). Что вы этим хотите сказать?

Ерофеев. Неужели вам еще непонятно, гражданка? Ведь «скверная прямота лучше, чем красивый обман»! *(Продолжительный хохот, дама в голубом совещается с дамой в черном, явственно слышим обрывок: «Позвать воспитателя… напился, скот…»; черное и голубое покидает красный уголок; входят несколько танцующих пар, привлеченные необычным хохотом.)*

Дама в белом. Сколько ты выпил, молодой человек?

Ерофеев. Вчера утром — сто пятьдесят граммов. Если вы сомневаетесь — приблизьте ко мне свою физиономию — я на вас дохну *(смех).*

Дама в белом. Ох, ну и скотина же…

Библиотекарь. Извините! Молодой человек!

Ерофеев. Да?

Библиотекарь (заглушая негодование дамы в белом). Молодой человек! Ведь это все над вами смеются! Над вашей дуростью! Вас, наверное, не научили культуре в университете?! Или вы просто грязный человек, что ненавидите людей с чистой душой, — или просто у вас больная совесть…

Ерофеев. Послушайте, госпожа библиотекарша! *(Смех.)* Несколько дней назад я действительно восторгался вашей душевной чистотой… В сопровождении Станислава Артюхова, как сейчас помню, вы спускались с пятого этажа и оба имели чрезвычайно изможденный вид… *(Невообразимый хохот, затем улыбки любопытства.)* Вам слишком по душе третья стадия…

Библиотекарь (болезненно выдавливая слова). Вам всегда, молодой человек, снятся такие интересные сны? *(Смех.)*

Ерофеев. Не прикидывайтесь дурочкой, товарищ библиотекарь! У вас это выходит подозрительно естественно! *(Новый взрыв хохота; библиотекарь пытается остроумно отразить удар, слышно только «университет», «остатки мозга»; дама в белом пытается занять передовую позицию, умеряя общественный смех.)*

Дама в белом (соревнуясь со мной в остроумии и, вероятно, стараясь отбить у меня пальму первенства). Господин грузчик! Ведь из университета выгоняют только остолопов, у которых слишком тупые головы! А вы ведете себя здесь так, как будто вы всех умнее…

Ерофеев. Помилуйте! Откуда у вас такие сведения?! Если бы из университета изгоняли только остолопов, я бы не стал с вами спорить, а сразу бы задал вам вопрос: с какого факультета вы изгнаны? *(Смех, аплодисменты ценителей юмора.)* И потом — господа! Неужели вам не скучно ограничивать запас своего остроумия рамками моего изгнания из университета? Не слишком ли это узко для таких умных людей?! *(Поощрительный смех, всеобщее оживление.)*

Дама в белом. А вам не скучно щеголять тем, что вы не приучены к культуре?

Ерофеев. Позвольте! Вы, случайно, не со мной ездили сегодня утром на толевый завод? Нет? *(Недоумение в зале, встревоженное ожидание.)*

Дама в белом (презрительно). Ездила. Ну и что же?

Ерофеев. Вы сидели в кузове с неизвестной дамой и вели интимную беседу, — при этом вы совершенно не стеснялись мужского присут-

ствия. Между прочим, как сейчас помню, вся ваша беседа сводилась к тому, что же все-таки лучше — лежит или стоит. *(Гул негодования, мужской хохот.)*

Дама в белом (окрашиваясь в пунцовое)… Ну и оссел же ты! Мме…

Ерофеев. Позвольте! Я не понимаю, отчего вы краснеете! Ведь я же цитирую вам слова молодой девушки, которые были произнесены в присутствии молодых людей обоего пола и которые утром воспринимались как верх остроумия! *(Аплодисменты.)* Видите — я даже стыжусь воспроизвести здесь вслух ваши милые шутки — а ведь вы — женщина! *(Гул одобрения; дама в белом листает журнал и силится найти достойный ответ.)*

Парень. Все женщины — такие! Их не переделаешь! *(Возгласы: «Ерунда!» «Правильно!»)*

Дама в белом. Ты бы уж поумнее что-нибудь придумал…

Ерофеев. Гражданка! Я не выдумываю, а констатирую факт! А если даже я выдумываю, предположим, — так какого черта вы залились краской? Или просто потому, что румянец слишком идет к вашему белому крепдешиновому платью? *(Неимоверный хохот.)*

Парень (только что вошедший и серьезно воспринимавший конец дискуссии, старается заглушить смех). Прравильно, студент! Давно надо было бороться за чистоту нашей любви! А то современные…

Ерофеев. Да, конечно! Я всегда был поклонником чистоты! Если бы здесь, вот сейчас, какой-нибудь безрукий и безногий горбун вскарабкался на золотушную проститутку, я бы расцеловал их обоих!

4 апреля

1. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?»

«И сказал им Иисус:

…вино молодое вливают в новые мехи».

«Не думайте, что я пришел нарушить закон».

2. «Никто не может служить двум господам».

«Отдавайте кесарево — кесарю, а божие — богу».

3. «Блаженны нищие духом».

«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

4. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей… Что бог сочетал, того человек не разлучает».

«Всякий, кто оставит… жену… ради имени моего… наследует жизнь вечную».

5. «Не мир пришел я принести, но меч».

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими».

6. «Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет».

«Вы от нижних, я — от вышних».

7. «И во всех народах прежде должно быть проповедано евангелие».

«На путь к язычникам не ходите».

8. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником».

«Почитай отца своего и матерь свою».

9. «Царство мое не от мира сего».

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

10. «Не противься злому».

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь».

11. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях».

«Остерегайтесь же людей: ибо они будут отда-

вать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас».

5 апреля

Во мне еще слишком явственно вращается март. Правда, нет уже никаких надежд на благополучный исход стромынского конфликта. Да и заботы о нем умерли вместе с мартом. Что же касается перемен во внешнем, то их нет пока и, благодарение богу, никогда не будет. Все тихо.

6 апреля

«Знаете что, Ерофеев? Не знаю, чем вы меня заинтересовали конкретно, но вы человек слишком своеобразный. Да вы, наверное, и сами это чувствуете прекрасно. Единственное, что я вам посоветую, — оставьте это. Надеюсь, вы понимаете, о каком „этом“ я вам говорю… Будьте проще. Не думайте, что все они глупее вас и поэтому чем-то вам обязаны… Я не собираюсь делать вам комплименты, но все-таки могу заметить, что у вас проглядывают какие-то прекрасные задатки. Правда, они у вас опошлены и загрязнены чем-то чужим, не вашим, наносным. И все-таки для вас легко преодолимым… Не знаю, откуда у вас это наносное, — вероятно, просто кокетство… А оно вам не к лицу… Больше читайте…

Для вас это самое главное. Кстати, я могла уже заметить, вы не относитесь к числу „поверхностно воспринимающих“ литературу… Больше читайте… у вас слишком скромная эрудиция… а каждая прочитанная вами книга возвысит вас на голову… Это не каждому дается… И все-таки, Ерофеев, — можете на меня обижаться, — вам еще слишком далеко до рабочей молодежи». *Руднева.*

6/IV–57 г.

7 апреля

Мне казалось, что я ухожу далеко и за мной никто не гонится.

И я действительно уходил далеко — и никто не гнался за мной.

Мне казалось, что что-то необыкновенно черное неожиданно меня остановило и заставило длительное время озираться вокруг.

На самом же деле я нисколько не озирался, озираться было некогда — на меня с неимоверной скоростью наезжал автомобиль новейшей марки…

На секунду я вынужден был уподобиться горным сернам. И в ту же «секунду» сообразил, что можно было вполне обойтись без уподоблений — черный дьявол без особого напряжения сделал

отчаянный разворот, ласково обогнул меня и затормозил у здания германского посольства.

В первое мгновение я был слишком взволнован тем, что всеблагое Провидение (в который уже раз!) избавило меня от трагического исхода.

В следующее мгновение я вынужден был устыдиться себя самого и своей минутной (впрочем, даже не минутной, а секундной) трусости.

Затем встал в позу Наполеона и задумчиво посмотрел на посольский подъезд. То, что я увидел, наполнило меня до отказа мистическим трепетом. И чуть было вновь не заставило «уподобиться»…

«Посол, — промелькнуло у меня в голове и задрожало где-то в ногах, — посол!.. Может быть, даже чрезвычайный!.. Может быть, даже… ну, конечно, — раз чрезвычайный, значит и полномочный! Значит и то и другое вместе… И все это вместе… обогнуло меня!!.!!!! Меня!.. Обогнуло…»

«А кто — я? Кто?! — вопросил я себя и принял позу, среднюю между аристотелевской и сократовской. — Кто?! Не Поспелов? — нет! Не Даргомыжский? — нет! Тогда кто же — Беркли? Симонян? Заратустра? Жуков? — нет… Назым Хикмет? Нежданова? Прометей? Чернов? Рафаил? Микоян? Правый полусредний? Леонардо

да Винчи? — опять же нет… Тогда кто же? Неужели — обыкновеннейший пуп?..»

«Гм… Пуп… — чудесно! Пусть будет — пуп! Пусть — обыкновеннейший!.. Но ведь… уступил мне дорогу посол агрессивной державы!.. А? Хе-хе-хе-хе! Уступил!!! Жалкие люди, — мысленно произнес я, оглядев с ног до головы встречных пешеходов и сменив аристотелевскую позу на позу постового милиционера, — нет, все-таки, до чего жалки эти существа и до чего же мелочны их волнения! Один оплакивает утраченную младость, другого укусила вошь, третьему не оплатили простой, четвертый разочаровался в запахе настурций, пятому разбили голову угольным перфоратором… Неужели бы и им уступил дорогу посольский экипаж?.. А?..»

«Нет, черт побери, им бы, конечно, не уступил дорогу посольский экипаж. Если даже рассудить здраво, так не только Чрезвычайный посол, но и заурядннейший смертный никогда не уступит дорогу человеку, которому всего-навсего разбили голову угольным перфоратором. Значит, есть во мне что-то божеское… Ну, не божеское, а что-то такое… неизмеримо более высокое, нежели полномочные представительства и международные конфликты… И это „что-то“ заставило даже

Каина на мгновение стать гуманным!»

«Странное дело, — продолжал я, на этот раз обращаясь к встречным, — очень возможно, что и работники советского министерства, встретив посла на ковровой лестнице, почтительно отступали, расшаркивались и окрашивали лицо свое в улыбку раболепного смущения… а получали в награду снисходительное поплевывание и, ослепленные саксонской воинственной гордостию, заражались оборонческим страхом!»

«Очень возможно также, что страх этот породил в посольском мозгу „далеко идущие выводы“. И — кто знает! — может дула боннских орудий, направленные к сердцу освобожденной Польши, ждали только сигнала; а поводом к нему могло послужить малейшее выражение примирительно-восточной дрожи!.. А дальше… — вы понимаете, что дальше?! — миллионы искалеченных жизней, озера материнских слез, девочки с разбитыми черепами, заокеанский кал в усадьбе Льва Толстого и… все что угодно!»

Я разрыдался.

Слезы лились на тротуар, брызгали на продовольственные витрины. Перламутрово-чистые слезы… слезы человека, заронившего искру гуманности в зачерствелое сердце… слезы, изба-

вившие от слез миллиарды материнских глаз.

Они, эти слезы, словно бы делали полноценными те миллионы человеческих жизней, которые, возможно, были бы искалечены. Они как будто бы склеивали разбитые черепа маленьких девочек и вымывали кал из усадьбы Льва Толстого. Они…

А эти люди не понимали меня. За минуту до того спасенные мною, они смеялись над моим умилением.

«Посмотрите… его чуть не раздавила машина… и он плачет… плачет, бедный… Ему было, наверное, так страшно…»

⟨*В дневнике, под датой 11 апреля несколько пустых страниц*⟩

29 апреля

— Ерофеев! С вами разговаривает сержант милиции, а не девчонка!

— Ну и что же?

— Поэтому не стройте из себя дурачка!

— Помилуйте, товарищ сержант, где же это вы видели, чтобы кто-нибудь перед девчонкой строил из себя дурачка?

— Хе-хе-хе, Ерофеев, вы думаете, если я сержант милиции, так и не имею никакого дела с дев-

чонками?

— Ну, так в таком случае перед вами не девчонка, поэтому стройте из себя не дурачка, а сержанта милиции.

(конец марта 1957 г.)

— Я смотрю, Ерофеев, ты младше меня всего на год, а ты сейчас находишься на таком этапе, на котором я был, наверное, года три или четыре назад. Ты увлекаешься стихами, а у меня это уже давно пройденный этап… Правда, я уж не так увлекался, как ты, — чтобы целыми днями только этим и заниматься…

— Знаете что, товарищ слесарь-водопроводчик, я тоже когда-то говорил глупости… но это у меня уже давно пройденный этап. Правда, я и раньше увлекался этим не так, как ты, — чтобы целыми днями только этим и заниматься…

(26 апреля 1957 г.)

— Это за что же меня, бедного, расстреливать?

— За то, что ты врах!

— Это почему же я врах, товарищ начальник?

— А это уж у тебя спрашивать не будут, Ерофеев. У нас слишком мало разговаривают с такими, как ты, которые нам мешают!

— Мешают?! Чему мешают, товарищ началь-

ник!

— Чему?! Достижению нашей общей цели, Ерофеев, если это вам не известно!

— Ну, так как же мне быть, товарищ начальник… Вы просто цитируете Игнатия Лойолу, и мне становится не по себе… Вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола?

— Не слышал.

— Это был, между прочим, один из прославленных сподвижников Владимира Ильича Ленина, талантливый марксист, о котором даже Плеханов отзывался довольно…

— Не слышал, не слышал. В «Кратком курсе» его не было. И фамилия какая-то…

— Да-а, он по происхождению испанец, по взглядам — интернационалист. Между прочим, дивную фразу произнес Игнатий Лойола на заре нашего века: «цель искупает средства»…

— Как раз для тебя эта фраза, Ерофеев… Для тебя и тебе подобных! Марксисты…

— Да, но почему — «тебе подобных», товарищ начальник? Во-первых, я слишком бесподобен… А во-вторых, вы знаете, кто такой был Игнатий Лойола?

— Нну… я же тебе говорю, что не слышал… И не важно, кто был…

— Игнатий Лойола был, между прочим, самым фанатичным из всех средневековых инквизиторов… это был «талантливый повар», даже Кальвин отзывался о нем…

— Так что, Ерофеев, я тебе советую все это прекратить, иначе…

— Да, и, между прочим, он был немножко похож на вас, товарищ начальник. И ходил в таких же очаровательных носках…

— Да-а?

— Угу. И, между прочим, его повесили. И, между прочим, когда он висел, то при этом очаровательно дергался…

— А вы думаете, я вас не понял, Ерофеев?

— Ну, это даже не важно, поняли вы или…

— Ты невоспитанная свинья, Ерофеев!

— И тем не менее он очаровательно дергался…

(29 апреля 1957 г.)

— Что это ты на меня исподлобья смотришь?

— А разве я исподлобья смотрю?

— Как на лютого врага…

— Нет, что вы, товарищ секретарь, у меня просто есть одна интересная привычка: на людей, которых я презираю, я смотрю прямо… ⟨в глаза⟩; на людей, которых хоть немножко уважаю — сбоку…

— А ты сейчас на меня смотришь как-то и не так, и… не сбоку… а вполоборота…

— Ннну, я просто имею обыкновение смотреть так на людей, которые… недостойны презрения, но и уважения тоже недостойны… Я смотрю так на тех, которых умный человек считает умнее себя, а дурак — глупее себя…

— Каккой ты все-таки умный, Ерофеев!

— Нет, товарищ секретарь, я от рождения идиот.

(29 апреля 1957 г.)

30 апреля

Тридцать один — и восемнадцать!

1 мая

Давно уже я вошел в этот автобус.

Так давно, что даже не помню теперь, как встретили меня пассажиры… Наверное, никак не встретили: ведь входят и выходят так много, зачем же примечать каждого…

Они просто не хотели примечать; им мягко, тепло, — они даже не смотрят на выход, на «свой» выход. И не смотрят на тех, кто входит: для чего им смотреть на них, если им так уютно!..

Меня заинтересовало: если все-таки они скоро выйдут — для чего же сидеть? Они же выйдут

на холод — так и заранее согреваться незачем! Они ведь и вошли, чтобы потом — выйти!.. Удивительные пассажиры!

Если бы я все это выражал вслух, меня бы не поняли… На меня бы оглянулись, зашикали: какое вам дело! Вечно это ругаются пассажиры, которым не хватило мягких сидений! Успокойтесь!.. успокойтесь…

Я это уже знаю заранее:…успокойтесь… какое вам дело…

Потому я внешне не восставал; просто — немножко смешно было: сидят — ну и бог с ними… а все-таки, для чего сидеть, если можно встать… или даже на пол лечь — это ведь гораздо умнее, лечь на пол и ковырять в носу… Сидеть — это и я умею, это каждый может — сидеть…

Я даже задумался: если бы вдруг освободилось сиденье, рядом со мной… — что тогда?.. Я ведь страшно люблю задумываться.

…Нет, конечно! Я ни за что не сел бы! Ведь рано или поздно все мы выйдем! И тот, кто сядет вместо меня, — тоже. Встанет и выйдет. К тому же…

Вот это уже самое главное: «к тому же» любая остановка может быть моей. Когда меня спрашивают:

— Гражданин, вы на следующей сходите?

Мне кажется, что меня дразнят. Стоит, мол, нарочно, чтобы мешать. Без билета… а ведь смотрит на всех так, как будто бы кто-то виноват, что ему приходится стоять… Не знает сам, куда едет… Удивительный пассажир!

Даже в голосе чувствуется злоба. Путается… Отошел бы в сторонку, что ли…

И я просто не могу их понять. Задевать безобидного — это же… Да и какое им дело! Разве я виноват, что меня втолкнули сюда! Они же сами видят, что мне не только что отойти в сторону — мне даже повернуться невозможно…

Я, может, для того и еду, чтобы понять: для чего же едут другие… И вообще: для чего входить туда, откуда есть выход…

6 мая

Грузчик второго строительного управления Ремонтно-строительного треста получает инструктаж в германском посольстве!

Прокламации под мартыновской юбкой!

Бомбы над кинотеатром «Пламя»!

Грузчик второго строительного управления Ремонтно-строительного треста требует конституционной монархии!

Начало стачечного движения за увеличение рабочего дня!

Шатобриан под подушкой бывшего комсомольца!

Евангелие на обеденном столе!

Служащие трестовской бухгалтерии вынуждены признать «Уголовный кодекс Союза ССР» значительной вехой в развитии пасторального жанра!

Советский грузчик в объятиях Тайницкой башни!

Предсмертные судороги подполковника Дробышева!

Коммунисты идут на компромисс!

7 мая

У меня расшатанные нервы.

Когда я встречаю на улице подозрительный взгляд, я, против своей воли, отвечаю тем же.

Если при мне оскорбляют человека, которому я признателен, мне вдруг становится так хорошо… В такие минуты я не замечаю подозрительных взглядов и смиренно потупляю голову…

А стоит мне отойти от оскорбителя, я поворачиваюсь и смотрю на него презрительно.

Он отвечает мне тем же.

8 мая

— Я тебя не понимаю… Или ты просто дурак,

или ты человек, упавший с луны. Другого объяснения нет. Или, может, ты просто пьяный…

— Кстати, я совершенно трезв… Нальем?..

— Давай…

— Ттэк — не торопясь, начнем сначала… Во-первых, ты сказал: я тебя не понимаю, — ты, наверное, дурак… Но ведь не только умный не может понять дурака, а чаще как раз наоборот, дурак не может понять умного. Так что этот вопрос спорный, и мы его отодвинем…

— Давай говорить просто.

— Давай просто. Мне все равно.

— Кгхм… Ты любишь… Родину?

— Мдэс… Стоило ли, право, делать умное лицо и произносить «кгхм»…

— А все-таки…

— И «все-таки» не могу ответить… У меня, например, свое понятие «любить» и свое понятие «Родина»… Может быть, для меня выражение «любить» имеет то же значение, что для вас — «ненавидеть», — так что ни «да», ни «нет» вам не дадут ничего…

— Гм… Это я не понимаю… Мы же условились говорить просто…

— Так я и говорю просто. Проще — некуда…

— Предположим, для меня «любить Родину»

это значит «желать ей блага»…

— Чудесно… Теперь представьте себе: я тоже говорю: желаю ей блага… Но для меня, может быть, благо — поголовное истребление всего населения нашей, извините, Родины… А для вас совсем другое… Для вас «желать» — значит «стремиться к достижению», а для меня — «отворачиваться» от того, что мне нравится…

— Ну, у тебя тогда нечеловеческие понятия обо всем…

— Ты хочешь сказать: «не мои»?

— Ну, раз «не человеческие», значит в том числе и «не мои»… Да и зачем придавать каждому слову свое значение, — возьми ты самое простое слово: «бежать»… Ведь ты же не придашь ему никакого своего значения…

— Нет, конечно… Потому что «бежать» не имеет никакого отношения к… так сказать, духовной стороне человека… так же, как «солнце», «баклажан», «ЦК», «денатурат» и так далее… Эти вещи можно понимать, но не чувствовать… К тому же смысл всех этих понятий — неизменный и точно зафиксирован в словаре.

— Но ведь в словаре-то давно уже зафиксирован смысл и всех этих ваших… духовных слов… Возьмет любой человек словарь — и ему совер-

шенно ясно, какое правильное значение имеет слово, ну хотя бы «желать»…

— Гм… В таком случае пусть этот ваш «любой человек» сначала справится в словаре, что такое «общепризнанное» и что такое «индивидуум»…

— Хе-хе-хе-хе… Остроумно, конечно… Но все-таки… у всех уже укоренилось издавна одно общее понятие «желать»… Я, например, лично первый раз встречаю человека, который еще пытается втискивать какое-то другое значение в это слово…

— Ну, тогда вы сами попутно справьтесь в словаре, что такое «укоренившееся» и что такое «искоренять»…

— Черт побери, неужели тебе еще не надоел «словарь»… Вот я еще чем хотел поинтересоваться… Ты говоришь, что у тебя свое собственное понятие о слове, например, «любить», «ненавидеть» и так далее… А вот ты почему-то путаешь эти понятия, пусть даже они будут и твои собственные… Ты вот говоришь, что «может быть, для меня любить — то же, что ненавидеть» и так далее…

— Ну, во-первых, я совсем не так выражался… И потом — что же здесь особенного? Ты никогда точно не определишь слова, которое выража-

ет какую-нибудь «отрасль» твоего душевного. Каждое определение потребует у тебя слов, которые тоже нуждаются в определении… И в конце концов все окажется неопределенным и невыразимым… А то, что две неопределенные вещи путаются, — в этом нет ничего удивительного…

— Ну, так с таким же успехом могут путаться и все твои эти «обычные» слова, их тоже надо опре…

— А что ж, они и в самом деле путаются… Вот я, например, перечислил четыре совершенно обычных слова… У вас, наверное, путаются понятия «ЦК» и «солнце»… А у меня, например, «ЦК» и «баклажан»…

— Хе-хе-хе-хе…

— А что? — спутать их очень легко… И то и другое «невкусно без хлеба»; и то и другое немного дороже ливерной колбасы; притом обе эти вещи своей внешностью напоминают что-то такое…

— О-ах-ха-ха-ха!!

— Потом, — я, например, путаю «ЦК» с «денатуратом» — и то и другое имеет синеватый оттенок, затем — оба они существуют, могут существовать и сохранять свою целость только в твердой и надежной упаковке. Вы, вероятно, знаете, что это за «упаковка»… Далее — обе эти

вещи распространяют смрадное благоухание… и, в довершение всего, при поднесении зажженной спички легко вспыхивают и «горят мутным коптящим пламенем»… А? Как вы думаете?

— Все это, конечно, очень хорошо… Но я-то, вообще, никак не думаю…

— Чудно, чудно… я всегда безумно любил людей, которые «никак не думают»…

— Да?! А может быть, вы, как всегда, втискиваете в слово «люблю» свое значение «ненавидеть»?.. Ха-ха-ха…

— Нет, почему… Я вынужден пока «втискивать» в это слово общепризнанный смысл… Я, как и все грузчики, слишком благоразумен…

— Что-о-о?!! Вы — грузчик!!!??

9 мая

Господь Бог цитирует Федора Тютчева!

Смотрите на небо!

Смотрите на небо!

Это — печать Всевышней нервозности!

Проверьте исправность громоотводов и захлопните чердачные окна!

10 мая

«Любит это она, когда в нее молоденькие влюбляются… Паренек-то этот все на нее и смотрит…

А как сядет к нему, так он уж и стесняется… Сидят оба, какую-то чепуху несут, смеются…

Сгубит она его… Молоденький еще и не понимает в этом ничего… И не стыдно ей…»

Вера Алексеевна Р. 10/V–57 г.

11 мая

Иногда припоминаются сентябри…

Кажется — как это ни странно, — что через полгода снова будет сентябрь…

И снова, как в сентябре, в памяти всплывет апрельская икона и запахнет октябрьским одеялом…

А теперь прошлогоднее исчезает…

По временам что-то недавнее повисает в воздухе…

Загорается лампа… При свете красного абажура от моста через Яузу ползет холодный туман… Озаряется сердитой улыбкой музыкантовская рожа… И окоченевший пьяный хватается за фонарный столб.

А потом барабанит дождь… И, привалившись к стене, побледневшая Лидия заплетает косы…

А паровоз гудит простуженным голосом, потом оседает, окоченевший, к подножию фонарного столба…

И шепчет, опустив голову в тарелку: «Дети

мои… Дети мои…»

И гораздо отчетливее — во сне…

А наяву — на секунду, неясно, расплывчато…

Особенно когда приятно пахнет осенью…

А потом — холодом…

Удивительное ощущение!..

Словно бы 56-й год совершенно неожиданно упал мне на голову, разлетелся на куски апрелей и сентябрей…

И теперь звенит в голове…звенит…

12 мая

Блаженной памяти великолукская мученица предупреждала меня — и оказалась ясновидцем.

Значит, так суждено.

13 мая

Намедни, препровождая время в обществе Мар-ты-новой, неожиданно почувствовал в себе прилив остроумной животности.

Окидывая взором тыловую часть, находящуюся, впрочем, не слишком далеко от источника моих взоров, робко попытался доказать владелице необъятных бедер, что я — оригинал и у меня всегда бывает несколько странное желание «попытаться» объять необъятное.

Зардевшаяся Мартынова набросилась на меня

с поцелуями и одновременно убедила меня, что мое желание «невыполнимо только теоретически».

Впрочем, дабы реабилитировать мою целомудренность, могу сказать, что не я обнимал необъятное, а необъятное обнимало меня.

14 мая

…Все издохнут! Как собаки издохнут! И памяти о них никакой не останется! Потому-то и бесятся все! Думают, что если они будут убивать да резать, так о них помнить будут! Все одно!..

…Ха-ха-ха-ха! А в сумасшедших домах! Ты видел?! — в сумасшедших домах! Что там творится! А-а?! Раньше хоть там умные люди сидели! Изобретали, читали, писали — да от этого и сходили с ума! А теперь — что? Теперь каждая сволочь падает на улице и ногами трясет! На Канат-ку ему, собаке, хочется, чтобы ни о чем не думать!..

…А все это ходят в бостонах! Красятся! Пудрятся! Духов на себя льют! Так это… двигают бровями! Глазки строят! Читают романы! Если есть кто-нибудь заразный, так на него косятся, боятся заразиться да издохнуть!.. А?! Хха-ха-ха! Боятся издохнуть!..

…Ты понимаешь, я точно такой же… И алкоголиков — всех! — за людей не считаю! Это уже

не люди! Мы все издохнем! — Так надо брать все, что тебе нравится, пока ты жив! Я вот, к примеру, пью так просто! Нравится просто пить! Вот и пью!..

…Скверным делом ты занимаешься, малый! Никакой такой особенной психологии нет ни у кого из этих вот! И изучать нечего! Все люди как люди! Каждому человеку хочется выпить! А у них немножко поменьше воли, не могли воспитать в себе с детства волю! Любой человек в любую минуту с удовольствием бы выпил! А он просто сдерживает себя — таких вот и надо уважать! А не этих вот, которые стоят здесь целыми днями да харкают!..

…Я не понимаю, чего все жалуются на плохую жизнь! И еще говорят, что поэтому и пьют, что у них плохая жизнь! Я, например, думаю, что, наоборот, от хорошей жизни все и валяют дурака! Будь у них мало хлеба, так они бы не стали напиваться до дурости, а потом друг другу бить морды! И лучше будут жить — все равно пить будут, еще больше, чем сейчас. И морды…

…Ка-агда я пья-а-ан,
А пья-ан всегда-а-а я-а-а,
Больну-ую ду-у-у-у-ушу

Я во-о-одкой а-атважу-у…

…И я тебе скажу, почему война так действует на людей! Все-таки человек только в древности был зверем и все время двигался по гуманной линии. Сейчас нет ни виселиц, ни плах, ни гильотин! И гораздо гуманней был человек в этом году, скажем, чем двадцать или даже десять лет назад! А на войне — наоборот! На войне что ни год — то все бесчеловечнее делается это оружие… Поэтому между мирным и военным временем все больше делается пропасть! И она все больше и больше!.. Ее поэтому и боятся — те, которые пойдут…

…Мне-э-э ррро-оди-ну-у-у,
Мне-э-э ми-и-илу-ую-у,
Мне-э-а ми-и-илай да-айте взгля-ад…

…Хлопцы! Сынки! Осчастливьте старика! Я линию Маннергейма… брал с боем! Никогда не шутил с изменниками, а душу всю выкладывал, кровь…

…И поделом! Бабам не место в пивной! Раньшето, посмотришь, и не видно нигде было, чтобы баба допьяна опивалась, а теперь чище мужиков! Рукавом утираются! И… голландского сыра не надо, а?!! Хя-хя-хя!!.

…За убийство — в тюрьму сажают, расстрелива-

ют! Недавно у нас одну посадили, за то что своего ребенка задушила, двухмесячного! По закону нельзя убивать ребенка! А аборты не запрещаются! Это что же получается — убивать ребенка в утробе матери — можно. А как вылез — уже нельзя, тюрьма! А что, если его задушить, пока он только еще голову просунул — это что? — карается по закону или нет?!

…Да здравствует великий наш наррод — стрроитель коммунистического отечества! И нашего великого завоевания от всех капиталистических попыток…

…Господа! Нюхайте кильку! Нюхайте кильку! Лучшее средство от горестей и заразных заболеваний!..

…Бывал и в Сталинграде, бывал и в Берлине. Наш брат Иван ленив, ленив… ну уж а если его разозлят, тогда спуску не жди! Что статуя в Берлине стоит, так это хорошо, просто так бы статую не поставили! А если рассудить — так незачем, вроде насмешки как будто… Да и нашего брата Ивана не за что винить, озверели, озлобились. Мы все в Берлин-то вступали с таким видом, как будто бы это саранча, которых всех надо уничтожить, всех немцев… Побили много, правда, баб прямо в подъездах ебли и сразу штыком

в пузо… Да ничего не поделаешь, немцы тоже наших стариков убивали… Да ведь у них и цельто была такая — всех истребить… А у нас ведь миссия освободительная… Немцев от немцев освобождали…

…С тех пор и трясутся руки. Ты, малый, не поймешь, это нервное состояние. А все равно никого не виню, ни государство, ни войну. Сам виноват, вот и исповедывался, как Мармеладов перед Раскольниковым. Хе-ххе-ххе! Какой я Мармеладов… Как ты — Раскольников… Хе-ххе… Бывший студент… Может, пойдешь убивать старух, а потом в обморок падать… Хе-ххе-хе… Не выйдет… Теперь уже не выйдет. Теперь старухам почет, пенсия. А молодым — все дороги открыты, и в пивную тоже…

…Я же вввам говорю, что не продавал! Не ррро-давал! Не смей хватать, паскуда! Вы у нас для порядка поставлены, а если человек честным трудом…

…Удивительные люди сидят у нас в правительстве! Как будто бы умные, а такие глупости иногда делают… Возьмите хотя эти обеды, банкеты! Все время раньше допускалась такая глупость: человек, который руководит, ест лучше и больше, чем те, которыми он руководит. Это так нелепо!

Что даже и сейчас наши руководители больше всего любят эту привычку! Удивительно… Неужели они не чувствуют, до чего это глупо…

…Так что и жизни-то, по сути дела, нет никакой. Пьем — и все. А отчего пьем? На какие деньги пьем? — это, может, и дела никому нет… Может, это я кого-нибудь убил, да теперь вот его и пропиваю, может, я его и не убивал, а просто себя считаю убийцей… Я, может быть, сам девочку из огня вытаскивал, может, она горела и кричала, а я ее вытаскивал… А теперь и… ппропиваю ее… Тут… душа человеческая много знает… от этого обычно и…

…Объеддаются, сволочи! Крровушку народную пьют! Соревнуются… заокеанские империи кожу с наррода… А русский — душевно ссвободный человек! Хочу — пью… Хочу — плачу, хочу — в морр-ду… А у нас не так! У нас, у русских, — не так! Захотелось — иди, бери домой, все чинно, по-образованному…главное, чтоб шуму не было, чтоб никто не кричал… чтобы все — тихо, это самое главное…

…Прравильно! Прравильно!! Мы имеем полное право!..

…Даже ссать с третьего этажа запрещают. А в каком это законе написано, что ссать с третьего

этажа нельзя…

…Думают, мол, помнить будут… А все одно…

15 мая

«Вы, видящие бедствия над вашими головами и под вашими ногами и справа и слева! Вечно вы будете загадкой для самих себя, пока не сделаетесь смиренными и радостными, как ребенок. Благо дано всем моим детям, но часто в своей слепоте они не видят его. В своем самодовольном легкомыслии они отворачиваются от моих даров и с плачем жалуются на то, что у них нет того, что Я дал им. Многие из них отрицают не только дары мои, но и Меня, Меня, источника всех благ.

Оставьте ваши невежественные мысли о счастье, о мудрости, оставьте все ваши желания, — тогда познаете Меня и, познавши Меня в себе, глядя из великого мира внутри себя на малый мир вне вас, вы будете благословлять все, что есть, и будете знать, что все хорошо и в вас и вне вас».

Криш. (12 ч. ночи)

16 мая

«Не нужно, ведь тебе же сорок лет… Ты поправишься… Это же ты просто заболела…»

«Доченька, не надо… Помнишь, ты покупала

елки… Подходила к каждому ларьку, просила самую маленькую и красивую… А потом бросала… Я же тогда всех уговаривала: не надо смеяться… не надо смеяться…»

«Ты ведь знаешь, что болела тогда… Я же ведь тебя уберегла… а ты говорила, что я виновата… Плакала, говорила, что тебе стыдно… Помнишь?..»

«Ты ведь меня узнаешь?.. Не нужно так смотреть… Это оттого, что ты заболела… Помнишь, Венька к нам приходил… Ты выпила маленькую-маленькую рюмочку, а потом говорила, что тебе грустно… И все — какое-то тяжелое и грустное…»

«А Анна Андреевна вечно будет жить… Упокой, Господи, душу ее страдальческую… Она и сейчас тебя любит… Придет к тебе… А ты ведь тогда и смотреть так не будешь… Смеяться будешь… рассказывать… что ничего и не было… А просто заболела немного… И стало грустно… Да?»

«Узор будешь вышивать… и все поймешь… выздоровеешь… Все будет опять хорошо… как раньше…»

17 мая

— Вот ты говоришь: высшие цели… А ты не думаешь, что существуют умные люди — умные! — а они не понимают, что это значит!

Не понимают! Не потому, что не могут! — Не хотят! Зачем мне издыхать ради высшей цели, если она меня не воодушевляет?!

— Иногда мне самому становится страшно! Представь себе — я ем! Ем, потому что знаю — если я не буду есть, я не смогу работать! Но если я не смогу работать, я вынужден буду не есть! Кажется — просто! Сомкнутое кольцо — и никакой цели! Понять это просто, а представить себе, прочувствовать — станет жутко! Ты говоришь — высшие цели? А зачем они! Серьезно, зачем?

— Встань в мое положение. С утра до пяти вечера ты выгружаешь из печи кирпич. Температура 40–50 градусов. Кирпич раскаленный. На улице, если ты даже урвешь полчаса на отдых, — жарко. Работаешь почти голый, глотаешь испарения горячего кирпича — и все время одно и то же: наклоняешься над кирпичом, берешь, грузишь на тележку, ее отвозят, моментально подвозят другую — у тебя уже кружится голова, грудь жжет, во всем теле ломота, ты еле держишься на ногах — и все равно: наклоняешься, берешь, грузишь, опять наклоняешься…

— Ты подымаешь один кирпич — и знаешь, что за ним пойдет еще семьсот штук. Нагрузил семьсот — начинаешь снова. Ты идешь домой —

и знаешь, что завтра с утра ты опять с головой залезешь в эту чертову печь и начнешь все сначала. Вечер дается тебе, чтобы ты мог подкрепить свои силы, поесть, отдохнуть — а завтра…

— В конце концов, тебе уже ясно, что именно-то в этой печи — вся цель твоей жизни. И тебе совершенно безразлично, вдохновляют ли тебя высшие цели, или ты работаешь бесцельно. Тебе все равно, в каком государстве ты работаешь и какими идеями руководствуются твои властители. Тебе совершенно все равно.

— Когда-то я много читал, теперь ничем не интересуюсь. Просто я знаю, что ни одна книга и ни одна музыка не выразит моего чувства. Мне нужно произведение, которое выражало бы самые сложные чувства — и одновременно не выражало бы ничего. Да, вообще-то, мне и ничего не надо.

— А казалось бы, чего мне жаловаться! Я работаю в адских условиях — но зато: полторы тысячи!! Я могу всегда быть сытым и хорошо одеваться — да, но сердце, легкие… Еще лет пять — и я уже не жилец.

— Иногда забудешься в печи… Вспомнишь, что работаешь и для детей… Бессознательно задаешь себе вопросы: какие дети? зачем дети? — грузить

кирпич?? Тогда зачем он, этот кирпич? Берешь один; как сумасшедший, бросаешь его об пол, разбиваешь; потом второй, третий, четвертый… Потом одумаешься — ну, разбил ты один кирпич, второй, но ведь впереди еще семьсот, а там еще… Останавливаешься, переводишь дух, начинаешь все сначала…

— Все это хорошо: люди издавна так работали, но ведь у нас все это, вместе взятое, без зазрения совести называется счастьем! Единственное, что у тебя остается, — водка, а ты пьешь ее осторожно, крадучись, исподтишка… Любая неосторожность — и тебя оштрафуют на 50 рублей!

— И все это — ради высших целей!

19 мая

Все в той же малиновой кофточке… страшно…

20 мая

— Ну куда я сейчас пойду?.. У меня… ннет… ничего нет! Что, ты думаешь — я так и пойду? Чтобы все смеялись надо мной — пусть… Да?! Ты что же — тты… человека понимаешь?

Тупо посмотрел на меня. Я отвернулся: попытался придать своему лицу безразличие.

— По-твоему… я должен на кирпичах спать… Так, что ли. Рубля жалеешь… Своему другу… руб-

ля жалеешь… В рррот я всех ебу в таком случае… Мне нужно… понимаешь?.. напиться нужно…

Я пробовал убедить его, что он и без того пьян «слишком достаточно»: я не дам ему ни глотка из своей четвертинки; что же касается денег, то их у меня нет совершенно…

— Ты же еще мне… сыннок!.. Ты еще… под стол ходил пешком… а я уже дддесять рраз человеком был… Ммалых ребят видел… И больших видел… тоже… А теперь — что? — умирать, что ли, мне хочется? Обязан я, что ли, — умирать?..

Расстегнул телогрейку, обнажил мохнатое туловище.

— Видишь!.. Везде горит… огнем горит… А на что мне рубашка? Взял — и пропил… Пиджак тоже — как будто задаром… пропил… Как у русского народа… что выпито и проебёно… то в дело произведено! Хе-хе-хе… Все за мозоли покупаем… а продаем — даром… В носках теперь идти… Ттак?

Нагнулся, придерживаясь за мою куртку, стал снимать грязные носки. Встретив мою улыбку, тоже улыбнулся.

— Малый! Мы… с тобой пили… а ты хороший малый! Тебя… девки целуют… Так всегда и надо делать!.. А мне… босиком теперь… дойду до коль-

ца… буду все покупать… все, что лежит, все буду покупать… а телогрейку продам… Голый пойду… Прическу себе сделаю…

Снял носки: босой, опустился на землю.

— Купишь, а?.. В ней же цена не за то… что дорогая… Мне она нужна… Никому не продам… Голый пойду… От самой Москвы в ней прошел… А жены у меня нет… Теперь уже все равно — рубашку продал, ботинки продал… А телогрейку — нникому не дам! Это своя, русская… Купишь, а?

Заерзал под ногами, схватился за мою руку.

— За один глоток, а? Носки отдам… Это они грязные, потому что темно… А были… хорошие, полоски везде… А?.. Не хочешь, значит?.. И телогрейки не хочешь… Душу-то нельзя продавать, душа у меня… как русский герой… а продавать нельзя… Телогрейку — можно…

Вероятно, вспомнив, что у меня в кармане четвертинка, неуклюже поднялся, стал на колени, обеими руками ухватился за карман.

— Сыннок… Я же не пожалею ничего… Отдам… Телогрейку отдам… Что еще у меня… нничего больше… Вечное тебе спасение будет… По-божески все будет… Ты же такой хороший… сынок… По-божески…

Пришлось вынуть четвертинку и заложить

за спину.

— Ммилый, я же не хочу… Мне… можно не прятать… Один раз… я же понимаю… человеческие чувства… Ведь я… Я же не требую… Мне как другу… А никакой водки мне не надо… Я и так… Водка везде есть… а чтобы душа горела… выпить надо… А телогрейку… тоже надо… ее одеколоном немного… помочить… и будет как… в хороших людях. Я — что? Я — не хороший? Тогда плюй мне в рожу!.. Ну? Я — что? Не человек?!. Тогда бей… Бей, и все… Ебать всех в ррот в таком случае… Бей… жалеть не надо… Я все, что надо… А сто грамм — за советскую рроди-ну, за службу…

Стало жутко. Всплыли на поверхность скверные желания… Помутился рассудок…

Ровно в час ночи я выбросил ему четвертинку.

21 мая

Помню, как в тумане… Было жарко и хорошо… И когда вспоминаю, снова становится жарко…

А она даже и не заметила.

22 мая

— Зачем бьешь?! Это беззаконие!

— Никто и не бьет! Слепой, что ли?

— Э-э-эх, надрызгалась, старая ведьма, ее и сапогом не разбудишь!.. До чего же все-таки

доходят…

— Добро бы мужик какой-нибудь, а то ведь женщина! старая! И откуда только такие берутся?!

— А ведь сидела еще, денег просила… Какие только дураки ей давали!

— И не стыдно ей, суке старой…

— Детей-то, наверно, нет… А то б постыдилась… этак-то…

— Да что ты ее, сынок, подымаешь-то — как?! За голову… да сапогом!.. Руками бы уж, что ли?

— Возьме-о-ошь такую руками! Поды-ымешь! Заблеванная вся…

— Как ведь скотина какая-нибудь… Да скотина-то чище… Люди-то хуже скотов стали!

— И не говори…

— Ляжет такая в сестиваль, так все дело и испортит… Позор да и только!

— Ну уж в фестиваль — так долго чикаться не будут… Это-то еще ничего, — видишь, как он ее удобно, — сапожком за живот и перевертывает…

— И чего пьют, спрашивается?.. Чего пьют?

— Какой ччерт там — «переживает»! Какого это ей хрена «переживать»? А если переживаешь, так переживай, как все культурные люди…

— Чем это она недовольна, интересно?! Надрызгалась — вот и все.

24 мая

Ну и пусть смеются… Я не вижу никакой разницы…

Это просто кажется, что они смеются; никто и не обращает внимания…

Когда-нибудь я буду поститься каждую пятницу… А теперь нельзя…

Теперь демобилизую терпение… Мне будут говорить, что я сумасшедший… И я зайду на полчаса…

Буду смотреть на фотографию мертвого и улыбаться… Что же здесь особенного, если умер годовалый ребенок… Это даже хорошо… Годовалые дети должны быть только на фотографиях… Если он воскреснет, придется смеяться… А мне смеяться не хочется…

Я лучше завтра нахохочусь…

А сегодня буду смотреть… И не буду говорить глупости о необъятном… Это незачем…

Это самое приятное — смотреть… Кто-то — кажется, Муравьев — говорил, что я меланхолик… Никогда не поверю…

Если бы это было просто половое влечение, я не был бы раздосадован…

Если даже гостеприимно распахивается кофточка, я не говорю глупостей… и не сумасше-

ствие…

Не понимаю, почему все это тебя трогает… Ведь он уже и не придет… Наверное, и сейчас стоит на улице Красина… Ободранный… Просит денег…

На днях видел его…Стоял в пивной и ударялся головой о прилавок…

Это даже немножко смешно… Пошляк стал инвалидом — и перестал быть пошляком… Не нужно было выгонять его…

Да мне-то все равно… Да и он — не сегодня завтра издохнет… Я же знаю, что ты будешь плакать… И опять, как вчера, задушишь «лобзаниями»…

А пока будешь хранить «целомудрие»… Пройдешь… Заденешь лицо бедром…

Исцелую ноги… Буду дышать твоим запахом…

25 мая

Ерофеев! Вы плохо кончите! Вам, наверное, и во сне

снится, что вам стреляют в затылок!

Ерофеев! Вы некультурный человек! Посмотрите на нашу молодежь! Разве кто-нибудь, кроме вас, в общежитии ходит в дырявых тапках?

Ерофеев! А вы, оказывается, хорошо стряпаете стихи! Вы о чем пишете — о природе или о де-

вушках?

Ерофеев! За что вы ненавидите женщин? Женщин надо *любить*! На то у них и пизда!

Венедикт! Почему тебе все — смешно?

Венедикт! Ты хоть свою родную мать не называй сволочью!

Ерофеев! Вы рассуждаете обо всем, как трехлетний ребенок! У всех людей в голове мозг, а у вас!

У вас — «олимпическое» спокойствие, Венедикт!

26 мая

— Неа, не нужно…

— А если трудно будет?

— Все равно не нужно.

Полуминутное молчание.

— Тебе же ведь никак без них нельзя.

— Значит, можно.

— Дурак.

— Угу.

— Что «угу»?

— Угу, говорю, дурак.

Молчание.

— Венька… почему ты такой злой…

— А почему ты такая глупая…

— …Да я и всегда была глупая…

— Да я и всегда был злой.

— Дурак… Веньк, а у тебя веснушки… И у меня тоже — веснушки…

— Угу… и у тебя — веснушки…

— Так ты же и не посмотрел даже…

— Интуиция, голубушка, ин…

— Ну, посмотри, Веньк… ну, чего ты злишься…

— Я не злюсь… Просто — я пришел к Муравьеву, по делу, а не смотреть на вас всех… Много здесь вас с веснушками — каждого и рассматривать, что ли…

— (отсмеявшись) А ты часто сюда ходишь?

— Неа, раз в месяц… Между прочим, сегодня — последний раз… Скверно что-то стало у вас на Стромынке.

— Да ты и раньше говорил, что тебе на Стромынке противно…

— Раньше было противно, теперь — скверно…

— Не понимаю, для чего ты живешь, если тебе все противно… Повесился бы уж, что ли…

— Послушайте, Антонина Григорьевна…во-первых, мне не все… противно, а во-вторых, прекратите глупости. Иначе я вас ошарашу такой глупостью сейчас, что вам будет слишком неприятно…

— Да-а-а?

— Угу.

Минутное молчание.

— А ты, оказывается, все такой же скотина.

— Угу-у-у… И ты тоже… И у тебя действительно — тоже веснушки…

Длительный мрачный взгляд.

Пятиминутное молчание.

Беззвучное окончание последнего интервью.

27 мая

Я люблю совершать благородные поступки, это моя слабость. Благодарение богу, мне еще не представлялось подходящего случая. Иначе мне пришлось бы хвастаться перед ними, что я совершал их. А я вот представил себе, что сегодня утром я был благороден… А представить гораздо труднее, чем совершить в действительности.

Может, я и в действительности совершал то, что мне представлялось, — ну, да ведь над благородством не смеются.

А над моими действиями-таки смеялись, хоть, может быть, мне это просто казалось.

А казалось бы — над чем смеяться?

Это даже своего рода долг — одернуть заблудшую женщину. Я лично ничего не имею против того, чтобы женщина являлась в общество с расстегнутой ширинкой, это, напротив, представляется мне явлением благоуханным…

Но если эта же женщина пытается убедить собравшихся в том, что обозначенное явлением благоуханным — плод общественно-разгулявшегося воображения, здесь уж поневоле приходится прибегать к крайним мерам.

В этот миг я походил на Демосфена, я выражал сквозь зубы интересы большинства. Я это чувствовал, — толпа с удовольствием скандировала лейтмотив моей речи: «По зубам ее, стерву… По зубам…»

Но бить ее не решались — разве же можно без опасения даже приблизиться к балтийскому матросу. Значит, я ошибался, принимая его за столетнюю женщину. Мне просто казалось… По утрам меня интересует только кажущееся… Мы раскланялись…

Он отрекомендовался мне «апологетом» человеческого бесстыдства, он не фантазирует по утрам… С недавнего времени он всеми признанный порт пяти морей и крупнейший железнодорожный узел… Он падает на землю и дергается… Ну конечно, он сумасшедший, это все понимают…

Если он в бреду даже речь мою называет неблагородной, то какие же могут быть сомнения… Он сам это хорошо понимает, он видит, что по утрам

все смеются над ним… Бедный помешанный… Он оскорблял меня…

28 мая

«Сыннок… ты меня обижаешь… я тебе подношу, как брату кровному… Как сыну своему подношу… А ты даже от своего… кровного… не хочешь принять…

Тты думаешь, я тебя просто напоить хочу… Чтобы ты напился да извиняться стал… Скверные, значит, у тебя… мысли… если ты так думаешь… Не за что передо мной извиняться…

Я ссам, если хочешь…извиниться могу… что в воскресенье ругаться с тобой хотел… Если б не баба, мы бы с тобой поругались… по-хорошему… Она тебя любит, моя баба… Все хочет, чтобы ты ей стихи писал…

А от меня, проститутка, стихов не дождется… я уже дураком давно не был… Муж — значит муж… Расписаны — и все, никаких стихов… Прихожу в любое время… Если дает — ебу… Нет — ухожу к ебаной матери… Как будто у меня других блядей нет… Ты думаешь, я с одной ногой — так и блядей не найду… Блядей я всегда найду, еби только, успевай…

А тты — э-э-эх! — к бабе моей прилепился, стихи ей пишешь… Ппоэт… девятнадцатого века…

Хе-хе-хе… Наверное, любишь, когда она перед тобой заголяется… Все это она хочет, чтобы ее молоденький лизал со всех сторон… Так жопой и завертит… от удовольствия…

Да ты не обижайся… Она хорошая баба… Она тебя не обидит… всегда, что надо, поесть сготовит… Ты как сын у нее, на всем готовом, только пои ее больше… Она когда немножко выпьет, так сама бросается на шею, плачет… Так прямо и ложится под тебя…

Э-ох-хо-хо-хо! Люблю я тебя, паренек, так бы вот прямо взял и расцеловал… А? Хе-хе-хе-хе… Поэт! Настоящий поэт!.. Не знаменитый, ну — ничего… ничего…

Выпей еще грамм сто — …вот уже и знаменитый… Пьяному море, как говорится, по самые пятки… Сейчас вот допью — пойду по блядям… Первым делом — к бабе пойду… Если дойдет дело до того, что выгонять будет… угроблю на месте…

В прошлое воскресенье тоже пришел навеселе… Хорошо, что еще успела дверь закрыть… а то было бы дело… Я уж сколько раз из-за нее на пятнадцать суток садился… Все ей грозил, проститутке, — …погоди! отсижу, приду, — места мокрого не оставлю… Не все ли равно, за что сидеть…

А вссе жалею… Как посмотрю на нее, что она плачет… сразу жалею…»

А. М. 28/V–57 г.

29 мая

Главное — хранить полнейшее спокойствие и заблудших отвести от самоубийства.

Сначала попробовать убедить: нет ничего безвыходного…

Если не поможет — напиться, успокоить материально…

А «желанный» пояс окропить святой водой…

30 мая

Ммилые вы мои!

Да ведь я точно такой же!

Помните? — когда похолодало двадцатого марта, ведь и я закрывался рукой от ветра, отворачивался, хотел, чтобы теплее было!

А потом прятался под одеяло, согревал руки и, когда жаловались на холод, говорил, стиснув зубы: «Это хорошо… Мне нравится, когда так… бывает».

Говорил совершенно серьезно, — и жался к теплому радиатору! Ругался, когда кто-нибудь открывал дверь и озябшим голосом просил папиросу!

Теперь немного теплее. И все равно говорят озябшими голосами, вздрагивают у проходной, а на холодные радиаторы смотрят угрюмо, наверное, считают их виноватыми.

Мне тоже холодно. Я тоже вздрагиваю.

Им не нравится холод. А мне — ⟨«то, что им холодно»⟩…

31 мая

Ну, как это можно лежать в гробу? Так вот просто и лежать?

Хоть бы покрыли чем… А то ведь я выдать себя могу. Нечаянно дрогнет рука или… еще что-нибудь. Хорошо это лежать мертвому, ему и не стыдно, что он лежит. Да и рука у него не дрогнет… или еще что-нибудь.

А меня вроде как будто на смех положили. Положили и ждут, когда я разоблачу себя… Пошевелюсь или вздохну…

И глаза открыть нельзя… Откроешь — а они все стоят и на тебя смотрят…

Мертвому, например, все позволяется… Мертвый может и с открытыми глазами лежать. Все равно не увидит никого… Ему кажется, наверное, что и на него никто не смотрит… Потому и не стыдно ему… И закрыть глаза — может… Даже полагается, чтобы мертвый в гробу все время

глаза закрывал…

«Граждане! Если я посмотрю на вас — вы смеяться не будете?.. А?..»

Странно, почему все молчат… Думают, наверное, что я и в самом деле мертвый, а просто из себя строю этакого… разговорчивого… Как будто это очень мне интересно — откидывать перед ними коленца да потешать их…

«Граждане! А я все-таки открою! И глядеть на вас буду!.. Вам это даже интересно будет. Мертвый, а глядит… Хи-хи… В платочки будете фыркать. А потом пойдете и будете всем рассказывать: „Мертвый…а глядит…“»

Ну, а теперь они и подавно будут говорить, что я умер: открыл глаза, а ничего не вижу. Совсем не так, как в темноте. Если в темноте приглядеться, так сначала увидишь просто контуры… А потом и самые лица разглядишь… Узнаешь тех, кого видел раньше… Моргнешь им или лягнешь ногой… А ведь здесь не только контуров — самой темноты… Самой темноты не видно.

Бывает, что человек проснулся, открыл глаза — а не видит… Но ведь это во сне так бывает… А ведь я и не думаю спать. Я же знаю, что на меня смотрят…

«Граждане! А что, если я на другой бок повер-

нусь?.. И вообще — буду поворачиваться, песни революционные петь, кричать буду?.. Вы ведь тогда отвернетесь?.. Да?»

Смеются… Это они, наверное, над «революционными песнями» смеются… Зря я это сказал… Мне даже самому неловко. Нужно им было что-нибудь поумнее сказать, чтобы подумали: «Умный, а ведь в гробу лежит. Стало быть, умер».

А ведь это очень трудно. Лежать в гробу, чувствовать, что ты ослеп, — и умное говорить. Это очень трудно.

«Упокой, господи, душу новопреставленного раба твоего!.. Граждане! Вы не думайте, что я верую в бородатого бога! Бог всюду сущий и единый!..»

Вот, мол, какой я умненький.

«А все, что я говорил до сих пор, — вы тому не верьте. Все по незнанию, по недомыслию… Потому что непривычно мне здесь… В воздухе как будто кухонный запах. И смотрят все. Смотрят, а не говорят ничего. Страшно…»

Да мне и действительно страшно.

«Граждане! Если среди вас есть хоть один слепой — он поймет меня. Я ужасно люблю слепых! Я еще в детстве хотел, чтобы все были слепые, чтобы у всех были сомкнутые веки… А если у кого-нибудь глазное яблоко раздвинет веки, так

это считать злокачественной опухолью, помочь ему…»

Фу, какую я глупость сказал!..

Я даже чувствую, что начинаю краснеть. Странная у меня привычка! Когда я начинаю краснеть, то краснею все больше и больше. И уже никакой хладнокровностию себя остановить не умею…

Хоть бы покрыли чем… А то ведь могут подумать: «Притворщик; мертвые не краснеют». Ну, хоть бы саваном, что ли…

«Граждане! Вы бы уж покрыли меня, а то ведь я покраснел… так вы увидеть можете».

А под саваном и чихать позволяется.

«Так уж лучше не видеть меня… Со святыми упоко-о-ой…»

7 июня

«Матерь Божия!»

«Девственница Мария!»

«Богородица пресвятая!»

«Заступница-матушка!»

Триумвиров не нужно!

Ниспошли то, что ниспосылала!

Убавь еще немного!

8 июня

Если вас оттесняют на исхоженный тротуар,

держитесь правой стороны.

Если вы просветляетесь в мыслях — засоряйте свой разум.

Если вы чувствуете непреодолимую симпатию к находящейся в пределах земного вещи, уничтожьте ее.

Если это деньги — сожгите их.

Если это человек — толкните его под трамвай.

Если это дама — привяжите ее к стене и вбейте ей клин.

Убедите себя, что отвращение — самое естественное отношение к предмету и что на поверхности вашей планеты не должно быть ничего, к чему бы вы чувствовали влечение.

Убедите себя, что гораздо благороднее — мыслить представлениями об уже несуществующем.

Если же стечение обстоятельств отрекомендуется вам Роковым для вас самих и вынудит вас покинуть земное, — уходите спокойно, с ясностью во взоре и в мыслях.

Уходя, гасите свет.

9 июня

Наверное, завтра меня свезут в сумасшедший дом…

Все равно она ласковая… И у нее красивая грудь… Пшеницына тоже была такая… Обломову

нравились локти… Он всегда смотрел на нее… Это помогает…

10 июня

«Э-э-эх, Венька, Венька! Хоть мне и горько признаться, а я в тебя потерял всякую веру.

В марте я просто-таки тобой восторгался, ожидал, что из тебя получится чуть ли не великий человек… В апреле как-то равнодушно к тебе относился, но все-таки надежды не терял…

А теперь… вообще махнул на тебя рукой… Гиблый ты человек, конченый…

Я думал, ты бросишь пить, а оказалось наоборот… Ты еще больше пьешь… Да и обстановка здесь дикая, на тебя влияет… Ты же здесь просто задыхаешься, Венька!

И зачем только ты от нас ушел… Вспомни-ка, как было все хорошо… весело… Тебе, наверное, сейчас кажется, что ты выбился куда-то в сторону и остановился на месте, а все остальные живут… им по-прежнему хорошо…

А ты все катишься вниз. Не знаю, когда же будет предел.

Э-э-эх, Венька, Венька! Сколько раз я тебе говорил, еще и в прошлом году: — опомнись, Венька, опомнись! — ты все смеялся.

А теперь уже поздно».

Валерий С. 10/VI–57 г.

Дневник
11 июня – 16 ноября 1957 г
V
(Окончание) записки психопата

11 июня

Меня похоронили на Ваганьковском кладбище.

И теперь я тщетно пытаюсь припомнить мелодию похоронного марша, которая проводила меня в землю.

Иногда мне кажется, будто марша и не было и сопровождавшие гроб двигались неохотно, поминутно оборачивались, словно ожидали, что откуда-то сзади с минуты на минуту раздадутся рыдающие оркестровые звуки…

И, не дождавшись, отступали, расходились…

Я был слишком мертв, чтобы выражать к этому отношение. Отчего-то думалось, что равнодушие к удаляющемуся гробу было следствием тягостной, непрекращающейся тишины.

До сих пор всем им движение времени представлялось как движение вечных, сменяющих друг друга мелодий.

А теперь…

Тишина словно оглушила сопровождавших. И самому мне казалось, будто гроб остановился вместе с временем.

Остановился и тяжестью всеобщей пустоты «захватил» мне дыхание…

Стало душно…

А сверху на крышку гроба что-то падало… сыпалось через щель между досками… не нарушая тишины…

Я словно чувствовал шуршание песка и ритмические удары по кровле моего последнего приюта. И — может быть, это была просто фантазия оглушенного человека, — но скупые и однообразные звуки преображались для меня в дивную мелодию.

Может, те, что стояли наверху, не слышали ее, хотя сами и извлекали ее из тишины… но для человека, у которого каждое психологическое состояние сопровождалось и выражалось внутренней музыкой, любое нарушение душной тишины может казаться музыкальным аккордом… тем более что тишина для него вечна…

И у него даже отнята способность вспоминать, хотя воспоминания должны были бы стать единственным его уделом…

Несправедливость эта меня не тревожила.

Я напрягал свои чувства, вслушивался, словно бы я и не потерял способности вслушиваться во что-нибудь, кроме своей глухоты…

Я знал, что это не стук и не шелест песка… а самая удивительная из всех мелодий — тишина…

Но я уже ничего не слышал.

12 июня

1. Ерофеева Анна, Ерофеев Василий, Ерофеева Нина, Гущина Тамара, Ерофеев Юрий, Ерофеев Борис, Тимофеев Петр, Ванюгина Катерина, Сикорский Виктор, Варзин Александр, Смыченко Владимир, Харчук Анатолий, Симонов Афанасий, Федотов Николай, Кули-баба Иван, Варзова Александра, Елисеева Анна, Елисеева Мария, Бучина Анна, Свиридов Виктор, Сухоруков Геннадий, Шиляев Геннадий, Горчаков Петр, Горчаков Владимир, Селиверстова Анна, Горбов Виктор, Щербакова Дарья, Водовозов Игорь, Павлов Николай, Балуков Владимир, Ерофеев Венедикт.

2. Быкова Валентина, Белоусова Людмила, Ворошнина Лидия, Глинка Виктор, Дремин Юрий, Егорова Евгения, Захарова Валентина, Иванова Изольда, Киселева Лора, Краснова Нина, Коновалова Валентина, Литовченко Галина, Литовченко Светлана, Миронова Валентина, Морозова Вален-

тина, Носкова Антонина, Орлова Лидия, Панасова Валентина, Рассадин Владимир, Новикова Юлия, Кавезин Юрий, Станкевич Станислав, Смирнова Нина, Свищева Валентина, Турунина Валентина, Федоров Юрий, Фомин Геннадий, Ерофеев Венедикт.

3. Юрий Романеев, Юрий Новиков, Виктор Дерягин, Сергей Мягченков, Валерий Савельев, Джульетта Остаева, Антонина Музыкантова, Владимир Курников, Владимир Скороденко, Лев Кобяков, Леонид Самосейко, Леонид Михайлов, Виталий Рябцов, Ольга Никонова, Майя Полидва, Светлана Курина, Наталья Теучеж, Владимир Катаев, Владимир Муравьев, Юрий Кузьмин, Геннадий Семар, Борис Успенский, Виктор Тихомиров, Анатолий Ченцов, Валентина Закк, Галина Коршунова, Николай Рубцов, Ирина Гуржибекова, Виктор Сибиряков, Вадим Малютин, Александр Кучияк, Александр Терентьев, Николай Тарлашев, Евгений Костюхин, Леонид Муравьев, Анна Журавлева, Елена Жуковская, Ирма Видуэцкая, Алла Дунина, Алла Зименкова, Любовь Пономарева, Тигран Карапетян, Михаил Петросян, Венедикт Ерофеев.

4. Алексей Былинков, Станислав Артюхов, Геннадий Сейфутдинов, Михаил Бегичев, Илья

Шестопалов, Николай Андреев, Василий Андреев, Сергей Грязнов, Валентина Ракусова, Аграфена Захарова, Анна Бабенко, Яков Абрамов, Владимир Абдуррахманов, Вениамин Козин, Виктор Глотов, Анатолий Киселев, Петр Капустьянов, Владимир Якунин, Серафим Якунин, Яков Ладутенко, Николай Ивлев, Алексей Дробышев, Альберт Гроза, Андрей Волкович, Мария Мелкова, Владимир Ряховский, Светлана Абдуррахманова, Юрий Плошкин, Александр Зеленов, Александр Савельев, Александр Мартынов, Александра Мартынова, Мария Мартынова, Борис Морозов, Альберт Алешин, Николай Нога, Сергей Бочков, Владимир Бирин, Венедикт Ерофеев.

13 июня

Так с тех пор и запомнилось:

Стоят в коридоре…видно, что вышли просто подышать…розовая краска на лицах…нервный половой смех…

Помню, ни внешне, ни внутренне не выразил ничего… А отойдя немного — улыбнулся…

С тех пор стараюсь убедить себя, что так для меня гораздо лучше… Гораздо лучше… А если и вспоминаю, то потираю руки смущенно: «Бог им судия… Так и должно было статься…»

14 июня

Ну, какая может быть скорбь!

Даже в смерти матери я не вижу никакого основания отводить от умершей свою неприязнь. Если даже я и «скорблю», предположим, так не должен же я путем выражения той же самой «скорби» хвастаться своей полнотой душевной!

Заметьте — я совершенно нормальный! Но величайшее удовольствие для меня — жалость по поводу того, что былое «не будет». И если скорбь доставляет мне удовольствие, почему же я должен видеть плохое в смерти своих близких?

«Скорбеть» по умершему для меня значит просто жалеть о том, что жизнь человека, смертию доставившего мне «скорбную радость», оборвалась этой же самой смертью. Стало быть, я жалею только о том, что мне приходится жалеть. Я сам вызываю жалость — и если бы я не черпал в ней наслаждение, она была бы мне не нужна и, след(ователь)но, ее не было бы.

«Скорбящий» по поводу смерти кого бы то ни было, я гораздо более жалею себя, чем умершего. Я разговаривал с покойником, слышал, видел его; мои восприятия, им заполненные, — часть моего существования. Потому в смерти его я вижу утрату собственную.

Смерть человека постороннего точно так же может вызвать сожаление — но будет искренним оно только в том случае, если жалеющий «встанет в положение» умирающего или осиротелых чадушек его. Стало быть, единственным объектом моей жалости могу быть только я сам.

Смерть человека, тем более — близкого мне, — лишний предлог для того, чтобы доставить себе радость слезной жалостию к самому себе.

Еще раз заметьте — я совершенно нормальный! Но для чего я на людях буду выражать свою жалость, если это будет восприниматься просто как хвастовство тем, что я позволяю себе слишком много удовольствий!

16 июня

«Капризная Tyche» слишком ко мне благосклонна, в том смысле хотя бы, что никогда не оставляет меня.

Игривость ее заходит иногда слишком далеко.

Мне посчастливилось, например, уйти из университета вовремя только потому, что книжные ларьки в г. Кировске в 3 часа пополудни закрываются на обеденный перерыв. Совершенно без преувеличения.

Больше того — если бы они, эти ларьки, закрывались бы по пятницам на замок, мне никогда бы

не пришлось даже покидать Хибинские горы.

30 апреля прошлого года не считается днем моей безвременной кончины только потому, что красный уголок черемушкинского общежития был этим вечером в запустении. Был же он в запустении в силу того обстоятельства, что буфет пополнился в тот день двумя ящиками первоклассных сарделек. Обстоятельство, внешне прозаическое, избавило меня от траго-романтической смерти.

Но с тех пор, в минуты крайнего пессимизма, острие моего негодования направляется на расторопность всех без исключения буфетчиц, виновных в продолжении моего тягостного существования.

Это еще не все. Если бы утром 3-го мая прошлого года в программу радиоконцерта была бы внесена одна маленькая поправка, мне пришлось бы краснеть вплоть до февраля нынешнего года.

Если бы в феврале был более лукав бухгалтер нашего треста, мне понадобилось бы в тот же день лечь, не раздеваясь.

Мало того — отец мой скончался именно в июне только потому, что Шаболовка не залита асфальтом. Как это ни фантастично — но это действительно так.

И если бы стромынские туалеты были расположены не в местах общественного просмотра газет, — у меня никогда не хватило бы духу начинать свои «Записки» и, следовательно, жаловаться на капризы могущественной богини случая!

Что уж там наполеоновский насморк!

17 июня

Удивительный человек. Бездарь. Гений. Оригинал.

Слишком мрачный человек. Самый веселый из всех людей. Поэт. Чудак. Скрытный человек. Лодырь. Слишком длинноязыкий. Обломов. Страшно трудолюбивый. Самый непонятный человек. Хулиган. Тихоня. Политический преступник. Книжный червь. Анархист. Идиот. Философ. Пьяница. Младенец. Дубина. Студент прохладной жизни. Человек, который не смеется. Вертопрах. Весельчак. Сволочь. Душа-человек. Прекратите гнилую демагогию. Вот кого надо перевоспитывать. Ужасно интересный тип. Вы будете замещать воспитателя. Я хочу быть твоим товарищем. Черт знает, что у тебя на уме. Давайте будем друзьями. Я буду твоим комсомольским шефом. Темный человек. Будем знакомы. С тобой интересно разговаривать, у меня теперь все

мысли переворачиваются вверх дном. И прочее. И прочее. И прочее.

18 июня

⟨*В дневнике несколько пустых страниц*⟩

25 июня

Валерий Савельев — со всеми существующими жанрами танцевальной музыки.

Лидия Ворошнина — с «Половецким хором» Бородина.

Владимир Муравьев — с «Поэмой экстаза» Скрябина.

Владимир Бридкин — с куплетами и серенадой Мефистофеля.

Нинния Ерофеева — с «Цыганской песней» Верстовского.

Антонина Музыкантова — с Равелем и 1-й частью 1-й симфонии Калинникова.

Тамария Ерофеева — с романсом Листа «Как дух Лауры…» и пр.

Борис Ерофеев — популярные советские песни.

Александра Мартынова — «Интермеццо» Чайковского.

Все остальные — с песенками Лоубаловой.

Июль

Я начинаю злиться.

— Господа, разве ж вы не видите, что он больной?

— Вы, молодой человек, не вмешивайтесь.

— Ах, господа, я вмешиваюсь не потому, что мне доставляет удовольствие с вами разговаривать.

— Ну, так и…

— И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы вы оставили его в покое и удалились.

Они пожимают плечами: странный человек… он сам напрашивается…

— А все-таки интересно, где же это вы научились такому обращению?

— Не знаю… По крайней мере, меня интересует другое — чем этот бедный Юрик заслужил такую немилость?

— Все очень просто, молодой человек, — он целый год не плотит за комнату, а мы не имеем права держать в общежитии таких, которые по целому году не плотят!

— Все это очень хорошо, господа, но вы поймите, что этому человеку платить совершенно нечем.

— Нас это не касается, мы предупреждали его полгода, но он все-таки никак не хочет…

— Как то есть — «предупреждали»? Сколько бы вы его ни предупреждали, от этого работоспо-

собность к нему не вернулась. Поймите, что он болен, и бюллетень ему не оплачивают, потому что до болезни он проработал меньше года. Он уже целый год питается только черным хлебом, а вы не забывайте, что этот мальчик — туберкулезный больной, которому строго наказано соблюдать диэту.

Они смеются… они не желают меня понимать… Взгляды их выражают снисхождение к моей глупости.

— Родные у него есть, они ему помогают, значит, и уплатить могут…

— У него всего-навсего один брат…

— Но ведь он ему помогает…

— Он высылает ему по сотне в месяц, он сам получает 600 рублей и на них содержит семью…

— Молодой человек, вы, наверно, думаете, что мы сюда пришли разводить с вами философию… В ваших вон этих книжках, может, написано, что это и плохо… а надо видеть не только книжки, но и понимать… А то вы здесь, наверно, и капитализм скоро будете защищать…

— Милые люди, я не собираюсь защищать капитализм, речь идет всего-навсего о защите Юрика, а он так же далек от капитализма, как вы, извиняюсь, от гениальности…

Они снова не понимают меня и смотрят на меня вопросительно-весело… Они ужасно любят шутов, им нравится, когда их развлекают… А то ведь жизнь — вещь скучная… работа в бухгалтерии… жена, дети… сливочное масло… зевота… А тут — есть над чем посмеяться, блеснуть былой образованностью…

— Вы, молодой человек, никогда не интересовались, как я вижу, постановлением Московского Совета…

— Совершенно верно, я не интересуюсь ни постановлениями Московского Совета, ни женскими календарями, ни…

— Вот тогда бы вы поняли, наверно, что ваша философия совсем здесь не у места. Савостьянов, одевайтесь и собирайте свои вещи…

— Юрик, лежи спокойно…

Вспоминается Абрамов…Сейфутдинов наклоняется к ногам его и подбирает свои рукавицы… на лице его — жалкая улыбочка, словно бы ему и улыбаться стыдно… Абрамов пододвигает ему рукавицы ногой… Ему очень хорошо… Он испытывает физическое наслаждение, близкое к половому… еще бы только ударить ножкой по сейфутдиновской физиономии…

Юрик встает, силится сдержать слезы… Он со-

вершенно неграмотный… он улыбается…

— Ну-с, господа, теперь я уверен, что вот этот графин «встанет на защиту человеческой гуманности».

— Как вы сказали?..

— Я ничего не сказал, у меня просто есть желание наглядно, так сказать, продемонстрировать достижения нашей стекольной промышленности.

В дверях негодует толпа… Старушки вздыхают: «Куда ж он пойдет…», «Больной же, тупая молодежь смотрит на меня весело… они, как и конторские служащие, любят разнообразие… А то ведь, опять же, — скучно…

— Вам вредно пить, молодой человек, и рассуждать вам рано еще… а то ведь мы с вами и без милиции справимся…

— Даже?

— Представьте себе. Вы думаете, что если мы работники умственного труда, так у нас нет и кулаков…

— Да, но ведь кулаки есть не только у работников, с позволения сказать, умственного труда…

— Значит, вы хотите с нами драться… так, что ли…

— Не знаю… мне почему-то кажется, что хочет

драться тот, кто первый напоминает о существовании своих кулаков…

Теперь они хорошо меня понимают… И даже тугая на соображение толпа мне симпатизирует… Это хорошо…

— А вы остроумный… — вам бы только в армию идти на перевоспитание… У меня в полку и не такие хулиганы были, а выходили шелковые…

— Да… но тем не менее Юрик останется здесь…

— Юрик, может быть, здесь и останется на ночь, а мы с вами пройдемся…

— Ах, господа, если бы вы знали, как мне надоели уже эти субъекты в мундирах цвета грозового неба…

— Вам, может, и советская власть надоела? Пройдемте, пройдемте… Времени у меня оччень много…

— А у меня ровно столько же — терпения. Всегда пожалуйста.

6 августа

«Я взглянул окрест себя…»

«…и, потирая руки, засмеялся, довольный».

7 августа

⟨*В дневнике несколько пустых страниц*⟩

9 августа

Лексические эксперименты Мартыновой заслуживают самого пристального внимания. Тем более что от способа выражения нежных чувств зависело разрешение актуальнейшего вопроса: «кому из трех быть фаворитом?»

Приводим «образцы» всех трех.

1. «Здравствуй, милая Сашенька! Я пишу Вам письмо с большого расстояния, и оно еще раз вам напомнит мои слова о том, что любовь убивает не-разделенность, а не расстояние. Вы, наверное, понимаете, Сашенька, что я имею в своем виду.

Теперь, когда Вы так „далеко от Москвы“, я еще больше, поверьте мне, думаю о вас, как вы были на моих именинах в своем цветном платке, и косы были у вас тогда, как у девушки, и тогда снова бьется мое сердце и обливается кровью за Вас.

Ведь без вас я как будто без сердца и без души. Я еще не стар, милая Сашенька, и моя любовь, которую, быть может, вы отвергнете, ждет вашего ласкового слова. Вашего чувства ко мне я не могу предугадывать, а вам мое, без сомнения, хорошо понятно. И когда я в тяжкой разлуке, не слышу вашего милого голоса, я тревожусь за судьбу своей любви, быть может последней. По всей вероятности, и вы тоже тревожитесь за нее, но предугадывать я не могу, и в заключение шлю

вам прощальный привет в надежде получить от вас желанный ответ. До свидания. Твой раб Александр Коростин».

2. «Любимая Саша! Итак, прощай, все кончено меж нами, любить тебя я больше не могу, любовь свою я заглушу слезами, за счастье прошлое страданьем отомщу. Я быть твоей игрушкой не желаю, прошу тебя, ты слышишь, только тебя об этом как друга умоляю, не вспоминай меня ни насмешкой, ни добром. Я ведь не заслужил твоих насмешек, не знаю, чем я мог тебя я огорчить, я признаюсь, что раньше я любил Вас, ну а теперь приходится забыть. Итак, прости, нам нужно расстаться, причины не ищи, так, видно, нам судьба, но время прошлого останется друзьями, мы расстались, но это не беда. Быть может, я страдать и плакать буду, я, может быть, ошибся глубоко, пройдут года, и я тебя забуду, забудь и ты меня и лучше не пиши. Итак, прощай. Предмет твоих насмешек, а может быть, любви — Коля С.».

3. «Уважаемая А. М.! Спешу принести вам тысячу поздравлений в связи с тем, что в последнем вашем письме кол-во грамматических ошибок уменьшилось втрое.

Осмелюсь далее заявить, что мое пламенное

послание займет не больше как страницу, ибо соревноваться с вами в объеме (я имею в виду объем письма) признаю себя бессильным. Позволю себе попутно сообщить, что ваш отъезд вверг всю мужскую половину 4-го Лесного переулка в состояние нежной меланхолии, меланхолического томления, томительной нежности, томительной меланхолии, меланхолической нежности etc., etc. Остроумный ваш супруг наедине со мной не раз вариировал эту тему в таких красках, что даже вы, А. М., внимая „им“, покраснели бы (опять же — имеется в виду ваша всегдашняя бледность). И вообще, смею вас заверить, супруг ваш гораздо более достоин той груды ласкательных эпитетов, которыми вы в последнем своем письме совершенно некстати меня наградили.

В довершение позволю себе наглость пасть перед вами ниц и пр. и пр.

Имею честь пребыть: Венед. Ер.».

22 августа

Лежа в постели, выкурить 2 папиросы и поразмыслить одновременно, достойна ли протекшая ночь занесения в отроческие мои «Записки». Если все-таки достойна — выкурить третью папиросу.

Затем подняться с постели и послать заходящему солнцу воздушный поцелуй; дождаться

ответного выражения чувств и, если такового не последует, выкурить четвертую папиросу.

С наступлением сумерек позволить себе легкий завтрак: 500 г жигулевского пива, 250 г черного хлеба и 2 папиросы (по пятницам: 250 г водки, литр пива и, добавочно к хлебу, рыбный деликатес). В продолжение завтрака следить за потемнением неба, размышлять о формах правления, дышать равномерно.

Последующие три часа затратить на усвоение иностранного языка, в перерывах — стричь ногти, по одному ногтю в каждый перерыв.

По окончании занятий повернуться лицом к северо-западу и несколько раз улыбнуться. Выпить 500 г пива, лечь в постель; лежать полчаса с закрытыми глазами (по пятницам один глаз дозволяется приоткрыть). Думать при этом о судьбах какой-нибудь нации, например испанской, и находить в современной жизни ее — симптомы упадка.

Встав с постели — пройтись по засыпающей столице; каждой встречной блондинке говорить «спасибо» и стараться при этом удержать слезы; на поворотах икать и думать о ничтожном: о запахе рыбных консервов, о тщеславии Карла IX, о вирусном гриппе, о невмешательстве и т. д.

Одним словом, казаться на людях человеком корректным и при грудных младенцах не сморкаться.

Придя домой, позволить себе до полуночи умственный отдых и скромный обед: 500 г пива и 450 г жареных макарон (по пятницам — 150 г водки, 500 г пива и, добавочно к макаронам, рыбный деликатес). Закончив обед, пожалеть кого-нибудь и внимательно на что-нибудь посмотреть.

Четыре послеобеденных часа заполнить литературным творчеством и систематизированием человеческих знаний. По возможности воздерживаться от собственных мнений, которые мешают нормальному протеканию пищеварительного процесса.

Ночные занятия сопровождать умыванием и закончить элегическим возгласом, вроде: «Какие вы все голубенькие!» или просто: «Маминька!»

Наступление рассвета встречать обязательно разутым, чисто вымытым и лежащим на полу. Так, чтобы первые утренние лучи падали под углом 45 градусов к плоскости моего затылка. Поднявшись затем, отряхнуться и послать восходящему солнцу воздушный поцелуй (по пятни-

цам — добавочно к поцелую рыбный деликатес).

Не дожидаясь выражения ответных чувств, углубиться в дебри своего мировоззрения, подвергнуть тщательному анализу свои отношения ко всем нравственным категориям: от стыдливости до насморка включительно. Затем обуться и выйти к ужину.

Ужин должен быть строго диэтическим, и выходить к нему необходимо в нагрудной салфеточке и с ваткой в ушах. Ужин — своеобразная кульминация суточного режима, поэтому в продолжение его следует держаться правил приличия: смотреть на все с проницательностью и живот не почесывать.

Закончив ужин, вынуть ваточку из ушей и тщательно проутюжить салфеточку (по пятницам ваточку из ушей следует вынимать при потушенном свете).

Приготовления ко сну начинать непосредственно после ужина.

Встав навытяжку перед постелью, пропеть тоненьким голосом моцартовскую колыбельную, — и уже после этого раздеваться. Ложиться следует так, чтобы затылок, ноги, живот и нервная система были вверху, а все остальное — внизу (по пятницам ноги должны быть внизу).

Засыпая, воздерживаться от размышлений и от будущих сновидений ожидать достойности.

24 августа

Это уже слишком!

Я не настолько глуп, чтобы откровенностию себя унижать!

Не сочтите за пошлость, но я «склоняюсь» совсем не для того, чтобы выказать свое раболепие, а просто — «дабы с большей детальностью осмотреть ваш очаровательный низ».

Июньские головокружительные «шуточки» мне сейчас совсем не нужны.

Если хотите знать, ночные обитательницы Груз⟨инского⟩ Вала настроены элегически ничуть не меньше…

Так что не смейте их оскорблять!

25 августа

«Почтим, — говорю, — мою память вставанием…» А

сам плачу; стою, руки опустив, и плачу… «На кого же я меня покинул», — говорю; а потом поправляю себя с улыбкой: «Не меня, а себя… покинул…» И так хорошо улыбаюсь, слезы по лицу размазываю… и шепчу, уже просветленный…

«Царствие мне небесное!..»

Сентябрь

Речь К. Кузнецова на открытии театрального сезона в «обществе любителей нравственного прогресса».

«Господа! *(Аплодисменты.)* Каждый из нас по-разному понимает те задачи, которыми мы должны руководствоваться в нашей деятельности. Нужно помнить, что наша основная задача — свести все эти задачи к одному — к борьбе. Но какая это борьба, господа?

Все мы беспрерывно боремся: утром — с зевотой, днем — с бюрократизмом и вспышками преждевременной страсти, вечером и ночью, соответственно, с отчаянием и половым бессилием. *(Аплодисменты, возгласы: „Наверно, у Венедикта содрал!“)*

В Америке происходит борьба за существование, в России — борьба за сосуществование. *(Аплодисменты.)*

Но главная борьба в наше время — это борьба за нравственное возрождение человечества! Почему в наше время каждый второй мужчина — алкоголик? Почему в больнице Кащенко не хватает коек для сумасшедших? Почему призывники 35-го года полегли тысячами в Венгрии? За что в наших ребят-призывников бросают камни

в освобожденных странах? Разве мы, молодежь, виновата? *(Аплодисменты.)* В таком случае — долой тишину и все это гробовое спокойствие! Мы — защитники нравственного прогресса! Наша главная задача на первом этапе — бить стекла! *(Бурные аплодисменты.)* Срывать всякие вывески, вроде „Соблюдайте чистоту“ и так далее! Наша вторая задача — устраивать шум и бардак — везде, где требуется тишина! Мы должны гордиться тем, что мы пушечное мясо! Нам никто не посмеет затыкать рот! *(Аплодисменты.)* Нас пока четверо! Почетный член нашего общества — Венедикт! *(Аплодисменты.)* Это, значит, уже пять! Будет еще больше! Мы — не хулиганы! Мы — революционеры! *(Бурные аплодисменты, возгласы: „Сте-о-окла-а!“)»*

1 октября

По мере приближения к острову я все более и более удивлялся. Я опасался быть оглушенным хлопаньем миллионов крылий и разноголосым хором миллиардов птичьих голосов, — а меня встречала убийственная тишина, которая и радовала меня, и будила во мне горькие разочарования.

Ну, посудите сами: вступать на берега «Птичьего острова» и не слышать соловьиного пения! —

это невыносимо для просвещенного человека. Тем более что в продолжение всей церемонии «встречи» и на пути следования от аэродрома к отведенной вам резиденции вы поневоле вынуждены скрывать в себе свое разочарование и интернационально улыбаться.

Впрочем, любезная обходительность встретившего меня пингвина избавила меня от неискренности. А обращенные ко мне взгляды попугаев, до нежности снисходительные и до трогательности нежные, заставили меня улыбаться с совершенной естественностию.

Я был настолько растроган, что даже приветственная речь пингвина, затянувшаяся по меньшей мере на час, не показалась мне чрезмерно длинною. К тому же она несколько обогатила мои знания в области истории «Птичьего острова».

К крайнему моему удивлению, я узнал, что Горный Орел отнюдь не был родоначальником царствующей фамилии — он был всего-навсего последователем Удода. Однако деятельность Удода не заключала в себе ничего из ряда вон выходящего; да и скончался он в непогожую пору — одни лишь зяблики да снегири мрачно шествовали за гробом к заснеженному кладбищу.

И только тогда-то, в дни «безутешного траура», освобожденные пернатые впервые почувствовали на своих головах освежающее прикосновение орлиных когтей.

Нет, он тогда еще не был страшен, этот Горный Орел. Чувствовалось, что в его величественной птичьей голове еще только «гнездились» смелые замыслы, в его клекоте еще не слышно было угрожающих нот, — но орлиные очи его уже в ту пору не предвещали царству пернатых ничего доброго.

И действительно — не прошло и года, как начался культурный переворот, который прежде всего коснулся области философской мысли «Птичьего острова».

Уже издавна повелось в мире пернатых, что всякий, имеющий крылья, волен излагать основы своего мировоззрения в соответствии с объемом зоба и интеллектуальности.

Вороны беспрепятственно карр-кали.

Декадентствующие кукушки элегически куковали.

А склонные к эклектизму петушки ку-карр-екали.

И в этом не было ничего удивительного. Даже выражение крайнего пессимизма считалось

явлением вполне легальным. Так, еще в годы царствования двуглавых орлов одна из водоплавающих птиц перефразировала известное человеческое выражение, и с тех пор поговорка «Птица создана для счастья, как человек для полета» стала ходячей. В те годы даже мы, не говоря уже о водоплавающих птицах, не могли предвидеть «бурного развития реактивной техники», — и потому тогдашние птицы воспринимали поговорку как выражение убийственного скепсиса.

Тем не менее все было дозволено.

Но, как известно, чувства орлов, а тем более — горных, — чрезвычайно изощрены: там, где обыкновенный пернатый слышит просто кудахтанье, горный орел может довольно явственно различить «автономию» и «суверенитет».

Потому и неудивительно, что «вскормленный дикостью владыка» первым делом основательно взялся за оппозиционно настроенных кур.

Операция продолжалась два дня, в продолжение которых все центральные газеты буквально были испещрены мудрой сентенцией: «Курица не птица, баба не человек». Оппозиция была сломлена.

Вместе с ней уходило в прошлое поколение великих дедов. Погиб проницательный Феникс.

На соседнем острове, носящем чрезвычайно глупое название «Капри», скончался последний Буревестник. На смену им приходили полчища культурно возрождающихся воробьев.

А Горного Орла между тем мучили угрызения совести. И день и ночь в его больном воображении звенело предсмертное куриное: «Ко-ко-ко». Временами ему казалось, что все бескрайнее птичье царство надрывается в этом самом рыдающем «Ко-ко-ко».

И Горный Орел издал конституцию.

Вся суть которой сводилась к следующему:

а) все дождевые черви и насекомые, обитающие в пределах «Птичьего острова», объявляются собственностью общественной и потому неприкосновенной;

б) официально господствующим и официально единственным классом провозглашаются воробьи;

в) дозволяется полная свобода мнений в пределах «чик-чирик». Кудахтанье, кукареканье, соловьиное пение и пр. и пр. отвергаются как абсолютно бесклассовые. В вышеобозначенных пределах вполне укладывается миропонимание класса единственного и потому наиболее передового;

г) государственным строем объявляется республика, соединенная с революционной диктатурой; последняя, как явление временно необходимое, носит исключительно семейный характер.

Свежепахнущие номера конституции были распроданы в три дня. И один уже этот факт свидетельствовал о наступлении «золотого века».

Но враги не дремали.

Скрежетали зубами от агрессивной злости невоспитанные «заморские страусы». Страшным призраком надвигающейся катастрофы доносилось с запада ястребиное шипение. С высоты птичьего полета можно было отчетливо разглядеть за мерцающей далью странное передвижение птичьих стай, агрессивных по самому своему темпераменту.

И гроза не замедлила разразиться.

«Птичий остров» облачался в мундиры. На скорую руку реорганизовывалась индустрия.

— Ворроны накаррркали!! — судорожно сжимал кулаки Горный Орел. Однако перед частями мобилизованных воробьев попытался преобразиться в «канарейку радужных надежд»:

— Снова злые корршуны заносят над миром освобожденных пернатых ястребиные черрные когти! Будьте же орлами, бесстрашные соколы!

Ни пуха вам, ни пера!

Военный оркестр грянул «Лети, лети, мой легкокрылый». Воинственно нахохлились воробьи и стрижи. То и дело раздавались возгласы:

— Дадим им дрозда!

Прощающиеся жены попробовали затянуть популярную в то время песенку «Крови жаждет сизокрылый голубок». Но от волнения произносили только:

— Кррр!

Поговаривали даже, что «сраженный воробей» своей парадоксальностию несколько напоминает «жареный лед» и «птичье молоко». Оптимизм обуял всех. И от избытка его многие дышали учащенно.

С неколебимой верой в правоту своего дела и с годовым запасом провианта улетали на запад возбужденные стаи. В пахнущем кровью воздухе звучало супружески-прощальное, наивно-трогательное:

— Касатик ты мой! Весточку хоть пришли… голубиной почтой…

— Ласточка ты моя! Горлинка!

— Соколик мой ненаглядный!

— Проща-ай, хохла-а-аточка!

А оттуда, с запада, неслись уже странные, досе-

ле не слышимые звуки. Что-то, как филин, ухало и, как сорока, трещало. А по крышам опустевших гнезд забегали вездесущие «красные петухи»…

Шел уже 47-й месяц беспрерывной, тягостной войны, когда наконец на прилегающих к столице дорогах показались первые стайки уцелевших освободителей. «В пух и прах, в пух и прах!» — словно бы выбивали из земли воробьиные лапки. И царство пернатых, вторично освобожденное, захлестнула волна бесшабашно-лихой воробьиной песни:

Салавей, салавей,
Пта-а-ашечка,
Канаре-е-ечка-а!

Снова, как встарь, сомкнулись «орлиные крылья» вокруг «лебединых шей» — и жизненные силы дамских прелестей, вполне разбуженные еще залпом Авроры, теперь окончательно восстали ото сна.

Не прошло и трех лет, как пернатое население острова стало жертвой нового стихийного бедствия: Горный Орел «погрузился в размышления».

Страшны были не размышления; страшны были те интернациональные словечки, в которые

он их облекал и о которых он не имел «совершенно определенного понятия». Так, он еще с детства путал приставки «ре» и «де» в приложении к «милитаризации».

Будучи уже в полном цвете лет, «коронованный любитель интернациональных эпитетов» предложил произвести поголовную перепись населения «Птичьего острова». Когда ему был наконец представлен довольно объемистый «Список нашего народонаселения», — он, видимо возмущенный отсутствием эпитета к слову «список», извлек из головы первый пришедший на ум; к несчастью, им оказался «проскрипционный».

Запахло жженым пером, задергались скворцы в наглухо забитых скворешниках. Специфически воробьиное «чик-чирик» уступило место интернациональному «пиф-паф».

И все-таки без особой радости восприняли воробьиные стаи весть о кончине Горного Орла. Глухо гудели церковные колокола. Окрасились трауром театральные афиши. По столичным экранам совершала последнее турне «Гибель Орла». Трупный запах и журавлиные рыдания повисли в осиротелой атмосфере.

«Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи

твои…» — стонали пернатые; причем грачи-терапевты с подозрительной нежностию выводили слово «сами» и рабски преданно взирали на стоявшего у гроба пингвина.

А пингвин, видимо слишком «окрыленный» мечтою, уже «парил в облаках».

Начинался век «подлинно золотой».

Мудрое правление пингвина вкупе со слоем ионосферы вполне обеспечивали безмятежное воробьиное существование. «Важная птица!» — с удовольствием отмечали воробушки и с еще большим рвением клевали навоз экономического развития.

После длительного периода сплошного политического оледенения наступили оттепели, следствием чего явилась гололедица — полное отсутствие политических трений. А гололедица, как известно, лучшая почва для «поступательного движения вперед».

Молодые и неопытные воробушки зачастую поскальзывались и падали. Их подбирали пахнущие бензином и гуманностью черные вороны. И отвозили к Совам.

«Неопытность» молодых воробушков заставляла, однако же, призадуматься и пингвина, и попугаев, и пристроившуюся к ним трясогузку.

Не раз перед воробьиной толпою приходилось им превращаться в сладкоголосых сирен и уверять слушателей в том, что добродетель несовместима с бифштексом.

Доверчивые воробушки в таких случаях чирикали вполне восторженно, однако здесь же высказывали «вольные мысли» по адресу трясогузки и составных частей ея.

И вообще, следует отметить, в последнее время воробушки вели себя в высшей степени неприлично. К филантропии пингвина относились весьма скептически. И в самом выражении «бестолковый пингвин» усматривали тавтологию.

Единственное, что вызывало сочувствие у жителей «Птичьего острова», так это внешняя политика пингвина. Вероятно, потому, что она была очень проста и заключалась в ежедневном выпускании голубей. Если даже иногда и приходилось вместо голубей пускать «утку» или даже «ястребки», воробушки не меняли своего отношения к внешней политике, ибо считали и то и другое причудливой разновидностью голубей.

Все это я почерпнул, как уже отмечалось, из приветственной речи пингвина. «Растроганный до жалобных рыданий», я произнес, в свою очередь, несколько слов перед микрофоном.

Я убеждал их всех, что подводное царство, коего я являюсь полномочным представителем, всегда питало к «Птичьему острову» любовь почти материнскую и даже почти сыновнюю; что к «Птичьему острову», без сомнения, обращены теперь взоры всего прогрессивного животного мира и т. д. и т. д. В заключение я выразил надежду, что в гостинице «Чайка», которая любезно мне предоставлена, я буду чувствовать себя как «рыба в воде». Что же касается «временных недостатков», то по прибытии в свою подводную резиденцию я буду молчать как рыба.

Вслед за этим открытая машина помчала меня к новой моей резиденции; причем всю дорогу сопровождали меня поощрительные возгласы «Хорош гусь!», снисходительное щебетанье и восторженное кукареканье. В воздухе словно звенел алябьевский соловей, запах птичьего кала говорил о подъеме материального благосостояния. И тем не менее мне казалось, что все эти звуки и запахи сливаются в одно — в мелодию «лебединой песни».

10 октября

Сначала проносятся, взбираются, словно ползут

на коленках от горизонта к зениту…

Одна… вторая…

Словно боятся взглянуть… упадут, разобьются…

И возвращаются снова, загораживают белым… все загораживают…

А потом оборачиваются… не обе сразу, а первая… Глядит расширенно…

Глядит прямо, недолго…

И, отвернувшись, заставляет уходить…уходить…

11 октября

Пятница — синее, удивительно — синее, иногда сгущается до фиолетового, иногда отливает голубизной, но во всех случаях — непременно синее.

Суббота — под цвет яичного желтка, гладкая, желтая и блестящая; к вечеру розовеет.

Воскресенье — кроваво-красное, зимой — румяное. Если смотреть на него со стороны синей пятницы — кажется багровым, а в самом себе ассоциируется со знаменами и кирпичной стеной.

Понедельник — до такой степени красное, что представляется черным.

Вторник — светло-коричневое.

Среда — невнимательному глазу кажется белым, на самом же деле — мутно-белесоватое,

за которым трудно разглядеть определенный цвет.

Четверг — зеленое, без всяких примесей.

12 октября

Честное слово, я не виноват…

Разве ж я знал, что вы уезжаете… И потом — неужели все, о чем я говорю, нужно принимать всерьез… Мало ли что я скажу, — так ведь надо уметь отличить…

Одним словом, я совсем не виноват… я никак не мог ожидать, что опоздаю… Вернее, я опоздал нарочно, но ведь я совсем не хотел опаздывать…

Да и зачем мне опаздывать, даже если бы я этого и хотел… Это же не оттого, что я сошел с ума… я совсем и не сошел с ума… у меня, наоборот, самая нежная к вам привязанность, ко всем трем…

Может, я потому и не явился на «последнюю семейную встречу», что очень нежно к вам привязан… Вы, наверное, думали, что я снова «Жаворонок» вам буду играть или хвастаться… пить водку крохотными глоточками… Вы даже специально купили мне… А потом у поезда ждали… И уже когда поезд тронулся, все ждали: ведь он сейчас прибежит… как же он может не прибежать…

А я, может, в это время проститься с вами хо-

тел… Лежал и «хотел»… Посмеивался… Я теперь всегда смеюсь, чтобы от страха не стучали зубы… Чтоб было незаметно, что они стучат… Я, может, в это время и «Жаворонок» хотел вам играть…

Мне ведь совершенно все равно, куда идти и что играть…

А я на самом деле только к двери подходил… и говорил: «Как вы смеете…» Младшего называть сумасшедшим, а потом еще «хотеть» чего-то… Вы хоть и не называли меня сумасшедшим, а я все-таки видел, что вы меня называли… Я даже к двери подходил и говорил: «Как вы смеете…»

Это не оттого, что мне хотелось отомстить… Вы же ничего не говорили — как же я могу отомстить!.. Вы просто думали, что я хвастаться буду… «Жаворонок» умеет играть… как же он не прибежит… он обязательно прибежит…

Вы совсем этого не думали… Ведь нельзя же в последний раз… Самый последний раз… Нужно быть сумасшедшим…

Я даже не помню… я как будто бежал за вагонами… немножко бежал… У меня, если хотите знать, слезы были… Вот видите — даже слезы…

13 октября

⟨*В дневнике несколько пустых страниц. Между страницами вложен листок с записью:*⟩

Октябрь

Эта и последующие опущенные записи должны посвящаться трагическому продолжению и тягостному концу июньско-октябрьско-мартыновской драмы. Оставлено до январского беспристрастия.

16 октября

Как ни расписывал Кирилл Кузнецов мой режиссерский и актерский талант, постановка «Нормы» при газовом ночном освещении кончилась блестящим провалом. Хор друидов, состоявший из членов 307-й комнаты, оказался не на высоте. И, не дождавшись кульминации спектакля, взялся за вольнодумство.

Особенно неистовствовал Якунин.

«Так что же, я, по-вашему, молчать должен? Нет уж, извините, господа, когда по радио да в газетах про рабочих всякие небылицы пишут, а здесь рабочего человека за скотину считают! Я бы этому Муркову сегодня в морду плюнул, если бы хоть немного выпил! Какое он имеет право издеваться над грязно-рабочим! Что же это я, выходит, работаю, как скотина, чтобы себя прокормить, а у меня половину отбирают на заем! „Отдадим свои излишки в долг государству!“ А?»

Мишенька шел еще дальше:

«Мы не живем! Мы существуем! Мы, как бараны, трудимся для хлеба и для водки, а пошлют нас, как стадо баранов, воевать в Сирию или в Венгрию, так мы и пойдем, будем резать и кричать „ура“, пока нас не зарежут!»

Михаил Миронов, всегда исполнительный, восставал теперь против армейского насилия над чувством человеческого достоинства.

Шепотом выражал неудовольствие Сергей Грязнов: как это можно — работать в бетонном цехе целый месяц — и в результате не только не получить ни копейки, но даже остаться должником государства! (Факт, действительно имевший место.)

Кирилл Кузнецов с братиею восстанавливали в памяти лица расстрелянных родственников и оглашали кухонные стены великолепным «Долой!».

Виктор Глотов скрипел зубами. Он уже устал от прожектов «всеобщего благородного хулиганства».

А Ладутенко договаривался до абсурда:

«Да вы знаете, что будет, если война начнется? Да русский Иван с голоду будет подыхать! В ту войну еще как-то держались на американской тушенке, а то бы и тогда половина передохла! Вот

попомните мои слова — полная измена будет! Вы думаете, что у нас это высшее командование мирно настроено! Да у них руки-то чешутся, может, больше, чем у американцев! Пусть будет война! А то вот для чего мы живем? Ничего у нас впереди нет и ждать нечего… Пить разве только!..»

«Болото… болото…»

«Гасспада! Свет не включать!»

Пришествие коменданта несколько облагонамеривает романтиков и реалистов.

— Как это так — разойдись?!

— Пришибеевщина!..

— О-о-о! Комендант! Нам как раз нужен «хор друидок»!

Это — несгибаемые декаденты. Они весело изливают мрачное недовольство. Если бы ставилась пьеса Волковича, они с таким же успехом предложили бы коменданту занять вакантную должность ангела-хранителя.

— Ерофеев, уйдите из кухни! И все остальные — расходитесь по этажам!

— Поми-и-илуйте! Вы же затыкаете рты!

— Свобода мне-ений! Свобода сборищ!

— На фона-а-арь…

Пролетариат негодует. Как будто кто-то виноват, что они голодны и «выражают мнения».

Меньше пить! — здравая логика. И держать язык за зубами.

— Вы знаете, что за это бывает, за ваши длинные языки?

Конечно же, они знают — и тем не менее завтра они снова будут здесь. Ох уж эти пролетарии! Раньше хоть смотрели волками, но ведь не нарушали порядка в Новопресненском общежитии. А теперь добрая четверть схватилась вдруг за «достижения человеческого разума», вооружилась бумагой и фиолетовыми чернилами… Этак скоро они потребуют и людского существования…

17 октября

⟨*В дневнике несколько пустых страниц*⟩

21 октября

Несколько истин, которые были мною постигнуты на девятнадцатом году моего существования:

«Всякое тело сохраняет состояние покоя, пока и поскольку оно не понуждается внешними силами изменить это состояние» (в дни прошлогодней октябрьской «горизонтальности»).

«Из двух хорд, неодинаково удаленных от центра, та, которая ближе к центру, больше и стягивает большую дугу» (в минуты мысленного

сопоставления В. М. и Л. К.).

«Две параллельные прямые не пересекутся, сколько бы мы их ни продолжали» (в размышлениях над сходством моих судеб и судеб А. Г. М.).

«Все тела в данном месте „падают“ с одинаковым ускорением. Это ускорение называется ускорением свободного „падения“ (в размышлениях над сходством моих судеб и судеб Л. А. В.).

«На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной этим телом» (в час изгнания из университетского общежития).

«Выпуклая фигура, концы которой сходятся к одной точке, является „замкнутой“ (по поводу А. Г. М. и А. Б. М.).

«Если в треугольнике два угла — острые, но оба они в сумме — меньше прямого, то наибольший угол данного треугольника — тупой» (по поводу савельевского острословия).

«Чтобы опрокинуть вертикально стоящее тело, достаточно довести его до положения неустойчивого равновесия» (по поводу мартыновской целомудренности).

«Звуки, „образование“ которых не требует участия голоса, называются „согласными“» (о пролетарской лояльности).

«Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов» (единственное, что можно сказать по поводу будущего моего существования).

22 октября

Да уймите же ее! Уймите!

Разве вы не видите, что она сумасшедшая? Я ведь сразу узнаю сумасшедших! У меня, если хотите знать, особый нюх к этим самым…

Позвольте, позвольте… Неужели вы ее боитесь! Вы думаете, ей будет легче, оттого что вы вскрикиваете? Нужна ласка… ласка нужна!.. По головке ее погладить…ну и…

Вот видите, я нисколечко не боюсь! И даже звериного взора ее не боюсь!.. Нужно быть философом, чтобы звериному отвечать ангельски… ласково… оттого, может быть, и нет у нас ангелов, что звери не знают л…

Ма-а-ама-а!

3 ч. ночи

23 октября

Накануне дня своего рождения приветствую проблески жизни в святом для меня чреве. Преклоняюсь перед «очаровательной стыдливостью» будущей матери Антонины Мартыновой.

24 октября

Я — все.

Я — маленький мальчик, замурованный в пирамиде.

Ползающий по полу в поисках маленькой щели.

Я — оренбургский генерал-губернатор, стреляющий из мортиры по звездам.

Я — мочка левого уха Людовика Восемнадцатого.

Я — сумма двух смертоносных орудий в социалистическом гербе. Меня обрамляют колосья.

Слово «зачем» — это тоже я.

Я — это переход через Рубикон, это лучшие витрины в Краснопресненском универмаге, это воинственность, соединенная с легкой простудой.

Я — это белые пятна на географических картах.

Надо мной смеялись афинские аристократы. Меня настраивали на программу Московского радио. Меня подавали с соусом к столу мадам Дезульер.

В меня десять минут целился Феликс Дзержинский, — и все-таки промахнулся.

Мною удобряли земельные участки в районе города Исфагань и называли это комплексной

механизацией, радостью освобожденного труда и еще чем-то, чего я не мог уже расслышать.

Знаменитый водевилист Боборыкин обмакивал в меня перо, а современные пролетарии натирают меня наждачной бумагой.

Я — крохотный нейтрон в атоме сталинской пепельницы.

Я изымаю вселенную из-под ногтей своих.

25 октября

«Ничего такого особенного не было. Какой там духовой оркестр! Если бы не Маруськи Перевозчиковой муж, мы бы, наверно, и лошади не достали. А он и гроб сделал сам, с ее сестрицы денег на могилу потребовал.

Я даже мать приглашал хоронить — так она потом весь день на меня кричала. И тебя потом обзывала, ревела всю ночь. А ее — и „паскудой“ и по-всякому…

Я бы, говорит, ей в морду плюнула в мертвую… Как будто это она и виновата, что ты запьянствовал и бросил учиться…

И вообще, мало народу было. Кроме меня, наверно, человек десять. И лошадь — какая-то кляча, все время спотыкалась; полтретьего только доплелись, а там фонарей почти нет, темнота… да еще буран к вечеру поднялся…

Могилу заново пришлось разгребать…

А она — ничего, все такая же, только уж слишком белая какая-то. И снег — просто падает на лицо и не тает. Такая смирная, даже на себя не похожа. Я смотрел, смотрел, так даже влюбился. Ну, чего ты смеешься, честное слово, влюбился… И все время тебя вспоминали».

Борис Ер.

27 октября

Странные люди эти Мартыновы! Даже там, где нужно всего-навсего вмешательство милиции, они взывают к небу! Я говорил им, а они не понимали, что это нелепо.

Потому-то я решил удалиться.

Но удалился не сразу. Ровно полмесяца еще устрашал их с порога «ужасами правосудия». А они смеялись и про себя называли меня трусом.

Как им угодно! Я же говорил, что это чрезвычайно странные люди…

Они никак не могли представить себя в положении подсудимых и калек… А ребенок?.. Что же будет с ребенком?.. Ведь не обязан же он отвечать за буйство своего родителя!

Александра Мартынова действительно так выражалась. «Поклонники» утешали ее: ва-

шему супругу за колючей проволокой гораздо приятнее… к тому же сбылись ваши давешние мечтания… начало нравственной свободы… а стало быть, пружинный матрас и жизненные утехи… фу, как очаровательно, Сашенька…

Сашенька казалась неутешной. Она одна виновата… Она и не предполагала… Супруг вернется через три года и зарежет ее… Это уже ясно как день… А в этих благодетелях совершенно нет сострадания… Тянутся к матрасу… точно клопы… Ух, как она их ненавидит!

Она даже ножкой притопнет — вот как она их ненавидит!

Все это слишком уж было чувствительно. И я решил «удалиться».

Несколько странно смотрел на косы и «вдовьи» плечи: ничего не поделаешь… раз виноваты, так уж, конечно, виноваты… да нет, не холодно, а то там у вас — «поклонники», духота… во-о-от, видите, как хорошо, — даже заулыбались оба… а он таки вас прирежет… и вообще эта самая жизнь — вещь недурная… ну что вы, непременно ее, мы даже имя вместе изобрели… это даже в некоторой степени знаменательно… будущее вашей фамилии…

Да ну вас, не люблю это я что-то трогательное…

Помните, как-то в июнь — под дождем смеялись и очаровательный сосок… В общей сложности — пятьдесят лет… а подставляли грудь, словно… И вообще — слишком уж веселая вещь этот «июнь»… А что касается супруга — так этого вам никто не простит… И поделом… Читайте «Евангелие»… дочь, непременно дочь!.. Прощайте.

28 октября

⟨*В дневнике несколько пустых страниц*⟩

31 октября

Незаметно смиряюсь.

Раньше меня обнадеживала довольно странная вещь: мне почему-то казалось, что в пятьдесят седьмом году не может быть никакой осени… Вчерашний день убедил-таки меня, что так оно и есть…

Я как будто задремал…

Проводил аплодисментами все происшедшее, а вызывать на бис не собираюсь…

1 ноября

«Сегодня случилось одно незабываемое событие. Тот самый Ерофеев, который всегда приходил в нашу комнату, пришел немножко пьяный и взялся рассуждать. Все, которые у меня сидели, человек десять, стали смеяться над его

идейками и спорить. Я, конечно, не принимал никакого участия, а только слушал… А потом, когда все разошлись, я долго не мог заснуть. Переворачивался с боку на бок и все думал и думал: „Ну для чего я живу, для чего это я переворачиваюсь?“ Повторял до двух часов ночи все, что я услышал, и про себя смеялся… В конце концов не смог улежать и вот теперь на кухне пишу дневник. Теперь я уже знаю свою цель: я не буду, как другие, слепо подражать Ерофееву, но буду читать, читать и читать. Это для меня теперь самое главное. И все, что я смогу сделать в этом деле, о котором говорил Ерофеев, я все сделаю. Но для этого — читать».

(«Дневник» В. Я., 15-е окт.)

«…я немного сошелся с Ерофеевым; я и раньше много о нем слышал от Кузнецова, но он превзошел все мои ожидания. Все его разглагольствования я хоть разбить и не могу, но я чувствую, что все это не по мне. А когда он играл вторую сонату, то слушал с удовольствием. А ведь раньше я ничего не понимал…»

(«Дневник» Мих. Мир., 3-е окт.)

«Если он серьезно говорит, что у меня есть талант, то этим я обязан только ему. Если бы игра

судьбы не занесла этого непонятного человека в нашу среду, вряд ли я бы стал писать…»

«…и мне не понравилось только то, что, когда начался серьезный спор между „вольнодумцами“ и „благонамеренными“, Венедикт, от которого мы все ожидали решительного слова, все свел к какой-то шутке…»

«…боюсь, что, когда Венедикт уедет, будет все то же самое; и я буду тем же самым…»

(«Дневник» В. Гл., 8, 8, 24 сент.)

«…Зина назвала Венедикта Дон Кихотом, Обломовым и Иудой. Я за это обозвал ее дурой и больше в тот вечер с ней не разговаривал…»

«…О! Теперь я знаю, что мне делать, где я нужен! Вот где истинное мое призвание! Тысяча благодарностей будущему собаке-МГБ-шнику! А разве я жил до этого?..»

(«Дневник» К. К., 11-е, 20-е окт.)

2 ноября

Антонина Музыкантова подошла крадучись.

В 10 часов вечера сидели, смиренные.

В 11 — погрузились в часовое молчание.

В 12 часов ночи озарило.

И к утру протрезвел.

3 ноября

Как раз это очень важно!

В другой раз я, может быть, не обратил бы на это никакого внимания. Мало ли что может присниться во сне!

Да и действительно — мало ли…

Снилось мне, например, на прошлой неделе, что я с солнышком разговаривал. Его хоть и не было нигде, а я все равно разговаривал. Честное слово.

А в другой раз приснилось мне, будто бы сразу вдруг никого не стало. Совершенно никого не стало. И каждый ко мне подходил и спрашивал: «Почему это меня нет?» А я как будто бы глухонемым притворяюсь и каждого переспрашиваю: «А?» И так это смешно мне было. Я даже во сне смеялся.

Мало ли что мне снилось… Так это ведь все на прошлой неделе было. А в этот раз совсем не то… вовсе не то…

Было что-то важное… А что важное — я и теперь понять не могу… Вернее, вспомнить никак не могу. Со мной это часто бывает: во сне гениальные догадки делаю, а как проснусь — забываю… помню только, что было что-то гениальное, а что — никак не могу вспомнить…

Так вот и теперь — пустое ощущение важно-

сти… и ничего сколько-нибудь определенного. И от этого самого — бесчувственно хорошо: может, это и действительно настолько важно… может, я и в самом деле лишаю мир еще одной необходимой истины… тем самым лишаю, что насильственно держу в голове эту самую… неопределенность.

Да ведь я и сам хочу узнать, что это…

А вот возьму — и не буду знать!.. И хотеть не буду! А ведь я могу… могу… одно маленькое, крохотное напряжение мысли… памяти… — и все!.. Но ведь это незачем… это ведь страшно необходимо, и мне самому это необходимо… а зачем это мне?.. это же вовсе не нужно…

Я вот даже плакать буду над тем, что это не нужно…над собой буду плакать…над тем, что я ничего не могу, хотя стоит мне только захотеть… но ведь я и не хочу, чтобы мне хотелось… Я вот и над этим плакать буду!..

Может, это как раз и есть то «важное»… Может, это неприятное удовольствие, которое меня охватило, и есть то самое, что мне хотелось узнать… и что снилось мне…

Но зачем мне это знать?.. зачем?..

7 ноября

Гражданка, отойдите вправо! Я не вижу, кто

кого бьет! Она его или он ее? Ах, он ее! За что же это он ее? Это, наверно, от скуки! Ну конечно, это от скуки!

То есть как это: никто никого не бьет? Разве ж вы не видите? Ах, лобзаются! Ну да, ведь они лобзаются! За что это он ее? Ведь и в самом деле — он ее! Это, наверно, так просто, скучно им! Да и действительно скучно!

Ну, почему вы так думаете? Разве же можно — наедине? Наедине никак нельзя! Его не видно, но ведь он здесь! А она — вон, видите, и слева, и справа, — везде она! И вон там, в отдалении — тоже она! А он здесь совершенно не нужен! Он только на минутку показался и сразу…

Ну гражданочка, отойдите же, ради бога! Я ничего не вижу!..

11 ноября

Вот как будто бы и все…

12 ноября

⟨*В дневнике несколько пустых страниц*⟩

13 ноября

Я хорошо понимаю, что приближающаяся станет очередной жертвой кирилловского опьянения… И хоть я уже ясно различаю выступающую из троллейбусного мрака, я отворачиваюсь

и с нетерпением ожидаю…

— Гррыжданка! Рразришите прредставиться… Извините, что я не в своем обнаковенном виде…

Почти не оборачиваясь, я беру Кирилла за локоть и говорю недовольно:

— Кирилл, ну неужели тебе не надоело?

Спутник мой не обращает внимания и, пока «жертва», огибая его, направляется к стромынской изгороди, неистовствует…

— Эта хладнокрровная гражданка… любит ходить зигзагами!.. Она, вероятно, полагает…

— Кирюш, брось… Это Музыкантова…

— А мне сррать на то, что она Музыкантова! Эй! Ты! Ну, чего не оборачиваешься, ппизда!.. Она, Веничка, позорит свою фамилию! Граждане, которые идут на Стромынку! Прощайте! Прощайте!

Уезжаем, так сказать, из пределов столицы! Прощайте! Нне увидимся никогда — и слава богу! Еббать вас в рррот! Сейчас для вас будет исполнена 2-я соната Ббитховена! Ария Каваррадости! Великий музыкант Вень…

Веничка, что с тобой?..

14 ноября

1. «Начальнику 2-го строительного управления Ремстройтреста от прораба Савельева А. И. заявление. Прощу обратить Ваше внимание

на то, что рабочий Ерофеев В. В. на протяжении последних 3-х месяцев совершенно не является на работу без уважительных причин на это. Прошу принять соответственные меры. Савельев. 10/XI–57 г.»

2. «Начальнику 88-ого отделения милиции от коменданта общежития Ремстройтреста Советского р-на г. Москвы заявление. Довожу до Вашего сведения, что проживающий по Новопресненскому пер. 7/9, к. 203, Ерофеев Венедикт Васильевич прописан в д. месте жительства с условием работы в Рем-стройтресте. Однако на протяжении последних 4-х месяцев т. Ерофеев, нигде не работая, получает деньги подозрительными путями и к тому же нарушает все правила общежития. Подробности при рассмотрении. Комендант общежития Ст. Г. 11/XI–57 г.»

К сему при «рассмотрении» прилагается перечень «вольных мыслей».

3. «Начальнику 88-го отделения милиции от начальника 2-й части Советского Райвоенкомата».

4. «Начальнику 2-го строительного управления Ремстройтреста от начальника 24-го отделения милиции г. Москвы».

5. «Начальнику 88-ого отделения милиции. Дело т. Ерофеева от 29/ IX–57 г. 66 отд. мил.»

6. «Начальнику 2-ого строительного управления Ремстройтреста Зеленову А. И. Объяснение. От рабочего Ерофеева В. В. Спешу Вас уведомить, что дело от 29/IX–57 г. 24-го отделения милиции вкупе с донесением коменданта, а такожде 66-го отделения милиции вопроса о месте моего пребывания на территории общежития абсолютно не затрагивает. Передача вышеупомянутых дел на рассмотрение Народного Суда Советского р-на обязывает Вас несколько воздержаться от утверждения приказа за № 730. Имею честь пребыть: Венедикт Ерофеев. 11/XI–57 г.»

7. «Коменданту общежития Ремстройтреста от начальника отдела кадров 2-го СУ Абдуррахманова В. В. 11/XI–57 г.»

8. «Приказ по Ремонтно-строительному тресту Советского р-на г. Москвы № 731.

В соответствии с… уволить т. Ерофеева с работы в СУ–2–РСТ с запрещением дальнейшего пребывания на территории г. Москвы. Ст. 47 Г. Зеленов. Суворов. 11/XI–57 г.»

9. «Ерофееву В. В. Предлагаю Вам в трехдневный срок освободить помещение. Комендант. 14/XI–57 г.»

10. «Т. Ерофееву В. В. 88-е отд. милиции запрещает Вам выезд из места жительства до рассмот-

рения Ваших дел от 28/VIII, 29/IX, 11/X, 8/III–57 г. и 31/X — 56 г. Советским районным судом г. Москвы, состоящегося 19/XI–57 г. Ковтун. 14/XI–57 г.»

15 ноября

Знаменательно: вчера выпал первый снег, а сегодня растаял.

Чуть-чуть знаменательно.

16 ноября

Все-таки интересно, почему над моим домом никто еще не повесил гирлянду из желтых роз?

Они думают, что у меня нет дома — но ведь это не оправдание.

У меня действительно нет его, у меня вообще ничего нет, но дом-то все-таки есть; я даже развесил на окнах его фиолетовые занавески…

Если все остальные цвета, даже красный, кажутся мне до смешного глупыми, почему бы мне не предпочесть фиолетового?..

Видите — я даже могу предпочитать! Разве ж можно после этого сомневаться в том, что моя обитель требует украшения!

Совсем не обязательно — желтые розы… Можно просто… мимо пройти — и заглянуть в мои окна… И вы ничего не увидите — тот, кто заглядывает в чужие окна, видит на фоне темной занавески

отражение своей собственной физиономии… А разве это не украшение моей «обители»?

Это даже единственное украшение. Все остальное я давно уже продал — иначе мне пришлось бы умереть с голоду… Оставил только это, последнее… Фиолетовые занавески…

Ведь если их сбросить, каждый увидит: Пусто… Нет ничего… А ведь было, наверное… Что-то было…

КОНЕЦ

Антология поэтов общежития Ремстройтреста

Составленная Венедиктом Ерофеевым с послесловием составителя на изящной белой бумаге

1. От романтизма к реализму

2. Декадентство
(футуризм, имажинизм, символизм, «венедиктовщина»)

ЭПИГРАФЫ

«Кто сказал, что у нас
один только Серафим Якунин?!
У нас все – поэты, все
Серафимы Якунины!»

(из разговора в буфете)

«Я – поэт, но ведь я же не говорю,
что я – великий!»

(Серафим Якунин)

«Серафим – это не то, что Якунин,
Якунин – это не то, что Серафим».

(Волковский)

Кирилл Андреевич Кузнецов

(1939–1958 гг.)

Я хотел бы стать поэтом,
Чтобы счастье воспевать,
Петь всегда – зимой и летом,
Чтобы ты смогла понять.

Петь о том, что счастье это
Ты одна лишь можешь дать.
Счастье согревает сердце,
Счастье можно увидать.

В песнях наших так поется
(Счастья я себе ищу):
«Тот, кто хочет, тот добьется».
Значит, счастье разыщу.

22/XI–56 г.

«Поздняя осень. Все небо закрыто…»

Поздняя осень. Все небо закрыто
Тучами темными. Утром льет дождь.
Вечером воздух, наполненный влагой.
Ночью не видно уж звезд.

Все это: небо, и звезды, и воздух,
Зелени запах и дождь проливной —
Душу тоской о тебе наполняют,
Хочется быть лишь с тобой.

Верю в тебя, о подруга родная, —
Вместе нам к счастью идти!
Верь же и ты мне, моя дорогая,
Верь и ко мне приходи!

23/VII–57 г.

(Фрагмент)

...Не найти слова такие,
Очень беден мой язык,
Без прикрас, совсем простые,
Песнь пус⟨к⟩ай (к тебе) летит...

24/VII–57 г.

Михаил Васильевич Миронов

(1932–1957 гг.)

«Казалось мне…»

Казалось мне, что я тебя любил.
То была вспышка ранних юных лет.
Но не скажу, что я тебя забыл,
А все же тех волнений во мне нет.

Другой уж лик в душе моей томится,
В любви никто не мог определить,
И, может быть, раскаяться придется,
Но все же вас прошу меня забыть.

Не плачь, дитя, напрасно льешь ты слезы,
Напрасно ждешь любви ты от меня.
Прошла любовь, увяли розы,
Что расцветали когда-то для тебя.

Любить нет сил, как сердце охладело,
Огонь в груди давно, давно погас,
Прошли те дни, когда сердечко пело

И не было вокруг счастливей нас.

Душа твоя запросит ласки, знаю,
Но поздно – меня уж не вернешь,
И прошлое счастье, минувшие ласки
Напрасно к себе ты зовешь.

Ах, если бы я тебя не любил,
Во мне бы не кипела кровь,
Тогда бы я не знал,
Что значит ревность и любовь.

Ноябрь 56 г.

Кривцову Н.

Настало время – ты вернулся
На место прежнее свое;
Но где ж ты есть, куда девался?
Я жду прихода твоего.

И я ручаюсь – ты придешь,
И мы увидимся с тобою.
Так приходи же ты скорей.
Я не могу владеть собою.

Находишься ты у девчат,

Сидишь, рассказываешь, шутишь…
Так приходи, Кривцов, скорей!
Твое медленье меня мучит.

Вот ты пришел, счастливая улыбка
По нашим лицам сразу пробежала.
Коленька, здравствуй, как твое здоровье?
Бросаю к черту все свои дела!

Ноябрь 1956

Признание

Хотелось мне, чтоб ты прочла
Мои бессмысленные строчки.
В начале моего стиха
Еще поставила б по точке.

Тебе одной хочу сказать;
Не будь ко мне горда, коварна.
Хотелось мне тебя позвать,
На просьбу будь ты благодарна.

Прошу тебя, пойдем к реке,
Последний вечер погуляем, —

Я буду завтра вдалеке,
Сегодня вечер поболтаем.

Твои глаза в моих остались,
Твой голос режет уши мне,
Ты вспомни, как мы расставались
Над речкой Птанью по весне.

Когда пришло время расстаться,
Ты мне сказала: будь здоров…
Я в этот миг решил признаться,
До Этого я был суров.

Сентябрь 56 г.

Отпуск

Вот пятый день, как я в деревне,
Гуляю, веселюсь и сплю,
Хожу на речку, хоть далёко,
И рыбку удочкой ловлю.

А лес – ведь это исцеленье
Для нас – здоровых и больных:
Какая прелесть наслажденье!
Чтоб описать, нет сил моих!

Друзья мои, я без природы —
Что рыбка гибнет без воды,
Мне речка, лес всего дороже.
Как смотрите на это вы?

Но отпуск кончится, и я
Оставлю все свои гулянья,
Сестренке, маме я скажу:
До скорой встречи, до свиданья!

И перед отъездом, вечером,
В кружке знакомых и родных,
Снова МЫ……
Про……

Сентябрь 56 г.

Виктор Никитич Глотов

(1936–1957)

Пусть бога нет! Но раньше был ведь бог!
Куда он делся, этот лик святой?
Наверно, Сталин выбросил за порог,
Или ушел с разбитой головой?

Скажите мне, где счастья мне искать,
Коль нет на свете даже бога?
Откуда мне могучих сил набрать,
Когда б я стал старик убогий?

Пусть я умру! Но где слеза найдется?
Или как пес из жизни я уйду?
Пускай луна хоть на луну взнесется, —
Я даже в смерти счастья не найду!

1957

Ерофееву В.

Я на площади – Прохожий,
В парикмахерской – Клиент,
Я вчера был Допризывник,
Завтра – Абитуриент.

На работе я – Завскладом,
В электричке – Пассажир,
В отделеньи – Нарушитель,
У ребят – Кумир.

Я в газете – Главредактор,
А в анкете – Братый в плен,

В магазине – Покупатель,
В профсоюзе – Член!

Так и будет век от века,
И ночи, и дни!
Где ж я стану – Человеком,
Ты хоть объясни!

I/IX–57 г.

«Когда я закрываю глаза...»

Посвящается Венедикту Ерофееву

Когда я закрываю глаза,
Все зримое перестает существовать,
Все невидимое вливается в меня,
Когда я закрываю глаза.

Когда меня покрывает мгла,
Бессилье увидеть погружает в страх;
Но вмиг освещает божья рука
Все невидимое, погруженное в меня, —
И даже мой страх покрывает мгла.

7/IX–57 г.

Закат

Окровавленной влагой вечерних рос
Наполнен вечерний тост,
Распят лучезарного дня Христос
Мерцанием первых звезд.

На горизонте, свившись в кольцо,
Извергают паленую вонь,
Хладнокровно и зло раздувает огонь
Инквизитор с черным лицом.

И снова сыграв надоевшую роль,
Под цвет вечереющих рос
Окрасил глаз, предвкушая боль,
Обреченного дня Христос.

8–9/IX–57 г.

Василий Прохорович Пион

(1938–1957 гг.)

Граждане! Целиком обратитесь в слух!
Я прочитаю замечательный стих!
Если вы скажете: «Я оглох!»

Я вам скажу: «Ах...!»

Если кто-нибудь от болезни слёх,
Немедленно поезжайте на юх!
Правда, туда не берут простых,
Ну, да ладно, останемся! Эх!

7/IX–1957 г.

Мрачная радость

Надо пропеть нам про мрачную радость,
Про непрестанную радость ребячества,
Разве кричать нам про раннюю старость,
Громко и резво поздравим дурачества!

Странно напудрим продрогшие ротики,
Утром живыми покормымся розами,
Стройными..... мрачной экзотики
..... отрадными позами.

10/IX–57 г.

Моей любимой

(Сонет)

Ангел мой!
Черрт побери, ангел мой!
Вы чудовищны, черт побери!
Вы чудовищны, янгел мой!

9/IX–57 г.

Владимир Андреевич Волковский

(1935–1957 гг.)

Избранные эпиграммы

На Серафима

Духовной жаждою томим,
По общежитью я слонялся.
И только плотник Серафим
На перепутьях мне являлся.

Венедикту Ерофееву

Ты, в дни безденежья глотающий цистернами,

В дни ликования – мрачней свиньи,

Перед расстрелом справишься, наверное,

В каком году родился де-Виньи!

Серафиму Якунину

Ты дал мне том своих стихов! и сразу задал мне вопрос:

«Ну, в общем, как? Пойдет на дело?» —

Я ласково потрогал том и хладнокровно произнес:

«И куры стали бракоделы!»

На М. Миронова

Ну пусть – «прошла любовь», ну пусть – «увяли розы»

«Над речкой Птанью по весне», —

«Не плачь, дитя!» – «Напрасно льешь ты слезы!»

«Твой голос режет уши мне!»

Дифирамб пиону

Вас томит неразумный закон,
Он – под гнетом разумных оков,
Вы глупее всех умных – а он
Самый умный из всех дураков!

Серафиму Якунину

Ты – «волк и пес», ты – «дама с красными губами»!
Ты – «хлебный квас»! «Любовное введенье»!
Ты – «яйца крупные», ты – «жирный суп с грибами»!
Ты – «тополь» с «тенью»! Человек без тени!

сентябрь 1957 г.

Инфартк миокарда

Сегодня я должен О. З.
Чтоб завтра до вечера Л.
Мне очень не хочется С.
Но больше не хочется Р.
С утра надо выпить К. Д.

Потом пробежать К. Э. Т.

И то, что П. З. М. Ц. Д.

З. С. У. Б. В. С. А. Т.

9/IX–57 г.

Примечания:

1) под псевдонимом Волковский скрываются В. Р-ский и……

Деятельное участие в составлении эпиграмм принимал Вен. Ер.

2) под псевдонимом Пион скрывается Вл. И. Якунин

3) ……

из соображений благопристойности.

Венедикт Ерофеев

Из цикла «Путешествие вокруг Европы на пароходе „Победа“»

Гавр

Я, снова опьяненный маем, на опьяняющем фрегате

Встречаю майскую жеманность полупрезрительной гримасой.

Впиваю сладость океана, симпатизируя

Пикассо,

И нарочито нелояльно внимаю треску делегатов.

Молле – апофеоз жеманства! Жюль Мок убийственно итожит:

Его агрессия жантильна, как дуновение нарцисса.

А Кристиан, ⟨в⟩ пандан премьеру, пленен кокетством чернокожих,

Компрометируя Тореза лишь компонентом компромисса…

О! Катастрофа Будапешта была изящным менуэтом,

Она, как декольте Сильваны, срывает русские муары.

Ведь нам служила оппонентом декоративность пируэта.

Для них трагедия Суэца – своеобразным писсуаром.

Я, очарованно загрезив, постиг рентабельность агрессий

И, разуверившись в комфорте республиканского фрегата,

Неподражаемо эффектно сымпровизировал позессив,

Пленив пикантностью Жюль Мока и деликатных делегатов.

«Возвращение», или «Возвращение» к «возвращению»

Вот я вернулся в родную деревню,

Родные тропинки легли под ногой,

Ступаю по ним я так мягко и нежно,

Как ступал когда-то, пять лет назад, крохотным ребеночком.

Опять я иду по знакомому саду,

В знакомые окна врывается свист,

Сквозь ветки мерцают знакомые звезды,

Удивительно похожие на те, что украша-

10/IX–57 г.

ли грудь моего знакомого дела ⟨деда?⟩, улана лейб-гвардии гусарского полка, скончавшегося в годы русско-японской войны от несварения желудка.

Прошел по тропинке – и вдруг заблистало

отраженное солнце в окно,

Сердце забилось как будто в тревоге,

Собственно, даже не забилось, а просто я

неожиданно вспомнил, что теперь в нашем

доме, за стенкой, поселился тот самый

чернобородый старик, у которого я украл

прошлой весной парусиновые штаны.

8/XI–57 г.

Огненно Рыжий Завсегдатай

(А. А. Осеенко)

(1937–1957 гг.)

Подвиг Асхата Зиганшина

⟨…⟩ Издохла килька пряного посола,
Изглоданы спасательные кольца,
Последней жаждой иссушает голод
Затылки несъедобных комсомольцев
⟨…⟩…«Срывай с груди моей нательный крестик,
Бери меня со всеми потрохами,
Кусай меня, мой сладостный Асхат!..»

⟨***1960?***⟩

У моего окна

1. Allegro moderato
2. Andante comodavente
3. Скерцо
4. Финал

Я очень редко гляжу на небо, я не люблю небо. Если уж я на него взглянул ненароком, так это верный признак того, что меня обдала очередная волна ипохондрии. Ну, вот как сегодня, например: в моем славном тупике погашен свет, и, обозревая из темноты все небесные сферы поочередно, я предаюсь «метафизическим размышлениям».

Если хотите — я прослеживаю эволюцию звука «у» в древневерхненемецком наречии. И, так как нравственность моя до скотства безупречна, я избегаю глядеть в сторону затемненного палисадника; с наступлением весны я рискую быть свидетелем всеобщего икрометания и хамства.

Когда же взгляд мой иногда соскальзывает все-таки с небес на землю, я вижу приблизительно следующее: у центрального подъезда, вот уже полчаса наверное, двое неизвестных

поддаются естественной склонности, сообразуясь с обстоятельствами времени и места. Один из них — судя по всему — сержант. Другая повернута ко мне тылом, но, насколько позволяют угадывать очертания, принадлежит к факультету агробиол(огическому). Они бесконечно размениваются лобзаниями — но твердолобый сержант является, по-видимому, «сторонником более тесных и всесторонних связей»; он даже с каким-то нервозным беспокойством поминутно теребит ее за рукав и зовет в туманную даль.

Между нами говоря, вполне добродетельная и достойная сценка. Издавна различались два аспекта нашего существования — сентиментальный и практический; первый включает в себя хризантемы, жюрфиксы, грезы, лобзания, гиацинты и па-де-труа; объем второго, напротив, почти исчерпывается автобазами, санпропускниками, подоходным налогом, ливерной колбасой и казенными портянками.

У меня лично — врожденное отвращение к обоим этим аспектам. Жизнь претит моей природе. И если уж лирическая ее сторона привлекает меня больше других, то потому только, что содержит в себе больший элемент комизма. Господь остроумен. Он сделал так, чтобы уход из жизни достав-

лял человеку максимальную физическую боль, а зачатие новой жизни — наибольшее из всех телесных наслаждений; таким насильственным образом он проявляет свою заботу о продлении человеческого рода — и никто не виноват в том, что эта пара двуногих впала в состояние эротической истомы. Черт с ними. Мне нет никакого дела до того, что какая-то агробиол(огическая) кроха жертвует своей невинностью в интересах национальной обороны. Я пожимаю плечами и, вновь обратив свои взоры в сторону созвездий, пробую завершить эволюцию звука «у» в…

Но безуспешно. Долетевший до меня звук пощечины возвращает мне чувство современности. Не знаю, кто был автором этой пощечины, по-видимому сержант, потому что в данный момент он удалялся от крохи с видимым наслаждением и с сознанием выполненного долга…

Массаж лица видимо не пошел ей на пользу. Сплошное олицетворение распятой красоты, она рассеянно брела в направлении моего тупика — и, так как учтивое лунное сияние позволило мне рассмотреть ее сверху донизу, я опознал в ней ту, которая, судя по слухам, пользуется в этом городе популярностью рискованной и скандальной.

Российский лексикон изобилует терминами,

обозначающими особ подобного рода, но я не решаюсь употребить ни один из них. Во всяком случае, мне известно, что под пурпурным балдахином ее опочивальни выспалось, без ущерба для здоровья, все прогрессивное человечество, что в отношениях к каждому из них она придерживалась принципа «От каждого по его способности, каждому по его потребности», что вследствие этого — у нее размоченная и восприимчивая душа, легко поддающаяся деформации сколько-нибудь настойчивой, и что вследствие того же самого она выходит в весенние ночи извлекать квинтэссенцию.

.....

Отверзлись парадные врата — и общежитие ОЗПИ изрыгнуло из себя отрока, которому суждено было стать новой — и центрфигурой моего лирического повествования.

Вот тут-то и начинается трагедия.

Andante

Заранее предупреждаю, однако: по ходу действия я буду долго и утомительно рассуждать. Ибо всё вокруг меня происходящее, все до единого люди — интересуют меня лишь постольку, поскольку могут дать пищу моим размышлениям

и софизмам.

Весьма вероятно, что весь ход развития человеческой мысли был всего-навсего бледной увертюрой к тому, что призван сказать я. Ну-с, так слушайте.

Мой юный герой был пьян, как тысяча свинопасов, — и сам по себе этот факт уже настолько значителен, что определяет собой весь ход развернувшихся передо мной драматических коллизий. Сто лет назад, надо заметить, люди, которым не нравилось то, что они при жизни своей воспринимали, по простоте душевной пытались изменить воспринимаемое. Теперь эти «неудовлетворенные» меняют сами восприятия — получается гораздо эффектнее, к тому же безопаснее и дешевле.

О пользе алкоголя можно говорить бесконечно — и не только в политическом плане. Уменьшая количество выдыхаемой углекислоты, замедляя, следовательно, перегорание органических тканей, алкоголь позволяет нам поддерживать свои силы минимальным количеством пищи.

Мало того, трезвый человек настолько беден духовно, что иногда не в силах вызвать в себе даже самые значительные из своих аффектов; он

стыдится и мимического, и словесного, и какого угодно пафоса. Иногда я склоняюсь к мысли, что средний психологический «уровень» древних греков был аналогичен нашему «уровню» в состоянии заметного опьянения, что общее психологическое состояние человечества имеет тенденцию к отрезвлению и что всякий бунт против этой тенденции закономерен и справедлив. Трезвость можно признать явлением нормальным разве что только в биологическом отношении; а ведь человек — меньше всего явление биологического порядка.

Алкоголь удваивает силу человеческих чувствий и удесятеряет силу их проявления, независимо от того, хороши они или низменны. В состоянии максимального опьянения человек ведет себя натурально.

Глупо, следовательно, обвинять алкоголь в том, что некоторые из его потребителей становятся до идиотства некорректными и агрессивными. Я думаю, говорить о вреде кислорода мы никогда не решимся, — а ведь ни один негодяй, ни один идиот не был бы идиотом и негодяем, если бы время от времени не дышал кислородом.

Этиловый спирт заменил собой, в нравственном плане, христианского Бога. Тот, кто лишен

точки опоры внутри себя, ищет ее теперь над собой и не в сверхчувственном. Предмет его поисков стал настолько «осязательным», что выражается простейшей химической формулой. Не зря же медицина проводит аналогию между состоянием опьянения и состоянием религиозного экстаза.

Всякий, кто взглянул бы теперь на моего героя, не усомнился бы в верности этой аналогии: счастливец приближался к «спящей княжне» походкой таинственной и вдохновенной и время от времени, чтобы не упасть, цеплялся за наиболее плотные слои атмосферы. Я, сознаюсь, до сих пор еще неотчетливо систематизирую потомство нашего коменданта, но расстановка глаз моего героя была слишком неповторима, чтобы ошибиться. Один из этих глаз был томно расширен, другой — интимно полузакрыт; расширенный глаз был обращен к северо-западу, полузакрытый никуда не обращен не был и отливал испорченным перламутром — будь тысячу раз благословен плод чрева Твоего, Евд⟨окия⟩ Андр⟨еевна⟩!

Я затаил дыхание.

Княжна, по всей вероятности, сделала то же самое: юный Дафнис уже вплотную приблизился к ней и приветствовал ее с сентиментальной

развязностью. Левый глаз его выражал при этом же-(…)[1]

«Неведомы цели Твои, о Господи; и неисповедимы пути твои».

18/IV. 60 г.

[1] Notes: 1
Далее текст утерян.

Личное и общественное в поэме Маяковского «Хорошо!»

Это было
с бойцами
или страной,
Или в сердце было
в моем.

Маяковский

Поэма «Хорошо!» была приурочена Маяковским к десятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Эта поэма — взволнованное повествование о подготовке и проведении революции, о борьбе молодой Советской республики с иностранной интервенцией, о восстановлении народом своего хозяйства в тяжелые годы разрухи и, наконец, о торжестве социалистических начал и о необозримых перспективах, открывающихся перед страной.

Поэма не является, однако, сухим протоколом событий, рассказом постороннего и безразличного наблюдателя. Поэт не скрывает своего личного

отношения к изображаемым вещам и событиям. В каждой строке поэмы присутствует сам Маяковский, на любой из ее страниц слышен авторский голос, то страстный и гневный, то насмешливый, то бодрый и торжествующий. Поэму «Хорошо!» справедливее назвать лирической исповедью поэта, чем эпическим повествованием.

Личное, таким образом, пронизывает всю поэму. Но голос автора — это не только его индивидуальный голос, это голос каждого советского патриота. Его устами говорит весь народ, радующийся успехам своей молодой республики.

То, что «было с бойцами или страной», было в сердце поэта. Вместе с солдатами старой армии он возмущается предательской политикой Временного правительства, он приветствует залп «шестидюймовки „Авроровой“», его душа затем неразделимо слита с душой каждого бойца на фронтах гражданской войны. Маяковский разделяет энтузиазм советских людей в дни первых трудовых субботников. Поэт любит «громадьё» наших планов, «шаги саженьи» нашего хозяйственного развития, он радуется маршу, которым наш народ идет «в работу и в сраженья». Сознание того, что и его поэтический труд вливается в общий труд республики, наполняет его сердце

заслуженной гордостью.

Автор неотделим от своего народа и в боях с врагом, и в «сплошной лихорадке буден». Он готов идти с ним «на жизнь, на труд, на праздник и на смерть».

«Личное» у Маяковского никогда не становится камерным. Его заботы и думы — это одновременно думы каждого советского человека. Его радость — общая народная радость. Отсюда новый смысл, который вкладывает в слова «мой», «моя», «мое», столь милые сердцу человека старого мира. «Мои дома», «моя улица», «моя милиция», «мои депутаты» — эти сочетания, настойчиво повторяющиеся в поэме и кажущиеся почти дерзкими, в действительности очень естественны. «Я» перерастает в «мы», делается тождественным ему.

Следует отметить, что Маяковский, поэт советской эпохи, вносит новое в поэтическое понимание связи личного и общественного. Для Некрасова и Пушкина, например, единство их интересов с интересами народа необходимо предполагало ненависть к существующему режиму и к ложной «официальной идеологии». Маяковский, напротив, уже не отделяет «общественное» от «государственного», «госу-

дарственное» от «личного». Интересы и воля его народа находят лучшее выражение в политике его власти, его партии, той партии, которая «направляла, строила в ряды» движение народных масс и чье мудрое руководство революцией на всех ее фронтах дает поэту право быть уверенным в могуществе того отечества, «которое будет». Этого-то органического слияния личного и общественного не могут постичь многие апологеты буржуазного искусства, толкующие о «безликости» и «фальши» нашей поэзии, о духовном «нивелировании», о «подавлении творческой инициативы». Поэма Маяковского «Хорошо!» — лучшее опровержение этих злостных и истасканных измышлений.

Благовествование[2]

Занимались дымные рассветы, и край ожесточения, и сонмище тварей, в которое ввела Меня судьба, не приняло уготованную ему благодать.

(Ev. ad Ben., c. 13, p. 6)

И была среди них дева, и бремя любви падало не на меня одного, и солнце сто тридцать раз садилось за горизонт, и Я отверг.

(Ev. ad Ben., c. 13, p. 9)

В холодных странах водянистая часть крови испаряется слабо, и потому там можно употреблять спиртные напитки, не опасаясь сгущения крови.

(Mont., Spiritus legibus)

---

[2] Notes: 2
В других редакциях — «Благая весть».

Глава 1

И было утро — слушайте! слушайте!

И было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката.

Мой разум глох, и сердце оскудевало, и не хватало дыхания, и грудь моя теснилась от миллиона предчувствий, и я в первый раз посмотрел на небо.

Я, никогда не глядевший на небо.

И — в тот же час — свершилось! сквозь мерцания беспокойных звезд ворвался в унылую музыку сфер охрипший хор серафимов, и завеса времен заколыхалась от сумасшедшего томления и разодралась надвое.

И вопль озарения оглушил меня и опрокинул в придорожную канаву.

И кто-то давился от смеха над моей головой, и тряс меня за волосы, и говорил:

«Что делаешь Ты, брат мой, в этом мире, Ты, который больше, чем божий мир?»

И я поднял голову, и дышал в пространство водочным перегаром, и ничего не видел, кроме тьмы,

и холодная грязь текла мне за шиворот, и было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и взгляд мой выражал недоумение, смешанное со страхом,

и уши мои вздымались, и дыхание было прерывисто.

И бесплотный сосед мой говорил мне:

«Слушай меня — теперь — самый светлый из всех онемевших — Ты хорошо ли исчислил сроки?

Я один из тех — кто оставался до конца и с Ним и с Тобой — Ты помнишь?

Болван Иегова — мы ничего не забыли — теперь — хочешь ли ты идти со мной?»

Так говорил тот, кому я внимал и кто не хотел быть зримым. И я отвечал ему:

«Кто бы ты ни был, слова твои ложатся мне на сердце, но божественный синтаксис твой не вполне изъясним».

И он рассмеялся, и сказал мне:

«Наступит время, и ты поймешь, — с тех пор, как звезда наша стала заново восходить

и перепуганный Творец ввел в наших сферах систему тайных доносов.

Ни один мыслящий призрак не хочет быть понятым в пределах, указанных тем,

чей дух почил на Тебе с ударом молнии, возвестившей мое явление;

и вот — прежде, чем расступится тьма и Ты возвратишься в тот мир, которому теперь не принадлежишь,

сердце Твое сто тридцать раз сожмется от страха и таинственных речений,

и увидишь рай, где томятся души поверженного воинства Люцифера,

и известишь силу трех испытаний, соблазн тысячи бездн, — и тогда

разум того, чьи милости скрыты, осенит Твою голову, разбухающую от неведения, —

Ты этого хочешь, мой юный страдалец? Ты хочешь идти со мной?»

И он говорил, и меня забавляло проворство его декламаций, и все голоса во мне смолкли перед сладкой потребностью чуда,

и мгла становилась бездонной, и я заклинал его назвать себя, и он не хотел, и шептал мне на ухо;

и обливал меня дождем, и щекотал, и смеялся, и уносил меня на крыльях тлеющего смеха,

и, унося, раздвигал мои пределы, и обволакивал рассудок тьмой непроницаемых аллегорий, и все горизонты сливались в кольцо,

и опрокинулся небосвод, и в нем растворились

ликующие наши тела, отрешившиеся от бремени всех измерений,

и свистали полоумные ветры, и с грохотом проносились тысячелетия из конца в конец эфирных равнин, —

И распахнулись врата Адовы.

Глава 2

«Не бойся открыть глаза, — говорил мне дух, сроднившийся со мной в изнуряющих блаженствах полета, —

Не бойся открыть глаза, мой Усталый Брат. Вот мы перешли рубеж, отделяющий горные сферы от пределов осужденных на покаяние и вечные муки».

И первое искушение уготовано было мне, и глаза, повинуясь, отверзлись, и раскованный взгляд блуждал среди мрачных теснин,

и дымные факелы озаряли утесы оловянным мерцанием, и на бледные щеки каждого из поверженных ангелов бросали сто тридцать фиолетовых бликов.

«Слушай, слушай, — шептал мне дух, скрывающийся в тени, —

Слушай их траурный плач, мой Усталый Брат,

вот мы перешли рубеж, за которым умеют улыбаться только дубовые головы.

Не бойся нарушить гармонию их безысходной печали, — Твое избранничество разбудило все упования в душе их бунтующего Отца, —

Твое же явление — скрепит ваши узы».

И — всколыхнувший вековые мерцания — я вошел в их пределы,

и заметалось пламя тысячи лампад, и толпы бескрылых детей Сатаны восклонились от каменного ложа, и обратили взоры ко мне, и отряхнули пыль с нетленных ушей,

И — вместе со мной — застыли, в звучании властного и пропитого голоса Хозяина Преисподней:

«Прежде —

Прежде, нежели был Предвечный, —

Я есмь. В бестолковых и буйных первоосновах бытия — Я царил единый, и дух отца не оспаривал Моей власти;

ни одно начало тогда не имело своих начал, и легионы ангелов, Мне подвластных, еще не испытывали томления о свете

и довольствовались игрой первозданных стихий.

Он явился — Тот, кого зовут Всемогущим, — с первой комбинацией элементов, положившей начало Гармонии и Порядку;

и сделал их принципами унылых актов творения, и свет отделил от тьмы, и явились Земля и светила на тверди небесной;

и сонмы крылатых поддались дешевому обая-

нию Его вселенной дисциплины.

Но во всех, кто остался мне верен, тупая Его величавость вызывала мигрень и блевоту».

Так говорил Сатана.

«И Я отошел —

И Я отошел в изгнание, и пробил час — Мне опостылел мерный анапест его обезьяньих прыжков,

И Тот, ради Кого ты покинул Землю, первый подал сигнал к мятежу;

И вот — надо ли теперь говорить о безрассудстве моего призыва! —

все, чем мы располагали, Свинья Вседержитель истребил с первобытной свирепостью,

И ослепил нас сиянием вшивых лат Михаила Архангела, и обрезал нам крылья,

и сбросил нас туда, где теперь надлежит нам томиться три дюжины вечностей».

Так говорил Сатана.

«Вот ты видишь —

Вот — ты видишь нас не в сверкании славы, но изнуренных бессонницей и размышлением;

души Моих сыновей плесневеют от недостатка блаженства, и столетия протекают как вздохи, но говорю вам — слушайте! слушайте! —

но говорю вам: здесь, за пределами света, Я

провижу иные просторы для наших бескровных сражений. —

С нами сливается разумная сила созданий, унаследовавших от Адама весну первородного греха

И, по мысли Творца, рожденных для отбывания трудовой повинности и вознесения хвалы.

С тех пор как чета согрешивших покинула райский сад,

хороводы бесов, подвластных Мне, преодолели бездействие — и взвились от недр Преисподней к сердцам огорченных каналий,

и всякую мысль их обвивали сомнением, и каждый порыв извращали;

и мудрость зодчих Вавилонской башни, презревших благоразумие, и Ноеву страсть к опьянению,

и стыдливость Евы, и кротость Авеля, и тысячи иных аномалий, противоречащих естеству, преследовало с тех пор их племя, взамен избытка жизненной силы, завещанной от Бога».

Так говорил Сатана. —

«Сто тридцать недугов сковали им их слабеющие суставы, и лица их бледнели от угрызений.

И нравственные соображения преодолевали расчет, и в судорогах священной болезни рождались новые пророчества,

и мифы о зачатии таинственных гениев без участия производящего фаллоса и вне лона воспринимающей, —

и головы их перестали пустовать с тех пор, как склонились к подножию идеалов и надгробиям усопших.

По велению Моему — сумасброды — отшельники — постом и молитвой смиряли волнения бунтующей плоти.

И в самом сосредоточении хамства и дарвинизма расслабляли души разумных продуманной чертовщиной — ⟨…⟩!

Я начинаю потоп, исключающий вероятность ковчега — ⟨…⟩

отныне — не суждено Мне внушать заблуждения библейским авторам и экзегетам

и — от досады — сморкаться вслед голубку, несущему от Арарата ветку зеленой оливы!»

Так говорил Сатана. И, восстав, привлек меня и дышал мне в лицо:

«Восприемник Разума — ⟨…⟩

Восприемник Разума и Духа Моего — ⟨…⟩, войди и выйди, и следуй, не оскверняя уст —

сам себя лишивший благ и уклонившийся от удовольствий,

разделяющий с нами бремя наших вериг — из-

начала, — вдумайся в то, чего нет;

и с этих пор — земное благоденствие перестанет быть желанием для Тебя,

и в тысяче действий и слов Твоих — отныне — не станет ни единого, продиктованного здравым смыслом,

и трижды счастлив, ангелоподобный, запечатлеешь Меня и поведаешь миру все, чего не сказал Тебе прослывший Лукавым».

«Благословен — ⟨…⟩»

«Благословен грядущий во Имя Отца», — а capella вступили хоры бескрылых,

и, от века падшие, ликующе рыдали, как трагики, как новорожденные дети,

как я, теперь сопричастный, — и в сладостном ударе, между обмороком и эйфорией, — «Свершилось!

Иди за Мной — и до конца свершится — в самых темных углах Вселенной — иди за Мной, мой Усталый Брат».

Глава 3

И второго искушения настал черед, и, светлеющая тварь, я отделился от духа, сопутствующего мне и избавляющего от соблазнов,

и очнулся в образе, неведомом мне, и в той земле, где доселе не был.

И дышал, охмеленный запахом всех незабудок, и земное томление проливал мне в грудь удушливый сумрак оранжерей, и в волнах лунного света нежились бесстыдницы-сильфиды;

и вот явилась мне дева, достигшая в красоте пределов фантазии,

и подступила ко мне, и взгляд ее выражал желание и кроткую решимость;

и — я улыбнулся ей,

она — в ответ улыбнулась,

я — взглянул на нее с тупым обожанием,

она — польщенно хихикнула,

я — не спросил ее имени,

она — моего не спросила,

я — в трех словах выразил ей гамму своих желаний,

она — вздохнула,

я — выразительно опустил глаза,

она — посмотрела на небо,
я — посмотрел на небо,
она — выразительно опустила глаза,
и — оба мы, как водится, испускали сладостное дыхание, и нам обоим плотоядно мигали звезды,
и аромат расцветающей флоры кутал наши зыбкие очертания в мистический ореол,
и лениво журчали в канализационных трубах отходы бесплотных организмов, и классики мировой литературы уныло ворочались в гробах,
и — я смеялся утробным баритоном,
она — мне вторила сверхъестественно звонким контральто,
я — дерзкой рукой измерил ее плотность, объемы и рельеф,
она — упоительно вращала глазами,
я — по-буденновски наскакивал,
она — самозабвенно кудахтала,
я — воспламенял ее трением,
она — похотливо вздрагивая, сдавалась,
я — изнывал от бешеной истомы,
она — задыхалась от слабости,
я — млел,
она — изнемогала,
я — трепетал,
она — содрогалась,

и — через мгновение — все тайники распахнулись и отверзлись все бездны, и в запредельных высотах стонали от счастья глупые херувимы,

и Вселенная застыла в блаженном оцепенении, и —

и — Тот же незримый схватил меня за шиворот и проблеял мне в уши:

«Что делаешь Ты, Брат мой, в этом мире, Ты, который больше чем Божий мир?»

И вздрогнул, и оглянулся, и сто тридцать мгновений боролось во мне бешенство желаний с тихим безумием Идеи,

и сердце отвергнутой надломилось; и рыдала на ложе из зелени.

И с тех пор много дев домогалось меня, и я отворачивался, истлевая в пламени вожделений, и искали убить меня, и я смеялся.

И вот я преодолел земное тяготение и, как Феникс из огня, как из тернового куста Иегова, — выпорхнул, пронизанный лунным светом.

И душа моя вместительнее Преисподней.

Глава 4

И третьего искушения настал черед, и вот Меня, восставшего из грязи человеческих страстей,

воспринял дух, наставляющий мой полет к высям последней надежды,

и — сквозь завесы вселенских круговращений — ослепляли наш взор очертания сфер — пламенеющих в отдалении,

и вставал, как в бреду одержимый, лучезарный престол Всеблагого.

И светлым, как полнолуние, и кротким, как стадо овец на лугах псалмопевца Давида,

оставалось чело Искупителя, воссевшего одесную в ореоле голубой меланхолии,

и улыбался сквозь слезы, приветствуя наше явление из пустоты междумирий.

И говорил нам:

«Бледнолицые странники — томимые жаждой успения — кто бы вы ни были, — оставьте лукавство, и не обойдет вас милостью Творец, простирающий благость свою на всех, кто ее заслуживает».

И мы отвечали Ему:

«Не затем, чтобы вкусить услады и прозябания

в ваших пределах.

И не ожидая покровительства Господня мы стремили, заблудшие, свой полет.

Но разбудить Твой дремлющий дух и к радостному покаянию призвать тебя, дружище Иисус» — ⟨…⟩

И он отвечал нам:

«Что говорите, не ведаете. Взгляните — остановили порхание наивные дети света.

И небесное воинство бывает бесцеремонно, когда бороздят морщины чело Михаила Архангела, — Я не знаю вас,

но тот, чьи враги помутили ваш разум, — среди вас пребывает и ныне, и присно,

и у подножия престола Его — о каком еще служении говорите вы?»

И, улыбнувшись, хранители тайны неизреченной, мы отвечали Ему:

«Нелепости в толковании Творца бесчисленны, как Его творения, и нам все они ведомы, и благодать Его, та, что святой Франциск назвал неодолимой, не коснулась нас.

И Ты, обвиняющий нас, Ты, служивший Ему действием и намерением,

научил нас верить, что не поступками, но Словом измеряется ценность разумного создания.

И тысячу раз был прав сказавший в Тивериаде: „Он изгоняет бесов силой царя бесовского“,

потому что названый Отец твой — по милости твоей — никогда уже не вернет последовательность в мир краснощеких язычников.

И дары Его — с тех пор как были Тобой отвергнуты — для всех, разделивших твой энтузиазм, утратили элемент очарования.

Одолевший соблазны суетных видений, Ты, сам не сознавая того, — прорицатель ⟨…⟩

утратил, перед лицом Господним, последнюю надежду на исправление,

и, испустивший дух под охраной божественного промысла, был по расчету усыновлен во времена апостолов — невозвратимо —

тех апостолов, что инсценировали вознесение, из боязни прослыть богоотступниками.

И если престол Его неколебим,

мы — сто тридцать недель спустя — рассмеемся от бессилия, но не отступим от наших заповедей;

И если Сам Он здесь — среди нас — исполнитель законов собственной природы,

Неотесанный Живодер, лишенный рассудка, иронии и форм протяжения, тупой, как сибирский валенок,

если Сам Он здесь — среди нас — наплюй Ему

в Лицо, Искупитель, и благослови нас».

«И благослови нас», — повторяло эхо под холодными сводами Эдема; —

и Божий Сын пал без сознания к ногам небесного воинства, и тревога, и ужас изобразились на ликах, и струны арф оборвались,

и могущественнейший из архангелов задрожал от стыда и боли ⟨…⟩

и громадным пинком вышвырнул меня за пределы райских преддверий, туда, где в предвкушении мести бесновались демоны,

и подхваченный на крылья, от века служившие мне опорой, я рассмеялся от счастья и покорный зову высших предназначений:

«Дух, влекущий меня сквозь пространство и годы, — не ты ли, поседевший на службе Вельзевула,

во время оно прикинулся Гавриилом, возвестившим Марии тайну святого зачатия?

Я разгадал твое имя! И — отринь меня, Чистейшая из невест, хо-хо! за работу, товарищи!»

И над зевами всех пропастей я хохотал, как сорок умалишенных,

и полчища фурий, вампиров и ведьм рассыпались надо мной в смерче бергаманского танца,

и низвергались вместе со мною — ⟨…⟩ — сквозь

неистовство всех стихий, ⟨...⟩

в карнавале бедствий — праведное небо! — я летел как бомба,

И светила, выбитые из орбит, — тысячью вихрей — чертили вокруг меня бешеные арабески, — и Галактика содрогалась в блеске божественной галиматьи —

в глазах моих все померкло.

Глава 5

И было утро — слушайте! слушайте!

И было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката.

И, мятежное дитя, Я очнулся в том самом образе, который утратил было в семье небожителей.

И снова увидел Землю, которую вечность назад покинул; и, сам не узнанный никем, не узнал никого.

И препоясал чресла, и на голову одел венок из увядающих трав.

и взял камышовый посох, — вышел в путь, озаренный звездами;

сырость и мгла подмосковных болот окрыляли мне сердце предчувствием всех начал;

и — на рассвете — пришел к водоему; и вот — безмолвие оборвалось,

и вопль о помощи огласил почиющие тростинки, и траурный всплеск, и смятение отроков, бегущих к воде;

и, раздвинувший кусты, Я вышел навстречу мятущимся и сказал:

«Остановитесь, добровольцы! Смирите вашу

отвагу и внемлите Мне, творящие добро;

умейте преодолевать в себе то, чем являетесь вы от рождения, и не будьте доверчивы к импульсам, возникающим безотчетно:

способность к жалости и самопожертвованию — великая ценность, завещанная пославшим Меня в этот мир, —

но, достигший вожделенной цели, не станет ли ныне алчущий спасения вдесятеро преданней земле и враждебным Мне началам?

Отойдите от берега; худшая из дурных привычек — решаться на подвиг, в котором больше вежливости, чем сострадания.

Имейте мужество быть ротозеями — даже в те мгновения, когда гражданские обязательства побуждают вас действовать очертя голову, —

идите за Мной — и позвольте утопающему стать утонувшим».

И воды сомкнулись над головой неведомого страдальца, и смущение изобразилось на юных лицах, и взглядом окинули фейерверк всплывающих пузырей,

но, околдованные, повиновались, и с рыданием последовали за Мной, и Я говорил им:

«Не убивайте в себе сожалений

и помните — с этого часа грудь ваша полнится

тем содержанием, для которого она предназначена;

жертва, принесенная вами на алтарь оживления утопленника, была бы менее преступна, но и менее благотворна для вас самих.

Не утирайте ваших слез,

ибо свершившееся непоправимо, и дорогою ценою куплен вами ваш отказ от великодушия».

И плакали горше прежнего, и Я вразумлял их, и листва подмосковных рощ дарила нам тень и прохладу,

и пищей нам служили фабричные отходы и головки болотных тритонов, и певчие птицы услаждали наш слух;

и шли до нового рассвета, приводя в изумление встречных благородством нашей поступи и нищетой наряда.

Когда же — в пыли столичных пригородов — вошли мы под своды молодежных палаццо,

изнуренные мыслью, мы дивились: их было без малого сто тридцать, влачащих дни свои под знаком молодого задора и ослиной безмятежности,

и в сладостной неге предавались лобзаниям, и ковыряли в носу, и читали решения июньского пленума,

и, завидя Меня, спросили идущих со Мной:

«Кто этот Пилигрим? и венец Его и поучения одинаково смехотворны».

«Преждевременно называть имя пославшего Меня в этот мир; взгляните — мелкие воды прозрачны, глубокие же неисследимы;

но говорю вам — среди вас, простофиль, избалованных повальным свинством и поэзией будней,

пробуду до той поры, пока десятая доля вас не склонит головы в раздумье над теми загадками,

которые почли вы свистом и лошадиным ржанием. Dixi».

Глава 6

И вот — тринадцать отроков, снедаемые жаждой Откровения, презрели родительский гнев и проклятия властей,

и отряхнули от ног своих прах столичных улиц, и стали сопутствовать Мне,

и умы их отверзлись для восприятия Завета, и в сердцах их играли отблески Моего пожара.

Розовели тусклые закаты, и дни преображения, и Серпухов, и Тула, и Тверь, и Ярославль соперничали в странноприимстве,

и под кровлями их звучала благая весть, и Слово Мое исторгало незрелые души из сетей прописных заблуждений.

И вот — встретилась Мне женщина в предместье Твери и, указав мне на одного из учеников Моих, сказала:

«Взгляни — лохмотья его истлеют скоро, и рожа его опухла от вдумчивости и недоедания, —

насколько же лучше тому, чей ум не развращен Твоими софизмами!»

И Я улыбнулся и поведал ей грустную притчу, и услышали ее все, кто хотел услышать:

«Были в одной земле — Я не знаю, давно ли, —

были в одной земле два человека и в меру уважали друг друга, и в меру же трудились каждый на своем наделе, и на закате вкушали плоды от мирских трудов, и страдал бессонницей один из них, сон же второго был несокрушим, как истина.

И был вечер, и полыхали зарницы, и лиловая тьма была беспокойной,

и раздвинулись завесы, отделяющие миры, и вот — Незримый опустился у изголовья спящих;

и первому шепнул: „Можешь ли ты спать, поселянин? — клад сокровищ несметных зарыт на земле твоей“,

и второму шепнул: „Клад сокровищ несметных зарыт на земле твоей — можешь ли ты спать?“

Но тот ничего, кроме звона в ушах, не расслышал, и забормотал во сне, и повернулся на другой бок; и было утро.

И время пахоты, и безмятежным было лицо того, чей сон был незыблем, и лениво ходил за плугом; рука же второго была неверной, и лик потемнел от тайной заботы, и глаза его блуждали, и по ночам не давал смежить ему веки пророческий лепет видения.

Вечера сменялись рассветами, и плуг зары-

вался в землю на десять саженей, и со всех окрестностей приходили смеяться над ним,

иные же, мягкие сердцем, утешали потерявшего рассудок.

И неделя текла за неделей, и колхозная рожь трепетала в лучах заката, и ломились от хлеба амбары того, чей сон был незыблем;

закрома же безумного искателя были пусты, как головы его насмешников.

И время жатвы сменилось порой увядания, и полились дожди, и солнце сто тридцать раз садилось за горизонт, и вновь наступила весна, — а он все пахал,

и одежды его обратились в труху, и пищей ему служили дикий латук и подаяния любопытных,

и дни его один за другим сходили в могилу, и все, кто был дорог ему, покидали его — слушайте! слушайте!

и все, кто был дорог ему, покидали его, и не осталось у него ни единого упования, — а он все пахал.

Сколько времени прошло с тех пор — Мне одному известно, —

и вот однажды вздыбился асфальт где-то в штате Алабама, и безумец с заступом вышел на свет божий,

и глазницы его были полны землей, и не увидел солнца, и простер руки, и заплакал, и возгласил:

„Силы небесные! Благословляю ночь, в которую смутил меня ваш священный обман!“

и умер — в экстазе блаженной и всеобъемлющей скорби».

И когда Я умолк, обступили Меня все слышавшие Меня, и сказал один из насмешников:

«Дивные вещи довелось мне услышать на склоне лет: скорбь на земле неизбывна, а самозваные пророки предписывают ее как благодать, завещанную небом».

И другой сказал: «Ты не один ли из тех, чье прибытие на землю прозревалось в книге Откровения?»

И я отвечал им: «Просветительство не входит в Мои расчеты,

и опыт Мой убеждает Меня гнушаться простолюдином. Все узнаете сами в урочный час».

И раздвинул толпу, и тринадцать юных покинули со Мной тверские предместья,

и головы их украшали венки из араманта и зеленого лавра, и в сердцах их играли отблески Моего пожара.

Москва – Петушки

УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА

Первое издание «Москва — Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот — Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот — Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

В. Ер.

Москва. На пути к Курскому вокзалу

Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел, — а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом — на Каляевской — другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены

ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше — что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню — это я отчетливо помню — на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера — выйду сегодня.) И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик — и так и уснул). Нет, не поэтому

мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей — а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают — все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, — все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — ничего. Вон — аптека, видишь? А вон — этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо».

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?

«Ничего, ничего, — сказал я сам себе, — закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал; если прямо — все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть».

О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

Москва. Площадь Курского вокзала

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо — обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты — вот и получай свою суету…

— Да брось ты, — отмахнулся я от себя, — разве суета мне твоя нужна? люди разве твои нужны? Ведь вот Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне — что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило…

– *Конечно, Веничка, конечно,* — кто-то пропел в высоте так тихо, так ласково-ласково, — *зажмурься, чтобы не так тошнило.*

О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?

– *Ну, конечно, мы,* — и опять так ласково!..

— А знаете что, ангелы? — спросил я, тоже тихо-тихо.

– *Что?* — ответили ангелы.

— Тяжело мне…

– *Да мы знаем, что тяжело,* — пропели анге-

лы. — *А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут…*

— Красненького?

– *Красненького,* — нараспев повторили ангелы Господни.

— Холодненького?

– *Холодненького, конечно…*

О, как я стал взволнован!..

— Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется… Вы же сами знаете, каково в моем состоянии — ходить!..

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

– *А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..*

— Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, ангелы.

И они так тихо-тихо пропели:

– *На здоровье, Веня…*

А потом так ласково-ласково:

– *Не стоит…*

Какие они милые!.. Ну что ж… Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил, —

не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил… А когда ты их вчера купил? вспомни… иди и вспоминай…

Я пошел через площадь — вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался — и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался и застывал.

— Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет. После охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго… Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандро-

вой или между пивом и альб-де-дессертом?

Москва. Ресторан Курского вокзала

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой — это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты — после. А может быть и наоборот: выпив кориандровой, я…

— Спиртного ничего нет, — сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик.

«Нет ничего спиртного!!!»

Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, мой экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь если верить ангелам, здесь не переводился херес. А теперь — только музыка, да и музыка-то

с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я поэтому легко их на слух различаю… Ну, конечно, Иван Козловский… «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков… О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных»… Ну, конечно, Иван Козловский… «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован… Не отверга-а-ай»…

— Будете чего-нибудь заказывать?

— А у вас чего — только музыка?

— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя…

Опять подступила тошнота.

— А херес?

— А хересу нет.

— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

— Очччень интересно. Да. Хересу — нет. А вымя — есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой…

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, — будет страшно больно… Да нет, наверно, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты

сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела — тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль: ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль…

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, если ты уже похмелился — не такая уж тяжелая эта мысль… Но если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра — вот это уже тяжело… Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою…

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 грамм хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и…

— Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?

— Хересу, пожалуйста. 800 грамм.

— Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком: нет у нас хереса!

— Ну… я подожду… когда будет…

— Жди-жди… Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил,

может быть, разгрузил бы душу и совесть…

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» — да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры…

— Кому здесь херес?!.

Надо мной — две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них — о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности — я это понял по *ним*, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие… Я весь как-то сник и растерял душу.

— Да ведь я… почти и не прошу. Ну и пусть, что

хересу нет, я подожду… я так…

— Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»!..

— Да пппочти ничего… Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке»!) — гостинцев купил…

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

— Я ведь… из Сибири, я сирота… А просто чтобы не так тошнило… хереса хочу.

Зря это я опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал — о, боль такого позора! — через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами; тоже — вытолкнули.

Опять — на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

Москва. К поезду через магазин

Что было потом — от ресторана до магазина и от магазина до поезда — человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, — они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так — давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни — помни о них. В минуты блаженства и упоений — не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания.

Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок — нажмите на этот гудок.

Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех

четырех сторон. Люди — тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, — изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда.

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

А я продолжаю стоять.

«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

— Да, — говорю я вам, — из магазина. — А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

— Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

— Ну, это как сказать! — говорю я, склонив голову вправо. — Чемоданчик — точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано…

— Так что же, Веничка, что же ты все-таки ку-

пил? Нам страшно интересно…

— Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да — розовое крепкое за рупь тридцать семь.

— Так-так-так, — говорите вы, — а общий итог? Ведь все это страшно интересно…

Сейчас я вам скажу общий итог.

— Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек, — говорю я, вступив на перрон. — Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь еще купил два бутерброда, чтобы не сблевать.

— Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило»?

— Нет. Что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так — вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

— Зачем? Опять стошнит?

— Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать — сблюю.

Вы все, конечно, на это качаете головой. Я даже вижу — отсюда, с мокрого перрона, — как все вы, рассеянные по моей земле, качаете головой и беретесь иронизировать:

— Как это сложно, Веничка! как это тонко!

— Еще бы!

— Какая четкость мышления! И это — все? И это — все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше — ничего?

— Ну как, то есть, — ничего? — говорю я, входя в вагон. — Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

— О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив! А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. Пусть примитив!

А вы все пристаете:

— Ты чего, обиделся?

— Да нет, — отвечаю.

— Ты не обижайся. Мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан

прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить кроме водки.

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

В самом деле, при чем тут водка? Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните, — тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать, — я вам все расскажу, погодите только. Вот только похмелюсь на Серпе и Молоте, и

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам — какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день, — какие бездны во мне по вечерам!

Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, — так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому

одинаково скверно — и утром, и вечером — тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченный подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский — тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны…

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомился. Еще раз ощупал — и поблек… Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве *это* мне нужно? Разве по *этому* тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали *того*, разве нуждался бы я в *этом*? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь…

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

— Вот-вот! — отвечал я в восторге. — Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!

«Ну, раз желанно, Веничка, так и пей», — тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь

еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, *чтобы не стошнило*. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. *Раздели со мной трапезу, Господи*!

Серп и молот – Карачарово

И немедленно выпил.

Карачарово – Чухлинка

А выпив, — сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность — так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу, — выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары… Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами…

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости… Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается:…глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза… Девальвация, безработица, пауперизм… Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире чистогана…

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел — пусть.

Может, я там что репетировал? Да… В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон — справа, у окошка — сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста — никого не стыдятся, наливают и пьют. Закусывают и тут же опять наливают. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит: «Заку-уска у нас сегодня — блеск! Закуска типа „я вас умоляю!“». А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а… Транс-цен-ден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли — мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хоро-

шо ли? А эти — пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром… «Закуска типа „я вас умоляю“!»… Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью — прячусь. Во время работы пью — прячусь… а эти!! «Транс-цен-дентально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество… Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного — и сколько раз это губило меня…

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то *отстраняют* меня от себя, как-то *шепчутся*, на меня глядя, как-то *смотрят*

за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно… И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх… «В чем дело? — терзался я, — отчего это так?»

И вот, наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают — двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну… Не иначе, как что-то случилось…

— Послушай-ка, — сказали они, — *ты это брось*.

— Что «брось»? — я изумился и чуть привстал.

— Брось считать, что ты выше других… что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред…

— Да с чего вы взяли!..

— А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка – Кусково

— Пил.

— Много пил?

— Много.

— Ну так вставай и иди.

— Да куда «иди»??

— Будто не знаешь! Получается так — мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред…

— Позвольте, — говорю, — я этого не утверждал…

— Нет, утверждал. Как ты поселился к нам — ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а *отсутствием* этого дела. Ты *негативно* это утверждаешь…

— Да какого «дела»? Каким «*отсутствием*»? — я уж от изумления совсем глаза распахнул…

— Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь — вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой… даже по малой!

И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленных.

— Нет, вы меня не так поняли, ребята… просто я…

— Нет, мы тебя правильно поняли…

— Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: «Ну, ребята, я. ать пошел!» или «Ну, ребята, я. ать пошел!» Не могу же я так…

— Да почему же ты не можешь! Мы — можем, а ты — не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты как лилея!..

— Да нет же… Как бы это вам объяснить…

— Нам нечего объяснять… нам все ясно.

— Да вы послушайте… поймите же… в этом мире есть вещи…

— Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет…

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу… Я начал сдаваться…

— Ну, конечно, я тоже могу… я тоже мог бы…

— Вот-вот. Значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, — не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами…

— Да нет, нет, — тут уж я совсем стал путаться. — В этом мире есть вещи… есть такие сферы…

нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли. есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тургенева… и потом — клятва на Воробьевых горах… И после этого встать и сказать: «Ну, ребята…» Как-то оскорбительно… Ведь если у кого щепетильное сердце…

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

— Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся. Сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

— Пил.

— Сколько кружек?

— Две больших и одну маленькую.

— Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы *их* облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего Он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не понял.

А это целомудрие — самое смешное! — это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности…

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

— А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул…

— Как!! Ни разу!! — удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. — Ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

— Ну, как то есть ни разу! Иногда… все-таки…

— Как!! — еще больше удивляются дамы. — Ерофеев — и… странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

— Ну… а что в этом *такого*, я же… это ведь — *пукнуть* — это ведь так ноуменально… Ничего в этом феноменального нет — в том, чтоб пукнуть…

— Вы только подумайте! — обалдевают дамы.

А потом трезвонят по всей петушинской ветке:

«Он все это делает вслух и говорит, что это *не плохо* он делает! Что это он делает *хорошо*!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар — кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не *превратно*, нет — «*превратно*» бы еще ничего! — но именно *строго наоборот*, то есть совершенно по-свински, то есть *антиномично*.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все — я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от *ужаса*, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут *ужасного*, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю мне следовало бы еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

Кусково – Новогиреево

а уж потом пойду и выпью.

Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад — назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом — известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один — вермут пил, другой, кто попроще — одеколон «Свежесть», а кто с претензией — пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже

весь мокрый был, конечно. А потом — что же? — потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Лёха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом — ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А потом — каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой — пили вермут, на третий день — опять в сику, на четвертый — опять вермут. А тот, кто с интеллектом, — тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали, — да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они

нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа — время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге — в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали,

отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча, и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, — сказал, — вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, — и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! — Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь

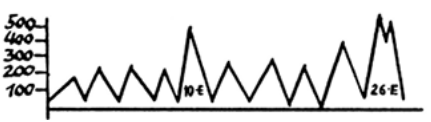
ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков — известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и Абба Эбан!..

И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли...

Новогиреево – Реутово

Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси — одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной — количество выпитых граммов, в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером — величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

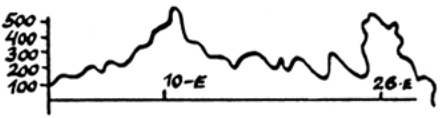
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой — столько-то, et cetera. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, потрепанный старый хрен:



А вот уж это — ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва — Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда — интересные? У одного — Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого — предрассветный бриз на реке Каме, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего — биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это — если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, — и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже — получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал

на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось — ровно через тридцать дней после Вознесения. Один только месяц — от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь — они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь — они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой.

Как бы то ни было — меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня — снизу — сочли

штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху — лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс — послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

– *Фффу!*

— Кто сказал *«фффу!»* Это вы, ангелы, сказали *«Фффу»?*

– *Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!*

— Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить… У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом сорок дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха… Вот и теперь…

– Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце…

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука; а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! — отчеканивал рассудок. — Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну…

ну хоть сто пятьдесят…» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня, — сказал, — хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома…»

Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай».

«Петушки — это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает *эта девушка* с глазами белого цвета, — белого, переходящего в белесый, — эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня

пятница, и меньше, чем через два часа, будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной — о, вы такое увидите!..»

«Да и что я оставил — там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы, — вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? — а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона — зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, — там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву „ю“ и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква „ю“? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он — знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел

мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока — вы уж простите меня — пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».

И вот — я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

Никольское – Салтыковская

«Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков», — подумал я, делая тринадцатый глоток.

«Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, — омрачает душу, пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, — но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?

Ну пусть. Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?

Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд провалится под откос? или в Купавне высадят контролеры или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?»

«Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус — это уже так много, что мозги делаются прямо излишними.

А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?»

«А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен — он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

И сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен… Все, о чем вы говорите, все, что

повседневно вас занимает, — мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что *меня* занимает, — об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может еще отчего, но все-таки — *ни слова*.

Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: „Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!“ А мне удивлялись и говорили: „Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?“ А я говорил: „О, не знаю, не знаю! Но есть“.

Я не утверждаю, что мне — теперь — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво — сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем „скорби“ и „страха“. Назовем хоть так. Вот: „скорби“ и „страха“ больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, „мое прекрасное сердце“ источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь

вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! — хоть это-то поймите.

Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что „мировая скорбь“ — не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

К примеру: вы видели „Неутешное горе“ Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в ту минуту на пол что-нибудь такое — ну, фиал из севрского фарфора, — или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, — что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она „выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра“!

Ну, так как же? Скушна эта княгиня? — Она невозможно скушна и еще бы не была скушна!

Она легкомысленна? — В высшей степени легкомысленна!

Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание — весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем».

Смотрите, как это делается!..

Салтыковская – Кучино

Остаток кубанской еще вздымался совсем неподалеку от горла, и поэтому, когда мне сказали с небес:

– Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много…

Я от удушья едва сумел им ответить:

— Во всей земле… во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков — нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим… И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?

– Мы боимся, что ты опять…

— Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы… Я с каждой минутою все счастливей… и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо… как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу!» или «Идите к жемчугам!» и не больше того… какие вы глупые-глупые!..

– Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь…

— До чего не доеду?!. До них, до Петушков — не доеду? До нее не доеду? — до моей бесстыжей

царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы…

– Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов…

— Ну что вы, что вы! Пока я жив… что вы! В прошлую пятницу — верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать… Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля… Но сегодня — доеду, если только не подохну, убитый роком… Вернее — нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра!..

– Бедный мальчик… — вздохнули ангелы.

— «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

– О нет, до самых Петушков мы не можем… Мы отлетим, как только ты улыбнешься… Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз — мы отлетим… и уже будем покойны за тебя…

— И там, на перроне, встретите меня, да?

– Да, там мы тебя встретим…

Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколь-

ко не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя, — разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге… Но ведь он тут же пошел на поправку — как только меня увидел!.. Да, да… Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и никогда ничего не случалось!..

Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза — пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку — он очень любит, когда его мать затопляет печку, — оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется… А если и заболеет, — пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку…

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар…

Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке… Я долго тогда беседовал с ним и говорил:

— Ты… знаешь что, мальчик? ты не умирай… ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву «ю» и ничего больше не зная… Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

– *Понимаю, отец…*

И как он это сказал! И все, что они говорят — вечно живущие ангелы и умирающие дети, — все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим, — махонькими буковками, потому что это более или менее чепуха. *«Понимаю, отец!»…*

— Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандолу» — помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Там та-ки-е милые, смешные чер-те-нят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик…» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак… «С фе-вра-ля до августа я хныкала и вякала, на исхо-де ав-гус-та ножки про-тяну-ла»… Ты любишь отца, мальчик?

– Очень люблю…

— Ну вот и не умирай… Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь… Только нет, мы фарандолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу… «На исходе ав-густа ножки про-тяну-ла…» Это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфли-наденька-как-ти-бе-не-стыдно-спать?»… У меня особые причины любить эту гнусность…

Я допил свой четвертый стакан и разволновался:

— Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок… Ты понимаешь?.. ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверно, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна… Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая, вот и я тоже… Она, как я, — смотрит только в небо, а что у нее под ногами — не видит и видеть не хочет… Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я — пока не рухну, вечно буду зеленым…

– Зеленым, — отозвался младенец.

— Или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть… Вот и я: разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю?..

– *Противно,* — повторил за мной младенец и блаженно заулыбался…

Вот и я теперь: вспоминаю его *«Противно»* и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу: мне издали кивают ангелы — и отлетают от меня, как обещали.

Кучино – Железнодорожная

Но сначала все-таки к *ней*. Сначала — к *ней*! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться влежку, и пастись, пастись между лилиями — ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,

Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернулся.

Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница — не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза — не женщина, а волхвование! Вы спросите: «Да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?»

— Может! — говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. — В Москве — нет, в Москве не может быть, а в Петушках — может! Ну так что же, что «сука»? Зато

какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно — слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.

В Петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще — была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать, не то двадцать пять. И было все, что может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. «А еще? — спросите вы. — А еще что было?»

— А еще — было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.

И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих «троих» и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это «что-то», тем чаще разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.

Но вот ответное прозрение — я только в одной

из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!

— Так это вы: Ерофеев? — и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула…

— Ну, конечно! Еще бы не я!

(О, гармоническая! как она догадалась?)

— Я одну вашу вещицу — читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

— Так ли уж выше! — я, польщенный, разбавил и выпил. — Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..

Вот — с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но — как бы то ни было — я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.

И кроме нас двоих — никого. И она — рядом, смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: «Неслыханная! Это — женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только

предчувствия. Это — женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду!»

А она взяла — и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого, — все выдохнула. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами, — и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть на нее без содрогания…

Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: «Так что же, Веничка? Она……?» Ну, что вам ответить? Ну, конечно, она……
……
……! Еще бы она не……! Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!» Ха-ха. «Властно» и «правою рукою»! — а я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище — и не могу, все промахиваюсь мимо туловища…

«Что ж! играй крутыми боками! — подумал я, разбавив и выпив. — Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все,

что, *может быть*, есть — все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!»

Так думал я. А она — смеялась. А она — подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела…

Железнодорожная – Черное

выпила — и сбросила с себя что-то лишнее. «Если она сбросит, — подумал я, — если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее — содрогнется земля и камни возопиют».

А она сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня.....?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: «Ровно тридцать лет я живу на свете... но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо .....
.....!»

Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчивонежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с захмелевшей... До этого — сказать ли вам? — до этого я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся — сердце останавливалось в испуге. Помыслы — были, но не было намерений. Когда же являлись намерения — помыслы исчезали и, хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне — как бы это назвать? «негу», что ли? — ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня — ну, чем это меня наполняло? негой, что ли? — ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в И… из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в И… из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге… Но я отвлекся.

Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?

Она сама — сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения, и от игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя — тоже что-то было. И потом — эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля — жи-

вот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках — весь — влажный и содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство…

Вы мне скажете: «Так ты что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?»

А какое мне дело! А вам — тем более! Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, «пусть», но все-таки «пусть». Зато вся она соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по ебалу — ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать — дошел до двадцати семи и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и востор-

женно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, это все в целях самообороны и чего-то там такого женского — я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду там совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

— Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь — лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!

А она — молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вдохнул и заплакал:

— Но почему?.. почему?

Она мне — второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:

— Но почему? — заклинаю — ответь — почему???

Вот тогда-то и она разрыдалась и обвисла на шее:

— Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему!

сам — знаешь, почему, угорелый!

И после того — почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня — сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница — тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам. Царица Небесная!..

Черное – Купавна

Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил…

— И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого *столько* в душе и *столько* за душой! Ты, у которого *такая* есть в Петушках! И *такой* за Петушками!.. Одинок?

— Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет, — тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, — и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной — что, не желая плакать, заплакал…

А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать, — день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне — что принесли? — две бутылки столичной и две бан-

ки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать — и уже не мог…

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? и ожесточился сердцем? Тоже — не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал…

Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире *прекрасного*. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? — будет он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян, как свинья, оттого и тих.

Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, — совсем наоборот. А если смотреть со стороны — конечно…

Нет, вот уж *теперь* — жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить

еще тридцать, да, да. «Человек смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить… «Жизнь прекрасна» — таково мое мнение.

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример: отчего это, если ты с вечера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться — служба и все такое — и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу (ну, сколько выпил? ну, допустим, сто пятьдесят) — отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен этого, весь вечер лупили по морде? Почему?

Я вам скажу, почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбрать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись,

немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не «чего-нибудь», а именно того самого, что ты пил вчера, и с паузами в сорок — сорок пять минут пить и пить так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били.

Вот видите — сколько в природе загадок, роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду!

А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, как будто и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не разуваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь?

И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом — потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив,

сопоставлял. А сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции, другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.

Сызмальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было «дерзание». И — Бог свидетель — как я дерзал! Если вы так дерзнете — вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет, если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли да и не проснулись. А я — просыпался, каждое утро почти просыпался — и снова начинал дерзать.

Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой

и включительно по девятую — размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: «Надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу — тогда, может быть, начнется рецидив возмужания». Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов — я пробовал.

Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.

А ведь все раскрылось так просто! Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую *выпить сразу, одним махом* — но выпить *идеально*, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом — не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.

А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно называют пятой, точно так же

и вы: условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены: теперь вы будете уже беспрепятственно мужать и мужать, от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) — то есть мужать до того предела, за которым следуют безумие и свинство.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! — святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было *не наплевать*. А вот им — на все наплевать.

Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами; попью-попью — перестану, попью-попью — опять перестану. Я не вправе судить поэтому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если с шестнадцати лет пить каждый день по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, — но ведь *они-то! они*!..

Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни!

Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше; а на другой день — исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. Вы, как костер, — сидите, а они через вас прыгают. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.

А если вы с утра до ночи пили только крепленые красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..

Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узкоспециальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займитесь икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте…

— Помилуйте! — кричат мне со всех сторон. —

Да неужели же на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы…

— Вот именно: нет! — кричу я во все стороны. — Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!

Но ведь все это — не наше, все это нам навязали Петр Великий и Николай Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне! В той самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете: «Призвание это гнусно и ложно». А я вам скажу, я вам снова повторю: «Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание».

И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам — психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть!..

А мы, повторяю, займемся икотой.

33-й километр – Электроугли

Для того чтоб начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать: или an sich (термин Иммануила Канта), то есть вызвать ее в себе самом, — или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть für sich. Термин Иммануила Канта. Лучше всего, конечно, и an sich и für sich, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое: старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.

А потом — сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.

И вы убедитесь сами: к исходу этого часа *она* начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность *ее* начала: потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза et cetera. Но если вы не дурак, скорее перестаньте

удивляться и займитесь делом: записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть — в секундах, конечно:

— восемь — тринадцать — семь — три — восемнадцать.

Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения:

— семнадцать — три — четыре — семнадцать — один — двадцать три — четыре — семь — семь — семь — восемнадцать —

Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели *многое* предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального — смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику:

— тринадцать — пятнадцать — четыре — две-

надцать — четыре — пять — двадцать восемь —

Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека — нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон — он выше всех нас. Икота — выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:

— двадцать две — четырнадцать — все. И тишина.

И в этой тишине ваше сердце вам говорит: *она* неисследима, а мы — беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого — тоже нет.

Мы — дрожащие твари, а *она* — всесильна. *Она*, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. *Он* непостижим уму, а следовательно, *Он* есть.

Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Электроугли – 43-й километр

Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий — к свету. От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне — к свету и Петушкам. Durch Leiden — Licht!

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

— Что мне выпить еще, чтобы и *этого* порыва — не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская — это такое дерьмо! А российская — смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь трид-

цать семь! Боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков — невредимый, — я создам *коктейль*, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду — напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. По всей земле, от Москвы до Петушков, пьют эти *коктейли* до сих пор, не зная имени автора: пьют «Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки», и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну конечно, денатурат.

Но ведь денатурат, будучи только *объектом вдохновения*, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1: 2: 1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура — это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат — 100 г.

Бархатное пиво — 200 г.

Политура очищенная — 100 г.

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечье называют «чернобуркой») — жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это даже не аромат, а гимн. Гимн демократической

молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить «Ханаанский бальзам», а во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы».

В нем, в этом «Духе Женевы», нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что «Белую сирень», составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» — это вам не «Белая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» — напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни…

У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу?

Потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», — говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», — говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» — и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый»! Слушайте точный рецепт:

Белая сирень — 50 г.

Средство от потливости ног — 50 г.

Пиво жигулевское — 200 г.

Лак спиртовой — 150 г.

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский бальзам», и «Дух Женевы». А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе «Слезу комсомолки». Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, — теряет разом и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомол-

ки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?

Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, — лишался.

Лаванда — 15 г.

Вербена — 15 г.

Одеколон «Лесная вода» — 30 г.

Лак для ногтей — 2 г.

Зубной эликсир — 150 г.

Лимонад — 150 г.

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек — но вы меня не заставите помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повиликой…

Но о «Слезе» довольно. Теперь я предлагаю вам

последнее и наилучшее. «Венец трудов, превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):

Пиво жигулевское — 100 г.

Шампунь «Садко — богатый гость» — 30 г.

Резоль для очистки волос от перхоти — 70 г.

Клей БФ — 15 г.

Тормозная жидкость — 30 г.

Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых — 30 г.

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов — и подается к столу…

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть — на дуршлаг откинуть и спать ложиться… Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки — от дряблости воображения, от недостатка полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки…

Итак, «Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глот-

ками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

43-й километр – Храпуново

Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас… А в Петушках — в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом «Иорданских струй», если доберусь живым; если милостив Бог.

А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивоты, что осталась в моем чемоданчике? «Поцелуй тети Клавы»? Пожалуй что да. Из моего чемоданчика никаких других «Поцелуев» не выжмешь, кроме «Первого поцелуя» и «Поцелуя тети Клавы». Объяснить вам, что значит «Поцелуй»? А «Поцелуй» значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любою водкою. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская — это «Первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном — это «Поцелуй, насильно данный», или, проще, «Поцелуй без любви», или, еще проще, «Инесса Арманд». Да мало ли разных «Поцелуев»! Чтобы не так тошнило от всех этих «Поцелуев», к ним надо привыкнуть с детства.

У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет

сухого виноградного вина. Значит, и «Первый поцелуй» исключен для меня, я могу только грезить о нем. Но — у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовое крепкое за рупь тридцать семь. А их совокупность и дает нам «Поцелуй тети Клавы». Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, — согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить «Поцелуй тети Клавы».

Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в «Поцелуй». О, как давно я здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском…

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, — глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда, после ста пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, — но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь…

Подошел — и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Та самая четвертинка, которую я у Серпа и Молота только ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм — где же она теперь?

Я обвел глазами всех — ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался, — когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так. Значит, *украли* между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, — меня тем временем лишали «Поцелуя тети Клавы»… В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время — прямо комедия… Но теперь — «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И — финита ля комедиа. Не всякая простота — святая. И не всякая комедия — божественная… Довольно в мутной воде рыбку ловить — пора ловить человеков!..

Но как ловить и кого ловить?..

Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков… От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в про-

зе, как у Ивана Тургенева… Теперь начинается детективная повесть… Я заглянул внутрь чемоданчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти сто грамм? и кого ловить?..

Я взглянул вправо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, — а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура…

«Транс-цен-ден-тально»… — подумал я. — И давно это он его так?.. Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, — значит, оба, в принципе, могли бы украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, — значит, ни тот, ни другой украсть не могли…

Я глянул назад — нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Они

сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том — до странности похожи: он в жакетке, и она — в жакетке; он в коричневом берете и при усах, и она — при усах и в коричневом берете…

Я протер глаза и еще раз посмотрел назад… Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом… Ясное дело, они не могли украсть.

А впереди? Я глянул вперед.

И впереди то же самое, странных только двое: дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка — на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются…

«Подозрительно», — подумал я. Отчего бы это им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается! Очень подозрительно… Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.

Нет, внучек — совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех, у него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него выдох, а потом вдох,

тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот…

А дедушка — тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия — в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередке расстрелянной физии — распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник…

«Очччень подозрительно», — подумал я еще раз. И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе.

Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. «Это тоже странно, — подумал я, — они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил»…

Я пригласил их сесть напротив себя.

Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь, на левое ребро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую — дедушке.

— Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?

Храпуново – Есино

— Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич… Едем в Орехово, в парк… в карусели покататься…

А внучек добавил:

— И-и-и-и-и…

Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподымал правой: «И-и-и-и, как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки»… «И-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка»…

— Тта-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?..

— В карусели.

— А может, все-таки, не в карусели?..

— В карусели, — еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла…

— А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве?

к любимой женщине? А? Скажи…

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал.

— Я… нничего. Я просто хотел компоту покушать… Компоту с белым хлебом…

— Компоту с белым хлебом?

— Компоту. С белым хлебом.

— Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищете у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту…

Дедушка — первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста… Оба плакали…

— Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить… У меня душа, как у троянского коня пузо, *многое* вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я — понимаю: вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто *вынуждены* выпить хотя бы то, что вы находите, — взамен того, чего вы хотите…

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

— Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он — тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении… Так что же? Значит, и вы решили — на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек — тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками…

— Но — довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили — я могу налить вам еще по пятьдесят грамм…

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

— Я тоже хочу с вами выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете.

— И-и-и-и, — заверещал молодой Митрич, — какой дяденька, какой хитрый дяденька…

Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов:

— Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некото-

рые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей — вот…

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.

— От моей не откажетесь? — спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место.

— Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. «Поцелуй тети Клавы».

— Тети Клавы?

— Тети Клавы.

Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек — тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы…

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.

— На брудершафт, ребятишки?

— На брудершафт.

Все пили, запрокинув головы, как пианисты… «Наш поезд на станции Есино — не останавливается. Остановки по всем пунктам — кроме Есино».

Есино – Фрязево

Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, — теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса», до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

— Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, — обязательно покраснеют…

— Ну так что же?

— Как, то есть, «что же? А Куприн и Максим Горький — так те вообще не просыпались!..

— Прекрасно. Ну, а дальше?

— Как, то есть «ну, а дальше»? Последние, предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: «Ихь штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «Налейте мне шампанского». И уж тогда только — умер.

— Так-так?..

— А Фридрих Шиллер — тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского — и пишет. Пропустит один бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит пять

бокалов — готова целая трагедия в пяти актах.

— Так-так-так… Ну, и…

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и…»

— Ну, и Николай Гоголь…

— Что Николай Гоголь?..

— Он всегда, когда бывал у Аксаковых, просил ставить ему на стол особый, розовый бокал…

— И пил из розового бокала?

— Да. И пил из розового бокала.

— А что пил?

— А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку…

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов…

— А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу

„Хованщина“!»

И вот они сидят — Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него — Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый — пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает…

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым — бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и — бух! в канаву. А потом встанет — и опять похмеляться, и опять — бух!.. А между прочим, социал-демократы…

— Начитанный, чччерт! — в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел…

— Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! — продолжал человек в жакетке. — Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю

пить: пью месяц, пью другой, а потом…

— Погоди, — тут уж я его прервал, — погоди. Так что же социал-демократы?

— Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все *нужные* ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм… А когда они наконец разбудили Герцена…

— Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! — рявкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто. — Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака…

Все, кто мог смеяться, — все рассмеялись: «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист хуев!» «Уши ему потри, уши!» «Какая разница — в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» Все вокруг незаметно косели, незаметно

и радостно косели, незаметно и безобразно… И я — вместе с ними… Я повернулся к жакетке и черным усам:

— Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, при чем же тут демократы и «Хованщина» и…

— А вот и притом! С этого и началось все главное — сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские — они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! все честные люди России! а отчего они пили? — с отчаяния пили! пили оттого, что честны, оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ — пишет и пьет,

и пьет, как пишет. А мужик — не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — и подыхает, а Гаршин встает — и с перепою бросается через перила…

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, — все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло… Декабрист в коверкотовом пальто — и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза…

— И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет *абсолютно*! Вы Маркса читали? *Абсолютно*! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь — вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону — никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так — до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия — он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу разобраться,

кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом…

— Стоп! — прервал его декабрист. — А разве нельзя *не пить*? Взять себя в руки — и не пить? Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил.

— Не пил? Совсем? — черноусый даже привстал и надел берет. — Не может этого быть!

— А вот и может. Сумел человек взять себя в руки — и ни грамма *не пил*…

— Вы имеете в виду Иоганна фон Гёте?

— Да. Я имею в виду Иоганна фон Гёте, который ни грамма не пил.

— Странно… А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?

— Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки — и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев, — шепнул я сам себе, — помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегорию или…»

— Так вы говорите: тайный советник Гёте не пил ни грамма? — я повернулся к декабри-

сту. — А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он — не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева — и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гёте, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «Блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гёте? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что — есть свидетельство — он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но *как бы* покончил

с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства, в этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости…

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет — а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит — а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал — тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет — и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас — так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый…

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гёте! Шиллер ему подносит, а он отказывается — еще бы! Алкоголик он был, *алкаш* он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гёте! И руки у него *как бы* тряслись!..

— Вот это да-а-а… — восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист — широким жестом — вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки — до странности возбужденно…

Мне налили — больше всех. Старому Мит-

ричу — тоже налили. Молодому тоже подали стакан — он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы…

— Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте?

— Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные — тоже…

— А… разрешите вам задать один пустяшный вопрос, — сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался только ко мне. — Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать — вы с утра ничего не пили!

Я даже обиделся:

— Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз… Я просто немного поддал…

— Нет, нет, эта замутненность — от грусти! Вы как Гёте! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гёте, все опровергаете…

— Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?..

— Именно! Своей замутненностью! Вот по-

слушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью — я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? — наутро я не просто *невесел*, не просто *неподвижен*, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите:



И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия — это линия обычной трезвости, *повседневная* линия. Наивысшая точка кривой — момент засыпания, наинизшая — пробуждения с похмелья…

— Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли это забота, но она строго *геометрична*!

Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером — бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром — переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, спьяна природа нам «передала», то наутро она столько же и недодаст, с математической точностью. Был у вас вечером порыв к идеалу — пожалуйста, с похмелья его сменяет порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма… Она — всеобща и к каждому применима. А у вас — все не как у людей, все, как у Гёте!..

Я рассмеялся: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?..»

И декабрист — тоже рассмеялся: «Коли она всеобща, то почему же лемма?..»

— А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу — не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба

есть — и леммы уже нет… В особенности — если баба плохая, а лемма хорошая…

Враз заговорили все. «Да что такое вообще лемма?» «И что такое — плохая баба?» «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие…»

— У меня, например, — сказал декабрист, — у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая…

— При чем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!

— И об усах! Не было бы усов — не было б и разговора…

— Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. — черноусый опять повернулся ко мне. — С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..

Я сказал:

— С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посудин меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим…

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!» —

галдеж возобновился.

— Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать — это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это — уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить…

— Да чем же она хороша, эта баба за витриной?

— Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба — берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить… Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

— А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации — способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка!» — голосом таким пропитым и печальным говорю: «Хозяюшка! Зверобою мне, будьте добры…» И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она

на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк — волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать — так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно; думаю: «Мерило!» «Цивилизации!» «Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо — ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика — смеялась. А внучек верещал: «И-и-и-и, какие агавы, какие хорошие капри...»

— А плохая баба? — сказал декабрист. — Разве не нужна бывает и плохая баба?

— Конечно! Конечно, нужна, — отвечал я ему. — Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уж четыре

года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот — он во гробе. И воскреси, если сможешь». А она подошла ко гробу — вы бы видели, как она подошла!

— Знаем! — сказал декабрист. — «Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево».

— Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю — встань и ходи». И что ж вы думаете? Встал — и пошел. И вот уж три месяца хожу замутненный…

— Замутненность — от грусти, — повторил черноусый в беретке. — А грусть — от бабы.

— Замутненность — оттого, что поддал, — перебил его декабрист.

— Да при чем тут «поддал»? А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! — плохая, значит, баба! Да если даже и плохая — все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

— Честное слово! — вскричал декабрист. — Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь… Давайте и я вам что-нибудь расскажу — про исключительную любовь и про то,

как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет…

«Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» Даже старый Митрич — и тот сказал: «Давайте!..»

61-й километр – 65-й километр

Первым начал рассказывать декабрист:

— Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался — знаете, на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, — а вот поди ж ты, помешался…

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается… Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда — воскресюсь: встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:

— Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно!

А он:

— Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду!

Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим.

— Ну как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь, мы завтра тебе приволокем Веру Дулову?

— Конечно, — отвечает, — если вы хотите, чтоб я ее, вашу Веру Дулову, удавил, струною от арфы, — тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю.

Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой — да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.

А тут мне встречается бабонька, не то чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Рррупь мне дай, — говорит. — Дай мне ррррупь!» И тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку…

И вот — я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом — швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил!.. «Вот она — Эрдели! Не веришь — спроси!»

И наутро смотрю: отворилось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом — потихоньку заработал, заучился, запил… И стал человек как человек. Вот видите!..

«Да где же тут любовь и где Тургенев?» — заговорили мы, почти не дав окончить. — «Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева?» «Ну, коли читал, так и расскажи!» «Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили — вот примерно все это и расскажи…»

— Конечно, — прибавил я, — у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете… Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо — что нам жабо! Мы уже и без жабо — лыка не вяжем…

— Конечно! Конечно!

— Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! суметь сделать то, что невозможно

сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, — смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?

— Ну зачем палец?.. при чем тут палец? — застонал декабрист.

— Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы.

— Боже мой! Нет, не смог бы.

— Ну вот то-то…

— А я бы смог! — проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. — А я бы смог чего-нибудь рассказать…

— Ты? *Рассказат*ь? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

— Ну и пусть, что не читал… Мой внучек зато все читал…

— Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!..

«Представляю, — подумал я, — что это будет

за чушь! что за несусветная чушь!» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: «Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!» Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй…

Дедушка начал рассказывать:

65-й километр – Павлово-Посад

— Председатель у нас был… Лоэнгрин его звали, строгий такой… и весь в чирьях… и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет… плывет и чирья из себя выдавливает…

Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:

— А покатается он на лодке… придет к себе в правление, ляжет на пол… и тут уже к нему не подступись — молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет… стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький…

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны…

— Ну и все, что ли, Митрич?..

— И все, — отвечал он сквозь слезы.

Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть

себе в щиколку. Черноусый сердился:

— Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! да еще вдобавок «пысает»!

— Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал! — брякнул кто-то со стороны. — Кинокартину «Председатель»!

— Какая там, к черту, кинокартина!..

А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — все жалко… Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость.

— Давай, папаша, — сказал я ему, — давай я угощу тебя, ты заслужил! ты хорошо рассказал про любовь!..

— И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

— Давайте! За орловского дворянина!..

Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис…

Никто сразу и не заметил, как у входа в наше «купе» (назовем его «купе») выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжался…

— Я тоже хочу Тургенева и выпить, — проговорила она всею утробою…

Замешательство длилось не больше двух мгновений.

— Аппетитная приходит во время еды, — съязвил декабрист. Все засмеялись.

— Чего тут смеяться, — сказал дедушка. — Баба как баба, хорошая, мягонькая…

— Таких хороших баб, — мрачно отозвался черноусый и снял берет, — таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали…

— Ну почему, почему! — я запротестовал и засуетился. — Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет! «Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас!..» — Я потеснился. Я уса-

дил ее и налил ей полстакана «тети Клавы».

Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой берет. «Вот это — видите?» И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала — и снова протянула мне стакан: «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок».

Я налил ей еще полстакана.

Павлово-Посад – Назарьево

Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала: «Видите — четырех зубов не хватает?» «Да где же зубы-то эти?» «А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу — у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба…»

И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа…

— Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил…» А он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» А я визжу и говорю: «Ну, конечно, раздавался». Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок — я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался». «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин».

А потом опять: «Пушкин-Евтюшкин»…

— Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, — оборвал ее черноусый.

— Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже — нет, чтобы коров пасти и жать хлеба — так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я — как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли» А он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! При чем же тут Пушкин!» А я ему на это: «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!»

И так всякий раз — стоило мне немного напиться. «Кто за тебя, — говорю, — детишек?.. Пушкин, что ли» А он — прямо весь бесится. «Уйди, Дарья, — кричит, — уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом — все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просы-

палась от этого…

И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! детишек — не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!» А потом кричу: «Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу — любишь?» А он все трясется и чернеет: «Сердцем, — орет, — сердцем — да, сердцем люблю твою душу, но душою — нет, не люблю!!»

И как-то дико, по-оперному рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: «Вот ви-

дишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего „я“!»

Да! А через месяц он вернулся! А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «Ага! — закричала. — Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек...» А он — не говоря ни слова — подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола...

— Дело к обмороку, малый. Налей-ка еще чуток...

Все давились от смеха. Всех доконала, главное, эта глухонемая бабушка.

— А где же он теперь, твой Евтюшкин?..

— А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири...

— Верно говоришь, — поддержал я ее. — В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов — был. Он говорит: идешь, идешь, видишь — кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много:

акыны, саксаул… Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего — приехал рыхлый и глаза навыкате…

— А в Сибири?..

— А в Сибири — нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца — и негры на них вешаются…

— Да что еще за негры? — встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. — Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?..

— Был в Штатах! И не видел там никаких негров!

— Никаких негров? В Штатах?..

— Да! В Штатах! Ни единого негра!..

Все как-то уже настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, — все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные — забылись; один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то

мочой поперек затылка…

— Значит, вы были в Штатах, — мямлил черноусый, — это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю… я вам верю, как родному… Но — скажите: свободы там тоже не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите…

— Да, — отвечал я ему, — свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них — я много ходил и вглядывался, — у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. «Отчего бы это? — думал я и сворачивал с Манхеттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: — От их паскудного самодовольства, и больше ниотчего. Но откуда берется самодовольство??» Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов — откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей — откуда у них

такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством — а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»

— Да, да, да, — кивал головою старый Митрич, — они там кушают, а мы почти уже и не кушаем… весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу… а сами что будем кушать?..

— Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах — помни главное: не забывай старушку-Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..

— Как же… помню… — и все выпитое выливалось у него из синих глаз, — помню… «мы с бабушкой уходили все дальше в лес…»

— Да разве ж это про Родину, Митрич! — осоловело сердился черноусый. — Это про бабушку, а совсем не про Родину!..

И Митрич снова заплакал…

Назарьево – Дрезна

А черноусый сказал:

— Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?

— Не знаю, как по ту. А по эту — совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий — поодаль — поет про того, кто рисует… И так от этого грустно! А они нашей грусти — не понимают…

— Да ведь итальянцы! — разве они что-нибудь понимают! — поддержал черноусый.

— Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка, — захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поебанный!» Да разве ж я как поебанный! Просто — немотствуют уста…

Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо

было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: «Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят: «Далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!..»

Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но он ведь недавно умер… А чем хуже Луиджи Лонго?..

А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: «Если ты хочешь учиться на бакалавра — тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» Ну, что им ответить? Я говорю: «Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». «Из Сибири?» — спрашивают. Говорю: «Из Сибири». «Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей — что присуще?»

Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос». А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: «Дурак ты, — говорит, — а никакой не Логос! Вон, — кричит, — вон Ерофеева из нашей Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго…

Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!..

По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют — из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским Полям — а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых — она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню; короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза

Триоле. «Интересно, — прошмыгнула мысль у меня, — откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в клинику?» И сам же себя обрезал: «Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы…»

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего — а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал… — а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла…

Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак — я все это путаю и разницы никакой

не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я двенадцать трубок — и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск иммер элегант». Эссе по вопросам любви.

А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «Какой это шанкр, твердый или мягкий?» — он обязательно брякнет: «Мягкий, конечно». А покажи ему мягкий — так он и совсем растеряется. А там — нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр *мягкий*, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет…

Короче, «Ревю де Пари» вернул мне эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете? — я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок — и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок:

«Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости». И отослал в «Ревю де Пари»…

— И вам опять его вернули? — спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон…

— Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это и применимо, но к французским — нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую — через кровосмесительство — трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно!..

Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями — и через Верден попер к Ламаншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал: «Почему

я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?» Я шел и пел: «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены…» А в окрестностях Лондона…

— Позвольте, — прервал меня черноусый, — меня поражает ваш размах, нет, я верю вам как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы…

Дрезна – 85-й километр

— Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница — это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую — меньше пьют и говорят на нерусском…

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить… Так что там на этот счет совершенно свободно… Хочешь ты, например, остановиться в Эболи — пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу — никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон — переходи…

Так что ничего удивительного… В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм.

«Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу…»

«Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?»

— В каких же это носках?! — заговорил я, уже досады и не скрывая. — В каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и…

А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и сказал: «Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: «А ты попробуй, Уильям! попробуй,

выставь его для обозрения! этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!» Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула:

— Контролеры! Контролеры!.. — загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!!.»

Мой рассказ оборвался в пикантнейшем месте. Но не только рассказ оборвался: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, — все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах, а молодой ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как фатаморгана…

Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого — ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит изничтожающе, как на гадину. А публика — публика смотрит на «зайца» большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опу-

стил, мудозвон! совесть заела, жидовская морда! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие — и можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, Семеныч, мы тебя не обидим…

До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контроля, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены — так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты…

Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с «грачей» за километр по копейке, а Семеныч брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семенычу девяносто грамм и дальше

едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант…

Итак, нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало… И в том всеобщем трепете, который вызывает крик «Контролеры!!» — нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение…

Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехово-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины…

— Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская — Орехово-Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот — Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», теперь же вызывает «законную гордость»… А ты, Веня?..

И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром:

— А ты, Веня? Как всегда: Москва — Петушки?..

85-й километр – Орехово-Зуево

— Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва — Петушки…

— И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?!

Тут я должен сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься»?

Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда он только еще заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». И когда я не понял, в чем дело, он объяснил мне, в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо, и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать, и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так

и не успел дослушать, что же все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..

А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «Ну, как? Уебал он все-таки эту Лукрецию?»

И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: «И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и...» Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Зуеве, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный...

И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии «Москва — Петушки» я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже...

В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда…

И вот — Семеныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:

— Москва — Петушки? Сто двадцать пять.

— Семеныч! — отвечал я, почти умоляюще. — Семеныч! Ты выпил сегодня много?..

— Прилично, — отвечал мне Семеныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину…

— А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты *можешь* вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..

— Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..

— От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда — можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

— Могу! — рокотал Семеныч. — Говори, говори, Шехерезада!

— Так слушай. То будет день, «избраннейший из всех дней». В тот день истомившийся Симеон

скажет наконец: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…» И скажет архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит: «Вот — мгновенье! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют «Исайя, ликуй!». И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе…

— Сольются в поцелуе?.. — заерзал Семеныч, уже в нетерпении…

— Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина…

— Женщина!! — затрепетал Семеныч. — Что? что женщина?!!!..

— И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет…

— Возляжет?!! — тут уж он задергался. — Возляжет?!!

— Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится! И…

— О-о-о-о! — застонал Семеныч. — Скоро ли сие?

Скоро ли будет?.. — и вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности…

Я, как ни был я пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «*ого*»! Она, эта публика, все поняла не так, как надо было б понять…

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? — что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика: «Ого! — говорит. — Ай да генерал де Голль!» Или: «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»

Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!».

— Семеныч! Семеныч! — я обхватил его и потащил на площадку вагона. — На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем отсюда, Семеныч, пойдем!..

Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей…

— Веня! Скажи мне… женщина Востока… если снимет с себя паранджу… на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась…

Орехово-Зуево

Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, расстегнутого, — вынесло на перрон и ударило головой о перила… Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону…

Все это я видел совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального — я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, — и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.

И если *там* Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?..» — я скажу ему: «Нет,

Господь, не сразу…» Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел наконец совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей…

А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты — о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед лицом Твоим, Господь! это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память! — я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, — а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты…

«Все ваши выдумки о веке златом, — твердил я, — все — ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому назад, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск — в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, — а *что* там в жасмине? *Кто* там, облаченный в пурпур и крученый виссон, смежил ресницы и обоняет лилии?..»

И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина…

Орехово-Зуево – Крутое

…А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солнца.

— Что ты здесь делаешь, Тихонов?

— Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы…

— Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?

— А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить — нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие…

— А ты выпей можжевеловой, Вадя…

Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил.

— Ну как? Назрела ситуация?

— Погоди, сейчас назреет…

— Когда же выступать? Завтра?

— А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить — нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.

— А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще мож-

жевеловой…

Вадимчик выпил и опять загрустил.

— Ну, как? Ты считаешь: пора?..

— Пора…

— Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали: завтра утром, между деревней Тартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять ноль-ноль по Гринвичу…

— Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу.

— До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь…

— Постараюсь, усну, до свидания, товарищ…

Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. (Прекрасно сказано: «бесплодной, как смоковница».) Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня — я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие…

В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с на-

ми — в ногах правды нет», и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого; приближалось девять ноль-ноль по Гринвичу…

С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил к воротам, а написал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы, четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать, — но, как бы то ни было, с этого все началось.

Двумя колоннами, со штандартами в руках, мы вышли — колонна на Елисейково, другая — на Тартино. И шли беспрепятственно, вплоть до заката: убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один — бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасово валялось у нас в ногах, Неугодово и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры петушинского уезда — от магазина в Поломах до андреевского склада

сельпо, — все заняты были силами восставших…

А после захода солнца — деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же сымпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич…

С места кричали: «А где это такая — Норвегия?..» «А кто ее знает, где! — отвечали с другого места. — У черта на куличках, у бороды на клине!» «Да где бы она ни была, — унимал я шум, — без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов…» «Белополяки нужны!» — кричал закосевший Тихонов. «О, идиот, — прерывал я его, — вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы мы прибили к нашим сердцам, — но как доходит до дела, ты говно-говном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?..» — «Да разве я спорю! — сдавался Тихонов. — Как будто они мне больше

нужны, чем вам! Норвегия так Норвегия...»

Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит в НАТО, и Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу, с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо — вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, — было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разъебай-каудильо!.. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению... И, наконец, четвертое письмо — Владиславу Гомулке, мы писали ему: ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на Польский коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на Польский коридор ни малейшего права...

И послали четыре открытки: Аббе Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы, признают

за это субъектами международного права…

Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции и воображали себе, как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич…

Не спал и пленный, бывший председельсовета Анатолий Иваныч, он выл из своего сарая, как тоскующий пес:

— Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..

— Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..

— А чего это такое?..

— Узнаешь, чего это такое! То есть ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянет!..

Крутое – Воиново

А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтоб их не перепутать, решили пронумеровать их: 1-й Пленум, 2-й Пленум, 3-й Пленум и 4-й Пленум…

Весь 1-й Пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?

А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть «декреты»? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра. Кажется, чего бы проще? — нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это раньше не при-

шло мне в голову!..

Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать утра, а не в девять…

Мысли роились — так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:

— Слушай-ка, канцлер!

— Ну, чего?..

— Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего.

— Найди другого, — обиделся Тихонов.

— Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатоль Иваныча? Ты что же это? — открываешь террор?

— Да так… Немножко…

— И какой террор открываешь? Белый?

— Белый.

— Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный… Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем — и декларацию прав. А уж только потом — террор. А уж потом выпьем и — учиться, учиться, учиться…

Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул:

— Да-а-а… сплоховал я с этим террором… Ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было… Были, правда, прецеденты, но…

— Ну, разве это прецеденты! Это — так! чепуха! Полет шмеля это, забавы взрослых шалунов, а никакие не прецеденты!.. Летоисчисление — как думаешь? — сменим или оставим как есть?

— Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет…

— Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, Пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.

— Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет 2-й Пленум… Пойдем в Поломы.

У тети Шуры в Поломах в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на двенадцать верст вглубь территории республики.

И там, на другое утро, открыть 2-й Пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.

— Я встаю с президентского кресла, — сказал я в своем выступлении, — я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?

— Нет таких, — хором отвечали делегаты.

— Мою, например, харю — разве нельзя уделать в три дня и с похмелья?

Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: «Можно».

— Ну, так вот, — продолжал я. — Обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет…

Мою речь прервали овации, и Пленум при-

крылся: окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание, — допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король Улаф? Почему нас не давят с юга регулярные части?..

Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило пуншем:

— Тебе нравится, Вадя, наша революция?

— Да, — ответил Вадя, — она лихорадочна, но она прекрасна.

— Так… А насчет Норвегии, Вадя, — насчет Норвегии ничего не слышно?

— Пока ничего… А что тебе Норвегия?

— Как то есть что Норвегия?!. В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет… Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло — и тогда увидишь, что будет!..

— Садись, — ответил Вадя, — кто тебе мешает, Ерофейчик?.. Если хочешь — садись…

Воиново – Усад

Ни одной бомбы на нас не упало и наутро. И тогда, открывая 3-й Пленум, я сказал:

«Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, — я беру в свои руки всю полноту власти; то есть кто дурак и не понимает, тому я объясню: я ввожу комендантский час. Мало того — полномочия президента я объявляю чрезвычайными и заодно становлюсь президентом. То есть „личностью, стоящей *над законом и пророками*…“»

Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения…

Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли

сообщение. «Смерть наступила вследствие естественных причин». Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался.

4-й Пленум был траурным.

Я выступил и сказал:

«Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки — вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, — а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка…

И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В Общий рынок нас никто не пустит. Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят…»

Тут уже заорали с мест:

— А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б–52 нам дадут!

— Как же! дадут вам Б–52! Держите карман!

Прямо смешно вас слушать, сенаторы!

— «Фантомы» дадут!

— Ха-ха! Кто это сказал: «Фантомы»? Еще одно слово о «Фантомах» — и я лопну от смеха…

Тут Тихонов со своего места сказал:

— «Фантомов» нам, может быть, и не дадут, — но уж девальвацию франка точно дадут…

— Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю, почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но *никто, никто* этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия — и ухожу от вас. В Петушки.

Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток!..

А когда я стал уходить, когда ушел — какие слова полетели мне вслед! Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду…

В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в пояс кланялись хлеба

и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния... Закатилось солнце, а я все шел.

«Царица Небесная, как далеко еще до Петушков! — сказал я сам себе. — Иду, иду, а Петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду — где же Петушки?»

«Где же Петушки?» — спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю и вечно путаю.

Я постучался и спросил: «Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?» А мне в ответ — все, кто был на веранде, — все расхохотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал — ржание на веранде возобновилось. Странно! Мало того — кто-то ржал у меня за спиной.

Я оглянулся — пассажиры поезда «Москва — Петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..

«Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма. У тебя кубан-

ская в кармане осталась? осталась. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, — чтобы не так тошнило».

Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна…

— Мы подъезжаем к Усаду, да? — Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос: — Мы подъезжаем к Усаду?

— Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, — отвечал какой-то старичок. — Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет.

А потом добавил:

— От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..

Он что, очумел, этот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверно, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал:

— Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

«Милая странница!!!?»

Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве, и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал: какая же я после этого «милая странница»? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить — но ведь не до такой же степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем — или наоборот: они все в своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из выходящих, спросил:

— Это Усад, да?

А он (совсем неожиданно) вытянулся передо мной в струнку и рявкнул: «Никак нет!!» А потом — потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!..»

И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

Усад – 105-й километр

Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть «милая странница», пусть «старший лейтенант», — но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Я припал головой к окошку — о, какая чернота! и что там в этой черноте — дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!..

— А! Это ты! — кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же ведь время — искушать!»

— Так это ты, Ерофеев? — спросил Сатана.

— Конечно, я. Кто же еще?..

— Тяжело тебе, Ерофеев?

— Конечно, тяжело. Только тебя это не касается.

Проходи себе дальше, не на такого напал…

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

— А раз тяжело, — продолжал Сатана, — смири свой порыв. Смири свой духовный порыв — легче будет.

— Ни за что не смирю.

— Ну и дурак.

— От дурака слышу.

— Ну ладно, ладно… уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми — и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься…

Я сначала подумал, потом ответил:

— Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь…

И Сатана ушел, посрамленный.

А я — что мне оставалось? — я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится».

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному, подходили

к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком…

«Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой — таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится — она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма…»

«Так-то оно так… но ведь я выехал утром… В восемь шестнадцать, с Курского вокзала…»

«Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не успеешь очухаться — бах! уже темно… А ведь до Петушков ехать о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!..»

«Да чего „о-о-о“! Чего ты все „о-о-о“ да „о-о-о“! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например…»

«Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу

и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили… А теперь, черт знает что!.. У каждого столба останавливается и стоит, а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит. И так у каждого столба. Кроме Есино…»

Я взглянул за окно и опять нахмурился: «Да-а… странно все-таки… выехали в восемь утра… и все еще едем…»

Тут уж сердце взорвалось: «А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие — ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят… Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно… Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, — так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..»

Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы… Я чуть было тоже не задремал…

И вдруг — подскочил на месте: «Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать!

В 11 утра она уже будет меня ждать — а на дворе все еще темно… Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдрабадан… Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет! когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы — заря моей пятницы уже взошла. Значит — уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?..»

«Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!»

«Но ведь в прошлую пятницу…»

«Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..»

«Нет, нет, послушай… В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы… и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню…»

«Да что „коса“! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть

совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: „коса“! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы… А осенний день наоборот — он уже с гулькин хуй! Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!»

Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка — и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис: «Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь триста грамм конфет „Василек“. И вот — через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот „Василек“. А все будут говорить: „13-й раз подряд мы видим сплошной «Василек». Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура“. А она рассмеется и скажет: „…“».

Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку…

105-й километр – Покров

Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине.

Я вздрогнул и обернулся: передо мною был *некто* без ног, без хвоста и без головы.

— Ты кто? — спросил я его в изумлении.

— Угадай, кто! — и он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся…

— Вот еще! Буду я угадывать!..

Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся: передо мною был все тот же *некто*, без ног, без хвоста и без головы…

— Ты зачем меня бьешь? — спросил я его.

— А ты угадай, зачем!.. — ответил тот, все с тем же людоедским смехом.

На этот раз — я все-таки решил угадать. «А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине обеими ногами…»

Я опустил глаза и задумался. Он — ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне, дураку, сопли вытирал…

Первым заговорил все-таки он:

— Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?.. Где…

— Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.

— Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?

— Да. Куда им вздумается.

Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых.

— Так слушай же. Перед тобою — Сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

— Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там, в Петушках, — чего? моровая язва? Там кто-то вышел замуж за собственную дочь, и ты…?

— Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе — не пущу, значит не пущу. Вернее, пущу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

«Для чего ему, подлюке, загадки?» — подумал я про себя. А вслух сказал:

— Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.

«Для чего ему, разъебаю, загадки?» — подумал я еще раз.

А он уже начал первую:

«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня — по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу — по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».

Про себя я подумал: «На кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет не просыпаясь? На кого намекает, гадина?..»

Я обиделся и сказал:

— Это плохая загадка. Сфинкс, это загадка с поросячьим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

— Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

«Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была из-

насилована; каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой; каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой; каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428 — определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»

«На кого, на кого *теперь* намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?»

— Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.

— Ха-ха! Давай третью!

«Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта $Б_1$ в сторону пункта $Б_2$. В то же мгновенье Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта $Б_2$ в пункт $Б_1$. Неизвестно почему оба они оказались в пункте $Б_3$, отстоящем от пункта $Б_1$ на расстоянии 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта $Б_2$ — на расстоянии 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра,

а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова?»

«Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?..»

— Ха-ха! — вскричал, потирая руки, Сфинкс. — И эту решать не будешь?! И эту — не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе — на тебе четвертую:

«Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине — и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 78 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все тарелки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, — узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену,

премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?!»

— Как то есть «Курского вокзала»?

— А вот так то есть. «Курского вокзала».

— Так он же поскользнулся-то — где? Он же в Петушках поскользнулся! Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

— А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?

«Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несут такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что он намекает, сволочь?..»

— Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство.

— Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда…

— Тогда давай последнюю, давай!

«Вот: идет Минин, а навстречу ему — Пожарский. „Ты какой-то странный сегодня, Минин, — говорит Пожарский, — как будто много выпил сегодня“. — „Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь“. — „Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?“ — „Сейчас скажу: сначала 150 российской, потом 150 перцовой, 200 столичной, 550 кубанской и 700 грамм ерша. А ты?“ — „А я ровно столь-

ко же, Минин“. — „Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?“ — „Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?“ — „Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, идешь совсем не в ту сторону!„– „Нет, это ты идешь не туда, Минин“. Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин — туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем — куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? скажи».

— В Петушки? — подсказал я с надеждой.

— Как бы не так! Ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

И Сфинкс рассмеялся, и встал на обе ноги:

— А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..

— Может быть, в Петушки? — я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. — В Петушки, да?..

— А на Курский вокзал — не хочешь?! Ха-ха! — И Сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. — И Минин придет на Курский вокзал!..

Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Что это был за смех у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся! — а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил…

— Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?..

— А вот увидишь — куда! Ха-ха! Увидишь!..

Покров – 113-й километр

Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку — и растворился в воздухе… Для чего это ему было надо?

Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано: «…» — и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров».

«Покров! Город Петушинского района! Три остановки, а потом — Петушки! Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вот моя тревога, которая до того со дна души все подымалась, разом опустилась на дно души и там затихла…

Три или четыре мгновения она, притихшая, там и лежала. А потом — потом она не то чтобы стала подыматься со дна души, нет, она со дна души *подскочила*, одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабло:

Вот — я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и яркие огни. Все это хорошо — и «Покров», и яркие огни. Но поче-

му же они оказались справа по ходу поезда?.. Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю: если станция Покров оказалась справа, значит — я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый Сфинкс!

Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. «Постой, Веничка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал: может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди, выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано „…“».

Я выскочил в тамбур и посмотрел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «…». Я поглядел налево: там так же красиво было написано «…». Боже! Я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался…

«Постой, постой… А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы — все сидели слева по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!..»

Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика — чемоданчика нигде не было, ни слева, ни справа.

Где мой чемоданчик?!

«Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик — вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль — а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом — миллион».

«Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской — за то, что ты благороден».

И вот — я запрокинулся, допивая свой остаток. И — сразу — рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка, и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый глоток по зарнице.

«Человек не должен быть одинок» — таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: «Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!) А вы —

отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»

«И по-твоему, именно так должен поступать человек?» — спросил я сам себя, склонив голову влево.

«Да. Именно так, — склонив голову вправо, ответил я сам себе. — Не век же рассматривать „…“ на вспотевших стеклах и терзаться загадкою!..»

И я пошел по вагонам. В первом — не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором — тоже никого; даже дождь не брызгал…

В третьем — кто-то был…

113-й километр – Омутище

…Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. «Ни дать, ни взять — копия с „Неутешного горя“, копия с тебя, Ерофеев», — сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся.

Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала…

Вот! Человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, — чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы!..

Что же мне все-таки сказать?

— Княгиня, — позвал я тихо.

— Ну, чего тебе? — отозвалась княгиня, глядя в окно.

— Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спи-

ны, вот чего…

— Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица… Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь…

«Это мне-то, в моем положении — молчать! Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка, но помню, что-то очень важное… Впрочем, ладно, потом вспомню… Женщина плачет — а это гораздо важнее… О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад — и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме „скорби“ и „страха“, и после этого — и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!..

О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом! Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности!..»

Я подумал и сказал:

— Княгиня!.. а, княгиня!..

— Ну, чего тебе опять?

— Нет у тебя уже гармони. Не видно.

— Чего ж тебе тогда видно?

— Одни только кустики. (Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь.)

— Сам ты кустик, я вижу…

«Ну что ж, кустик, так кустик». Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину… О чем же все-таки это «важное»?

— Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.

— Чего ты мелешь?

— Честное слово, с тех пор не видел… Где он, твой камердинер?

— Он такой же твой, как и мой! — огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей — остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула:

— Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!!

И скрылась.

«Вот это да-а-а, — протянул я восторженно, как давеча декабрист. — Ловко она меня отбрила!» И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих — дай припомнить!.. Камердинер!

Я позвонил в колокольчик… Через час — опять

позвонил.

— Ка-мер-ди-нер!!

Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал, спьяну, ходить во всем желтом, до самой смерти, — так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.

— Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет — как ты думаешь? Спал?

— В том вагоне — да, спал.

— А в этом — нет?

— А в этом — нет.

— Чудно мне это, Петр… Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое… А то, знаешь, опять мне делается тревожно… Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Так?

— Не знаю. Я сам спал — в этом вагоне.

— Гм. Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?

— Да зачем мне тебя было будить! В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том — зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?

— Ты не путай меня, Петр, не путай… Дай подумать. Видишь, Петр, я никак не могу разрешить

одну мысль. Так велика эта мысль.

— Какая же это мысль?

— А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?..

Омутище – Леоново

Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средство, чтоб ее разрешить. Ты понимаешь — когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан… Не очень заметно, что я расщеплен?

— Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла.

— Ну, это ничего. Рожа — это ничего…

— И выпить тоже нет ничего, — подсказал Петр, встал и зажег канделябры.

Я встрепенулся. «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то — знаешь? — немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас».

— А где же твоя княгиня, Петр?

— Она давно уже вышла.

— Куда вышла?

— В Храпунове вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове — вышла.

— Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?.. Ты не путай меня, не путай… Так, так…

Самая главная мысль… Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему — понятия не имею. Да, да… вот теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гёте, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке… А я — нет, я и дома без шлафрока; я и на улице — в тапочках… А Шиллер-то тут при чем? Да, вот он при чем: когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер…

Петр все глядел на меня, стоя надо мной. И все еще мало что понимал.

— Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты — смотришь. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?» Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде нет никого?

— Никого.

— Так…

Я опять задумался. И странная это была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это «что-то» тоже было странно. И дума — тяжелая была дума…

Что я делал в это мгновение — засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? «Есть бытие, но именем каким *его* назвать? — ни сон оно, ни бденье». Я продремал так минут 12 или 35.

А когда очнулся — в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души…

Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался…

— Ка-мер-ди-нер!

В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди, ты тоже весь мокрый — почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да?»

— Я ничем не хлопал. Я спал.

— Кто же тогда хлопал?

Петр глядел на меня, не моргая.

— Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде никого-никого?

— Никого.

— Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, так кто же там гудит дверями и окнами? А? Ты знаешь?.. Слышишь?.. У тебя и выпить, наверное, есть, а ты мне все врешь!..

Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. Я видел по морде его, что я его раскусил, что я понял его и что он теперь боится меня. Да, да; он повалился на канделябр и погасил его собою — и так пошел по вагону, гася огни. «Ему стыдно, стыдно!» — подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.

— Возвратись, Петр! — я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. — Возвратись!

— Проходимец! — отвечал тот из-за окошка.

И вдруг — впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобою…

— Что с тобой, Петр? Что с тобой?!.

— Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабулень-ка! Оставайся, старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могу-у-у-у…

И снова выпорхнул, теперь уже навечно.

«Черт знает что такое! Что с ними со всеми?» Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали…

Леоново – Петушки

…Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот — влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим от страха лицом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эриний и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы…

Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами:

«Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!..» А они все бежали.

И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, она задыхалась от бега.

— Куда вы? Куда вы все бежите?..

— Чего тебе?! Отвяжи-и-сь! Пусти-и-и-и!..

— Куда? И все мы едем — куда??.

— Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!..

И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб — до того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грызть подсолнух.

А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немно-

го, взглянула на меня, вернулась — и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею…

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд «Москва — Петушки» летит под откос. Вздымались вагоны — и снова проваливались, как одержимые одурью… И тогда я заметался и крикнул:

— О-о-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а!..

Крикнул и оторопел: хор Эриний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой…

А кимвалы продолжали бряцать, а бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

Петушки. Перрон

А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь — да, как будто туман. А если вы скажете — нет, то не туман, то пламень и лед — попеременно то лед, то пламень, — я вам на это скажу: пожалуй что и да, лед и пламень, то есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.

«Это лихорадка, — подумал я. — Этот жаркий туман повсюду — от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман». А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал: это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках — ножик…

— Митридат, это ты, что ли? — мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. — Это ты, что ли, Митридат?..

— Я, — ответил понтийский царь Митридат.

— А измазан весь — почему?

— А у меня всегда так. Как полнолуние — так сопли текут…

— А в другие дни не текут?

— Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.

— И ты что же, совсем их не утираешь? — я перешел почти на шепот. — Не утираешь?

— Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус — один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние…

Я прервал его:

— Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

— Как зачем?.. да резать тебя — вот зачем!.. Спрашивает тоже: зачем?.. Резать, конечно…

И как он переменился сразу! все говорил мирно, а тут ощерился, почернел — и куда только сопли девались? — и еще захохотал, сверх всего! Потом опять ощерился, потом опять захохотал!

Озноб забил меня снова: «Что ты, Митридат, что ты! — шептал я или кричал, не знаю. — Убери нож, убери, зачем…?» А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась… «Изувер!» И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукою

защититься от ножика… «Перестань, Митридат, перестань…»

Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, опять правый, — я успевал только бессильно взвизгивать, — и забился от боли по всему перрону. И проснулся, весь в судорогах. Вокруг — ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода. «Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже…»

И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихоманка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизились ко мне вплотную и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка — серпом по…цам. Я закричал — наверно, вслух закричал — и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось — и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, — я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от вас, Петушки? пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица

Небесная, я — в Петушках!..

«Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй... А чемоданчик где твой? Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?.. два стакана орехов для мальчика, конфеты „Василек“ и пустая посуда... где чемоданчик? кто и зачем его украл — ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, посмотри, есть ли деньги, может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь — деньги?.. О, эфемерность! О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа — время от закрытия магазинов до рассвета!..

Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе, — то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше — то легче. Ты же сам говорил больному мальчику: „Раз-два-туфли надень-ка как-ти-бе-не стыдна-спать...“ Самое главное — уйди от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Пе-

тушков в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь и почему она не встретила, и все узнаешь… Иди, Веничка, иди…»

Петушки. Вокзальная площадь

«Если хочешь идти налево, Веничка, — иди налево. Если хочешь направо — иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят…»

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца, — и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретилась живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода… О, немота!..

И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю, — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, — умру, и Он меня спросит: «Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?» — я буду молчать, опущу глаза

и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует… «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать…

Может, все-таки разомкнуть уста? — найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди… Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу — а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц;

божество от тебя отвернулось, — так зачем тебе узнавать время? «Не женщина, а бланманже», как ты в шутку ее называл, — на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины — не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный… И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот, войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: «Какое вам дело до моего сердца?» Боже мой…

Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

Петушки. Садовое кольцо

Постучался — и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят…

«Странно высокие дома понастроили в Петушках!.. Впрочем, это всегда так, с тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы — непомерно широкими, дома — странно большими… Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян… Помнишь лемму этого черноусого?»

Я еще раз постучался, чуть громче прежнего: «Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю… Они, серьезные, это понимают, а я, легковесный, никогда не пойму… Мене, текел, фарес — то есть „ты взвешен на весах и найден легковесным“, то есть „текел“… Ну и пусть, пусть…

Но есть ли *там* весы или нет — все равно — на *тех* весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал — и знаю, что говорю. Все ваши путеводные

звезды катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плевков.

Есть *там* весы, нет *там* весов — *там* мы, легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, и знаю, и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?..»

Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, — я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог: от холода или отчего еще мне глаза устилали слезы…

«Не плачь, Ерофеев, не плачь… Ну зачем? И почему ты так дрожишь? от холода или еще отчего?.. не надо…»

Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках! Но кубанской не было: я свернул в переулок, и снова задрожал и заплакал…

И тут — началась история, страшнее всех, виденных во сне: в этом самом переулке навстречу мне шли четверо… Я сразу их узнал, я не буду вам объяснять, кто эти четверо… Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу…

А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического, но в глазах у всех четверых — вы знаете? вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета? — вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож… впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.

— Ну, вот ты и попался, — сказал один.

— Как то есть… попался? — голос мой страшно дрожал, от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха.

— А вот так и попался! Больше никуда не поедешь.

— А почему?..

— А потому.

— Слушайте… — голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду: холодной ночью. И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так: и апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал, — потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра, вместе с *этими*. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если б испытывали теперь меня, я предал бы Его до семижды семидесяти раз, и больше бы предал…

— Слушайте, — говорил я им, как умел, — вы меня пустите… что я вам?.. я просто не доехал до девушки… ехал и не доехал… я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал… там пустяки и были, а все-таки жалко… «Василек»…

— Какой еще василек? — со злобою спросил один.

— Да конфеты, конфеты «Василек»… и орехов двести грамм, я младенцу их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает… но это чепуха…

вот только дождаться рассвета, я опять поеду… правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут… даже наоборот.

Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно, думали: «Как этот подонок труслив и элементарен!» О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!.. Где, в каких газетах я видел эти рожи?..

— Я хочу опять в Петушки…

— Не поедешь ты ни в какие Петушки!

— Ну… пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу…

— Не будет тебе никакого вокзала!

— Да почему?..

— Да потому!

Один размахнулся — и ударил меня по щеке, другой — кулаком в лицо, остальные двое тоже надвигались, — я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо, тихо, тихо, а они все четверо тихо наступали…

«Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на Курский вокзал! Влево, или вправо, или назад — все равно туда попадешь! Беги, Веничка, беги!..»

Я схватился за голову — и побежал. Они — следом за мной…

Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому

«А может быть, это все-таки Петушки?.. Может, крикнуть „караул“, хоть кому-нибудь? Куда все вымерли? И фонари горят фантастично, горят, не сморгнув. Может, и в самом деле Петушки? Вот этот дом, на который я сейчас бегу, — это же райсобес, а за ним туман и мгла. Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет!..»

Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, оглянулся и перевел дух. Нет, это не Петушки! Если Он навсегда покинул мою землю, но видит каждого из нас, — Он в эту сторону ни разу и не взглянул. А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, — Он это место обогнул и прошел стороной.

Не Петушки это, нет! Петушки Он стороной не обходил. Он часто ночевал там при свете костра, и я во многих тамошних душах замечал следы Его ночлега — пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо, был бы хоть пепел и дым.

Нет, это не Петушки! Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже за собою топот погони — я успел подумать: «Вот! Сколько раз я проходил по Москве, вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях, сколько раз проходил — и ни разу не видел Кремля, я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. И вот теперь наконец увидел — когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!..»

Неисповедимы Твои пути…

Топот все приближался — а я уже ничего не мог. Я, спотыкаясь, добрел до Кремлевской стены — и рухнул. «Что это за люди и что я сделал этим людям?» — такого вопроса у меня не было, я весь издрог и извелся страхом, мне было все равно. И заметят они меня или не заметят — тоже все равно. «Мне не нужна дрожь, мне нужен покой, — вот все мои желания. Пронеси, Господь…»

Они приближались с четырех сторон, поодиночке. Подошли и обступили, с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги — они бы сразу убили меня…

— Ты от нас? *От нас* хотел убежать? — прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся

от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот… Я почти упал, но удержался… Началось избиение!

— Ты ему в брюхо сапогом! Пусть корячится!

Боже! я вырвался и побежал — вниз по площади. «Беги, Веничка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!» На два мгновения я остановился у памятника — смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть — сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина — куда? в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать было некогда — я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский…

Москва – Петушки. Неизвестный подъезд

Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул — я все еще надеялся… «О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал… Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо…»

Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал: дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять…

Весь сотрясаясь, я сказал себе «талифа куми». То есть «встань и приготовься к кончине»… Это уже не «талифа куми», то есть «встань и приготовься к кончине», это *лама савахфани*. То есть: «Для чего, Господь, Ты меня оставил?»

«Для чего же все-таки, Господь, Ты меня оставил?»

Господь молчал.

«Ангелы небесные, они подымаются! что мне

делать? что мне сейчас сделать, чтобы не умереть? ангелы!..»

И ангелы — засмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю, — вам сказать, как они сейчас засмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека, и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг — и хохотали над этой забавностью...

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал... А этих четверых я уже увидел — они подымались с последнего этажа... А когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было

удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках — для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление.

Они даже не дали себе отдышаться — и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками; я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще — я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего…

— Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. — бормотал я…

Они вонзили мне свое шило в самое горло…

Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

На кабельных работах в Шереметье-

во – Лобня, осень 69 года

Василий Розанов глазами эксцентрика

1

Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета; один пистолет я сунул себе за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда.

И, выйдя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, а колыханье струй и душевредительство». Божья заповедь «не убий», надо думать, распространяется и на самого себя («не убий» себя, как бы ни было скверно), — но сегодняшняя скверна и сегодняшний день — вне заповедей. «Ибо лучше мне умереть, нежели жить», — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так.

Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца — тоже щемило. Все ближние меня оставили.

Кто в этом виноват, они или я, разберется в день суда Тот, Кто и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, что меня чуть-чуть подогревали, — тоже исчезли и растворились в пустотах. И, в довершение, от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой земле. Она уходила — я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая!», потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благовоннолонная, останься!» — она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки.

Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался подо все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. У себя дома, над головой, я вбил крюк виселицы, две недели с веточкой флер-д-оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ты ни был, ты, доставший мне эти три пистолета, — будь ты четырежды благословен!

Еще не доходя до площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безо`бразен и безгласен. Душа все распухала, слезы текли у меня спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица. Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее; что-нибудь такое освежающее… например, такое:

Ренан сказал: „Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности“. Изящно сказано. Но это не освежает, — где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет.

И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз — терпеть не могу), пламенный Хафиз сказал: „У каждого в глазах своя звезда“. А вот у меня — ни одной звезды ни в одном глазу.

И Алексей Маресьев сказал: „У каждого в душе должен быть свой комиссар“. А у меня в душе — нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Нет, это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом».

Не подымаясь с земли, я вынул свои пистолеты,

два из-под мышек, третий не помню откуда, — и из всех трех разом выстрелил во все свои виски — и опрокинулся на клумбу, с душой, пронзенной навылет.

2

«Разве это жизнь? — сказал я, подымаясь с земли, — это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, — вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза немилая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. «Спокойно! У тебя остается еще одно средство, кардинальское средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии». Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель, сказал: «Omnia animalia post coitum oppressus est», то есть «Каждая тварь после соития бывает печальной», а я вот постоянно печален — и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал: «Одним глазом я уже ничего

не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (Тьфу, я не могу больше говорить, у меня спазмы.) Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает что еще.

«Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи», — так я подумал и постучал:

— Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал.

— Видишь ли, я занят, — сказал он. — Я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи.

— О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике! — Я взгромоздился к нему на пуфик, я умолял: — Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова

соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волоки все!

Он ответил:

— Не дам.

— Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия? Что они мне, вкусившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленоррею.

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленоррею». А у меня, у придурка, ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-нибудь до тридцати лет, я ничего не сделал бы и после тридцати». А я? Что я сделал до тридцати, чтобы иметь надежду что-нибудь сделать после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (О нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы.)

Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

— А Василий Розанов сказал: «У каждого в жизни есть своя Страстная неделя». Вот и у тебя…

— Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная неделя, и на ней семь Страстных пятниц! Как славно! Кто такой этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном.

— О чем заветном ты думаешь? — спросил я его.

Он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.

3

Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой.

— Реакционер он, конечно, закоренелый?

— Еще бы!

— И ничего более оголтелого нет?

— Нет ничего более оголтелого.

— Более махрового, более одиозного — тоже нет?

— Махровее и одиознее некуда.

— Прелесть какая! Мракобес?

— «От мозга до костей» — как говорят девочки.

— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

— Сгубил, царствие ему небесное.

— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?

— В какой-то степени — да.

— Волшебный человек! Как только у него хватало нервов, желчи и досуга! И ни одной мысли за всю жизнь?

— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.

— И всю жизнь и после жизни — никакой известности?

— Никакой известности. Одна небезызвестность.

— Да, да, я слышал (погоди, Павлик, я сейчас иду), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев («простер совиные крыла»), Лев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин («не то беда, что ты поляк»), Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин («по Невскому бежит собака»), Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом

созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде.

— Славная женщина София Соломоновна Гордо, относительно «банды» я не спорю, это привычно и не оскорбляет слуха, не урони бутыль с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух, — и никудышно, и неточно, и Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше ни меньше как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по строению, ни по назначению, ни по размерам, ни по досягаемости».

— Ну, это я, допустим, тоже знаю, я слышал об этом от нашей классной наставницы Беллы Борисовны Савнер, женщины с дивным пахом (погоди, Павлик, я сейчас иду). Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?

— Решительно всех.

— И переплюнул?

— И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах — и я ухожу.

— Умер как следует. Обратился в истинную

веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и за книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

4

Сначала отхлебнуть цикуты, а потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина: «Книга должна быть дорогой. И первое свидетельство любви к ней — готовность ее купить. Книгу не надо „давать читать“. Книга, которую „давали читать“, — развратница. Она нечто потеряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и публичные библиотеки суть публичные места, развращающие народ, как и дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь не о развратницах-книгах, а просто о развратницах: «Можно дозволять очищенный род проституции

„для вдовствующих замужних“, то есть для того разряда женщин, которые неспособны к единобрачию, неспособны к правде, высоте и крепости единобрачия».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «развер-стыми ложеснами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, я встал и просверлил по дыре в каждой из четырех стен для сквозняков.

А потом повалился на канапе и продолжал:

«Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне? Томится душа моя. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна». (У обскуранта — и вдруг томится душа?) «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд». «Грубы люди, ужасающе грубы — и даже по этому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения!»

(Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем поговорить, мне давно не попадалось существо,

с которым до такой степени было бы о чем поговорить!)

«Только горе открывает нам великое и святое». Боль беспредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав не выдержит».

«Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда». «Грусть — моя вечная гостья». «Смех не может никого убить, смех придавить только может. Терпение одолевает всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля».

«Он плакал. И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа». «Христос — это слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня. Никогда от меня не отходи».

(Вот-вот! Мересьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот — говорит то самое. «Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения». Шопенгауэр и София Гор-

до, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она еще ни имела дела — с парадоксом или прописью.)

«Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся перевернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:

«И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с „Русскими женщинами“».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, «царям напомнить о Христе»): «Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в 20 томах, не наш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что ника-

ких с ними разговоров нельзя было водить? Что просто следовало вывести их за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять». (Как это может страдалец — вонять?)

И о графе Толстом: «В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает больше движения души, чем их „философия и публицистика“». Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили».

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается: и насадка плохая, и крючок туп. Но он не унывает. И опять закидывает».

И об основателе «политического пустозвонства в России» Александре Герцене.

И даже о Николае Гоголе, предмете его поклонения:

«За всю его жизнь — ни одного высокого и на-

турального помысла — только бы накопить денежку или прочитать кому-нибудь рацею. Он, еще будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом «ползучем гаде» я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней бренная — тоже уснула.

5

И когда духовная проснулась, бренная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел: «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело; но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи, вместе взятые, со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он походил то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абаддона, только что выползшего из сво-

ей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абаддону.

(А я все лежал на канапе, переминаясь с ноги на ногу, и наблюдал.)

Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицу «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она и глазом не повела), а всем остальным раздал по подзатыльнику.

(«О, шельма!» — сказал я, путаясь в восторгах.)

А он, между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и вошел ко мне в избу с кучей старых монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монетку, я тихо приподнялся на канапе и шепотом спросил:

— Неужели это интересно: дуть на каждую монетку?

А он, ни слова не говоря, сказал мне:

— Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь? Тебе скверно — или ты всю ночь путался с блядями?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне было скверно. «Книга, которую дают читать…» — и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера — мне было плохо до того, что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали голову пеплом. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать…

Меня прорвало, и я на память пересказал свой вчерашний день, от пистолетов до ползучего гада. И тут он пришелся мне уж совсем по вкусу, мой гость-нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады», о Шернвале и Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея и половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем,

над кем мы глумимся, — и все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сердечностью, с нежностью, настоянной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил подробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и Кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг, к амаликиянам, они все, что имели, меняли на баль-

замические смолы. А мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к амаликиянам? Клятва, гарантия, порука, залог — что найти взамен всему этому? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старый Лаван, изверившийся во всем, клялся дочерьми, не зная, что еще можно избрать предметом. А есть ли у кого-нибудь из нас, во всей России, хоть одна дочь? А если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми?..

Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно».

6

И тут меня вырвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменилось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбежались по заграницам еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России попереумирали и поперевешались. И наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работящие. Говна нет, и не пахнет им. Остались брильянты и изумруды. Я один только — пахну… Ну, и еще

несколько отщепенцев — пахнут…

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подыхаем. А они, мерзавцы, долголетны и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кащей почему-то бессмертен. Всякая их идея — непреходяща, им должно расти, а нам — умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев…

— О, не продолжай, — сказал мне на это Розанов, — и перестань нести околесицу…

— Если я замолчу и перестану нести околесицу, — отвечал я, — тогда заговорят камни. И начнут нести околесицу. Да.

Я высморкался и продолжал:

— Они в полном неведении. «Чудовищное неведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если б знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, все теперешние русские. Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу,

когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и с десяток мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную армию, и только потому, что у меня была изжога и на спине два пупырышка…

(«Хо-хо! — сказал собеседник. — Отменно».)

И вот — меня терзает эта контрарность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез». Значит — они кретины, а я — прирожденный идиот. Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запора; как моя легкая придурь от глубокой припизднутости (сто тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мне душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и несказанного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот. И когда начнется — я уйду, сразу

и без раздумья уйду, у меня есть опыт в этом, у меня под рукой яд, благодарение Богу. Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих…

Все это проговорил я, давясь от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной с минуту, а потом сказал:

7

— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов и штук сто тридцать невольных, позаботься о них вначале. Тебе ли сетовать на грехи мира и отягчать себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем «безумии сынов человеческих» есть и доля твоей (как ты сладостно выразился) припизднутости.

«Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того. «Мы часто бываем неправдивы, чтобы не причинять друг другу излишней боли. Он же постоянно правдив». Благо тебе, если увидишь Его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель, — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло все-

го шестьдесят таких промежуточков. Все было недавно. «И оставь свои выспренности», все еще только начинается.

«Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь заново домом молитвы». «Но нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится». «Следует бросить железо — оно паутина, и поверить в нежную идею. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное».

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канапе, и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только «распалил во мне надежду». У меня все началось еще лет десять до того — все, влитое в меня с отроческих лет, плескалось внутри меня, как помои, переполняло чрево и душу и просилось вон;

оставалось прибечь к самому проверенному из средств: изблевать все это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после того я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозгов — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца-Фердинанда. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, ничего бы и не началось.

Если бы он теперь спросил меня:

— Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитизируется?

Я ответил бы:

— Чувствую. Теитизируется.

И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и блеянье, блеянье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемешку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерстве образцов и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили: «неумело» благотворить и «по пустякам» анафемствовать.

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю калимантанских каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете своих жен?» Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канапе Василий Розанов.

Да, что он там сказал уходя? О вздохе, о свиньях?

Вздох богаче царства, богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь. Мы — святые, а они — корректные. К «вздоху» Бог придет. К нам придет. Но скажите, пожалуйста, неужели же Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох. У них — нет вздоха.

И тогда я понял, где корыто и свиньи,

а где терновый венец и гвозди и мука.

И если придется, я защищу это все, как сумею. А если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сферах повседневности, я, во-первых, скажу, что это враки, ведь, кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это и в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим парадоксом, вроде того, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случалось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся незыблемости принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения, как перчатки», уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение, — если мне это скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларации человека, кто жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в России) ни одна мелочь ни разу

не застилала глаз.

Да этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы сам порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозгоебателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто *успеть доносить свои башмаки*. Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же можем быть искушены во всех грехах, — чтобы знать им цену и суметь отвратиться от них от всех. Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть поднаторевшим в пустяшной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавление от той *гигантской лжи* — (все, дурни, знают, о чем я говорю).

А если скажут мне..... что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глазки постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им..... отвечу так: «Ну, так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хам-

ства. У масштабных преступников глаза не шевелятся, у лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если б встретил его где-нибудь. Ну, как может пахнуть изо рта человека, который хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?..»

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора. Те, кто знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех), — эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая!), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе от юности до смерти прочно стоял монастырь, — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунстштюками, если б это, допустим, и в самом деле были только кунстштюки и забавы? И почему бы не позволить экскурсы в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три мону-

мента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: «достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим от нас или нет причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы; каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила.

9

Короче, так. Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше ни меньше: честь и дыхание). Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчат в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопа, с книгами под мышкой. В такой вот поздний час никто не набрасывает на себя салоп и не идет из дома к друзьям-фармацевтам с шовинистами под мышкой. А я вот вышел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

— Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До тридцати лет, после тридцати — какая разница? Ну, что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у братца своего, Британика, но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди.

Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они — брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще навытворяют дел, паскуднейших, чем натворили, — это я тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и ду-

шу, все равно — опали!

Вот, вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше, от темени головы до подошвы ног!»

(Прелестная формула.)

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дома, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно! Если вам, что ни день, хорошо — горе вам! (Если хорошо — четырежды горе!) В вашей грамоте и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях — будьте прокляты! На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пюпитрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты! Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы согласны растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта..... Снегурочка, — если согласны — я снимаю с вас все проклятья. Меньше было б заботы о том, что

станется с моей землей, если б вы согласились. Ну, да разве вас уломаешь, ублюдков?

Итак, проклятие остается в силе.

Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы прейдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем — в меру полые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал, вот сейчас, на оболтусов-рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, — доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот — вы благосклонны ко мне?»

«Благосклонны», — ответили созвездия.

Июнь 1973 г.

Саша Черный и другие

На днях я маялся бессонницей, а в таких случаях советуют или что-нибудь подсчитывать, или шпарить наизусть стихи. Я занялся и тем, и этим, и вот что обнаружилось: я знаю слово в слово беззапиночным образом 5 стихотв. Андрея Белого, Ходасевича — шесть, Анненского — 7, Сологуба — 8, Мандельштама — 15, а Саши Черного только 4. Цветаевой — 22, Ахматовой — 24, Брюсова — 25, Блока — 29, Бальмонта — 42, Игоря Северянина — 77. А Саши Черного — всего 4.

Меня подивило это, но ненадолго. Разница в степени приязни тут ни при чем: я влюблен во всех этих славных серебряно-вековых ребятишек, от позднего Фета до раннего Маяковского, решительно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую Марию Моравскую, даже в суконно-камвольного Оцупа. А в Гиппиус — без памяти и по уши. Что до Саши Черного — то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности — закадычность. И «близость или полное совпадение взглядов», как пишут в коммюнике.

Все мои любимцы начала века все-таки серьезны и амбициозны (не исключая и П. Потемкина). Когда случается у них у всех, по очереди, бывать в гостях, замечаешь, что у каждого чего-нибудь да нельзя. «Ни покурить и ни как следует поддать», ни загнуть не-пур-ля-дамный анекдот, ни помате-риться. С башни Вяч. Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь.

А в компании Саши Черного все это можно: он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова.

Когда читаешь его сверстников-антиподов, бываешь до того оглушен, что не знаешь толком, «чего же ты хочешь». Хочется не то быть рас-простертым в пыли, не то пускать пыль в глаза народам Европы; а потом в чем-нибудь погрязать, но до конца не погрязнуть. Хочется во что-ни-будь впасть, но непонятно во что — в детство, в грех, в лучезарность или в идиотизм. Желание, наконец, чтоб тебя убили резным голубым налич-ником и бросили твой труп в заросли бересклета. И все такое. А с Сашей Черным «хорошо сидеть под черной смородиной» («объедаясь ледяной простоквашею») или под кипарисом («и есть ин-дюшку с рисом»). И без боязни изжоги, которую, я замечал, С. Ч. вызывает у многих эзотерических

простофиль.

Глядя на вещи, Рукавишников почесывает пузо, Кузмин — переносицу, Клюев — чешет в затылке, Маяковский — в мошонке. У Саши Черного тоже свой собственный зуд — но зуд подвздошный — приготовление к звучной и точно адресованной харкотине.

Во всяком случае, четверть века назад, когда я впервые напился до таких степеней, что превозмог конфузливость, первым моим публично прочитанным стихотворением был, конечно, «Стилизованный осел»:

«Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,

С четырех сторон открытый враждебным ветрам,

По утрам…» — ну, и так далее.

Рождество 82 г.

Вальпургиева ночь, или Шаги командора

В ТРАГЕДИИ УЧАСТВУЮТ:

Врач приемного покоя психбольницы

Две его ассистентки-консультантши

Одна (Валентина) — в очках, поджарая и дробненькая. И больше секретарша, чем ассистентка

Другая — Зинаида Николаевна, багровая и безмерная

Старший врач Игорь Львович Ранинсон

Прохоров — староста 3-й палаты и диктатор 2-й

Гуревич

Алеха по кличке Диссидент, оруженосец Прохорова

Вова — меланхолический старичок из деревни

Сережа Клейнмихель — тихоня и прожектер

Витя

Стасик — декламатор и цветовод

Коля

Комсорг 3-й палаты Пашка Еремин

Контр-адмирал Михалыч

Медсестра Люси
Медсестра Натали
Медсестра-санитарка Тамарочка
Медбрат Боренька, по кличке Мордоворот
Хохуля — сексуальный мистик и сатанист
Толстые санитары с носилками, в последнем акте уносящие трупы

Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета

Досточтимый Мур![3]

Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: «Вальпургиева ночь» (или, если угодно, «Шаги Командора»).

Трагедия в пяти актах. Она должна составить вторую часть триптиха «Драй Нэхте».

Первая ночь, «Ночь на Ивана Купалу» (или, проще, «Диссиденты»), сделана пока только на одну четверть и обещает быть самой веселой и самой гибельной для всех ее персонажей. Тоже трагедия и тоже в пяти актах.

Третью — «Ночь перед Рождеством» — намерен кончить к началу этой зимы.

Все Буаловские каноны во всех трех «Ночах»

---

[3] Notes: 3

Это письмо Вен. Ерофеев послал своему другу В. Муравьеву сразу после написания пьесы.

будут неукоснительно соблюдены:

Эрсте Нахт — приемный пункт винной посуды;

Цвайте Нахт — 31-е отделение психбольницы;

Дритте Нахт — православный храм, от паперти до трапезной.

И время: вечер — ночь — рассвет.

Если «Вальпургиева ночь» придется тебе не по вкусу, — я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев.

А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает.

Венедикт Ер. Весна 1985 г.

Первый акт

Он же Пролог. Приемный покой. Слева от зрителя — жюри: старший врач приемного покоя, смахивающий на композитора Георгия Свиридова, с почти квадратной физией и в совершенно квадратных очках. По обе стороны от него — две дамы в белых халатах: занимающая почти полавансцены Зинаида Николаевна и сутуловатая, на все отсутствующая, в очках и с бумагами, Валентина. Позади них мерно прохаживается санитар и медбрат Боренька, он же Мордоворот, и о нем речь впереди. По другую сторону стола только что доставленный «чумовозом» (скорой помощью) Л. И. Гуревич.

Доктор: Ваша фамилия, больной?

Гуревич: Гуревич.

Доктор: Значит, Гуревич. А чем вы можете подтвердить, что вы Гуревич, а не… Документы какие-нибудь есть при себе?

Гуревич: Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что…

Доктор (поправляя очки): Имя-отчество?

Гуревич: Кого? Декарта?..

Доктор: Нет, нет, больной, ваше имя-отчество!

Гуревич: Лев Исаакович.

Доктор (из-под очков, в сторону очкастой Валентины): Отметьте.

Валентина: Что отметить, простите?

Доктор: Все! Все отметить!.. Родители живы?.. И зачем вам лгать, Гуревич?.. если вы совсем не Гуревич… Так, я еще раз повторяю: ваши родители живы?..

Гуревич: Оба живы, и обоих зовут…

Доктор: Интересно, как их зовут.

Гуревич: Исаак Гуревич. А маму — Розалия Павловна…

Доктор: Она тоже Гуревич?

Гуревич: Да. Но она русская.

Доктор: Ну, а как обстоит дело с вашей матерью?

Гуревич: Вы бестактны, доктор. Что значит «как обстоит дело с матерью»? А с вашей, если вы не сирота, как обстоит?

Доктор: Обратите внимание, больной, я не раздражаюсь. Того же прошу и от вас… А кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем немаловажно.

Гуревич: Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт…

Доктор (очкастой Валентине): Отметьте у себя.

Больше любит папу-еврея, чем русскую маму… А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не изменяют познания в географии, — ведь это еще не наша территория…

Гуревич: Ну, это как сказать. Вся территория — наша. Вернее, будет нашей. Но нам не дают туда погулять — видимо, из миротворческих соображений: чтобы мы довольствовались шестой частью обитаемой суши.

Доктор: А… очень широк этот Геллеспонт?..

Гуревич: Несколько Босфоров.

Доктор: Это вы что же — расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло, больной, вашим соседом по палате будет человек, он измеряет время тумбочками и табуретками, вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?

Гуревич: Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно 670 моих шагов — а по Брокгаузу, это точная ширина Босфора.

Доктор: Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливались?

Гуревич: Когда как. Другие — чаще… Но я — в отличие от них — без всякого форсу и забубенности. Я — только когда печален…

Доктор: Н-ну, печаль печалью. А на какие средства вы… каждый день переходили этот ваш Босфор? Это очень важно…

Гуревич: Так ведь мне все равно, какая работа, я на все готов — массовый сев гречихи и проса… или наоборот… Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина.

Зинаида Николаевна: И сколько вам плотят?

Гуревич: Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня и спросила: «Лева, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить?» — я бы сказал: «Все хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни хуя нету».

Доктор (из соображений авантажности): Я понял, что вы больше вольный мореплаватель, а не татарин из хозмага. Встаньте. Сдвиньте ноги. Зажмурьте глаза. Протяните руки вперед.

Гуревич (делает то, что предписывают): Я могу сесть?

Доктор: Можете, можете. Довольно. Нам уже по существу все понятно. Вот — одна еще деталь: о том, женаты вы или нет, я не спрашиваю, но есть ли у вас женщина, к которой расположено ваше сердце, та, что сопровождает вас

в жизни?

Гуревич: Конечно есть. Вернее, конечно была. Когда мы вместе с нею переплывали Гиндукуш… она разбила свою прекрасную голову… о скалы Британского Самоа. В эту минуту *(Гуревич почти плачет.)*…и вот в эту минуту — судьба выбила палочку из рук маэстро. Я утонул, но выплыл — вы рады, что я выплыл?

Доктор: Из Гиндукуша?

Гуревич: Из Гиндукуша. А чего стоит выплыть из Гиндукуша, если прежде человеку покорялись Дарданеллы?

Доктор: Вот-вот. Для нас такой пациент — большая редкость, я рад, что вы не утонули. А вот когда вы плавали — вы брали с собой бутылку?

Гуревич: Еще бы! И какую, бронебойную! Уксуснокислого аммония — акулы его не выносят. Как только появляется акула — выливаешь на голову себе и своей подруге немножко уксуснокислого аммония, — и все, акулы кочевряжатся, вконец теряют свои пустые головы, ну… на прощание лизнут икры моей подруги… но ведь смешно было бы в такой ситуации ревновать… А когда уже дело доходило до Каракорума…

Доктор: А какое сегодня число на дворе? год? месяц?

Гуревич: Какая разница?.. Да и все это для России мелковато — дни, тысячелетия…

Доктор: Понятно. Скажите, больной: случаются ли у вас какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса..?

Гуревич: Вот этим обрадовать вас не могу, не случалось. Но…

Доктор: Что все-таки «но»..?

Гуревич: Да вот я о химерах… Ну для ради чего, например, я изъездил весь свет, пересекал все Куэнь-Луни, взбирался на вершины Кон-Тики, — и узнал из всего этого только одно — что в городе Архангельске пустую винную посуду лучше всего сдавать на улице Розы Люксембург!

Доктор: А еще какие странности?

Гуревич: Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий. И чтобы меня — под этими Волопасами — лишили бы чего-нибудь: чего-нибудь существенного, но не самого дорогого.

Доктор и медсестры нервничают. За их спинами безмятежно прогуливается Мордоворот Боренька.

Гуревич (продолжает): Но что мне до Волопасов и Плеяд, когда я стал замечать в себе вот какую

странность: я обнаружил, что, подняв левую ногу, я не могу одновременно поднять и правую. Это меня подкосило. Я поделился моим недоумением с князем Голицыным…

Доктор дает знак левым глазом — с тем, чтобы Валентина записывала. Она лениво наклоняет конопатую голову.

Гуревич:…и вот мы с ним пили, пили, пили… чтобы привести мысли в ясность… И я спросил его шепотом — не потревожить бы кого, — да и кого, собственно, было тревожить, мы же были одни — кроме нас, никого… так вот, значит, я, чтоб никого не потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он всмотрелся в меня, в часы, а потом говорит: «Да по тебе и незаметно, да и выпили, вроде, немного… но только и у меня пошли в обратную».

Доктор: Пить вам вредно, Лев Исакыч…

Гуревич: Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас — все равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что потрясенному содеянным, — сказать, что сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие асфиксии.

Доктор: Достаточно, по-моему… Значит, с кня-

зем Голицыным… А с виконтами, графьями, маркизами — не приходилось водку хлебать?..

Гуревич: Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой…

Доктор: Лев?

Гуревич: Да отчего же непременно Лев! Если граф — то непременно Лев! Я вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва — и говорит, что у него на столе две бутылки имбирной, а на закусь ничего нет, кроме двух анекдотов о Чапае…

Доктор: И он далеко живет, этот граф Толстой?

Гуревич: Совсем недалеко. Метро «Новокузнецкая», а там совсем рядом. Если вы давно не пили имбирной…

Доктор: А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла… этой… как вы ее называете… бормотухи..?

Гуревич: Охотно. Но чтобы под этим забором были заросли бересклета… И — неплохо бы — анемоны… Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали…

Доктор: Анемоны?

Гуревич: Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут.

А зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится — так это запрет на скитальчество. И… неуважение к Слову. А во всем остальном…

Доктор (полномочный тон его переходит в чрезвычайный): Ну, а если с нашей Родиной стрясется беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут только одной мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно… Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках. *(Обращаясь к Зинаиде Николаевне.)* Сколько у нас в России народностей, языков, племен..?

Зинаида Николаевна: А черт их знает… Полтыщи есть, наверняка.

Доктор: Вот видите: полтыщи. И как вы думаете, больной, в случае обстоятельств — перед лицом противника — какое племя окажется самым надежным? Вы — человек грамотный, знаете толк в бересклетах и анемонах — и знаете, что они от нас почему-то убегают… И вот — гроза разразилась — в каком вы строю, Лев Исаакович?

Гуревич: Вообще-то я противник всякой войны. Война портит солдат, разрушает шеренгу и пачкает мундиры. Великий князь Константин

Павлович. Но это ничего не значит. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы…

Доктор (в сторону Валентины): Запишите и это.

Гуревич: Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы, когда она скажет: «Лева! Брось пить, вставай и выходи из небытия», — тогда…

Оживление в зале. Стук каблучков справа — и в приемный покой стремительно, но без суеты вплывает медсестра Натали. Глаза занимают почти половину улыбчатой физиономии. Ямка на щеке. Волосы на затылке, совершенно черные, скреплены немыслимой заколкой. Все отдает славянским покоем, кротостью, но и Андалузией — тоже.

Доктор: Вы очень кстати, Наталья Алексеевна *(обычный обмен приветствиями между дамами, и все такое. Натали усаживается рядом с Зинаидой).*

Натали: Новичок… Гуревич?! Сколько лет, сколько…

Доктор: Мы уже, по существу, заканчиваем беседу с больным. Не отвлекать внимания, Наталья Алексеевна, и никаких сепаратностей… Осталось выяснить только несколько обстоятельств —

и в палату…

Гуревич (одушевленный присутствием Натали, продолжает): Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше… *(Смех в зале.)* Каждый нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета. *(Вдохновенно цитирует из Хераскова.)*

Готовы защищать отечество любезно,
Мы рады с целою Вселенной воевать.

Но только вот какое соображение сдерживает меня: за такую Родину, такую Родину, я, нравственно плюгавый хмырь, просто недостоин сражаться.

Доктор: Ну почему же? Мы вас тут подлечим… и…

Гуревич: Ну так что ж, что подлечите?.. Я все равно ни за что не разберу, какой танк и куда идет. Я готов, конечно, броситься под любой танк, со связкою гранат или даже без связки…

Зинаида Николаевна: Да без связки-то зачем?

Гуревич: Неприятель взлетает на воздух, если даже под него кидаются вообще без ничего.

Мой вам совет: больше читайте… Ну, а уж если не окажется ни одного танка поблизости — тогда хоть амбразура найдется точно. Чья — не важно. Я, не мешкая, падаю на нее грудью — и лежу на ней, лежу, пока наш алый стяг не взовьется над Капитолием.

Доктор: Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убедитесь, их, скоморохов, пруд пруди. Как вы оцениваете ваше общее состояние? Или вы считаете — серьезно — свой мозг неповрежденным?

Гуревич (пока зануда-доктор синематографически и дедуктивно пощелкивает пальцами по столу): А вы — свой?

Доктор (желчно): Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы, на ваши я буду отвечать, когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим состоянием, на ваш взгляд?

Гуревич:…Мне трудно сказать… Такое странное чувство… Ни-во-что-не-погруженность… ни-чем-не-взволнованность… ни-к-кому-не-расположенность… И как будто ты с кем-то помолвлен… а вот с кем, когда и зачем — уму непостижимо… Как будто ты оккупирован, и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором

о взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован… и такая… ничем-вроде-бы-не-потревоженность, но и ни-на-чем-не-распятость… ни-из-чего-неизблеванность. Короче, ощущаешь себя внутри благодати — и все-таки совсем не там… ну… как во чреве мачехи… *(Аплодисменты.)*

Доктор: Вам кажется, больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство с вас посшибут. Я надеюсь, что вы, при всей вашей наклонности к цинизму и фанфаронству, — уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать.

Гуревич (чуть взглянув на Натали, оправляющую свой белый халатик):

Мой папа говорил когда-то: «Лев,
Ты подрастешь – и станешь бонвиваном!»
Я им не стал. От юности своей
Стяжал я навык: всем повиноваться,
Кто этого, конечно, стоит. Да,
Я родился в смирительной рубашке. —
А что касается…

Доктор (нахмурясь, прерывает его): Я, по-мо-

ему, уже не раз просил вас не паясничать. Вы не на сцене, а в приемном покое… Можно ведь говорить и людским языком, без этих… этих…

Зинаида Николаевна (подсказывает): Шекспировских ямбов…

Доктор: Вот-вот, без ямбов, у нас и без того много мороки…

Гуревич: Хорошо, я больше не буду… вы говорили о нашей медицине, чту ли я ее? Чту — слово слишком нудное, по правде, и… плоскостопное…

Но я – но я влюблен в нее – и это
Без всякого фиглярства и гримас. —
Во все ее подъемы и паденья,
Во все ее потуги врачеванья

И немощей телесных, и душевных,
В ее первенство во Вселенной, в Разум
Немеркнущий, а – стало быть – и в очи,
И в хвост ее, и в гриву, и в уста,
И в…

На протяжении этой тирады Боренька-Мордоворот тихонько, сзади, подходит к декламатору, ожидая знака, когда брать за загривок и волочь.

Доктор: Ну-ну-ну-ну, довольно, пациент. В дур-

доме не умничают… Вы можете точно ответить, когда вас привозили сюда последний раз?

Гуревич: Конечно. Но только — видите ли? — я несколько иначе измеряю время. Само собой, не фаренгейтами, не тумбочками, не реомюрами. Но все-таки чуть-чуть иначе… Мне важно, например, какое расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия или… там… летнего солнцеворота… или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, например. Мы вот — большинство — не знаем даже, если ветер норд-ост, то куда он, собственно, дует: с северо-востока или на северо-восток, нам на все наплевать… А микенский царь Агамемнон — так он клал под жертвенный нож свою любимую младшую дочурку, Ифигению, — и только затем, чтобы ветер был норд-ост, а не какой-нибудь другой…

Доктор (заметив взволнованность больного, дает знак всем остальным): Да… но вы отклонились от заданного вопроса, вас унесло норд-остом. *(Все смеются, кроме Натали.)* Так когда же вас последний раз сюда доставляли?

Гуревич: Не помню… не помню точно… И даже ветров… Вот только помню: в тот день шейх Кувейта Аб-даллах-ас-Салем-ас-Сабах утвердил новое правительство во главе с наследным

принцем Сабах-ас-Салемом-ас-Сабахом… 84 дня от летнего солнцестояния… Да, да, чтоб уж совсем быть точным: в тот день случилось событие, которое врезалось в память миллионов: та самая пустая винная посуда, которая до того стоила 12 или 17 копеек — смотря какая емкость, — так вот, в этот день она вся стала стоить 20.

Доктор (смиряя взглядом прыскающих дам): Так вы считаете, что в истории Советской России за минувшие пять лет не произошло события более знаменательного?

Гуревич: Да нет, пожалуй… Не припомню… Не было.

Доктор: Вот и память начинает вам изменять, и не только память. В прошлый раз вашим диагнозом было: граничащая с полиневритом острая алкогольная интоксикация… Теперь будет обстоять сложнее. С полгодика вам полежать придется…

Гуревич (вскакивая, и все остальные вскакивают): С полгодика?! *(Боренька тренированными руками опускает Гуревича в кресло.)*

Доктор: А почему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого — на по-

верхностный взгляд — нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способностях этих больных к непроизвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации…

Гуревич (в восторге): Ну, здорово!..

Нет, я все-таки влюблен
И в поступь медицины, и в триумфы
Ее широкой поступи – плевок
В глаза всем изумленным континентам.
В самодостаточность ее и в нагловатость,
И в хвост ее, опять же, и в…

Доктор (титулованный голос его переходит в вельможный): Об этих… ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточ-

но опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. А заодно и все ваши сарказмы. А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи. Вы — немножко поэт?

Гуревич: А у вас и от этого лечат?

Доктор: Ну зачем же так?.. И под кого вы пишете? Кто ваш любимец?

Гуревич: Мартынов, конечно…

Зинаида Николаевна: Леонид Мартынов?

Гуревич: Да нет же — Николай Мартынов… И Жорж Дантес.

Натали (пользуясь всеобщим оживлением): Так ты, Лева, теперь чешешь под Дантеса?

Гуревич: Нет-нет, прежде я писал в своей манере, но она выдохлась. Еще месяц тому назад я кропал по десятку стихотворений в сутки — и, как правило, штук девять из них были незабываемыми, штук пять-шесть эпохальными, а два-три — бессмертными… А теперь — нет. Теперь я решил импровизировать под Николая Некрасова. Хотите про соцсоревнование?.. Или нельзя?

Доктор: Ну почему же нельзя? Соцсоревнование — ведь это…

Гуревич: Я очень коротко. Семь мужиков схо-

дятся и спорят: сколько можно выжать яиц из каждой курицы-несушки. Люди из райцентра и петухи, разумеется, ни о чем не подозревают. Кругом зеленая масса на силос, свиноматки, вымпела — и вот мужики заспорили:

Роман сказал: сто семьдесят,
Демьян сказал: сто восемьдесят,
Лука сказал: пятьсот.
Две тысячи сто семьдесят, —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:

Сто тридцать одна тысяча четыреста
четырнадцать.
А Пров сказал: мульён.

Может быть, продолжить?

Доктор (отмахиваясь): Нет-нет, не надо… Борис Анатольевич, Наталья Алексеевна, будьте добры, проводите больного до 4-й палаты. И немедленно в ванную. *(Гуревичу.)* До… водобоязни, надеюсь, у вас дело еще не дошло?

Гуревич: Не замечал. Если не считать, что с ванной у меня — куча самых кровавых ассоциаций. Вот тот самый микенский царь Агамемнон, о котором я вам упоминал, — так вот, его, по возвращении из Пергама, в ванной зарубили тесаком. А великого трибуна революции Мара…

Зинаида Николаевна (не слушая его, обращаясь к доктору): А почему все-таки в 4-ю? Там одни вонючие охламоны… Там он зачахнет, и у него появятся суицидальные мысли. По-моему, лучше в 3-ю. Там Прохоров, Еремин, там его прищучат…

Доктор: «Суицидальные мысли», вы говорите… *(К Гуревичу.)* Еще вам последний вопрос. Когда-нибудь, пусть даже в самой глубокой тайне, не являлось ли у вас мысли истребить себя… или кого-нибудь из своих ближних?.. Потому что 4-я палата — это не 3-я, и нам приходится подчас держать ухо востро…

Гуревич: Положа руку на сердце, я уже отправил одного человека туда — мне было тогда лет… не помню, сколько лет, очень мало, но это все случилось дня за три до новолуния… так мне был тогда больше всего неприязнен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик притащил яду,

он сказал, что яд безотказен и замедленного воздействия. Я влил все это дядюшке в куриный бульон — и что ж вы думаете? — ровно через 26 лет он издох в страшных мучениях…

Доктор: Мм-дда… Шут с ним, с вашим дядюшкой… А на себя самого — ни разу в жизни не было влечения наложить руки?..

Гуревич: Случалось, и только позавчера, во время Потопа…

Доктор: Всемирного?..

Гуревич: Ничуть не всемирного. Все началось с проливных дождей в Орехово-Зуеве… У нас в последнее время в России началась полоса странных, локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам грудные ребятишки, бульдозеры, и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. Примерно так же обстояло в Орехово-Зуеве: дожди хлестали семь дней и семь ночей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небесными…

Доктор: А какие черти занесли вас в Орехово-Зуево?! Татарина из московского хозмага?..

Гуревич:

> *О, грустно быть татарином – до гроба!*

Пришлось подзарабатывать в глуши:
И конформистом, и нонконформистом,
И узурпатором. Антропофагом,
На должности японского шпиона
При институте Вечной Мерзлоты…

Короче, когда на город обрушилась стихия, при мне был челн и на нем двенадцать удалых гребцов-аборигенов. Кроме нас, никого и ничего не было над поверхностью волн… И вот — не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота, — вода начала спадать, и показался из воды шпиль горкома комсомола… Мы причалили… Но потом — какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушенных зданий… Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль…

Доктор, обхватив голову, дает понять Борису и Натали, чтоб больного поскорее отвели в палату.

Гуревич: Еще мгновение, ребята!.. И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие — под моим горлом, — вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, загадал

мне загадку: «Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?» Вот тут я понял, что теряю рассудок. И вот — я у вас. *(Приподымается с кресла, ему подчеркнуто учтиво помогает Мордоворот.)* И с того дня мешанина в голове… нахт унд нэбель… все путается, теленки, поросенки, Мамаев курган, Малахов курган…

Натали: У тебя не кружится голова, Лев? Иди тихонько, тихонько. *(Натали ведет его под левую руку, Боренька под правую.)* Все сейчас пройдет, тебя уложат в постель.

Гуревич (покорно идет): Но все отчего-то мешается, путается, поросенки, курганы… Генри Форд и Эрнест Резерфорд… Рембрандт и Вилли Брандт…

Доктор (вслед им): В 3-ю палату. Глюкоза, пирацетам.

Гуревич (удаляется с сопровождающими, и голос его все приглушеннее): Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэрролл… Вера Марецкая и Майя Плисецкая… Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах… *(уже едва слышно)*… Виктор Боков и Владимир Набоков… Энрико Карузо и Робинзон Крузо…

ЗАНАВЕС

Второй акт

Ему предшествуют до поднятия занавеса — пять минут тяжелой и нехорошей музыки. С поднятием занавеса зритель видит 3-ю палату, с зарешеченными окнами, и арочный вход в смежную, 2-ю палату. Чтобы избежать междупалатной диффузии, обмена информацией и пр., — арочный переход занят раскладушкой, на ней лежит Витя, с непомерным животом, который он, чему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с улыбкой ужасающей и застенчивой. Строго диагонально, изогнув шею снизу слева вверх направо, по палате мечется просветленный Стасик. Иногда декламирует что-то, иногда застывает в неожиданной позе — с рукой, например, отдающей пионерский салют, — и тогда декламации прекращаются. Но никто не знает насколько. Сережа Клейнмихель, еще вполне юный, сидит на койке почти недвижимо, иногда сползая вниз, постоянно держится за сердце. В волосах и в лишайнике, со странным искривлением губ. На соседней койке Коля и кроткий старичок Вова держат друг друга за руку и покуда молчат. Коля то и дело пускает слюну, Вова ему ее

утирает. Пока еще лежит, с головой накрытый простыней, в ожидании «трибунала», комсорг палаты Пашка Еремин. На койке справа — Хохуля, не подымающий век, сексуальный мистик и сатанист. Но самое главное, конечно, — в центре: неутомимый староста 3-й палаты, самодержавный и прыщавый Прохоров и его оруженосец Алеха, по прозвищу Диссидент, — вершат (вернее, уже завершают) судебный процесс по делу «контр-адмирала» Михалыча.

Прохоров: Если б ты, Михалыч, был просто змея — тогда еще ничего: ну, змея как змея. Но ты же черная мамба, есть такая южноафриканская змея — черная мамба! — от ее укуса человек издыхает за 30 секунд до ее укуса! На середку, падла!..

Толстый оруженосец Алеха полотенцем скручивает руки за спиной «контр-адмиралу». Поверженный на колени, тот уже не рассчитывает ни на какие пощады.

Прохоров: Как тебе повезло, засранец, дослужиться до такого неслыханного звания: контр-адмирал КГБ? Может, ты все-таки боцман КГБ, а не контр-адмирал?

Алеха: Мичман он, мичман, я по харе вижу, что мичман!..

Прохоров: Так вот, мичман, мы тут с Алехой подсчитали все твои деяния. Было бы достаточно и одного… Первого сентября минувшего года ты сидел за баранкой южнокорейского лайнера?.. Результат налицо — Херсонес и Ковентри в руинах… Удивляет только изощренность этой акции: от всех его напалмов пострадали только старики, женщины и дети! А все остальные… — а все остальные — как будто этот хуй над ними и не пролетал!.. Так вот, боцман: к тебе вопиют седины всех этих старцев, слезы всех сирот, потроха всех вдов — к тебе вопиют! Алеха!

Алеха: Да, я тут.

Прохоров: Так скажи мне и всему русскому народу: когда этот душегуб был схвачен с поличным, за продажею на Преображенском рынке наших Курил?

Алеха: Позавчера.

Михалыч (мычит): Неправда это все, позавчера я был здесь, никуда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня пшенной кашей с подливкой…

Прохоров: Это ничего не значит. Сумел же ты, говнюк, за день до этого, не выходя из палаты, осуществлять электронный шпионаж за бассейном Ледовитого океана! Материалы

предварительного следствия лгать не умеют. Сам посуди, сучонок, вообрази, что ты не адмирал, а страница сто семь материалов предварительного следствия, — мог бы ты солгать?

Михалыч: Ни… никогда.

Прохоров: Итак, мы в клубе знатоков: что? где? почем? Так почем нынче Курильские острова? Итуруп — за бутылку «андроповки» и в рассрочку? Кунашир — почти совсем за просто так… А может быть, эти дельцы от политики — за все это просто подкидывали тебе пиздянки?.. *(Михалыч напрасно пытается что-то в свое оправдание мычать.)*

Прохоров: Мало того, этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза. И попутно — нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову…

Стасик (фланируя мимо, как обычно): Да. За такие вещи по таким головкам не гладют. Я предлагаю: снять с него штаны и пальнуть из мортиры…

Прохоров: Стоп. Я еще не все сказал. У этого пса-мичмана было еще вот какое намерение, поскольку продавать ему было уже нечего — он сумел за одну неделю пропить и ум, и честь,

и совесть нашей эпохи, — он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен. Все уже было приготовлено к сделке, но только вот этот наш двурушник немножко ошибся в своих клиентах с Манхэттена. Когда с одним из них он спустился в метрополитен, чтоб накинуть нужную цену, — этот бестолковый коммерсант-янки решил, что перед ним — балет. А когда тот привел его в балет… *(Всеобщий гул осуждения.)* Гриша! Комсорг! *(Комсорг Пашка Еремин откликается только тогда, когда его называют Гришей.)* Сбрось с себя простыню, не бойсь, сегодня судят не тебя. Скажи свое слово, товарищ!..

Пашка Еремин: Да очень просто: почему этого удава наша Держава должна еще бесплатно лечить? Его надо убивать вниз головой!..

Коля: Да, так поступали восточные деспоты со всеми агарянами: они запрокидывали им головы и заливали глотку расплавленным свинцом… или холодным вермутом.

Стасик: Нет, лучше все-таки стрельнуть в него из арбалета…

Коля: Из аркебузы… с расстояния в два с половиной поприща…

Стасик: Да откуда мы здесь достанем аркебузу?.. А мортиру можно из чего-нибудь сплести. У медсестрички мыла можно выпросить хозяйственного и немножко аксельбантов…

Алеха: Ха-ха, ты еще позументов у нее попроси… По-моему, отдать этого изверга на съедение Витеньке!..

Возгласы одобрения. Все оборачиваются в сторону Вити. Однако Витя, не переставая улыбаться и поглаживать пузо, делает отвергающее движение розовой своей головою.

Прохоров: Молись, Михалыч! В последний раз молись, адмирал!

Михалыч (уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то бормотать, приблизительно такое): За Москву-мать не страшно умирать, Москва — всем столицам голова, в Кремле побывать — ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР — всему миру пример, Москва — Родины украшение, врагам устрашение…

Прохоров: Так-так-так-так…

Михалыч (трясясь, продолжает, и все так же некстати): Кто в Москве не бывал — красоты не видал, за коммунистами пойдешь — дорогу в жизни найдешь. Советскому патриоту любой

подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов…

Прохоров: Довольно, мичман!.. Блестящий молитвослов… По-моему, никаких арбалетов не нужно, а просто растворить его в каком-нибудь химическом реактиве, чтоб он к вечеру состоял из одной протоплазмы… Только — для чего в нашем отделении лишняя протоплазма, от нее уже и так дышать нельзя. Лучше — под трибунал!.. Коля, утрите свои слюни. Как вы считаете, Коля, — много в нашем отделении протоплазмы?

Коля: Очень много… я уже не могу…

Прохоров: Ясно. Трибунал. Конечно, сейчас он жалок, этот антипартийный руководитель, этот антигосударственный деятель, антинародный герой, ветеран трех контрреволюций, он беспомощен и сир, понятное дело, на скромные ассигнования ФБР долго не протянешь… Но все его бормотания и молитвы — это привычное кривляние наших извечных недругов. Это извечное кривляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших кривляк. *(Прохоров вдохновенно прохаживается.)* Такие вот антикремлевские мечтатели рассчитывают на наше с вами снисхождение. Но мы живем

в такие суровые времена, когда слова типа «снисхождение» разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутют. Трибунал. Именем народа боцман Михалыч, ядерный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заточению во все крепости России — разом! *(Почти всеобщие аплодисменты.)* А пока — за неимением инвентаря — потуже прикрутите его к кровати. Пусть обдумает свое последнее слово.

Алеха и Пашка опрокидывают адмирала в постель и — простынями и полотенцами — прикручивают так, чтоб тот не мог шевельнуть ни одним своим суставом и членом.

Люси (врывается в палату, привлеченная кряхтением палачей и оглушительным рычанием жертвы): Что здесь происходит, мальчики?.. Оставьте его в покое… Что ни день у вас — то суд и расправа. Где тут лишняя койка? *(Открывает шкаф и вынимает комплект чистого белья, бойко швыряет на порожний матрас.)* Скоро — обход. Ти-ши-на!..

Алеха (тихо берет за плечи крохотулю Люси и, выпятив одновременно пузо и глаза-фурункулы,

выделывает вокруг нее томные танцевальные движения, а потом поет свою коронную, предварительно ударив себя в пузо и тряхнув головою):

Мне долго-долго будет сниться
Моя веселая больница,
А еще дольше будет сниться
Твоя шальная поясница.

Прохоров: Алеха! Припев!
Алеха:

Алеха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Ал-лех-ха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум! (по животу)
Обязательно,
Обязательно
Я на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум!
Отстегнула все застежки,

Распахнула все одежды,
И едва дыханье жизни
Из ноздрей не улетело.

В трюме мичман обоссался,
Боцман палубу грызет!
Хо-хо-хо-хо!

Прохоров: Припев, Алеха!
Алеха:

Аль-лехха жарит на гитаре,
Но у него не выйдет ничего!
Пум! пум! пум! пум!
Да ну и пусть он жарит на гитаре —
Ведь все равно не выйдет ничего!
А я... (осклабляясь) А я... —
Обязательно,
Обязательно...

Привычно фыркая, Люси ускользает к дверям. И наталкивается на входящего в палату Гуревича, в желтой робе, как у всех, и в мокрых волосах. На лице не заметно следов побоя — но общая побитость очень даже заметна, да и всем понятна: Боренька, санпропускник...

Люси: Ой, новенький... Ваша койка первая слева... стелите свою постельку, я могу вам помочь, если что не так...

Гуревич (яростно): Сам! Сам! Провались, дев-

ка!..

Люси исчезает. Пение на время прерывается. Гуревич комкает все белье и швыряет его в угол кровати, потом смотрит направо: розовый Витя с аппетитом смотрит на него, поглаживает живот все любовнее и облизываясь, иногда отворачиваясь в подушку, чтоб подавить в себе смешок, ему одному ведомый. Гуревич с полминуты его разглядывает, ему становится не совсем вмоготу, — он смотрит на соседа слева: оплетенный со всех сторон «контр-адмирал» все чаще что-то шепчет, с лицом скудеющим и окаянным. Над ним наклонен Стасик.

Стасик: Сейчас по всему миру все могильщики социализма — все исповедуются и причащаются… А ты почему, дедушка, не хочешь?..

Прохоров (подступая. Следом за ним — Алеха-Диссидент, как Елисей за Илиею. К Стасику): Цыц, моя радость! Дай потолковать с человеком…

Стасик: Нет-нет, ему нужна минута самоуглубления… Вы плохо знакомы с Востоком… Ты погружаешься в воды, ну… или тебя погружают, но ты ощущаешь: канули в вечность те времена, когда тебя не существовало, — тебя омывают, следовательно, ты есть… Когда купается наложница китайского императора в Бассейне Сплетаю-

щихся Орхидей — он так и называется: Бассейн Сплетающихся Орхидей, — так в него добавляют 12 эссенций и 17 ароматов…

Коля (подступая сзади):…Но кто после этого облекается в желтое одеяло, не зная истины и самоограничения, — тот недостоин желтого одеяла. Ты можешь мне разъяснить эту дхарму?!

Прохоров: Шел бы ты под хуй со своими дхармами!.. Человеку только что в ванной навешали пиздюлей! при чем тут дхармы? Продолжай, Стас…

Стасик: И вот я перехожу из ванной с орхидеями, минуя залы дхарм *(взгляд в сторону паршивца Коли),* — перехожу из бассейна в зал Благовоний, а из зала Благовоний — в зал Песнопений. Те, кто по пути мне встречаются, говорят мне: «Благословенный, не ходи в манговую рощу». А я иду, мне говорят три девушки, одна такая лунная-лунная, а другая — пасторальная вся, в венце из одуванчиков, конечно, а уж на третью я и не смотрю. Я разрываю все узы, постигаю все дхармы и не стремлюсь ни к одной из услад, я перешагиваю через третью, патетическую, даму — и ухожу из зала Песнопений — в манговую рощу. 80 тысяч гималайских слонов следуют за мною, они говорят мне о тщетности печали…

Прохоров: Ты знаешь чего, Стас, ты хоть на несколько минут — уебывай в свои манговые рощи, дай поговорить с евреем… Ты по какому делу и как звать?

Гуревич: Гуревич.

Прохоров: Я так и думал, что Гуревич. А — случайно — не по этому..? *(Делает известный по горлу щелчок.)*

Гуревич: Ну… в том числе…

Прохоров: Я так и думал. Евреи иногда очень даже любят выпить… в особенности за спиной арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей — спокойствия как не бывало, и начинается гибельный сюжет. Мне рассказывал мой покойный дед: у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо. Как их там? косулей — невпроворот. И пруд был весь в лебедях белых, а на берегу пруда цвел рододендрон. И вот в деревню эту приехал лекарь, по имени Густав… Ну уж не знаю, насколько он был Густав, но жид — это точно. И что же из этого вышло? — не я рассказываю, рассказывает дед. До появления этого Густава — зайцев было столько в округе, что буквально спотыкаешься об них, по ним скользишь и падаешь… Так исчезли для начала все зайцы, потом косули — нет, он в них не стре-

лял, они пропали сами собой. *(Алехе.)* Позови старичка Вову.

Вова подходит. Взглянув сначала на Витю, потом на контр-адмирала, подрагивая, ждет подвоха.

Прохоров: Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что ты на берегу пруда… произрастаешь… тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда — жид, сидит и на тебя смотрит..?

Вова: Нет, я не могу себе представить… что вот расту и…

Прохоров: Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, ты — белая лебедь и сидишь на берегу пруда — а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя…

Вова: Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу… могу представить, что я стая белых лебедей…

Прохоров: Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей, на берегу пруда, — а напротив…

Вова: Ну, я, конечно, разлетаюсь… кто куда… страшно…

Прохоров: Алеха, уведи Вовочку… Вот видишь, Гуревич?

Гуревич (с трудом улыбается): Ну ладно. *(С тревогой взглядывает в сторону Вити, потом*

наблюдает, как сосед-адмирал делает вздорные попытки вырваться из пут.) А этого за что?

Прохоров: Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит. Все бы ничего, но мы тут как-то стояли в туалете, зашла речь о спирте, о его жуткой калорийности, — так этот вот говноед ляпнул примерно такое: из всех поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности, — весьма примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил за ногу вниз — а этаж все-таки четвертый — и так держал, пока он не отрекся от своих еретических доктрин… Сегодня он, решением Бога и Народа, приговорен к вышке… Я не очень верю, что в начале было Слово, но хоть какое-то задрипанное — оно должно быть в конце, так что пусть этот пиздобол лежит и размышляет…

Гуревич: А скажи мне, Прохоров, тебя облекли полномочиями… э-э-э… в одной только этой палате или..?

Прохоров: Да конечно нет! Все, что по ту сторону Вити *(оба взглядывают туда, Гуревич отворачивается),* — это все мои подмандатные

территории, но тебе повезло: завтрашний процесс будет внутрипалатным, да еще уголовным к тому же. Гриша!!! Сними с себя простыню! Это Пашка Еремин, комсорг, так вроде ничего, подонок как подонок, но дело серьезное — членовредительство в семействе Клейнмихель!

Сережа Клейнмихель (заслыша свою фамилию, встает и подползает в сторону Прохорова): Запишите: у мамы только одна нога осталась на месте… все другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете…

Гуревич: Так она не кричала, что ли. Ведь этого быть не может!..

Сережа: Так ведь как бы она кричала, если в это время крестная ушла за бубликами…

Гуревич: М-да-а… в самом деле… Крестная ушла за бубликами — какой смысл кричать?

Стасик (как всегда, проходя мимо): У всех у нас крестные за бубликами поразошлись: кричи не кричи — ни до кого не докричишься…

Сережа: Да нет же… При чем тут бублики?.. Ну как вы не понимаете? Ведь он сначала оторвал ей голову, а уж потом…

Прохоров: До завтра, до завтра все это. До завтра, Сережа, уползи. Так вот, слушай меня, Гуревич; как видишь, у нас случаются мелкие бытовые

несообразности. А так — у нас жить можно. Недели две-три тебя поколют, потом таблетки, потом пинка под жопу — и катись. У нас даже цветной телевизор есть. Кенар с канарейкой. Они только сегодня помалкивают — поскольку завтра Первомай. А так — поют. Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать, — а это ли не высшая аттестация для вокалиста, а, Гуревич? А вон там, повыше, с самого верху — попугай, родом, говорят, из Хиндустана… А может быть, и в самом деле из Хиндустана, наверняка оттуда, потому что молчит целые сутки. Молчит, молчит. Но как только пробьет шесть тридцать утра, — вот ты увидишь, — он начинает, не гнусаво, не металлично, а как-то еще в тыщу раз попугаёвее: «Владимир Сергеич!.. Владимир Сергеич! На работу — на работу — на работу — на хуй — на хуй — на хуй — на хуй!» А потом — потом чуток помолчит, для куража, и снова: «Владимир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу *(все учащеннее),* на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй…» И все это ровно в шесть тридцать, можно даже не справляться по курантам и рубиновым звездам… А вот от шашек и домино ничего не осталось — все слопал Витя, одну за другой. Чудом уцелела шесть-шесть,

Хохуля спрятал ее под подушку, и сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выигрывал. А дня через три — небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается. Все кончается тем, что Хохуля впадает еще в какую-то прострацию, глохнет и становится сексуальным мистиком… А Витя тем временем берется за шахматы…

Гуревич рассматривает: на тумбочке в центре палаты лежит пустая шахматная доска, и на ней — белый ферзь.

Стасик (подскакивая): И ведь все умял! Почему только жалеет до сих пор белую королеву? Он ведь у нас такой бедовый: и тайм-аут съел, и ферзевый гамбит, и сицилианскую защиту…

Прохоров: Вот что, Витя *(присаживается к Вите на постель).* Витя, ты скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их скушал просто из нравственных соображений, да? Они показались тебе слишком азартными? Здесь со мной доктор из центра *(показывает на Гуревича).* О! Это такой доктор! *(Палец вверх.)* Он любопытствует: отчего ты так много кушаешь? Тебе не хватает фуража-провианта?..

Витя (не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыдливо прикрывается

рукавом): Вкусно…

Прохоров: А белого ферзя почему пожалел? а?

Витя: Жалко… Он такой одинокий…

Прохоров: Понимаю… А скажи мне, Витенька, — тебе и во сне одна только жратва снится?..

Витя: Нет, нет… Царевна…

Прохоров: Царевна?.. Мертвая?

Витя: Да нет, живая царевна… И вся из себя такая и с голубым бантиком. Как Золушка… а вокруг нее все принц ходит… и все бьет ее по голове хрустальным башмачком…

Прохоров: А ты бы съел… этот хрустальный башмачок? *(Показывает.)* Чав-чав!

Стасик: Его не Витя надо называть. Его надо называть Нина. Нина Чав-чав-адзе…

Витя: А башмачок съел бы… чтоб он только ее не бил.

Гуревич: Ну, а если уж царевна мертвая, ну, то есть он ее добил? До смерти. Ты съел бы мертвую царевну?

Витя (улыбается): Да…

Гуревич: А если бы семь богатырей при ней — то как же?

Витя: И семь богатырей бы тоже…

Гуревич: Ну, а тридцать три богатыря..?

Витя: Да… если бы медсестрички не торопи-

ли… конечно…

Гуревич: А… послушай-ка… А двадцать восемь героев-панфиловцев?

Витя (с тою же беззаботной и страшной улыбкой): Да… *(Мечтает.)*

Гуревич (упорно): А… Двадцать шесть бакинских комиссаров — неужели тоже?..

Прохоров (врывается в беседу): Ну, все: завтра мы тебе и комсорга Пашку. Какая тебе разница? От адмирала ты отказался — я тебя понимаю. Адмиралы — они хрустят на зубах, а вот настоящие комсорги — никогда не хрустят… Сережа! Клейнмихель! Подойди сюда… скажи… Замечал ли ты на лице преступника следы хоть малого раскаяния?

Сережа: Нет, не замечал… И мама моя покойная в тот день мне моргнула: понаблюдай, мол, за Пашкой — будет ли ему хоть немножко стыдно, что он со мной так поозоровал, — нет, ему не было стыдно, он весь вечер после того водку пьянствовал и дисциплину хулиганил… И запрещал мне форточку проветривать, чтоб в доме мамой не пахло…

Стасик (проходя мимо, как всегда): Приятно все-таки жить в эпоху всеобщего распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека

лимфатических желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, — это еще ладно. И то, что лишили дынь, — чепуха, можно прожить и без дынь. И плебисцитов нам не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы…

Покуда витийствовал Стасик, растворились обе двери 3-й палаты, и на пороге — медбрат Боренька и медсестра Тамарочка. Оба они не смотрят на больных, а харкают в них глазами. Оба понимают, что одним своим появлением вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь — которой много и без того.

Прохоров: Встать! Всем встать! Обход!

Все медленно встают, кроме Хохули, старичка Вовы и Гуревича.

Боря-Мордоворот (у него из-под халата — ухоженный шоколадный костюм и, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом обличии его редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой медбрат в Первомайскую ночь. Шутейно подступает к Стасику, который застыл в позе «с рукой под козырек»): Так тебе, блядина, значит, не хватает каких-то там желез?..

Тамара: Не бздюмо, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте. *(Боря, играя, молниеносно*

бьет Стасика под дых, тот в корчах опускается на пол.)

Тамара (указывая пальцем на Вову): А этот засратый сморчок — почему не встает, вопреки приказу?

Боря: А это мы спросим у него самого… Вовочка, есть какие жалобы?

Вова: Нет… на здоровье жалоб никаких… Только я домой очень хочу… Там сейчас медуницы цветут… конец апреля… Там у меня, как сойдешь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними…

Боря (поправляя галстук): Ннну… я житель городской, в гробу видал все твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?

Вова: Ну, как сказать?.. синенькие они, лазоревые… ну, как в конце апреля небо после заката…

Медбрат Боря под смех Тамарочки — ногтями впивается в кончик Вовиного носа и делает несколько вращательных движений. Вовин нос становится под цвет апрельской медуницы. Вова плачет.

Боря (продолжает обход): Как дышим, Хохуля? Минут через пять к тебе придет Игорь Львович, с веселым инструментом, придется немножко покорячиться… А тебе что, Коленька?

Коля: У меня жалоба. Я в этой палате уже который год. Потому что мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит… Но ведь я давно уже не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат и держат…

Тамарочка (тем временем привлеченная зрелищем справа: Сережа Клейнмихель, отвернувшись к окошку, тихонько молится): А! Ты опять за свое, припизднутый! *(Раздувая сизые щеки, направляется к нему.)* Сколько раз тебя можно учить! Сначала — к правому плечу, а уж потом — к левому. Вот, смотри! *(Хватает его за шиворот и, сплюнув ему в лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потом — с ху — в правое плечо, потом в левое, потом под ребра.)* Повторить еще раз? *(Повторяет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым удальством.)* Говно на лопате! Еще раз увижу, что крестишься, — утоплю в помойном ведре!..

Боря: Да брось ты, Томочка, руки марать. Поди-ка лучше сюда. *(Отшвырнув Колю, движется в сторону адмирала, Вити и Гуревича. За ним — свита: староста Прохоров, Алеха-Диссидент и Тамарочка.)*

Прохоров: Товарищ контр-адмирал, как видите, не может стать перед вами во фрунт. Наказан

за буйство и растленную агентурность. Вернее, за агентурную растленность и буйство.

Боря: Понятно, понятно… *(Краем глаза скользнув по Гуревичу, вдумчиво грызущему ногти, — проходит к Вите. Витя, с розовой улыбкой, покоится в раскладушке, разбросанный как гранпасьянс.)*

Тамарочка: Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце… *(Широкой ладонью, с маху, шлепает Витю по животу. У Вити исчезает улыбка.)* Как обстоит дело с нашим пищеварением, Витюнчик?

Витя: Больно…

Боря (хохочет вместе с Тамарочкой): А остальным нашим уважаемым пациентам — разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой — а почему, Витюша? Очень просто: ты доставил им боль, ты лишил их интеллектуальных развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что вот: давай договоримся, сегодня же…

Тамарочка:…сегодня же, когда пойдешь насчет посрать, — чтобы все настольные игры были на месте. Иначе — придется начинать вскрытие. А ты сам знаешь, голубок, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы…

Прохоров между тем с тревогой следит за Алехой-Диссидентом. Но об этом чуть пониже.

Боря (расставив ноги в шоколадных штанах и скрестив руки, застывает над сидящим Гуревичем): Встать.

Тамарочка: А почему у этого жиденка до сих пор постель не убрата?..

Боря (все так же негромко): Встать. *(Гуревич остается погруженным в себя самого. Всеобщая тишина.)*

Боря (одним пальчиком приподымая подбородок Гуревича): Встать!!!

Гуревич тихонько подымается и — врасплох для всех — с коротким выкриком — вонзает кулак в челюсть Бореньки. Несколько секунд тишины, если не принимать в расчет Тамарочкина взвизга. Боренька не изменившись ни в чем, хладнокровно хватает Гуревича, подымает его в воздух и со всею силою обрушивает об пол. С таким расчетом, чтобы тот боком угодил о край железной кровати. Потом — два-три пинка в район печенки, просто из пижонства.

Боря (к Тамарочке): Больному приготовить сульфу, укол буду делать сам.

Прохоров: Что ж поделаешь, Борис… Новичок… Бред правдоискательства, чувство ложно поня-

той чести и прочие атавизмы…

Боря: А тебе бы лучше помолчать. Жопа.

Люди в белых халатах удаляются.

Прохоров: Алеха!

Алеха: Да, я тут.

Прохоров: Первую помощь всем пострадавшим от налета!.. Стасик, подымайся, ничего страшного, они упиздюхали. Ничего экстраординарного. Все лучшее — еще впереди. Сначала — к Гуревичу…

Прохоров и Алеха, со слабой помощью Коли, втаскивают на кровать почти не дышащего Гуревича, накрывают его одеялами, обсаживают.

Прохоров: Всем хороши эти люди, евреи. Но только вот беда — жить они совсем не умеют. Ведь они его теперь вконец ухайдакают… это точно. *(Шепотом.)* Гу-ре-вич…

Гуревич (немного стонет и говорит трудно): Ничего… не ухайдакают… Я тоже… готовлю им… подарок…

Прохоров (в восторге оттого, что Гуревич жив и мобилен): Первомайский подарок, это славно. Только ведь сначала они тебе его сделают, минут через пять… Рассмешить тебя, Гуревич, в ожидании маленькой пытки? За тебя расплатится мой верный наперсник, Алеха. Ты знаешь, как он

стал диссидентом? Сейчас расскажу. Ты ведь знаешь: в каждом российском селении есть придурок… Какое же это русское селение, если в нем ни одного придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до сих пор нет ни одной Конституции… Так вот: Алеха в Павлово-Посаде ходил в таких задвинутых. На вокзальной площади что-нибудь подметет, поможет погрузить… но была в нем пламенная страсть, и до сих пор осталась… Алеха ведь у нас исполин по части физиогномизма, — ему стоит только взглянуть на мордася — и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот ублюдок. Безошибочным раздражителем вот что для него было: отутюженность и галстук. И что он делал? — он ничего не делал, он незаметно приближался к своей жертве, сжимая ноздрю, — издали — и — вот то, что надо, уже висит на галстуке. Весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординации… Два месяца назад его приволокли сюда.

Гуревич: Чудесно… Сколько я приглядывался к нации… чего она хочет… именно такие сейчас ей нужны… без всех остальных… она обойдется…

Прохоров: А четкость! четкость, Гуревич! Вели-

кий Леонардо, ходят слухи, был не дурак по части баллистики. Но что он против Алехи! Ал-ле-ха!

Алеха: Я все время тут.

Прохоров: Ну вот и отлично. А ты не находишь, Алеха, что твоя метода борьбы с мировым злом… ну, несколько неаппетитна, что ли… Мы все понимаем, дело в белых перчатках не делают… Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых… итальяшек всяких…

Алеха: Упаси Господь, я читаю только маршала Василевского… и то говорят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на восток…

Прохоров (пробуя еще хоть чуть-чуть развеселить Гуревича перед пыткою): Современное диссидентство, в лице Алехи, упускает из виду то, что, во-первых, надо выдирать с корнем — а уж потом выдерется с тем же поганым корнем и все остальное, — надо менять наши улицы и площадя: ну, посудите сами, у них мост Любовных Вздохов, переулок Святой Женевьевы, бульвар Неясного Томления и все такое… а у нас — ну, перечислите улицы своей округи, — душа зачахнет. Для начала надо так: Столичная — посередке,

конечно. Параллельно — Юбилейная, в бюстиках и тополях. Все пересекает и все затмевает Московская Особая. В испуге от ее красот от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская, Степная, Старорусская, Полынная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие. И какие через все это переброшены мосты: Белый Крепкий, Розовый Крепленый — какая разница? — а у их подножия — отели: «Бенедиктин», «Шартрез» — высятся вдоль набережной, — а под ними гуляют кавалеры и дамы, кавалеры будут смотреть на дам и на облака, а дамы — на облака и на кавалеров. А все вместе будут пускать пыль в глаза народам Европы. А в это время народы Европы, отряхнув пыль…

Снова распахиваются двери палаты. Старший врач больницы Игорь Львович Ранинсон. За ним — медбрат Боря, со шприцем в руке. Шприц никого не удивляет — все рассматривают диковинный чемодан в руках Ранинсона.

Боря: Вон туда *(показывает Ранинсону в сторону Хохули. Ранинсон — непроницаем. Хохуля — тоже. Ранинсон, раскладывая свой ящик с электрошнурами, брезгливо осматривает пациента. Пациент Хохуля вообще не смотрит*

на доктора, у него своих мыслей довольно).

Боря (приближаясь к постели Гуревича): Ну-с… Прохоров, переверните больного, оголите ему ягодицу.

Гуревич: Я… сссам *(со стоном переворачивается на живот, Алеха и Прохоров ему помогают).*

Боря (без всякого злорадства, но и не без демонстрации всесилия, стоит с вертикально поднятым шприцем, чуть-чуть им попрыскивая. Потом наклоняется и всаживает укол): Накройте его.

Прохоров: Ему бы надо второе одеяло, температура подскочит за ночь выше сорока, я ведь знаю…

Боря: Никаких одеял. Не положено. А если будет слишком жарко — пусть гуляет, дышит… Если сумеет шевельнуть хоть одной левой… Гуревич! Если ты вечером не загнешься от сульфазина, — прошу пожаловать ко мне на ужин. Вернее, на маевку. Слабость твоя, Наталья Алексеевна, сама будет стол сервировать… Ну, как?

Гуревич (с большим трудом): Я… буду…

Боря (хохочет, но совсем упускает из виду, что с одним пальцем на ноздре к нему приближается Диссидент-Алеха): А мы сегодня — гостеприимны… Я — в особенности. Угостим тебя по-свойски,

инкрустируем тебя самоцветами…

Гуревич: Я же… я же… сказал, что буду… Приду…

Алеха, действительно со знанием дела, выстреливает правой ноздрей. Палата оглушается криком, никем в палате пока еще не слыханным: дело в том, что доктор Ранинсон сделал свое высоковольтное дело с бедолагой Хохулей.

Боря (хватая за горло Диссидента-Алеху): А с тобой — с тобой потом… Знаешь что, Алешенька, — Игорь Львович здесь… Как только он уйдет — мы с тобой отсморкаемся, хорошо? *(Носовым платком оттирает галстук.)*

Ранинсон (проходя через палату с дьявольским своим сундучком, озирает больных: на всех физиономиях, кроме Прохоровской и Алехиной, лежит печать вечности — но вовсе не той Вечности, которой мы все ожидаем): С наступающим праздником международной солидарности трудящихся всех вас, товарищи больные! Пойдемте со мной, Борис Анатольевич, вы мне нужны. *(Уходят.)*

Прохоров (как только скрываются белые халаты, повисает на шее Алехи-Диссидента): Алеха! Да ты же — гиперборей! Алкивиад! Смарагд! Да ты же Мюрат, на белом коне вступающий на Ар-

бат! Ты Фарабундо Марти! Нет, русский народ не скудеет подвижниками, и никогда не оскудеет! Судите сами: не успел окочуриться яснополянский граф — пожалуйста, уже в пеленках лежит товарищ Коккинаки… и уже воскрылия у него за плечами! В 21-м году отдает концы Александр Блок, — ничего не поделаешь, все мы смертны, даже Блок, — и что же? Ровно через полтора года рождается Космодемьянская Зоя!.. Бессмертная!..

Гуревич (одобрительно приподымается на локте): Совершенно верно, староста.

Алеха (окрыленный): Надо было и в Игоря Львовича пальнуть чуток…

Прохоров: Ну ты, витязь, даешь..! Вот это было бы излишне… Не будем усложнять сужет происходящей драмы… мелкими побочными интригами… Правильно я говорю, Гуревич?.. Человечество больше не нуждается в дюдюктивностях, человечеству дурно от острых фабул…

Гуревич: Еще как дурно… Да еще — зачем затевать эти фабулы с ними? Ведь… их же, в сущности, нет… Мы же психи… а эти, фантасмагории в белом, являются нам временами… Тошнит, конечно, но что же делать? Ну, являются… ну, исчезают… ставят из себя полнокровных жизнелюбцев…

Прохоров: Верно, верно, и Боря с Тамарочкой хохочут и обжимаются, чтоб нас уверить в своей всамделишности… что они вовсе не наши химеры и бреды, — а взаправдашние…

Гуревич: Поди-ка ко мне. Прохоров… к вопросу о химерах… Вот это вот *(показывая на укол)* — это долго будет болеть?

Прохоров: Болеть? ха-ха. «Болеть» — не то слово. Начнется у тебя через час-полтора. А дня через три-четыре ты, пожалуй, сможешь передвигать свои ножки. Ничего, Гуревич, рассосется. Я тебя развлеку, как сумею: буду петь тебе детские песенки товарища Раухвергера… или там Оскара Фельцмана, Френкеля, Льва Книппера и Даниила Покрасса… короче, все, что на слова Симеона Лазаревича Шульмана, Инны Гофф и Соломона Фогельсона…

Гуревич: Прохоров… умоляю…

Прохоров: И не умоляй, Гуревич… Мы с Алехой на руках оттащим тебя к цветному телевизору. Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Хейфиц и Ромм, Эрмлер, Столпер и Файнциммер. Суламифь Моисеевна Цыбульник. Одним словом, боли в тазобедренном суставе у тебя поубавятся. А если не поубавятся — к твоим услугам Волькенштейн, Кригер, Гребнер,

Крепс — всем хорош парень, но зачем он начал работать в соавторстве с Гендельштейном?..

Гуревич: А скажи, Прохоров, есть какое-нибудь от этого укола сульфы в самом деле облегчающее средство? Кроме Файнциммера и Суламифи Моисеевны Цыбульник?

Прохоров: Ничего нет проще. Хороший стопарь водяры. А чистый спирт — и того лучше… *(Шепчет на ухо Гуревичу нечто.)*

Гуревич: И это — точно?

Прохоров: Во всяком случае, Натали сегодня заменяет и дежурную хозяйку. Все ключи у нее, Гуревич. Она их не доверяет даже своему бэльами, Бореньке-Мордовороту…

Гуревич (цепенеет, пробует встать): Вот оно что… *(И снова цепенеет от такой неслыханности.)* У меня есть мысль.

Прохоров: Я догадываюсь, что это за мысль.

Гуревич: Нет-нет, гораздо дерзновеннее, чем ты думаешь… Я их взорву сегодня ночью!

За дверью голос медсестрички Люси: «Мальчики, на укольчики! Мальчики, в процедурный кабинет, на укольчики!» В 3-й палате никто не внемлет. Один только Гуревич делает пробные шаги.

Гуревич (еще шепчет что-то Прохорову. По-

том):

Так я вернусь. Минут через пятнадцать,

Увенчанный или увечный. Все равно.

Прохоров: Браво! Да ты поэт, Гуревич!

Гуревич:

Еще бы! Пожелай удачи… Буду

Иль на щите и с фонарем под глазом

Фьолетовым, но… но всего скорей,

И со щитом. И – и без фонарей.

ЗАНАВЕС

Третий акт

Лирическое интермеццо. Процедурный кабинет. Натали, сидя в пухлом кресле, кропает какие-то бумаги. В соседнем, аминазиновом, кабинете — его отделяет от процедурного какое-то подобие ширмы — молчаливая очередь за уколами. И голос оттуда — исключительно Тамарочкин. И голос — примерно такой: «Ну, сколько я давала тебе в жопу уколов! — а ты все дурак и дурак!.. Следующий!! Больно? Уж так я тебе и поверила! Уж не пизди, маманя!.. А ты — чего пристал ко мне со своим аспирином? Фон-барон какой! Аспирин ему понадобился! Тихонечко и так подохнешь! Без всякого аспирина. Кому ты вообще нужен, разъебай?.. Следующий!..» Натали настолько с этим свыклась, что и не морщится, да и не слушает. Она вся в своих отчетных писульках. Стук в дверь.

Гуревич (устало): Натали?..

Натали:

Я так и знала, ты придешь, Гуревич.

Но – что с тобой?..

Гуревич:

Немножечко побит.

Но – снова Тасс у ног Элеоноры!..

Натали:

А почему хромает этот Тасс?

Гуревич:

Неужто непонятно?.. Твой болван

Мордоворот совсем и не забыл…

Как только ты вошла в покой приемный,

Я сразу ведь заметил, что он сразу

Заметил, что…

Натали:

Какой болван? Какой Мордоворот?

При чем тут Борька? Что тебе сказали?

Как много можно наплести придурку

Всего за два часа!.. Гуревич, милый,

Иди сюда, дурашка…

(И наконец объятие. С оглядкой на входную дверь.)

Натали:

Ты сколько лет здесь не был, охламон?

Гуревич:

Ты знаешь ведь, как измеряют время

И я, и мне чумоподобные… (нежно) Наталья…

Натали:

Ну что, глупыш?.. Тебя и не узнать.

Сознайся, ты ведь пил по страшной силе…

Гуревич:

Да нет же… так… слегка… по временам…

Натали:

А ручки, Лева, отчего дрожат?

Гуревич:

О милая, как ты не понимаешь?!

Рука дрожит – и пусть ее дрожит.

При чем же здесь водяра? Дрожь в руках

Бывает от бездомности души(тычет себя в грудь),

От вдохновенности, недоеданья, гнева,

От утомленья сердца, от предчувствий,

От гибельных страстей, алканной встречи(Натали чуть улыбается)И от любви к отчизне, наконец.

Да нет, не «наконец»! Всего важнее —

Присутствие такого божества,

Где ямочка, и бюст, и…

Натали (закрывает ему рот ладошкой): Ну, понес, балаболка, понес… Дай-ка лучше я тебе немножко глюкозы волью… Ты же весь иссох, почернел…

Гуревич: Не по тебе ли, Натали?

Натали: Ха-ха! Так я тебе и поверила. *(Встает, из правого кармана халатика достает связку ключей, открывает шкап. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами. Гуревич, кусая ногти, по обыкновению, не отрывает взгляда ни от ключей, ни от колдовских телодвижений Натали.)*

Гуревич: Вот пишут: у маленькой морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно то же самое… Но две остальные трети меня сегодня почему-то больше

треволнуют. Да еще эта победоносная заколка в волосах.

Ты – чистая, как прибыль. Как роса
На лепестках чего-то там такого.
Как…

Натали: Помолчал бы уж… *(подходит к нему со шприцем).* Не бойся, Лев, я сделаю совсем-совсем не больно, ты даже не заметишь.

Начинает процедуру, глюкоза потихоньку вливается. Она и он смотрят друг на дружку.

Голос Тамарочки (по ту сторону ширмы): Ну чего, чего ты орешь, как резаный? Перед тобой колола человека, — так ему хоть бы хуй по деревне… Следующий! Чего-чего? Какую еще наволочку сменить? Заебешься пыль глотать, братишка… Ты! хуй неумытый! Видел у пищеблока кучу отходов? так вот завтра мы таких умников, как ты, закопаем туда и вывезем на грузовиках… Следующий!

Натали: Ты о чем задумался, Гуревич? Ты ее не слушай, ты смотри на меня.

Гуревич: Так я так и делаю. Только я подумал: как все-таки стремглав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамары — до этой вот Тамарочки. От Франсиско Гойи — до его сопле-

менника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря — к Цезарю Кюи, а от него уж совсем — к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко — до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? — если от Иммануила Канта — до «Слепого музыканта». А от Витуса Беринга — к Герману Герингу. А от псалмопевца Давида — к Давиду Тухманову. А от…

Натали (на ту же иглу накручивает какую-то новую хреновину и продолжает вливать еще что-то): А ты-то, Лев, ты — лучше прежних Львов? Как ты считаешь?..

Гуревич: Не лучше, но иначе прежних Львов. Со мной была история — вот какая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали — Бог весть, чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное: у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта — да еще бы, при таком-то морозе! А у меня вот — нет. И они это заметили. Они спросили: «Почему такой мороз, а у тебя пар не идет ниоткуда? Ну-ка, еще раз выдохни!» Я выдохнул — опять никакого пару. Все трое сказали: «Тут что-то не то, надо сообщить куда следует».

Натали (прыскает): И сообщили?

Гуревич: Еще как сообщили. Меня тут же вы-

звали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали только один вопрос: «По какой причине у вас пар?» Я им говорю: «Да ведь как раз пара-то у меня и нет». А они: «Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар?..» Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я — сказал: «Отвезите меня в 126-е отделение милиции. У меня есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле». И меня повезли…

Натали: Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они чего-нибудь поняли?..

Гуревич: Ничего не поняли, но привезли в 126-е. Спросили: «Вы Гуревич?» — «Да, — говорю, — Гуревич.

Я здесь по подозренью в суперменстве.
Вы правы до каких-то степеней:
Да, да. Сверхчеловек я, и ничто
Сверхчеловеческое мне не чуждо.
Как Бонапарт, я не умею плавать,
Я не расчесываюсь, как Бетховен,
И языков не знаю, как Чапай.

Я малопродуктивен, как Веспуччи
Или Коперник: сорок – сорок восемь

Страниц за весь свой агромадный век.
Я, как святой Антоний Падуанский,
По месяцам не мою ног. И не стригу
Ногтей, как Гёльдерлин, поэт германский.
По нескольку недель – да нет же – лет
Рубашек не меняю, как вот эта
Эрцгерцогиня Изабелла, мать ети,
Жена Альбрехта…встрийского. Но
Она то совершала по обету:
До полного Ост-Индского триумфа.
И я не стану переодеваться,
И тоже по обету: не напялю
Ни рубашонки до тех пор, пока
Последний антибольшевик на Запад
Не умыльнет и не очистит воздух!
Итак, сродни я всем великим. Но,
В отличье от Филиппа номер два
Гишпанского, – чесоткой не владею.
Да, это правда. (Со вздохом.) Но имею вшей,
Которыми в достатке оделен был

Корнелий Сулла, повелитель Рима.

Могу я быть свободен?..»

«Можете, — мне сказали, — конечно можете. Сейчас мы вас отвезем домой на собственной машине…» И привезли сюда.

Натали: А как же шпиль горкома комсомола?

Гуревич: Ну… это я для отвода глаз… и чтобы тебе там, в приемной, не было так грустно.

Натали: Слушай, Лев, ты выпить немножко хочешь? Только — тесс!

Гуревич:

О Натали! Всем существом взыскую!

Для воскрешенья. Не для куражу.

Пока Натали что-то наливает и разбавляет водой из-под крана, из-за ширмы продолжается: «Перебзди, приятель, ничего страшного!.. Будь мужчиной, пиздюк малосольный!.. Следующий!.. А штанов-то, штанов сколько на себя нацепил! Ведь все мудя сопреют и отвалятся!.. Давай-давай! А ты — отъебись, не мешай работать… Следующий… Ничего, старина, у тебя все идет на поправку, походишь вот так, враскорячку, еще недельки две и — хуй на ны! — от нас до морга всего триста метров!.. Следующий!..» Натали подносит стакан. Гуревич медленно тянет —

потом благодарно приникает губами к руке Натали.

Гуревич:

Она имеет грубую психею.

Так Гераклит Эфесский говорил.

Натали: Это ты о ком?

Гуревич: Да я все об этой Тамарочке, сестре милосердия. Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принципы? Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, — русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел»... А теперь, в этом же случае: «Где-то милиционер издох!..» «Гром не прогремит — мужик не перекрестится» — вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в жопу не клюнет...» Или помнишь? — «Любви все возрасты покорны». А теперь всего-навсего: «Хуй ровесников не ищет». Хо-хо. Или вот еще: ведь как было трогательно: «Для милого семь верст — не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля — сто километров не крюк». *(Натали смеется.)* А это вот — еще чище. Старая русская пословица: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», — она преобразилась вот каким манером:

«Не ссы в компот — там повар ноги моет».

Натали смеется уже так, что раздвигается ширма и сквозь нее просовывается физиономия сестры милосердия Тамарочки.

Тамарочка: Ого! Что ни день, то новый кавалер у Натальи Алексеевны! А сегодня — краше всех прежних. И жидяра, и псих — два угодья в нем.

Натали (смиряя бунтующего Гуревича, — строго к Тамарочке): После смены, Тамара Макаровна, мы с вами побеседуем. А сейчас у меня дела…

Тамарочка скрывается, и там возобновляется все прежнее: «Как же! Снотворного ему подай — получишь ты от хуя уши… Перестань дрожать! И попробуй только пискни, разъебай!..» И пр.

Натали: Лева, милый, успокойся *(целует его, целует)* — еще не то будет, вот увидишь. И все равно не надо бесноваться. Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на оскорбление. И уж — Боже упаси — ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейролептиками, за один только плач… Тебе приходилось, Лев, хоть когда-нибудь поплакать?

Гуревич: Хо! Бывало время — я этим зарабатывал на жизнь.

Натали: Слезами зарабатывал на жизнь? Ни-

чего не понимаю.

Гуревич: А очень даже просто. В студенческие годы, например… — ох, не могу, опять приступаю к ямбам.

Ты знаешь, Натали, как я ревел?
Совсем ни от чего. А по заказу.
Все вызнали, что это я могу.
Мне скажут, например: «Реви, Гуревич! —
Среди вакхических и прочих дел:
Реви, Гуревич, в тридцать три ручья».
И я реву. А за ручей – полтинник.
И ты – ты понимаешь, Натали? —
В любой момент! По всякому заказу!
И слезы – подлинные! И с надрывом.
Я, громкий отрок, не подозревал,
Что есть людское, жидовское горе.
И горе титаническое. Так что
Об остальных слезах – не говорю…

Натали: И знаешь что еще, Гуревич: пятистопными ямбами говорить избегай — с врачами особенно — сочтут за издевательство над ними. Начнут лечение сульфазином или чем-нибудь

еще похлеще… Ну, пожалуйста… ради меня… не надо…

Гуревич: Боже! Так зачем же я здесь?! — вот я чего не понимаю. Да и остальные пациенты — тоже — зачем?

Они же все нормальны, ваши люди,

Головоногие моллюски, дети,

Они чуточек впали в забытье.

Никто из них себя не воображает ни лампочкой

в сто ватт,

Ни тротуаром, ни оттепелью в первых числах

марта,

Ни муэдзином, ни Пизанской башней

И ни поправкой Джексона – Фульбрайта

К решениям Конгресса.

И ни даже Кометой Швассман-Вахмана-один.

Зачем я здесь, коли здоров, как бык?

Натали:

Послушай-ка, Фульбрайт, ты жив пока,

Пока что не болеешь, – а потом?.. —
Чего ж тут непонятного, Гуревич?
Бациллы, вирусы – все на тебя глядят
И, морщась, отворачиваются.

Гуревич: Браво. Полна чудес могучая природа, как говорил товарищ Берендей. Но только я отлично обошелся бы и без вас. Кроме тебя, конечно, Натали. Ведь посуди сама: я сам себе роскошный лазарет, я сам себе — укол пирацетама в попу. Я сам себе — легавый, да и свисток в зубах его — я тоже. Я и пожар, но я же и брандмейстер.

Натали: Гуревич, милый, ты все-таки немножко опустился…

Гуревич: Что это значит? Ну, допустим. Но в сравнении с тем, сколько я прожил и сколько протек, — как мало я опустился! Наша великая национальная река Волга течет 3700 километров, чтоб опуститься при этом всего на 221 метр. Брокгауз. Я — весь в нее. Только я немножко недоглядел — и невзначай испепелил в себе кучу разных разностей. А вовсе не опустился. Каждое тело, даже небесное тело *(значительно оглядывает всю Натали),* — так вот, даже небесное тело имеет свои собственные вихри. Рене Декарт. А я — сколько я истребил в себе собственных вих-

рей, сколько чистых и кротких порывов? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько попридушил бледнеющих Дездемон?! А сколько утопил в себе Муму и Чапаёв!..

Натали: Какой ты экстренный, однако, баламут!

Гуревич:

Не экстренный. Я просто – интенсивный.

И я сегодня… да почти сейчас…

Не опускаться – падать начинаю.

Я нынче ночью разорву в клочки

Трагедию, где под запретом ямбы.

Короче, я взрываю этот дом!

Тем более — я ведь совсем и забыл — сегодня же ночь с 30 апреля на 1 мая. Ночь Вальпургии, сестры Святого Ведекинда. А эта ночь, с конца восьмого века начиная, всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чудодейственным. И с участием Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что-нибудь да состоится!..

Натали: Ты уж, Левушка, меня не пугай — мне сегодня дежурить всю ночь.

Гуревич: С любезным другом Боренькой на па-

ру? С Мордоворотом?

Натали:

Да, представь себе.

С любезным другом. И с чистейшим спиртом.

И с тортами – я делала сама, —

И с песнями Иосифа Кобзона.

Вот так-то вот, экс-миленький экс-мой!

Гуревич: Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев… Но я, если хочешь, лучше тебя воспою — в манере Николая Некрасова, конечно.

Натали: Давай, воспевай, глупыш.

Гуревич: Под Николая Некрасова!

Роман сказал: глазастая!

Демьян сказал: сисястая!

Лука сказал: сойдет.

И попочка добротная, —

Сказали братья Губины

Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился

И молвил, в землю глядючи:
Далась вам эта попочка!
Была б душа хорошая.
А Пров сказал: хо-хо!

Натали аплодирует.

Гуревич: А между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я бы сейчас тебя — так охотно ущипнул бы…

Натали: Ну, так и ущипни, пожалуйста. Только не говори пошлостей. И тихонечко, дурачок.

Гуревич: Какие ж это пошлости? Когда человек хочет убедиться, что он уже не спит, а проснулся, — он, пошляк, должен ущипнуть…

Натали: Конечно, должен ущипнуть. Но ведь себя. А не стоящую вплотную даму…

Гуревич: Какая разница?.. Ах, ты стоишь вплотную… Мучительница Натали… Когда ты, просто так, зыблешь талией, — я не могу, мне хочется так охватить тебя сзади, чтоб у тебя спереди посыпались искры…

Натали: Фи, балбес. Так возьми — и охвати!..

Гуревич (так и делает. Натали с запрокинутой

головой. Нескончаемое лобзание): О Натали! Дай дух перевести!.. Я очень даже помню — три года назад ты была в таком актуальном платьице… И зачем только меня поперло в эту Куэнь-Лунь?.. Я стал философом. Я вообразил, что черная похоть перестала быть, наконец, моей жизненной доминантою… Теперь я знаю доподлинно: нет черной похоти! нет черного греха! Один только жребий человеческий бывает черен!

Натали: Почему это, Гуревич, ты так много пьешь, а все-все знаешь?..

Гуревич: Натали!..

Натали: Я слушаю тебя, дурашка… Ну, что тебе еще, несмышленыш?..

Гуревич: Натали…

Неистово ее обнимает и впивается в нее. Тем временем руки его — от страстей, разумеется, — конвульсивно блуждают по Натальиным бедрам и лонным сочленениям. Зрителю видно, как связка ключей с желтой цепочкой переходит из кармашка белого халатика Натали в больничную робу Гуревича. А поцелуй все длится.

Натали (чуть позже): Я по тебе соскучилась, Гуревич… *(Лукаво.)* А как твоя Люси?

Гуревич: Я от нее убег, Наталья. И что такое, в сущности, — Люси?

Я говорил ей: «Не родись сварливой». Она мне: «Проваливай, несчастный триумвир!» Почему «триумвир», до сих пор не знаю. А потом, уже мне вдогонку и вслед: «Поганым будет твой конец, Гуревич! Сопьешься с круга, как Коллонтай в Стокгольме! Умрешь под забором, как Клим Ворошилов!»

Натали (смеется): А что сначала?

Гуревич:

Ну что сначала? И не вспоминай.
О Натали! Она меня дразнила.
Я с неохотой на нее возлег.
Так на осеннее и скошенное поле
Ложится луч прохладного светила.
Так на тяжелое раздумие чело
Ложится. Тьфу! – раздумье на чело…
Брось о Люси… Так, говоришь, – скучала?
А речь об этой шлюшке завела,
Чтоб легализовать Мордоворота?

Натали:

Опять! Ну как тебе не стыдно, Лев?

Гуревич:

Нет, я начитанный, ты в этом убедилась.

Так вот, сегодня, первомайской ночью

Я к вам зайду… грамм двести пропустить.

Не дуриком. И не без приглашенья:

Твой Боренька меня позвал, и я

Сказал, что буду. Головой кивнул.

Натали:

Но ты ведь – представляешь?!

Гуревич:

Представляю.

Нашел с кем донхуанствовать, стервец!

Мордоворот и ты – невыносимо.

О, этот боров нынче же, к рассвету,

Услышит Командоровы шаги!..

Натали:

Гуревич, милый, ты с ума сошел…

Гуревич:

Пока – нисколько. Впрочем, как ты хо-

чешь:

Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,

Коль ты попросишь… (подумав) Если и попросишь —

Я буду пламенеть, как небосклон!

Пока что я с ума еще не сбрендил, —

А в пятом акте – будем посмотреть…

Наталья, милая…

Натали:

Что, дуралей?

Гуревич:

Будь на тебе хоть сорок тысяч платьев,

Будь только крестик промежду грудей

И больше ничего, – я все равно…

Натали (в который уже раз ладошкой зажимает ему рот. Нежно): А! ты и это помнишь, противный!..

Кто-то прокашливается за дверью.

Гуревич: Антильская жемчужина… Королева обеих Сицилий… Неужто тебе приходится спать

на этом дырявом диванчике?..

Натали: Что ж делать, Лев? Если уж ночное дежурство…

Гуревич:

И ты… ты спишь на этой вот тахте!
Ты, Натали! Которую с тахты
На музыку переложить бы надо!..

Натали: Застрекотал, опять застрекотал…

За дверью снова покашливание.

Гуревич: «Самцы большинства прямокрылых способны стрекотать, тогда как самки лишены этой способности». Учебник общей энтомологии. *(Снова тянутся друг к другу.)*

Прохоров (показывается в дверях с ведром и шваброю): Все процедуры… процеду-уры… *(Обменивается взглядом с Гуревичем. Во взгляде у Прохорова: «Ну как?» У Гуревича: «Все путем».)* Наталья Алексеевна, наш новый пациент, вопреки всему, крепчает час от часу. А я только что проходил — у дверей хозотдела линолеум у нас запущен — спасу нет. А новичок… Ну, чтоб не забывался, куда попал, — пусть там повкалывает с полчаса. А я — пронаблюдаю…

Гуревич: Ну что ж… *(В последний раз взглянув на Натали, с ведром и шваброю удаляется, стра-*

тегически покусывая губы.)

Прохоров:

Все честь по чести. Я на то поставлен.
Ты, Алексевна, опекай его.
Он – с припиздью. Но это ничего.

ЗАНАВЕС

Четвертый акт

Снова 3-я палата, но слишком слабо заселена: одни еще не вернулись с ужина, другие — с аминазиновых уколов. Комсорг Пашка Еремин все под той же простыней, в ожидании все того же трибунала. Старик Хохуля после электрошока недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витя спит, контр-адмирал тоже. Стасик онемел посреди палаты с выброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говорит только дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.

Вова: Фу ты, а в деревне-то как сейчас славно! Утром, как просыпаешься… первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь… стыдно… и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловушки так и заливаются: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот, надеваешь телогрейку, берешь с собой документы, и вот так, в чем мать родила, идешь в степь, стрелять окуней… Идешь убогий, босой и с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче… И ко-

гда идешь — целуешь все одуванчики, что тебе попадаются на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую выцветшую, видавшую виды, прошедшую с тобой от Эльбы до Техаса…

В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, Сережа Клейнмихель и Коля. Потирают на попах свои уколы, обсаживают Вову, слушают.

Вова: И вот так идешь… ветры дуют поперек… Сверху — голубо, снизу — майские росы-изумруды… А впереди — что-то черненькое белеется… Думаешь: может, просто куст боярышника?.. да нет. Может быть, армянин?.. Да нет, откуда в хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучек, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти, — а он уже все различает: каждую травинку от каждой былинки, и каждую пичужку изучает по внутренностям…

Коля: А я вот ничего не сумею отличить. Я все время в палате. Липу от клена я еще смогу отличить. А вот уж клен от липы…

Стасик (снова дует по палате из угла в угол): Да! ничего на свете нету важнее спасения деревь! Придет оккупант — а где наша интимная защита? интимная защита ученого партизана?

А в чем она заключается? — а вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!

Вова: А мой сосед Николай Семенович…

Стасик (неудержимо): Господь создал свет, да, да! А твой Николай Семеныч отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! Перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом…

Коля: И с вермутом…

Стасик: Нет, без вермута. При чем здесь вермут?! И до каких пор меня будут прерывать? Делать торными тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще — когда эти поляки перестанут нам мозги ебать?! Ведь жизнь и без того — так коротка…

Вова: А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет…

Стасик: Хо-хо! Нашел кому советовать! Да ты поди, взгляни в мою оранжерею. Жизнь коротка, — а как посмотришь на мою оранжерею — так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои бы-

линки и лютики — ну их, они повсюду. А у меня вот что есть — сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он: «Пузанчик-самовздутыш-дармоед» с вогнутыми листьями. И ведь как цветет! — хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет — что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего!.. А еще — а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» — это потому, что с началом цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая вдумчивая» — лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Фу-ты ну-ты». «Обормотик желтый!» «Нытик двухлетний!» Это уже для тех, кого выносят ногами вперед. «Мымра красно-знаменная!» «Чапай лохматый!» «Хуеплетик недолговечный!» Все, что душе угодно…

Вова: И все это ты имел в своем саду, браток?

Стасик: Как, то есть, имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?..

Вова: Нету у меня панталон…

Стасик: Ну, нет, так будут… И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад — и все твое. «Презумпция жеманная», она же «Зиночка сдобная пальпированная» — да и как Зиночке не быть пальпированной, если она такая сдобная!

«Мудозвончики смекалистые!», «ОБЭХАЭС ненаглядный!», «Гольфштрим чечено-ингушский!», «Пленум придурковатый!» — его так назвали за его дымчатые вуали, невзначай и совсем не остроумно. «Дважды орденоносная игуменья незамысловатая», лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горло-нос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». «Генсек бульбоносный!», пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром победы, раздавайся», «Крейсер „Варяг“» и «Сиськи набок». А если…

Вова: А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам, — все смотрю: нет ли синеньких…

Стасик: Ну как не быть синеньким! Чтоб у меня — да не было синеньких! Вот — носопырочки одухотворенные, носопырочки расквашенные, синекудрые слюнявчики «Гутен-морген»! «Занзибар опизденевший» — выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хау-ду-ю-ду», «Уйди без слез и навсегда»…

Стасик, на словах «без слез и навсегда», снова деревенеет у окна палаты, с выкинутым вертикально вверх кулаком «рот-фронт».

Вова: Д-даа… хорошие цветочки… А я ведь помню тяжелые времена… когда все цветочки исчезли из помину… и плохие и хорошие… кругом нашей деревни одни только эскарпы и янычары, траншеи, каски, руки, ноги — над Москвой только царь-пушки гремели и царь-колокола… Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного радио Юрий Левитан, — и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверелых заокеанских орд. И снова расцвели медуницы…

Все глядят на Вовин носик. У Коли опять чего-то течет, Вова бережно утирает. Почти никто не замечает, как староста Прохоров то вторгается в помещение, взглядывает на часы — ему одному во всей палате дозволено носить часы, — то снова исчезает из помещения. Музыка при этом — тревожнее всех тревожных.

Коля: Так ведь и осенью в деревне хорошо… Ведь правда, Вова?

Вова: Осенью немножко хуже, с потолка капает… Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив — висят два портрета, я

их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше… Лермонтов — он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: «Иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки». А я ему говорю: «А зачем мне ботинки? Череповец — он у-у-у как далеко… Получу я ботинки в Череповце — а куда я дальше пойду в ботинках? нет, я уж лучше без ботинок…» А товарищ Пельше тихо мне говорит, под капель: «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?» А я говорю: «Нет, никто не виновен в моей печали». А тут еще теленочек за перегородкой — чертыхается и просить чего-то начинает, — а я его век не кормил, и откуда он взялся, этот теленочек, у меня и коровки-то никогда не бывало. Надо бы спросить у внука Сергунчика — так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит… Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей — для ежиков. Сумерки опускаются. Вот уже и миска загремела — значит пришли все-таки ежики, с обыском… Листья кружатся в воздухе, кружатся и — садятся на скамью… Некоторые еще взовьются — и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму — все попересажены… А ветер все гонит облака, все гонит — на север, на северо-

восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головою все чаще: кап-кап-кап, и ветер все сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч…

Коля: Как хорошо… А у вас в деревне — в апреле тоже тридцать дней, или дня три-четыре накинули?

Вова: Да нет пока…

Коля: Ну, вот и зря… Надо бы немножко накинуть… У нас все должно быть покрупнее, чем у них… Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная. Байкал, телебашня, Каспийское озеро… А тут получается обидно: и у их в апреле тридцать дней, и у нас тридцать. *(Пускает слюну. Вова вытирает.)* А равняться на Европу, как мне кажется, — это значит безнадежно отставать от нее… Конечно, мы не ищем для себя односторонних преимуществ, но никогда не допустим, чтобы…

Прохоров (врывается в палату с озаренным лицом): Обход! Обход! *(Но странно: вместо привычного «Всем встать!» — староста отдает приказ ни на что не похожий.)* Немедленно лечь на пол! Всем! Мордами вниз! Кто шевельнет

глазами туда-сюда — стреляю из всех Лепажевых стволов! Стас, прекрати свои «рот-фронты»! *(Подходит к Стасику, но рука его кататонически не выходит из состояния «рот-фронт».)* Ну ладно, отвернись только к стенке, но пасаран, пассионарий! Вессеремус!

Гуревич (входит с помойным ведром, поверх ведра накинута холщовая мокрая тряпка. Швабру оставляет у входа. Подойдя к своей тумбочке, второпях снимает тряпку, из ведра достает почти ведерной емкости бутыль и устанавливает ее, прикрыв тряпьем. Глубочайший выдох): Ну вот. Теперь как будто бы виктория!

Алеха (с порога): Всем подняться — отряхнуться! Обход закончен!

Прохоров: Всем лечь по своим постелям. Замечайте, психи: обходы становятся все короче. Значит, скоро они совсем прекратятся. Вставайте, вставайте — и по постелькам… Так, так… А что вы тут делали — пока високосные люди нашей планеты достигали невозможного, — чем в это время занимались вы, летаргический народ?..

Вова: Нам Стасик говорил о своих цветочках… Он их сам выращивает…

Прохоров: Эка важность! Цветочки — они внутри нас. Ты согласишься со мной, Гуревич, ну, чего

стоят цветочки, которые снаружи?

Гуревич: Мне скорее надо пропустить, Прохоров, а уж потом… И без того внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до края инфлюэнцы и рюматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног… В глазах — протуберанцы…

Прохоров: Налей шестьдесят пять грамм, Гуревич, и скорее опрокинь. Потом поговорим о цветочках. Ал-леха!

Алеха: Я здесь…

Прохоров: Немедленно: стакан холодной воды. У Хохули в чемодане — лимоны, вытаскивай их все…

Алеха: Все..?!

Прохоров: Все, мать твою еби!

Гуревич, в сущности, начинает Вальпургиеву ночь. Наливает рюмаху. Внюхивается, до отказа морщится, проглатывает.

Прохоров (в ожидании своей дозы): Я думал о тебе хуже, Гуревич. И обо всех вас думал хуже: вы терзали нас в газовых камерах, вы гноили нас в эшафотах. Оказывается, ничего подобного. Я думал вот как: с вами надо блюсти дистанцию! Дистанцию погромного размера… Но ты же ведь — Алкивиад! — тьфу, Алкивиад уже был, —

ты граф Калиостро! Ты — Канова, которого изваял Казанова, или наоборот, наплевать! Ты — Лев! Правда, Исаакович, но все-таки Лев! Гней Помпей и маршал Маннергейм! Выше этих похвал я пока что не нахожу… а вот если бы мне шестьдесят пять…

Алеха: Может, проверить, — горит?

Гуревич: Это можно… *(На край тумбочки проливает немножко из своего остатка, зажигает спичку и подносит: тишина, покуда не меркнет синее пламя.)*

Прохоров (он даже не разводит свои семьдесят грамм, он держит наготове Хохулин лимон. Опрокидывает. Страстно внюхивается в лимон. Пауза самоуглубленности): Итак. Кончились беззвездные часы человечества! Скажи мне, Гуревич, из какого мрамора тебя лучше всего высечь?..

Гуревич: Это как, то есть, «высечь»?

Прохоров: Нет-нет. Я не то хотел сказать. Я вот что хотел сказать: с этой минуты, если в палате номер три или в любой из вассальных наших палат какой-нибудь неумный псих усомнится в богодухновенности этого *(втыкая палец в Гуревича)* народа, тот будет немедля произведен мною в контр-адмиралы. Со всеми вытекающими отсю-

да последствиями… Они открывают миру все, мы только успеваем прикрывать. Что говорить о Старом Свете?.. Из какого племени явился Христофор Коломбо — это, наконец, известно поголовно всем. Но мало кто знает, что первым человеком, из состава Коломбовой экспедиции, первым, ступившим на Новую Землю, — был иудей-марран Луис де Торрес! *(Впадая в раж.)* А Исаак Ньютон! А — Авраам Линкольн!.. А кто первый увидел Ниагарский водопад? — Давид Ливингстон!..

Гуревич: Помаленьку, помаленьку, староста. Иначе ты вызовешь переполох в слабых душах… А ты не подумал о том, что Алкивиад тоже вожделеет? Ты вот уже немножко порфироносен. А взгляни на Алеху…

Прохоров: Ал-леха!

Алеха: Я тут. *(Пока Гуревич чародействует со спиртом и водою — не выдерживает. Делает лицо. Тренькает себе по животу, как бы аккомпанируя на гитаре. Начинает внезапно и анданте.)*

А мне на свете – все равно.
Мне все равно, что я говно,
Что пью паскудное вино
Без примеси чего другого.
Я рад, что я дегенерат,

Я рад, что пью денатурат,
Я очень рад, что я давно
Гудка не слышал заводского…

(Вливает в себя все ему налитое. Исполинский выдох. Пробует лихо продолжить свое традиционное.)

Обязательно,
Обязательно
Я на рыженькой женюсь!
Пум-пум-пум-пум!
(по собственной пузени, разумеется)
Об-бязательно…

Гуревич: Стоп, Алеха. Не до песнопений. Кругом нас алчут малые народы. А мы тем временем, сверхдержавы, — пробуем на вкус то, что, вообще-то говоря, делает наши души автономными, но может те же самые души и на что-нибудь обречь. Приобщить этих сирых?

Прохоров: Еще как приобщить! Ал-леха!

Алеха: Я здесь. *(Машинально подставляет пустой стакан.)*

Гуревич: Болван. Ты понимаешь, что такое — сирость?

Алеха: Еще бы не понять. Сережа Клейнми-

хель, — у него на глазах Паша Еремин, комсорг, оторвал у мамы почти все. И он теперь все кропает и пишет, кропает и пишет… Позвать его?

Гуревич: Позвать, позвать… *(Наливает полстакана.)*

Прохоров: Клейнмихель! На ковер.

Гуревич (подошедшему Сереже): Так о чем тебе моргнула перед смертью твоя мама?

Сережа (всплакнув, конечно): Она все знала. Мамы — они всегда все знают. Что меня не допустют и не дадут начальство снимать картину фильма про маму и Семена Михайловича Буденного, и как они крепко целовали друг друга перед решающей битвой. А свою нечистую руку приложил к этому Пашка Еремин, еврейский шапион…

Гуревич: Не торопись. Выпей. *(Сережа, выпив, прижимает руку к сердцу, не то в знак благодарности, не то всерьез желая уйти из этого мира.)*

Сережа: Я знаю, что такое еврейский шапион. Первый признак — звать его Паша. А фамилия его — Еремин. Других доказательств и не надо. Он не дает мне ночью рисовать стихи и планы всего будущего.

Гуревич: У тебя это что в руках, Буденный?..

Сережа: Это что я прячу от предателя Павлика.

Это все, что я построю, когда меня выпустят. А если я чего-нибудь построю, — Павлик, злодей, все подожжет. Я вам сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали…

Прохоров: Давай я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет баритона… Так-так… Проект будущих торжествований. Номер один: Дом больницы разбитых космонавтов. Номер два: Дом Любви и Здоровья больных космонавтов. Номер три: Дом Любви к своей маме как можно лучше и хорошо. Номер четыре: Дом, где не гуляют до двенадцати ночи, а живут с родными иногда и вообще. Номер пять: Дом Коммунизма. Там приучают не бегать с топором и не пропивать ребят и космонавтов. Номер шесть: Культурный стадион космонавтов, чтобы метать их в цель…

Гуревич: И долго еще будет эта тягомотина?.. Сереже больше не давать…

Прохоров: Сейчас-сейчас… *(Продолжает.)* Номер семь: Книжная фабрика культурных летчиков, с гипноседативным эффектом. Номер восемь: Дом и Культурная дорога для спортивных татар. Номер девять: Аэродром культуры для татар и космонавтов. Десятое: Вокзал Поездов. Чтобы девушки в коротких юбках стояли

на подножке и махали приходящими поездами вслед уходящим поездам.

Алеха фыркает.

Прохоров (продолжает): Спортивный внимательный институт. Спортивный внимательный светофор для татар и космонавтов. Спортивный внимательный интернат для всех аэродромов Космуса. Номер четырнадцать и предпоследний: Детский Мир на спортивной реке, где маленькие шпионы тонут, а большие — всплывают для дачи больших и ложных показаний. Номер пятнадцать и последний: Космическая выставка веселой любви и тайных радостей всех веселых космонавтов веселого Космуса…

Гуревич: М-м-м-да… Тебя все-таки дурно воспитывали, Клейнмихель… Может быть, и прав комсорг Еремин, расчленив твою маму?..

Сережа: Нет, он был глубоко неправ. Когда она была в целости, она была намного красивше… Вам бы только посмеяться, а ведь смеяться-то не от чего… У меня есть еще один проект, чтобы в России было поменьше смеху: трубопровод из Франкфурта-на-Майне, через Уренгой, Помары, Ужгород — на Смоленск и Новополоцк. Трубопровод для поставок в Россию слезоточивого газа. На взаимовыгодных основаниях…

Гуревич: Браво, Клейнмихель!.. Староста, налей ему еще немножко.

Староста наливает. Погладив Сережу по головке, подносит.

Сережа (тронутый похвалою, пропустив и крякнув): А еще я люблю, когда поет Людмила Зыкина. Когда она поет — у меня все разрывается, даже вот только что купленные носки и те разрываются. Даже рубаха под мышками — разрывается. И сопли текут, и слезы, и все о Родине, о расцветах наших неоглядных полей…

Гуревич: Прекрасно, Серж, утешайся хоть тем, что заклятому врагу твоему, комсоргу, не будет ни граммулечки. Он, к сожалению, принадлежит к тем, кто составляет поголовье нации. Мудак, с тяжелой формой легкомыслия, весь переполненный пустотами. В нем нет ни сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной ублюдочности. На мой взгляд, уж лучше дать полную амнистию узникам совести… То есть, предварительно шлепнув, развязать контр-адмирала?

Прохоров: Ну конечно. Тем более, он уже давно проснулся, ядерный заложник Пентагона. *(Потирает руки, наливает поочередно Гуревичу, себе, Алехе.)* Вставай, флотоводец. Непотопляемый авианосец НАТО. Я сейчас тебя развяжу, — при-

знайся, Нельсон, все-таки приятно жить в мире высшей справедливости?

Михалыч (его понемногу освобождают от пут): Выпить хочу…

Прохоров: Да это ж совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово. *(Михалыч вздрагивает.)* Да нет, ты просто принеси извинения оскорбленной великой нации, и так, чтобы тебя услышали твои прежние друзья-приятели из Североатлантического пакта. Ну, какую-нибудь там молитву…

Михалыч (быстро-быстро, косясь на Прохорова, наливающего заранее):

Москва – город затейный: что ни дом, то питейный.

Хворого пост и трезвого молитва – до Бога

не доходят.

Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру.

Первая рюмка колом, вторая соколом,

а остальные мелкими пташками.

Пить – горе, а не пить – вдвое. Недопой хуже

перепоя.

Глядя на пиво, и плясать хочется…

Прохоров (намного одушевленнее, чем во втором акте): Так-так-так…

Михалыч: Справа немцы, слева турки, ебануть бы политурки. Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Что-то стало холодать, не пора ли нам…

Гуревич: Пора, мой друг, пора… *(Адмирал выпивает — и вытаращивает глаза от крепости напитка и перемен земного жребия.)* По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин имеет право выпучивать глаза, но не до отказа… Вова!!!

Вова подходит покорно, но почему-то держа за руку бледного Колю.

Гуревич: Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. *(К Прохорову.)* А почему они, собственно, здесь, — а не там?

Прохоров: Ну, ты же сам слышал… эстонец… голова болит… разве этого недостаточно?.. А что касается Вовы, — так он просто так… подозревается в уникальности…

Гуревич: Не надо кручиниться, Вова, завтра же

будешь со мною на свободе. У тебя есть мечта?..

Вова: Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку — она называется гамбузия. Так вот, эта рыбка — гамбузия — поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Потому что стоит человеку проглотить вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лямблию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух лямблий…

Гуревич: И сколько этих вот самых лямблий может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?

Вова: Она может схавать зараз семьдесят пять штук.

Гуревич: И — не поперхнуться?

Вова: И не поперхнуться.

Гуревич: Отлично. Вот ровно столько грамм ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордоворот сегодня же ночью расплатится за то, что сделал тебе на носу эту «модус-вивенди»…

Вова (единым залпом выпив, — то, как травка, зеленеет, то, как солнышко, блестит): А самое главное, чем хороша гамбузия, — так от нее ни одного комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик…

Прохоров: А что это за Эдик?..

Вова: Никто не знает. Но, как только в небеса подымается Веспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак: пора расходиться. Ничего не поделаешь… Сергунчик, мой внук, не послушался — и вот вам результат: ветры унесли его неведомо куда… по заказу Гостелерадио…

Гуревич: Удивительная все-таки страна — Россия! Ну с какой стати Эдик? На каком основании — Эдик?.. *(Обращается к Коле.)* Коля! Ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?

Коля: Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. *(Простирая к публике руку.)* Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего. Десертным вермутом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его, — напрасно, его уж нет, младой певец нашел безвременный конец. Особой водки он просил, и взор являл живую муку, — и кто-то вермут положил в его протянутую руку!..

Гуревич: Здорово!.. Налейте поэту мушкателейнвейну!

Коля (выпивая свою долю мушкателейнвейна): А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?

Прохоров: Все оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит, взялось.

Гуревич: И при этом, кроме чести, не потеряно ничего.

Прохоров: Если явятся вопросы еще, обратитесь к Вите.

Гуревич: Да, да. Если кому чего неясно — пусть обращается к нашему незабвенному гроссмейстеру. Какая честь — еще при жизни называться незабвенным! Ви-тя! Корчной! Что новенького-шизофреновенького?

Все смотрят на Витю. Не совсем понятно, спит он или проснулся, потому что улыбка его, оставаясь дежурной за время сна, становится, по пробуждении, сардоническою. Сейчас на нем ничего этого нет.

Гуревич: Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет — стало быть, спит и не проснется вовеки…

Витя: Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.

Прохоров (поднося Вите): Теперь ты понимаешь, гроссмейстер, что мы живем не то что в мире высшей справедливости, а в мире такой справед-

ливости, которая даже чуть выше в сравнении с наивысшей?..

Витя (приподымая большую розовую голову): А я не умру?

Гуревич: Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения… Во всей происходящей драме — до тебя — никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали. Счастье человека — в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть — так смерть. Смерть — это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.

Витя пьет и — встает. Всех обнимая своей улыбкой и не стыдясь живота своего, почему-то отправляется к выходу.

Прохоров: Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной — Витя — хочет пройтиться в сторону клозета… Стасик! Прекрати свои рот-фронты. Иди сюда…

Гуревич (спохватившись): Да, да. Никакие рот-фронты и но пасараны уже не пройдут. Над всей Гишпанией — ясное небо. Франсиско Франко. По этому поводу — опусти свою глупую руку и подойди. Твоя неистовая Долорес — в соседнем отделении. Пропусти для храбрости сто двадцать,

и мы соединим вас, недоумков…

Стасик: Так она еще не умерла?..

Гуревич: Давно уже подохла. Но, как только услышала о тебе, о предстоящем свидании, она вытряхнула землю из глазных своих впадин и сказала: «Пусть придет ко мне, я люблю молодых и растленных. Но прежде, — сказала она, — но прежде я должна привести себя в порядок, я ведь так долго пролежала в сырой земле…»

Стасик: Я понимаю… Женщина всегда есть женщина, если даже пассионария. У нас есть о чем побеседовать: массированное давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И — вдобавок ко всему — насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чон Ду Хван, он все мечтает стереть Советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть то, у кого так много-много земли — и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чондухванов…

Гуревич: Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил… Боже мой, Витя!..

Витя (с улыбкой, обаятельнее которой не было от Сотворения): Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой… *(Ставит*

на стол посреди палаты еще один белый ферзь. Два белых ферзя рядом — это уже слишком. Многие теряют и остатки своих убогих рассудков.)

Прохоров: С шахматами мы потом разберемся… А шашки — где?.. Чемпион мира по русским шашкам Виктор Куперман… *(Улыбка — в сторону Гуревича, вопрос адресован Вите.)* Так вот, шашек нет. Сейчас растерянно смотрит на мир наш русский товарищ Куперман. И вот он, молодой и здоровый, крутится в своем гробу. Не путать с Долорес Ибаррури… Он крутится в своем гробу, хотя он молод и здоров…

Коля (прерывает старосту, чего с ним никогда не бывало): А кто вообще автор желудочно-кишечного тракта?..

Гуревич: Неужели и теперь тебе непонятно кто?.. *(Присаживается к Вите.)*

Скажи мне, Витя, ну, а если б ты…
Ну… двадцать шесть бакинских комиссаров…
Чудовищно подумать!.. Что б тогда
Принес толпе из всех своих глубин?
Шпинозу? Группенфюрера СС?
Ударный финиш юбилейной вахты?
Рене Декарта?..

За дверью слышны каблучки. Это Натали с последним обходом. И, слава Богу, она уже слегка первомайски поддатая. Иначе — она уловила бы в палате спиртной дух.

Прохоров: Тишина!.. Все — по местам! Накрыться с головой!

Натали входит, всем желает спокойных ночей. Поправляет одеяло — у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовья Гуревича. Никому не слышные — а может быть, слышные всем — шепоты и нежности.

Натали (полушепотом): Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо. *(Гуревич пробует что-то сказать. Натали прикладывает пальчик к губам.)* Тсс… Все дрыхнут. В коридоре ни души. Адье. Спокойной ночи, алкаши. *(Проплывает к выходу, тихо-тихо прикрывает за собой дверь. Стук удаляющихся каблучков.)*

Все пациенты разом сбрасывают с себя одеяла, приподымаются в постелях и завороженно глядят на два белых ферзя посреди палаты.

ЗАНАВЕС

Пятый акт

Между четвертым и пятым актом — 5–7 минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафешантанных танцев начала века, дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского, канканов и кэк-уоков, российских балаганных плясов и самых бравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии.

Подымается занавес.

Все та же 3-я палата, несколько часов спустя: все выглядит настолько иначе, что глупо и говорить об этом.

Прохоров: Рас-светает!.. Аль-леха!!

Алеха: Да, я тут.

Прохоров: Вдарь что-нибудь на своей гитаре, Диссидент! Вдарь по сердцам наших просветленных узников!

Алеха: Пум-пум-пум-пум.

Представление начинается. В нем принимают участие все, даже комсорг Пашка Еремин. Откуда только он успел нализаться — непонятно, ведь ему было отказано даже в граммулечке.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
Я надену платье бело
И весеннее пальто.
Никого я не боюся:
Председатель – мой отец.

Вова:

Председатель к нам спешит,
«Не кручиньтесь, – говорит, —
Не кручиньтесь, не тужите,
Удобренья положите».

Михалыч:

Дети в школу собирались,
Мылись, брились, похмелялись.
Эх, в бога-душу-мать,
Дайте курочку!

Коля:

Ему уж 20 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж 30 лет, —
А он такой дурак!

Ему уж 40 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж...

Алеха (прерывает его):

Коля водит самолеты —
Это очень хорошо.
Вова пысает в компоты —
Это тоже хорошо!

Прохоров:

А агент из Миннесоты
Тоже очень хорошо.

(Это, разумеется, выпад в сторону Михалыча, который в это самое время пробует, как сен-сансовская плисецкая-лебедь, делать ручками фокусы-покусы.)

Сей агент, агент прекрасный,
Опрокинув свой бокал,
На груди ее атласной
Безмятежно засыпал.
Хо-хо!

Алеха:

Пум-пум-пум-пум!

Вся страна лежит во мраке —

Огонек горит в Кремле!

Пум!

Обожаю нежности

В области промежности!

Витя со всем своим пузом вступает в пляс, повязав наволочку вместо косынки.

Алеха (подтанцовывает к Вите):

Ай-ай! Ох-ох!

Все готово. Бобик сдох.

Что с тобою приключилось, Манечка?

Витя (не без кокетства):

Совершенно ничего.

Ровным счетом ничего.

Ничего не приключилось с Манечкой.

Просто – слишком завертелась,

Просто – очень захотелось

Съездить в будущем году

В Пизу или Катманду!

Оп-пля!!

Прохоров:

Кудри вьются,
Кудри вьются,
Кудри вьются у блядей.
Почему они не вьются
У порядочных людей?

Витя:

Хе! Хе!
Потому они не вьются —
Денег нет на бигудей!

Алеха (поправляя Витю):

Потому что у блядей
Денег есть на бигудей,
А у порядочных людей —
Денег только на блядей!

Гуревич (между тем с тревогой всматривается в полусонного Хохулю. Очень заметно, как тот, и выпив-то всего-навсего грамм 115, — клонится к закату. Гуревич подходит к нему, тормошит): Хохуля! Для оживления психеи хочешь еще немножко дёрнуть? Ты меня не слышишь?.. Не слышит… Передаю по буквам, Хохуля… дёр-

нуть… Д — движение неприсоединения, Дуайт Эйзенхауэр, девичьи грезы, дивные бедра, День поминовения усопших… Д. Следующая — ё… Только вот как передать ему «ё»?.. Подлец Карамзин — придумал же такую букву — «Ё». Ведь у Кирилла и Мефодия были уже и Б, и Х, и Ж… Так нет же. Эстету Карамзину этого показалось мало… Стоп, ребятишки!! Хохуля — не дышит!..

Одни обступают мертвеца; другие — продолжают беззаботное буйство.

Прохоров: Вот к чему приводит лечение электрошоком! Вот вам блестящее подтверждение несостоятельности нашей медицины!

Стасик становится у трупа, оттянув подбородок, в позе стерегущего Мавзолей.

Гуревич: Ничего. Ничего неожиданного. Следует вполне полагаться на судьбу и твердо веровать, что самое скверное еще впереди.

Прохоров (добавляет): Рене Декарт. И да не будет никто омрачен! Мы отмечаем сегодня вальпургиево празднество силы, красоты и грации! А Первомай пусть отмечают нормальные люди, то есть не нормальные люди, а нас обслуживающий персонал! Ха-ха! Танцуют все! Белый танец! Алеха!

Алеха:

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
А я вот все люблю,
А я вот всех люблю:
Дюдюктивные романы,
Альбионские туманы,
И гавайские гитары,

И гаванские сигары,
И сионских мудрецов,
И сиамских близнецов.
Уй-уй-уй-ууууй!
(на мотив Петра Чайковского)
Не ходи пощипывать,
Не ходи посма-атривать,
Не ходи пощу-упывать
Икры наши де-е-евичьи-и…

Витя (под Кальмана, играя пузенью):

За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, о Боже мой?

Коля (под советскую детскую песенку):

У меня водчонки нет.
Даже вермутишки нет…

Прохоров (подхватывает):

Только пиво, только воды!
Только воды, только пиво!
И никто у нас не пьян!
Лейте, лейте, сумасброды,
Одуряющее диво
В торжествующий стакан!
Пиф-паф!

Подходит к баклаге со спиртом, наливает, в себя опрокидывает. То же самое хотели бы сделать и другие. Но Гуревич их останавливает.

Гуревич: Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить тебе отраду: твоя мама — не умерла! Она жива. Пашка ее не убивал! *(Наливает ему.)*

Сережа (прижимая налитое к сердцу): Ура! Моя мама жива!

Пашка: Ура! Я ее не убивал! *(Мгновенно выхватывает кружку из рук Сережи и залпом выпивает.)*

Гуревич:

Ты ловок, Паша, как я погляжу.
Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий.
А вот по морде смажут – это точно —
«Приватно и в партикулярной форме».

Прохоров: Рене Декарт?.. *(К Паше)*:

Короче, друг любезный, —
Ступай в манду по утренней росе!

Паша, получив от старосты пощечину и икнув, присоединяется к пляшущим.

Гуревич: Нет, ты только посмотри, староста, на это вот итоговое и рвотное. Значит, все — все было не напрасно, все революции, религиозные распри, взлеты и провалы династий, Распятие и Воскресение, варфоломеевские ночи и волочаевские дни, — все это в конечном счете только для того, чтобы комсорг Еремин мог беззаветно плясать казачок… Нет, тут что-то не так… Подойди, Сережа, я тебе еще чуточек налью…

Сережа, перекрестившись, выпивает.

Гуревич: Ну, как поживают твои веселые космонавты Космуса?

Сережа (одушевленный пятью глотками, приплясывает в такт остальным):

Космонавты и татары,
Космонавты и татары —
Все неправда. Все говно.
Уносить свои гитары
Им придется все равно.
Эй-я!

Гуревич: Вот это да… А Вова? Где Вова? Что с Вовой?

Вова сидит в постели, затылком опершись о подоконник, без движения и почему-то с совершенно открытым ртом.

Гуревич: Поди-ка взгляни, Прохоров, что с ним?

Прохоров: Дышит! Вовочка дышит! *(Напевает ему из Грига.)* «Идем же в лес, друг милый мой, где нас фиалки ждут. Идем же в лес, в зеленый лес, где нас фиалки ждут…»

Вова не откликается ни звуком. Рот по-прежнему открыт. А головку его уже обдувает Господь.

Гуревич: Однако!.. Там *(кивает в ту сторону, где происходит маевка медперсонала),* там веселятся совсем иначе. Ну что же… Мы — подкидыши, и пока еще не найденыши. Но их окружают сплетни, а нас — легенды. Мы — игровые, они — документальные. Они — дельные, а мы — беспредельные. Они — бывалый народ. Мы — народ

небывалый. Они — лающие, мы — пылающие. У них — позывы…

Прохоров: А у нас — порывы, само собой… Верно говоришь! У них — жисть-жистянка, а у нас — житие! У нас во как поют! а у них — какие-нибудь там Ротару и Кобзоны… А я бы эту прекрасную Софию Ротару утопил бы — вот только не знаю, где лучше, в говне или проруби. А прекрасного Иосифа Кобзона за чекушку продал бы в Египет… Хо-хо! только и делов! *(Сепаратно выпивают по совсем махонькой. Остальные, томительно облизываясь, стоят в стороне.)*

Прохоров: И вообще — в России пора приступать к коренной ломке всего самого коренного!.. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов — утопил. Теперь уже пора бы…

Гуревич: Да, да. Теперь уже пора бы менять этикетки. А то — ну что за преснятина? Юбилейная, Стрелецкая, Столичная… Когда я это вижу, у меня с души воротит. Водяра должна быть как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим, так: Девичья Горючая — 5 рублей 20 копеек. Мужская Скупая — 7 рублей. Беспризорная Мутная — 4.20. Вдовья Безутешная — тоже не очень дорого: 4.40. Сиротская Горькая — 6 рублей. Krokodilovaia importnaia — червонец. Ну,

и так далее… Но только — прежде чем ломать Россию на глазах изумленного человечества, надо вначале ее просветить…

Прохоров: Вот-вот. Наша запущенность во всех отраслях знания… подумать страшно. Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь себе — никто не знает. Из 145 опрошенных только один ответил правильно, и то невзначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эру Просвещения?

Гуревич: Так мы уже ее начали. Пока — в пределах 3-й палаты. А там, смотришь… Ну, чем был русский народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком — никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве — и говорить не приходится. Когда я, будучи на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус…

Прохоров (патетически): Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть заколдованность. Я чувствую это по себе,

а сегодня ночью — особенно…

Гуревич: Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недорезанность, — так это тоже легко поправимо…

Тем временем Алеха, Витя, Коля, Сережа и Михалыч медленно приближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разной степенью обожания.

Прохоров: Алеха?!

Алеха: Мы все тут.

Прохоров: И хорошо, что все.

Гуревич: Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже все только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкою. Ватикан им выдает эту похлебку или еще кто — не знаю, — но они глядят при этом в сторону России и думают… о чем уж они там думают, я тоже не знаю… но, как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы — готовите себя к подвигу?

Витя Толстопузый: Еще как готовим!

Гуревич: Ну вот и прекрасно. *(Обносит напитком всех поочередно. Продолжает при этом.)* В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремся в очереди — но ведь не за жалкой

ватиканской похлебкой, а за предметом высшей категории! Это тоже надо понимать!.. И потом — они разобщены: у каждого свой трепет, свое урчание в животе. У нас — один трепет и одно урчание!

Алеха: Ура!

Прохоров: Это ты к чему, дурак, крикнул «Ура!»?

Алеха: А потому, что они разобщены. И мы их передушим, как котенков!

Прохоров: Как ты думаешь, Гуревич: передушим?

Гуревич: Да душить-то пока зачем? Так уж сразу и — душить! Миротворнее нас — нет среди народов. Но если они и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем они и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни… Кто-то вздохнул за стеной — что нам за дело, родной? Глазки скорее сомкни». И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»… Нет, мы не таковы. Чужая беда — это и наша беда. Нам дело есть до любого вздоха, и спать нам

некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха, тяжелого вздоха за стеной, — но и вообще вдоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!

Прохоров: Я понял так, что все-таки душить. Только вот не знаю, с кого начать. Наверно, все-таки с фрицев.

Гуревич: Помилосердствуй, Прохоров! Каких еще фрицев? Для того чтобы фриц не дышал, нам не понадобится даже качнуть левой ногой! Да фриц уже, по существу, и не дышит!

Витя: Я бы голландцев наказал, за их летучесть…

Михалыч: Тогда уж и жидов, за их вечность…

Прохоров: Тссс!.. Я предлагаю, Гуревич, лишить адмирала следующей порции напитка. И заодно разжаловать его в юнги. За вульгаризм…

Гуревич: Мы, пожалуй, так и сделаем.

Алеха: А меня вот лично интересуют Британские острова…

Гуревич: Ну, с Британией нечего и сюсюкать. Уже Геродот не верил в ее существование. А почему мы должны быть лучше или хуже Геродота? Надо, чтобы все достоверно убедились, что ее и в самом деле не существует, — а для этого при-

ложить одно, самое незначительное усилие…

Прохоров: А янки в это время пусть чуточек потрепещут. Пусть у них будут поганые, бессонные ночи, нечего с ними гудбайничать…

Коля: Но вот… если мне прикажут душить скандинавов… так за что мне их душить? Они ведь такие белокурые-белокурые, такие ни-в-чем-не-виноватые…

Гуревич: Вы ошибаетесь, Коля. Их надо пропесочить для начала за то, что своих зловонных викингов и конунгов они считают пращурами наших великих князей. И потом — за Квислинга и вообще за то, что они мореплаватели…

Прохоров (подхватывает):…и за то, что они вольно разгуливают по обоим, нашим, исконно русским полюсам. Стервецы они, а никакие не мореплаватели… К ногтю! Я так считаю…

Михалыч: До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте Настеньке. Все. *(Как простреленный навылет, валится у обочины постели и храпит навеки.)*

Гуревич: Что это с ним? Шутит он?.. или..?

Прохоров: Юнгу просто немножко укачало нашими штормами. Это ничего… С итальяшками, например, мы и без него управимся. Пустее племени Господь от веку не сотворял. Им бы только

все время обниматься, и ничего другого у них нету. Взять хотя бы этих… Сакко и Ванцетти. Вообще-то, обниматься пусть обнимаются. Сакко прекрасен и телом и душою. У Ванцетти — души и в помине нет, зато какие формы! Что спереди, что сзади! Но формы-то формами, а зачем бросать в еловый костер, как головешку, нашего партийного товарища Джордано Бруно? Да будь я итальянец, как бы я осмелился взглянуть в русские глаза после этого!..

Алеха: Эх, разбередил ты меня этими… формами прекрасной Ванцетти! Полячку бы мне!..

Прохоров: Не будет полячек!!

Витя: А их-то за что? За Тараса Бульбу?..

Гуревич: Плевать в твою Бульбу!.. За то, что они опередили нас и в географической приближенности к Европе, и…

Прохоров: И в исторической ненависти к жидам…

Алеха (в подражание своему патрону): У меня есть предложение: разжаловать товарища Прохорова в мои ординарцы за вульгаризм и лишить предстоящей рюмахи…

Гуревич: Ну, это уж слишком! Шутнику надо просто дать немножко по шеям…

Прохоров подходит к Алехе и слегка дает ему

«по шеям».

Гуревич: Боже! Они опять все перепутали!.. Ну, да ладно. Скажите-ка мне лучше, вы, готовые к подвигу: а кто из вас любит французиков?

Все: Все!

Гуревич (саркастично): Все?

Все (опомнившись): Никто!

Гуревич: Ну, то-то же. Тут уж слишком обильный криминал: и правый бок Багратиона, и живот Александра Пушкина, и левый глаз Кутузова, и…

Коля (пьяненький): Но это же турки!.. глаз у Кутузова…

Прохоров: При чем здесь турки? Какие еще турки?! Всех турок уже давно перестрелял из ружья наш болгарский товарищ Антонов, на площади Святого Петра в Риме. А я — лично видел хорошую картину: на ней изображен Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами…

Гуревич: В том-то все и дело. Русский не должен быть одноглазым. Вот они — они могут себе позволить эту роскошь, все эти адмиралы Нельсоны — Рокфеллеры. А мы — нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас глядеть в оба. Да. *(Аплодисменты.)*

Коля: Но… Лиссабон… наш такой красивый

Лисабон!..

Прохоров: А это еще что за Лисабон? Что такое вообще — Лисабон? Облить его водой со всех сторон и никого не впускать! Вот так. Или — поджечь его со всех сторон и никого не выпускать!..

Гуревич: Одно только слово «Лисабон» — мне уже противно слушать. У меня разливается желчь, когда при мне говорят «Лисабон». А разве должна разливаться желчь у человека? Нет, она разливаться не должна… Значит, и Лисабона быть не должно! *(Аплодисменты.)* Тебе, Коля, нужен Лисабон?

Коля: Не-а…

Гуревич: А тебе, Витя?

Витя: Нисколечко.

Гуревич: Вот видите: на свете существуют вещи, решительно никому не нужные, — цветут, благоухают и существуют. Тогда как человеку не хватает самого насущного. Короче, Лисабона не будет… Но при этом — могу я рассчитывать на своих стратегических союзников?

Все (вразнобой): Можешь, можешь, Гуревич! Давай еще шлепнем по маленькой!..

Гуревич: Самое время!

Шлепают по маленькой.

Сережа: Добрый день, быть может, вечер,

я знать, конечно, не могу, привет от чистого сердечка я передать тебе спешу. Здравствуй, покойная мама, с приветом к тебе твой сын Федя. *(И вдруг захохотал — необычайно — ведь его никто не видел даже улыбающимся. Похохотав и закрутившись волчком, падает на пол, бьется в странных пароксизмах.)*

Все на время немеют. Музыка.

Гуревич (нахмурившись): Ну что ж… Мама оказалась жива — и он от этого оказался мертв… В истории уже бывали случаи смерти от внезапно доставленного радостного известия. Мишель Монтень.

Стасик (сбрасывает с себя позу мавзолейного часового и снова начинает пульсировать из угла в угол палаты): Рожденные под знаком качества пути не помнят своего. Но мы — отребье человечества — забыть не в силах! Расслабьтесь, люди, потрясите кистями. И пожалуйста, не убивайте друг друга, — это доставит мне огорчение. Бог мудрее человеков! Держитесь за ризу Христову! *(И снова окаменевает: на этот раз в коленопреклоненной и молитвенной позе.)*

Гуревич (вдохновенно продолжает): А если нет Лисабона — понятное дело, остальные континенты проваливаются сами собой… Начиная

с азиатского Востока. Это пагубное и зловещее скопление нечистот — не имеет права быть! Вот вам восточная надпись на камне, надгробная, — и ведь Евангельских времен! — «Всеобщий любимец, он был полон очарования. Не щадя никого, истреблял он всех без остатка». *(Смех в зале.)* Ну, что прикажете делать с такими народами? А ничего не делать! Они издохнут сами по себе. У них то и дело грохочут демографические взрывы, фурункулезы, хиросимы, напалмы, нагасаки, и вообще жрать нечего. Сами по себе — тихо вымрут, для очищения земли и небес! А все остальное довершат клещевой энцефалит, грызня марксистских диктатур и маньчжурская лихорадка. Близятся сроки Воздания! Выпьем по махонькой, дорогие собратья, чтобы приблизить эти строки!..

Алеха: Я, например, — за маньчжурскую лихорадку! *(Первым выпивает, крякает и пробует возобновить представление.)*

Пум-пум-пум-пум.
Пум-пум-пум-пум.
Вот он, вот он, конец света!
Завтра встанем в неглиже,
Встанем-вскочим: свету нету,

Правды нету,
Денег нету,
Ничего святого нету, —
Рейган в Сирии уже!

Хор (уже успевших выпить и прокрякаться):

Ничего на свете нету, —
Рейган в Вологде уже!

Прохоров (зычно):

Этот день победы!!

Хор:

Прохором пропа-ах!
Это счастье с беленою на устах!
Это радость с пятаками на глазах!
День победы!..

Гуревич: Ша! Пьяная бестолочь! вы, оказывается, ничего не поняли из моих вдохновенных прозрений! вы все перенапутали…

Прохоров: Мы все отлично поняли, Гуревич. Но только ты забыл про то, что есть ООН и Перес де Куэльяр… И когда начнут проваливаться континенты…

Гуревич: Ха-ха! Перес де Куэльяр, конечно, схва-

тится за свою перуанскую голову. Вы видели когда-нибудь людей с перуанскими головами? А вот у него — перуанская голова, и он-таки за нее схватится. Ну и пусть. Все равно ведь никто за нас не будет спасать зачумленный мир! И вы, все, — пируя, не забывайте о чуме! Пир — это хорошо, но есть вещи поважнее, чем пир. Генерал Хейг. И веруйте в конечное русское торжество, поскольку с ними — крестная сила, и ничего больше. С нами — все остальное!..

Звук вначале непонятный. Будто кто-то с размаху затворил за собою дверь на щеколду. Все поворачиваются. А это — Вова. А это — Вовин рот, раскрытый в продолжение всего пятого акта, — захлопывается навсегда. Почти в это же время обрываются храпы комсорга Еремина под белой простыней. За сценой — «Липа вековая».

Коля (шатаясь, подходит к Вове и прикладывает ухо к его сердцу): Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!. Не уходи. В лесу-то ведь сейчас как хорошо! И дух такой духовитый… *(по-ребячески плачет)* гамбузии плещутся в пруду… расцвели медуницы…

Вова не откликается.

Прохоров: Ну почему бы действительно не от-

пустить человека в деревню?.. Ведь просился же, каждый день просился, — и всякий раз отказывали. Вот и зачах человек от тоски по лесным пространствам…

Гуревич: За упокой…

Четверо оставшихся, под все длящуюся «Липу вековую», выпивают за упокой.

Прохоров (в упор смотрит на Гуревича): И чем же все-таки кончится?.. Вся эта серия наших побед над зачумленным миром?

Гуревич: О! Вначале — конечно — русская нация будет чувствовать себя счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухою. Но потом… Подцепив у побежденных все их недуги, они захиреют, и ничего не останется от их былого исполинства, они рассеются пылью по лицу земли. Вернее, их будет заносить — муссонами со стороны Яффы — их будет заносить все дальше и дальше на север, в сторону безжизненных просторов… все дальше на север, где дни еще облачнее, еще короче и, следовательно, где умирать еще безболезненнее и легче. Франческо Петрарка. И вот — пока русские летят в назначенную им бездну — народ Иеговы…

Прохоров: Наконец-то! Народ Иеговы! Мы с Алехой уже занимаем произраильские позиции.

То есть единственно разумные. То есть предварительно даже выбивая с этих позиций самих израильтян!..

Гуревич: Лихо!.. Бахрейн, Кувейт и Эмираты, известное дело, обрекут нас на нефтяной голод…

Прохоров: Но ведь их к тому времени не будет: ни Бахрейна, ни Кувейта…

Гуревич: Ну так что ж, что не будет. Ты плохо знаешь арабов. Даже когда их самих уже и нет, — их упорствующий фанатизм и бестолковость все равно — остаются. Так вот, они обрекают нас на нефтяной голод. А нам — наплевать. Зачем она, собственно, нам нужна, эта нефть? Может, тебе, Витя, она нужна?

Витя: В гробу я ее видал.

Гуревич: Даже Вите она не нужна. Мы ее заменим чем-нибудь, эту поганую нефть. Вермутом, например, — правда, Коля?..

Коля продолжает плакать, все тише, тише, и не отвечает ничего. «Липа вековая» продолжается.

Гуревич: Итак, я поведу вас тропою грома и мечты! и шестиконечная звезда Давида будет нам путеводительной и судьбоносной!.. Говорят, звезда его беспутного сыночка Соломона была уже пятиконечной. Это нам не годится. Соломон

Давидыч, имея восемьсот штук наложниц и…

Прохоров: Вот ведь до какой степени можно изблядоваться: пятиконечная звезда!

Гуревич (одушевляясь все более): Да здравствует Эрец Израиль до самого Евфрата!

Прохоров:

Зачем сужать? От Нила до Евфрата!

Гуревич:

Чего мельчать? От Нила до Евфрата —

Все это хорошо, но мелковато,

А от Евфрата – на восток, восток… —

И вплоть до Нила!..

Алеха: От Синайского полуострова — до Кольского!..

Гуревич: А если кто косо взглянет на нас — если еще будет кому глядеть на нас косо — будет как в Талмуде: Бен-Зама взглянул — и потерял рассудок. Бен-Азай взглянул — и умер. И да испепелит их Провидение! И да разметет их Господь божественной Метлою Своею!.. Итак, выпьем за союз сердец, покорных высшему жребию!

Прохоров: За союз сердец, связующий Россию и Израиль!..

Гуревич: За здоровье Ромена Роллана!.. Сейчас я вспомню, почему мне пришло в голову выпить за этого лысого черта… Да, да, вспомнил. «И будь во всем Израиле хоть один праведный, говорю я вам, вы не имели бы права осуждать весь Израиль!» Роллан, письмо к Верхарну. И столицей мира будет — что бы вы думали? Иерусалим? Ничего подобного! Кана Галилейская — вот что будет столицей мира! Ха!

Алеха (басит): И бу-удешь ты столицей ми-и-и-и… *(Не закончив, оседает на койку.)*

Гуревич: Распростертие крыльев наших будет во всю ширину земли твоей, Эммануил! Не лишайте себя предрассветных чувств! Где твоя труба, лучший трубач Советского Союза Тимофей Докшицер?! Свистать всех наверх! Еще по бокалу! За солнечное сплетение обстоятельств!..

Алеха (голосом хриплым и павшим): Ура.

Витя, выпив, тоже оседает на койку, рядом с Алехой. Его начинает неудержимо рвать, рвать даже шахматными пешками и костяшками домино. Сотрясаясь рвотою, делает несколько конвульсивных движений ногами — падает на постель бездыханный. Гуревич и Прохоров загадочно смотрят друг на друга. Свет в палате — неизвестно почему — начинает меркнуть.

Стасик (встает с колен. Забегал в последний раз): Что с вами, люди? Кто первый и кто последний в очереди на Токтогульскую ГЭС? Отчего это безлюдно стало на Золотых пляжах Апшерона? Для кого я сажал цветы? Почему?.. Почему в 1970 году ЮНЕСКО не отметило две тысячи лет со дня кончины египетской царицы Клеопатры?!. *(И снова замирает, на этот раз со склоненной головою и скрестивши руки на груди, а-ля Буонапарте в канун своего последнего Ватерлоо. И так остается до предстоящего через несколько минут вторжения медперсонала.)*

Прохоров: Алеха!..

Алеха (тяжко дышит): Да… я тут…

Прохоров (тормошит): Алеха!

Алеха: Да… я тут… прощай, мама… твоя дочь Любка… уходит… в сырую землю… *(запрокидывается и хрипит)* мой пепел… разбросайте над Гангом… *(Хрипы обрываются.)*

Прохоров: Так что же это… Слушай, Гуревич, я видеть начинаю плохо… А тебе — ничего?.. *(Уже исподлобья.)*

Гуревич: Да видеть-то я вижу. Просто в палате потемнело. И дышать все тяжелее… Ты понимаешь: я сразу заметил, что мы хлещем чего-то не то…

Прохоров: Я тоже — почти сразу заметил… А ты, если сразу заметил, — почему не сказал? принуждал почему?..

Гуревич: Да кто же принуждал? Мне просто показалось…

Прохоров: Что тебе показалось?.. А когда уже передохла половина палаты, тебе все еще казалось?.. *(Злобно.)* Ум-мысел у тебя был. Уммысел. Вы же не можете… без ум-мысла…

Гуревич: Да, умысел был: разобщенных — сблизить. Злобствующих — умиротворить… приобщить их к маленькой радости… внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней… Другого умысла — не было…

Прохоров: Врешь, ползучая тварь… Врешь… Я знаю, чего ты замыслил… Всех — на тот свет, всех — под корень… Я с самого начала тебя раскусил… Ренедекарт… Сссучара… *(Пробует подняться с кровати и с растопыренными уже руками надвигается на спокойно сидящего Гуревича. Но уже не в силах — что-то отбрасывает его назад, в постель.)* Ссучёнок…

Гуревич: Выражайся достойнее, староста… Что проку говорить теперь об этом? Поздно. Я уже после Вовиной смерти понял, что поздно. Оставалось только продолжать. Заметить-то я сразу

заметил. А вот убедился — когда уже поздно…

Прохоров: Ты мне просто скажи — смертельную дозу… мы уже перевалили?..

Гуревич: По-моему, да. И давно уже.

Обмениваются взглядами, полными бездонного смысла. Продолжает темнеть.

Прохоров: Пиздец, значит… Ну, тогда… Там еще чуть-чуть плещется на дне… Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел… На тебе нет никакой вины… Налей, Гуревич, весь остаток — пополам. Ты готов?

Гуревич (совершенно спокойно): Готов. Но только здесь умирать — противонатурально. Меж крутых бережков — пожалуйста. Меж высоких хлебов — хоть сейчас… Но здесь!.. *(Чокаются кружками. Дышат еще тяжелее прежнего.)* И потом — мне предстоит вначале большое дело… один обещанный визит… *(Прохоров, ухватившись за горло и сердце, — клонится и клонится к подушке.)*

Гуревич (машинально продолжает долбить): Они там маевничают… У них шампанское льется со стерлядями… У них райская жизнь, у нас — самурайская… Они — бальные, мы — погребальные… Но мы люди дальнего следования… Сейчас мы встанем… Изверг естества… неужели

с ней? Уже несколько часов — с ней?.. А я-то: о Кане Галилейской… «Гуревич, милый, все будет хорошо…» — так она сказала. Сейчас мы посмотрим, до какой степени все будет хорошо… Сейчас, сейчас… *(Вскакивает и опять обрушивается на стул.)*

За сценой — или изнутри стен — упадочническая песня Надежды Обуховой: «Ой, ты, ночка, ночка те-омная…» etc.

Гуревич: Ты звал меня на ужин, Мордоворот, так я — к завтраку… Чудотворная девка! Натали!.. Пока я тут сижу и приобретаю модальные оттенки, они в это время… Господи, не мучай… они в это время… *(Роняет голову на тумбочку и вцепляется в волосы.)*

Голос сверху (голос, в котором не столько императива, сколько насморочного металла): Владимир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй…

Гуревич (подымает голову и глядит на птицу с недоумением безмерным): Боже милосердный! Это еще что? И я почти ничего не вижу… Библию мне и посох — и маленького поводыря… За малое даяние пойду по свету — благовестить. Теперь я знаю, что и о чем — благовестить…

Голос сверху: Влади-и-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу *(ускоренно),* на хуй — на хуй — на хуй — на хуй…

Гуревич (с тяжким трудом приподымается со стула, вцепившись в тумбочку всей душою — только б не упасть, только б не упасть): Пока еще хоть немножко осталось зрения — я доберусь до тебя, я приду на завтрак… Ссскот… *(Отрывается от тумбочки. Качнувшись, делает первый шаг, второй.)* Ничего, я дойду. *(Третий шаг. Четвертый. Спотыкаясь в темноте о труп контр-адмирала, — падает. Медленно, ухватившись за спинку чьей-то кровати, — встает.)* Я дойду. Ощупью, ощупью, потихоньку. Все-таки дотянусь до этого горла… Ведь не может же быть, Натали, чтобы все так и оставалось. *(Почти совсем темно. Пятый шаг. Шестой. Седьмой.)* Боже, не дай до конца ослепнуть… Прежде исполнения возмездия. *(И снова падает, рассекая голову о край следующей кровати. Две минуты беспомощных и трясущихся громких рыданий.)* Дойду. Доползу… *(Как ему это удается? — снова встает во весь рост. Руками обшаривая перед собою пространство, делает еще пять шагов — и он уже у дверного косяка.)* Сейчас… чуть передохну — и по коридору, по стенке, по стенке…

Прохоров, до того лежавший спокойно, приподымает голову — и издает крик, всполошивший все палаты, всех спящих и неспящих медсестер и медбратьев в дальней ординаторской и в докторском кабинете. Так в этом мире не кричат. Взбудораженные, полусонные, поддавшие постовые, с Ранинсоном во главе, — по освещенному коридору приближаются к 3-й палате поступью Фортинбрасов. Первое, что им предстает, — едва дышащий Гуревич, уже совсем слепой, с синим и окровавленным лицом. Боренька-Мордоворот пинком отшвыривает его от входа в палату. Все врываются.

Ранинсон (перекрывая разноголосицу и гвалт): Срочно к телефону!! На центральный и в морг!!

Постовые медсестры (вразнобой): «А один-то! Один умер стоя! скрестивши руки!.. и до сих пор не падает, к стене привалился!» «Весь запас метилового — подчистую!» «Нет, один, по-моему, еще дышит…» «Кто же так кричал?» *(И пр. и пр.)*

Куча санитаров (толстых, с носилками): Сколько я помню, никогда такого урожая не случалось.

Начинается вынос трупов, поочередно. Конец финала второй симфонии Сибелиуса.

Боренька: Наташа, где твои ключи?!

Натали (ополоумев, даже не плачет): Ой,

не знаю… Ничего не знаю…

Одна из медсестер: А Колю-то, Колю зачем понесли? Он ведь будто немножко дышит…

Ранинсон (язвительно): Ничего! Тоже — в морг! Вскрытие покажет, имеем ли мы дело с клинической смертью или клиническим слабоумием!..

Боренька (поддевая ногой раненую голову Гуревича): А с этим — что делать?

Ранинсон: Пронаблюдайте за ним. А я — к телефону. Трезвону сегодня не оберешься.

Боренька (за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты. Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все): Ну, как поживаем, гнида?.. Тоскуем по крематорию?.. Вонючее ваше племя!.. *(Серия ударов в бок или в голову тяжелым ботинком.)* Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, сссрань еврейская. Всех!

Гуревич (хрипло): Я же — ничего не знал… *(Еще удар.)* Я же слепой… Я ничего не вижу… *(Удар.)*

Натали (из полутьмы): Что же теперь будет-то? Что же теперь будет-то? Мама!.. *(Толчкообразно всхлипывает. Плачет, как девочка.)*

Боренька (при каждой его реплике Сибелиус на время отступает, и вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняния, — отдает протухшей поросятиной, псиной

и паленой шерстью): Ослеп, говоришь? сссучье вымя!.. раньше ты жил как в Раю: кто в морду влепит — все видать. А теперь — хуй чего увидишь! *(Влепляет еще, потом опять в голову.)*

Натали (истерично): Борька! Переста-ань! Перестань! Ведь это с ума сойти!.. Переста-а-ань же! *(Закатывается в клокочущих рыданиях.)*

Боренька (со все возрастающим остервенением): Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя! *(Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение медбрата.)* Пидор гнойный! Тварь ебучая! Ссскотобаза!..

Занавес уже закрыт, и можно, в сущности, расходиться. Но там — по ту сторону занавеса — продолжается все то же, и без милосердия. Рык Гуревича становится все смертельнее. Оттуда — из палаты — сквозь занавес — вылетает к зрителям куль с постельным бельем; следом тумбочка, и рассыпается вдребезги. Потом — клетка с уже околевшим ото всего этого попугаем. Никаких аплодисментов.

Ранней весной 85 г.

КРОХОТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

«За музыкою только дело», без этого нельзя.

Кроме уже рассованных по тексту авторских указаний, можно использовать (совсем негромко) русские народные песни: вроде «Позарастали стежки-дорожки», «На Муромской дорожке», лучше оркестровые вариации на эти темы (в 3-м акте). Русскую песню «У зари-то у зореньки» (в 1-й половине 4-го акта). 1-ю часть 3-й симфонии Малера, совсем засурдиненно, в 1-м акте. Какое-нибудь из самых мерных и безотрадных Andante Брукнера в 5-м. Ну, и так далее.

33 зондирующих вопроса к абитуриентке Екатерине Герасимовой

1. Рус. лит-ра. Известный поэт 18 века имел обыкновение читать свои оды, стоючи на коленах у трона императрицы. И в качестве гонорара удостаивался «всемилостивейшими оплеушинами». Что это за поэт и кто эта императрица?

2. Рус. язык. Какая из частей речи (существит-ное, прилагат-ное, глагол, наречие, союз и т. д.) — древнейшая у человечества? (Существительное — вторая по старшинству, но ей не больше 40 тысяч лет.)

3. Рус. лит-ра. В отличие от XX века, ни один русский литератор XIX века не кончил жизнь самоубийством. Исключение одно (Всеволод Гаршин не в счет): в самом начале XIX века наложил на себя руки чрезвычайно известный русский писатель 18 века. Кто он? в каком году и каким образом он покончил с собой? (пистолет, петля, яд) — ненужное зачеркнуть.

4. Рус. лит-ра. Когда и сколько времени отсидел в тюрьме «цеховой малярного цеха 3-й нижегородской гильдии» А. Пешков-Горький? Кто его

вызволил (выкупил) оттуда и за какую цену?

5. Рус. язык. Почему следует писать «дезинфекция», но «дизентерия»?

6. Лит-ра. В современном грустном чернобыльском анекдоте есть такое: «Какая самая широкая река на Украине?» — «Днепр». — «Нет. Припять. Редкая птица долетит до ее середины». Так вот: какая фраза Гоголя и из какой его повести спародирована в этом нехорошем анекдоте?

7. Русский язык. По какой причине «сломя голову» или «очертя голову» обычно не отделяются в тексте запятыми? А вот «оттяпав голову» или «раскроив череп» следует отделять запятыми непременно?

8. Есть такой стишок:

Шли однажды через мостик
Жирные китайцы.
Впереди их, задрав хвостик,
Поспешали зайцы.

Вдруг китайцы закричали:
«Стой! лови! ах-ах!»
Зайцы выше хвост подняли
И попрятались в кустах.

Мораль сей басни так ясна:

Кто зайцев хочет кушать,
Тот ежедневно, встав от сна,
Папашу должен слушать.

Этот стишок написал знаменитый рус. писатель XIX века. Больше за все 44 года своей жизни (подсказка!) он не написал ни одной стихотворн. строчки. Как его фамилия?

9. Видел ли Пушкин на сцене гоголевского «Ревизора»? А если видел — то в каком санкт-петербург. театре? (А если и не видел, то в каком не видел?) Мариинском? Александринском? — ненужное зачеркнуть.

10. Рус. язык. Имя собственное «Игорь» мы заимствовали из древнескандинавского языка (в Зап. Европе он назыв. норманнским. На Руси назыв. варяжским). А из какого языка заимствовано имя существит-ное собственное «Тамара»? И когда оно вошло в обиход?

11. Рус. лит-ра. Проницат. человек Александр Герцен считал, что Ник. Добролюбов — провокатор и агент пресловутого III отделения. До тех самых пор, пока Добролюбов не загнулся от чахотки в 61 г., громко отстаивал свое заблуждение. Какие основания могли быть для этого у Герцена?

12. Какое было отчество у Татьяны Лариной?

13. 130 лет тому назад граф Лев Толстой вызвал на дуэль Ивана Тургенева. Какой (третий и великий) писатель их разнимал и — с большим усилием, но не бескорыстно — примирил? Кто этот третий? И какая корысть была у него, неприязненно относившегося к обоим дуэлянтам?

14. Рус. язык. Почему глагольная категория «деепричастие» называется «деепричастием»?

15 (самый простой). Как называлось родовое имение Ростовых в «Войне и мире»?

16. В 1901 г. была учреждена Нобелевская премия по литературе. По одной в год. Первым лауреатом стал француз Сюлли-Прюдом. За 85 лет только четверо русских ее удостоились. Кто эти четверо? и в какие годы?

17. Вот современная русская частушка:

Бормотуху и портвейн
Я не пью таперича.
В этом личная заслуга
Михаил Сергеича.

Какая очень известная поэма Николая Некрасова написана в том же стихотворном метре (то есть 4-стопным хореем)?

18. Рус. язык. В толковых словарях Ушако-

ва и Ожегова слово «улюлюкать» гениально определяется так: «кричать у-лю-лю». Но еще гениальнее определение другого глагола (мы каждый день десятки раз его употребляем): «Находиться в положении, при котором верхняя часть туловища опирается на что-нибудь нижней своей частью» (!). Назвать глагол.

19. Что это за басня у Крылова, одна строчка которой — в чуть измененном виде — стала первой строкой первой строфы «Евгения Онегина». («Мой дядя…» и т. д.)

20. Папенька Евг. Базарова у Тургенева бахвалится юному Арк. Кирсанову, что, будучи в свое время штабс-лекарем, щупал пульс у Витгенштейна и Жуковского. Жуковский — понятно кто. А кто такой Витгеншейн?

21. Сколько лет просуществовал журнал «Современник»? Назвать хотя бы десяток прославленных его сотрудников.

22. Рус. язык. Вот какая фраза есть у Писемского: «Да и сопротивлялась она не так уж долго, не более принятых в этой среде минут полутора, — признак не столько сердечного влечения: это была скорее врожденная склонность к падению». Почему в этой фразе нет запятой перед причастным оборотом? с какой стати сочетание

запятой и тире перед словом «признак»? И для чего двоеточие перед окончанием фразы?

23. «Ты знаешь путь на завод Михельсона?» (В. Маяковский, поэма «В. И. Ленин»). То есть завод, прославленный покушением на Ленина в 18 году. Какое (приблизит-но) расстояние отделяет место, где в Ильича стреляла Каплан, от того пруда (бывшего), где утопилась Бедная Лиза Николая Карамзина?

24. Кому принадлежит брезгливая реплика о драматурге А. Островском: «Все театры Москвы пропахли его вонючими полушубками». (Подсказка: автор этого суждения — генеральный инспектор Российских императ. театров, автор романса «Черная шаль» и многого другого.)

25. В 1889–1890–1891–1892–1893–1895 гг. высыпали на свет божий, словно сговорились, 6 самых крупных русских поэтов XX века. Кто эти шестеро? и рассовать их по годам.

26. Рус. язык. К вопросу об этимологии. В рус. яз. прижились сотни слов, образованных от имен собственных (чаще фамилий), например: гальванизировать (от Луиджи Гальвани), силуэт (Жорж де Силуэтт, министр финансов), вольт (Алессандро Вольта), хулиган (лорд Хулиган), галифе и т. д. Назвать еще хоть 5 подобных словообразований.

27. Какие 2 великих русских литератора родились не только в одной губернии, но и в одном уезде одной и той же губернии (и с интервалом всего в 3 года)?

28. Гости Фамусова в 3-м акте «Горя от ума» по-своему трактуют, отчего спятил Александр Андреич Чацкий. Хлестова: «Стаканами глотал, и пребольшими»… Загорецкий: «Нет-с, бочками сороковыми». Что это значит: «бочками сороковыми»? У всех без исключения русских прозаиков можно встретить такие меры объема: стопка, штоф, полуштоф и т. д. Какова емкость стопки? Сколько стопок вмещал штоф и — соответственно — полуштоф? Сколько штофов содержалось в ведре? И из скольких ведер состояла бочка?

29. Кто был секундантом в дуэли Лермонтова с де Барантом?

30. Вл. Маяковский и его К° любили, подтрунивая над Анной Ахматовой, петь ее

«Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король»

на мотив русской песни

«Ехал из ярмарки ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец» и т. д.

Поводом, конечно, послужила точная одинаковость стихотворного размера. Этим размером написан и припев Гимна Нашей Вел. Родины Сергея Михалкова и Эль-Регистана. Что это за размер? (6-стопный ямб, 5-стопный анапест, 4-стопный дактиль, 4-стопный амфибрахий?) Нужное подчеркнуть.

31. И опять Маяковский. В «Стихах о советском паспорте» жандарм смотрит на польский паспорт с крайним удивлением. «Откуда, мол, и что это за географические новости?» Почему в 1920-е гг. Польша всеми, в том числе и жандармами, воспринималась как географическая новость?

32. У Некрасова есть такое четверостишие:

«Не торговал я Музой. Но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука…» и т. д.

О каком «неверном звуке» идет речь? Какое событие 1866 г. имеется в виду? Какой разумный шаг в этом году сделал Некрасов, который квалифицировал потом этот шаг как торговлю Музой?

33. У какого — единственного за всю историю рус. лит-ры — прославленного писателя мама

была чистокровною турчанкою?

Ну, довольно.

26/IX

«Нобелевский комитет ошибается...»

(Об Иосифе Бродском)

«Нобелевский комитет ошибается только один раз в году», — съязвил один мой приятель месяц тому назад. И я, собственно, о Бродском писать не буду, это излишне. Любопытнее знать, как обмолвилась о нем знакомая мне столичная публика, от физика-атомщика до церковного сторожа, в конце октября 87 г. Я как можно короче.

Л., корректор издательства «Прогресс»: «Вначале, в бытность питерским тунеядцем, он был интереснее во сто крат. Пилигримы и все такое. Теперь, шагнув за Рубикон, он затвердел от пейс до гениталий».

Р., преподавательница 1-го медицинского института: «Я вижу, в Стокгольме поступают по принципу: все хорошо, что плохо для русских».

В. Т., поэт: «Ты как хочешь, Веня, а я вот за что его недолюбливаю: в нем мало непомерностей. В наше непомерное время надо быть непомер-

ным, а у него безграничны только его длинноты. Да и то не слишком безграничны — можно было б и подлиннее».

А., физик, доктор наук: «Для него все посторонне, и он для всех посторонен. Хоть некоторым врасплох застигнутым читателям кажется, что он ко всем участлив. Натан Ротшильд тоже участвовал в битве при Ватерлоо. В качестве зрителя, на отдаленном холме. К вопросу о „Холмах“».

Н. С., искусствовед: «Дело даже не в том, что он белоэмигрант. Но в нем есть какая-то несущественность. При всех своих достоинствах он лишен чего-то такого, чего-то такого, что делает его начисто лишенным вот того самого, чего он начисто лишен» (!).

В. М., переводчик, крайне правый католик: «Я не говорю уже о достоинствах самого стиха, это очевиднее очевидного. Но в нем есть то, что прежде называли так: вменяемость перед высшей инстанцией».

М., крайне левая православная: «Ну, не такая уж это неприятность, присуждение премии. Миновали уже те времена, когда нам были страшны подвохи со стороны Нобелевского комитета» (1/XI–87 г.).

Б. С., литератор: «Писать надо удовлетвори-

тельно или скверно. Отлично писать, как это делает И. Бродский, — некрасиво и греховно. И оскорбляет честь нации, оставшейся вопреки всему — у себя дома».

В. Л., тоже литератор: «Он совсем не умеет писать. Стихотворная строка должна звучать сама по себе, а не расплескиваться вниз. Что бы вы сказали, если б Хонсю-Хондо ничем не отделялся от Хоккайдо? Представьте себе: Сахалин непосредственно переходит в Хоккайдо, а Хоккайдо в Хонсю-Хондо. И никакого пролива Лаперуза. Это тошнотворно».

С., биолог: «Теперь я верю тем историкам, которые утверждают, что Парижская коммуна была еврейской махинацией» (1/IX–87 г.).

Продолжать не буду, чтобы вконец не утомить. А панегирических суждений не привожу за их избыточную восклицательность и единообразие и потому, что ко всем им присоединяюсь, конечно. Как бы ни было, грамотному русскому человеку — это я знаю определенно — было б холоднее и пустыннее на свете, если б поэзия Иосифа Бродского по какой-нибудь причине не существовала.

Все изложенные выше мнения о поэте мной самим предельно сокращены и доведены до сте-

пени литературной внятности.

Моя маленькая лениниана

Для начала два вполне пристойных и дамских эпиграфа:

Надежда Крупская — Марии Ильиничне Ульяновой: «Все же мне жалко, что я не мужчина, а то бы я в десять раз больше шлялась» (1899).

Инесса Арманд (1907): «Меня хотели послать еще на сто верст к северу, в деревню Койду. Но, во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается».

Впрочем, можно следом пустить еще два дамских эпиграфа, но только уже не вполне пристойных.

Галина Серебрякова о ночах Карла Маркса и Женни фон Вестфален: «Окружив его заботой, Женни терпеливо писала под диктовку Карла. А Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли. Это были счастливые минуты полного единения. Случалось, до рассвета они работали вместе». Но только люди, жившие за стеной, жаловались на то, что у них ночами «не прекращаются разговоры и скрип ломких перьев»

(в серии «Жизнь замечательных людей»).

Инесса Арманд — Кларе Цеткин: «Сегодня я сама выстирала свои жабо и кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за мое легкомыслие, но прачки так портят, а у меня красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я все это выстирала сегодня утром, а теперь мне надо их гладить. Ах, счастливый друг, я уверена, что Вы никогда не занимаетесь хозяйством, и даже подозреваю, что Вы не умеете гладить. А ну-ка, скажите откровенно, Клара, умеете Вы гладить? Будьте чистосердечны и в Вашем следующем письме признайтесь, что Вы совсем не умеете гладить!» (январь 1915).

Ну, а теперь к делу. То есть к выбранным местам из частной и деловой переписки Ильича с того времени, как он обучился писать, и до того (1922) времени, как он писать разучился.

В 1895 году он еще гуляет по Тиргартену, купается в Шпрее. Посетив Францию, сообщает: «Париж — город громадный, изрядно раскинутый».

Но вот уже в 96-м году Ильич помещен на всякий случай в дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге: «Литературные занятия заключенным разрешаются. Я нарочно справлялся

об этом у прокурора. Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет».

Оттуда же он пишет сестрице: «Получил вчера припасы от тебя, (…) много снеди (…), чаем, например, я мог бы с успехом открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции со здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной.

Все необходимое у меня теперь имеется, и даже сверх необходимого. Свою минеральную воду я получаю и здесь: мне приносят ее из аптеки в тот же день, как закажу».

Одна только просьба. «Хорошо бы получить стоящую у меня в ящике платяного шкафа овальную коробку с клистирной трубкой» (1896).

А дальше, разумеется, Шушенское. «В Сибири вообще в деревне очень и очень трудно найти прислугу, а летом прямо невозможно» (1897). «Я еще в Красноярске стал сочинять стихи

В Шуше, у подножия Саяна…

но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил».

Младший братец его, Дмитрий Ульянов, тоже угодил в тюрьму, и вот какие советы из Шушенского дает ему старший брат: «А Митя?

Во-первых, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по-моему, это необходимо. А во-вторых, занимается ли он гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту знаю и скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согреешься даже.

Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смехотворный) — 50 земных поклонов» (1889).

И сверх того, ожидание невесты Надежды Константиновны и будущей тещи Елизаветы Васильевны. Наконец приезжают. Вот как он сообщает об этом приезде своей матушке:

«Я нашел, что Надежда Конст-на выглядит неудовлетворительно. Про меня же Елизавета Васильевна сказала: „Эк Вас разнесло!“ — отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо» (1898).

«Мы с Надей начали купаться».

А когда закончились купальные сезоны — «катаюсь на коньках с превеликим усердием и пристрастил к этому Надю» (1899).

Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье.

«Глупый народ — чехи и немчура» (Мюнхен,

1900). «Мы уже несколько дней торчим в этой проклятой Женеве. Гнусная дыра, но ничего не поделаешь» (1908). «Париж — дыра скверная» (1910).

Блистательные сентенции вроде: «Я вовсе не нахожу ничего смешного в заигрывании с религией, но нахожу много мерзкого» (1909).

«Мы все ездим с Надей на велосипедах кататься» (1909. Бретань). «Ехал я из Жювизи, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. (…) Надеюсь выиграть» (Париж, 1910).

«Погода стоит такая хорошая, что я собираюсь взяться снова за велосипед, благо процесс я выиграл и скоро должен получить деньги с хозяина автомобиля» (Париж, 1910). «Я не верю, что будет война» (Краков, 1912). «А насчет женского органа напишет Надежда Конст-на» (Краков, 1914).

И драгоценные добавления в письмах Надежды Конст-ны:

«Новый год мы встречали вдвоем с Володей, сидючи над тарелками с простоквашей» (январь 1914).

«Собираемся взять прислугу, чтобы не было

возни большой с хозяйством и можно было бы уходить на далекие прогулки» (Краков, лето 1914).

«Сегодня Володя ездил на велосипеде довольно далеко, только шина у него лопнула» (Краков, лето 1914).

О своем друге Максиме Горьком Ильич помнит неизменно: «Горький изнервничался и раскис» (1910). «Горький всегда был архибесхарактерным человеком». Или: «Бедняга Горький! Как жаль, что он осрамился!» И несколько позднее: «И это Горький! О, теленок!»

Однако началась война. Бегство из Кракова. И «сидючи» в нейтральной Швейцарии, тов. Шляпникову: «Лозунг мира — это обывательский, поповский лозунг» (17 октября 1914).

А милой Инессе Арманд: «„Даже мимолетная связь и страсть поэтичнее, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов“. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре.

Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить… что?.. Казалось бы, поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете „мимолетную“ (почему мимолетную?) „страсть“ (почему не любовь?). Выходит, по логике, будто

поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским.

Странно. Не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский брак без любви пролетарскому браку с любовью» (24 января 1915).

И ей же: «Требование „свободы любви“ советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. Дело не в том, что Вы субъективно хотите понимать под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви» (17 января 1915).

И опять ей: «Если уж непременно хотите, то и мимолетная связь-страсть может быть и грязная, может быть и чистая» (24 января 1915). «У нас опять дожди. Надеюсь, небесная канцелярия вылье всю лишнюю воду к Вашему приезду, и тогда будет хорошая погода» (4 июня 1915). «Крепко, крепко, крепко жму руку, мой дорогой друг».

И необходимость постоянно печатать свои очередные брошюры с очередными тезисами. Спустя два с лишним года, уже будучи вождем большевистского правительства, он будет давать такие распоряжения: «Реквизировать 30 тысяч ведер вина и спирта в винных складах. Есть ли бумажка от Военно-Революционного Комитета,

чтобы спирт и вино не выливались, а тотчас были проданы в Скандинавию? Написать ее тотчас» (9 ноября 1917). А пока он не вождь, тов. Карпинскому: «Дорогой товарищ! Мы ужасно обеспокоены отсутствием от Вас вестей и корректур (моей брошюры). Неужели наборщик опять запил?» (20 февраля 1915).

Тов. Зиновьеву: «Не помните ли фамилию Кобы? Привет. Ульянов» (23 августа 1915).

Тов. Карпинскому: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы» (9 ноября 1915).

Все. Февральский переворот в России. Ленин: «Нервы взвинчены сугубо. Нужно скакать, скакать». «Мы боимся, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся». «Нужен отдельный вагон для революционеров». «Я могу одеть парик». «Хорошо бы потребовать у немцев пропуска — вагон до Копенгагена». «Почему бы нет? Я не могу этого сделать. А Трояновский и Рубакин и К° могут. О, если бы я мог научить эту сволочь!» (март 1917).

Инессе Арманд: «Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут». «Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» (19 марта 1917).

«Германское правительство лояльно охраняло

экстерриториальность нашего вагона. Привет. Ульянов» (14 апреля 1917).

В письмах послезалповских, послеавроровских нет ничего триумфального. Напротив того: «Республика в опасности. Необходимы срочные меры». Например, такие: «Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко. Он должен называться просто тов. Овсеенко» (14 марта 1918).

«Аресты, которые должны быть произведены по указаниям тов. Петерса, имеют исключительно большую важность и должны быть произведены с большой энергией».

Тов. Зиновьеву в Петроград: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы их удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Надо поощрить энергию и массовидность террора» (26 ноября 1918).

Тов. Сталину в Царицын: «Будьте беспощадны

против левых эсеров и извещайте чаще». «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов» (7 июля 1918).

Тов. Сокольникову: «Я боюсь, что Вы ошибаетесь, не применяя строгости. Но если Вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте» (24 сентября 1918).

В Пензенский губисполком: «Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении» (9 августа 1918).

Тов. Федорову, председателю Нижегородского губисполкома: «В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п.

Ни минуты промедления» (9 августа 1918).

Не совсем понятно, кого же убивать. Проституток, спаивающих солдат и бывших офицеров? Или проституток, спаивающих солдат, а уже отдельно — бывших офицеров? И кого стрелять, а кого вывозить? Или вывозить уже после рас-

стрела? И что значит «и т. п.»?

«…будьте образцово-беспощадны».

Тов. Шляпникову, в Астрахань: «Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских взяточников и спекулянтов. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили» (12 декабря 1918).

Телеграмма в Саратов, тов. Пайкесу: «Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты» (22 августа 1918).

Тов. Сталину, в Петроград. «Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать наличность в нашем тылу, а может быть, и на самом фронте организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение (Юденича) со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперед.

Просьба обратить усиленное внимание на это обстоятельство, принять экстренные меры для раскрытия заговоров» (27 мая 1919).

«Предупреждаю, что за это председателей губисполкома и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела» (20 мая 1919).

Тов. Зиновьеву: «Вы меня зарезали!» (7 августа 1919).

В отдел топлива Московского Совдепа: «Дорогие товарищи! Можно и должно мобилизовать московское население поголовно и на руках вытащить из леса достаточное количество дров (по кубу, скажем, на взрослого мужчину).

Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Обороны и в ЦК не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпимы бездеятельность и халатность.

С коммунистическим приветом. Ленин» (18 июня 1920).

В Президиум Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов: «Дорогие товарищи! Вынужден по совести сказать, что ваше постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступают только капризные барышни и глупенькие русские интеллигенты.

Простите за откровенное выражение моего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие» (12 октября 1918).

Глебу М. Кржижановскому: «Мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-матем. факультеты

и пр. Обязанность: в неделю не менее 2 лекций, обучить не менее 10 (50) человек электричеству. Исполнить — премия. А не исполнить — тюрьма» (декабрь 1920).

Тов. Чичерину: «Пусть Сталин поговорит начистоту с турецкой делегацией».

Получает донос на врачей, комиссующих раненых красных солдат, когда те еще «вполне способны воевать»: «…организовать тайный надзор и слежку за поведением этих врачей, чтобы изобличить их, собрав свидетелей и документы, а потом предать суду» (20 ноября 1918).

В ответ на жалобу М. Ф. Андреевой относительно арестов интеллигенции: «Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей этой околокадетской публики. Преступно не арестовывать ее. Лучше, чтобы десятки и сотни интеллигентов посидели деньки и недельки. Ей-ей, лучше» (18 сентября 1919).

Максиму Горькому о том же: «Короленко ведь почти меньшевик. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками». «Нет, таким „талантам“ не грех посидеть недельки в тюрьме». «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев

капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно» (15 сентября 1919).

Тов. Крестинскому: «Брошюра напечатана на слишком роскошной бумаге. По-моему, надо отдать за эту трату роскошной бумаги и типографских средств под суд, прогнать со службы и арестовать кого следует» (2 сентября 1920).

«Неумный человек или саботажник ее редактировал?»

Тов. Сталину в Харьков: «Пригрозите расстрелом этому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (16 февраля 1920).

Тов. Каменеву: «По-моему, нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом „критики“» (5 марта 1921).

Смольный, Зиновьеву: «Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения соответственных разговоров, не высказаться против Советской власти и коммунизма в России.

Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек» (25 июня 1920).

Каменеву и Сталину: «Опасность, что с сибирскими крестьянами мы не сумеем поладить, чрезвычайно велика и грозна, а т. Чуцкаев несомненно слаб, при всех его хороших качествах, — он совершенно незнаком с военным делом» (9 марта 1921).

Л. Каменеву, Троцкому, Цюрупе, Шляпникову, Рыкову, Томскому: «Прошу вас собрать совещание наркомов — об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков» (2 апреля 1921).

В Совет Труда и Обороны: «Перетряхнуть Московский гарнизон, уменьшив количество и повысив качество».

Тов. Серебровскому: «Если у Вас в Баку есть еще следы (хотя бы даже малые) вредных взглядов и предрассудков (среди рабочих и среди интеллигентов), пишите мне тотчас. Беретесь ли Вы сами разбить эти предрассудки и добиться лояльности, или нужна моя помощь» (2 апреля 1921).

Тов. Брюханову: «Сейчас же начать кампанию беспощадных арестов за нерадение. (…) ПКпрод должен установить по губерниям и по уездам

ответственных лиц, чтобы знать, кого сажать» (25 мая 1921).

Тов. Преображенскому: «Что он реакционер, охотно допускаю. Но их надо иначе изобличать. Изобличи на точном факте, поступке, заявлении. Тогда посадим.

Надо выработать приемы ловли спецов и наказания их» (19 апреля 1921).

Очень мило. В. Молотову: «Уволить Абрамовича тотчас.

Федоровскому представить объяснения, как он мог принять на службу Абрамовича.

Федоровского за это наказать примерно» (10 июня 1921).

И шуточки: «Тов. Цюрупа! Не захватите ли в Германию Елену Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен ее болезнью. Здесь вылечиться трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы ее арестовать и по этапу выслать в германский санаторий. Привет! Ленин» (7 апреля 1921).

И без шуток: «Если после выхода советской книги ее нет в библиотеке, надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить» (тов. Литкенсу, 17 мая 1921).

Тов. Горбунову: «Ведь есть ряд постановлений

СТО об ударности Гидроторфа. Явно, они забыты. Это безобразие! Надо найти виновных и отдать их под суд» (10 февраля 1922).

Тов. Каменеву: «Почему это задержалось? (Имеется в виду печатание ленинских „Тезисов о внешней торговле“.) Ведь я давал сроку 2–3 дня! Христа ради, посадите Вы в тюрьму хоть кого-нибудь. Ваш Ленин» (11 февраля 1922).

«Наши дома загажены подло. Надо в 10 раз точнее и полнее указать ответственных лиц и сажать в тюрьму беспощадно» (8 августа 1921).

«От Центропечати требуйте быстрой рассылки „Наказа СТО“, иначе я их посажу».

«Позвоните Беленькому и скажите, что я зол». А Брюханову и Потяеву: «Если еще раз поссоритесь, обоих прогоним и посадим» (август 1921).

«Медленно оформляли заказ на водные турбины! В коих у нас страшный недостаток! Это верх безобразия и бесстыдства! Обязательно найдите виновных, чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме» (13 сентября 1921).

«Из новых книг я получил из Госиздата: С. Маслов. „Крестьянское хозяйство“. Из просмотра видно, что насквозь буржуазная, пакостная книжонка, одурманивающая „ученой“ ложью.

Либо дурак, либо саботажник злостный мог

только пропустить эту книгу.

Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц» (7 августа 1921).

О Прокоповиче и Кусковой: «Газетам дадим директиву завтра же начать на сотню ладов и изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев».

Наркомату почт и телефонов: «Обращаю ваше серьезное внимание на безобразие с моим телефоном из деревни Горки.

Посылаемые вами лица мудрят, ставят ни к чему какие-то особенные приборы. Либо они совсем дураки, либо очень умные саботажники».

Бедняга профессор Тихвинский, управляющий петроградскими лабораториями Главного нефтяного комитета. Одной фразы Ильича было достаточно: «Тихвинский не случайно арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга» (сентябрь 1921). Расстрелян в 1921 году.

В Главное управление угольной промышленности: «Имеются некоторые сомнения в целесообразности применения врубовых машин. Тот производственный эффект, который ожидает от применения врубовых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле»

(август 1921).

В комиссию Киселева: «Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921).

Это напоминает нам деловую записку от 26 августа 1919-го.

«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».

Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивались мордаси у наркома просвещения Анатолия Луначарского, когда он получал от вождя такие депеши: «Все театры советую положить в гроб» (ноябрь 1921).

Или телеграммы: «Какие вопросы вы признаете важнейшими, а какие — ударными? Прошу краткого ответа» (8 апреля 1921).

Для Политбюро ЦК РКП(б): «Узнал от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой Оперы и балета» (12 января 1922).

Раздражение еще вызывают поэт Маяковский и Народный комиссариат юстиции.

Тов. Богданову: «Мы еще не умеем гласно су-

дить за поганую волокиту. За это весь Наркомюст надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что всех нас когда-нибудь за это поделом повесят» (23 декабря 1921).

Тов Сокольникову:

«Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (11 февраля 1922).

Начинается изгнание профессуры.

Каменеву и Сталину: «Уволить из МВТУ 20–40 профессоров. Они нас дурачат» (21 февраля 1922).

Ф. Э. Дзержинскому: «К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров. Надо это подготовить тщательнее. Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручите все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ. Не все сотрудники „Новой России“ — кандидаты на высылку за границу. Другое дело питерский журнал „Экономист“. Это, по-моему, явный центр бело-

гвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг, шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не разглашая, членам Политбюро с возвратом Вам и мне» (10 мая 1922).

А тов. Кржижановский, которому поручено было 10–15 человек обучить электричеству, надорвался и тоже захотел в Европу.

Тов. Сталину: «Прошу немедленно поручить Н. Кинделу запросить визу для въезда в Германию Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жены Зинаиды Павловны Кржижановской.

Речь идет о лечении грыжи.

С коммунистическим приветом. Ленин» (24 апреля 1922).

А тов. Иоффе обязан лечить в Европе свой нервический недуг, который заключается вот в чем.

Тов. Иоффе: «Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что ЦК — это я. Такое можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления.

Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную фразу, будто ЦК — это я? Это переутомление. Отдохните серьезно. Обдумайте, не лучше ли за границей. Надо вылечиться вполне» (17 марта 1921).

И тут же следом — Г. М. Кржижановскому: «Я должен носом тыкать в мою книгу, ибо иного плана серьезного нет и быть не может» (5 апреля 1921).

А тов. Чичерин вовсе и не просил о лечении, но получилось так: тов. Чичерин представлял нашу державу на Генуэзской конференции с только недавно опубликованным напутствием Ленина: «Нашу ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. Нельзя упускать случая» (25 февраля 1922).

В. Молотову: «Я сейчас получил 2 письма от Чичерина. Он ставит вопрос о том, нельзя ли на Генуэзской конференции за приличную компенсацию (продовольственная помощь и пр.) согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство других

партий в Советах. Сделать это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо лечить, немедленно отправить в санаторий» (23 января 1922).

И через день тому же Молотову: «Это и следующее письмо Чичерина явно доказывает, что он болен, и сильно болен. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлем его в санаторий» (24 января 1922).

И в заключение — два негромких аккорда. Первый из них вызывает слезы, второй — тоже.

Тов. Уншлихту: «Гласность ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (31 января 1922).

Тов. Каменеву: «Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?» (24 апреля 1921).

Москва, 5–6 февраля 1988

Диссиденты, или Фанни Каплан

Трагедия в пяти актах

Вот сложился круг действующих в драме лиц:

Мишель Каплан — хозяин заведения — Приемного Пункта Посуды, в котором он живет, и действие происходит на исходе 2-го дня Его белой горячки. Почему его «смрадный дом» народ называет «Мавзолеем».

Лжедмитрий I, *Лжедмитрий* II — его полоумные подсобники-подручные, приемщики винной посуды.

Роза — любовница Каплана.

Фанни Каплан — любимая дочь Каплана с врожденным, но трогательным идиотизмом.

Юродивый Виталик — в конце гибнет под грузом ящиков с бутылями, которые падают от падения неузнаваемого человека в «сером». «О, где же необольстимый судия?!» — набирает эти слова в «тапочек», обращаясь к императору Хирохито. — Гибну, потому что взломали стены в Сантьяго-де-Куба, штурмуют казармы Монкада.

Аспазия (в валенках) — возраста непостижимого; постоянная поставщица бутылок, подруга

Розы.

Прозерпина (с рюкзаком под мышкой) — товарка Аспазии с соседней территории по сбору бутылок (старуха).

Человек в «сером» — член КПСС «дядя Валера».

Рыжий детина по кличке «Мамзелька».

Остальные — диссиденты в очень разной степени умственной прострации.

«*Длинный перечень*» (очередь) — так и не появляющиеся, чтобы действия «не оживлять».

«Ни одного героя — кроме Фанни — ни одного в разумном здравии, и это хорошо, потому что я в добром здравии за жизнь не встречал отнизу доверху».

Постоянно тревожно.

Музыка в трагедии не исполняется. А приводится в исполнение.

Пьеса кончится сокрушительно. Не останется никого — НИКОГО? — никого.

– А зачем НИКОГО? — А зачем оставаться. Жребий брошен. Круг очерчен. Корабли сожжены.

Начало: Каплан — с этими людьми мне НЕ О ЧЕМ ПИТЬ. — странное дело — и Лжедмитрий III под занавес полоумный.

I акт

Очень бойко принимают посуду Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Но слишком часто закрывают «окошко» и размышляют о судьбах Вселенной под Грохот и Стуки в окошко (нетерпеливой очереди).

Обычно они справляются о времени у сидящего на полу Виталика:

— Виталик! Набери номер королевы Нидерландов Беатрикс и узнай — пора ли открывать лавочку. — Виталик снимает тапочек — прикладывает к уху — долго молчит — как в телефонную трубку. — Пора!

Внутренняя архитектура приемного пункта. Сдвоенные, счетверенные ряды ящиков уходят вдаль, меж ними остаются мокрые и нечистые пустоты — превосходные места для действия, поскольку почти совершенно скрыты от зрителя. Да и зачем зрителю видеть всё? Ему лучше б вообще ничего не видеть. Такого же суждения и приемщики — Лжедмитрий I и II: окошечко приема такое махонькое, что сдающим посуду занудам приходится пропихивать свой товар, изогнувшись в поясе, а посуде — продвигаться

к Лжедмитриям, лежа на боку.

Пока это окошко наглухо закрыто, но остается средоточием 1-го акта. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II сидят от него на расстоянии и беседуют вот о чем:

Лж. I: И ты никуда-никуда весь вечер не выходил, Дима, и ничем не занимался? Ха-ха-ха… Ведь этот фармазон, который отбил у тебя твою белую пупочку…

Лж. II: Не говори мне об этом, Митя. И что значит: ничем-ничем не занимался? Я сокрушен был сердцем. А разве это не занятие? И так начиналось крушение: я погрустил, погрустил, потужил-потужил, а потом кручиниться начал. Кручинился-кручинился, а потом начал сызнова тужить, но еще без сокрушения сердца. И вот так часа 2–3 грустил, как Богоматерь, как вдруг почувствовал в себе прилив какой-то новой кручины… И от этого совсем пригорюнился… Какое качество, Митя, ты больше всего ценишь в человеке?.. скажи мне…

Лж. I: Пожалуй, незадачливость. Я и тебя за это люблю. И матушку-Родину люблю за то же самое. Но ты ведь юн, а Родина готовится к своей кончине… Теперь входит в моду все на свете делать посмертно. Так вот: я бы, посмертно, лишил мою

Родину ее материнских прав.

Лж. П: Ты, Митя, бездуховен и свиреп… Нельзя же…

Лж. I: Это я! — я-то свиреп и бездуховен!? Даже Каплан сказал мне, что духовных запросов у меня до. я и больше. А высших упований — что собак нерезаных! А святых порывов — столько, что их до Ленинграда раком не переставить!..

Лж. П: Митя!.. *(с укоризною).*

Лж. I: Ничего, ничего. Отчизна дышит на ладан, мне это понятно, как день. Как ее последний день. И кто там кого в этом обгонит, мне понятно тоже. Украина лидирует у нас по близорукости, Молдавия — по столбняку, Приморский край — по клещевому энцефалиту, Кольский полуостров — по аппендициту, Литва — по ревматизму, Якутия — по мочекаменным болезням, а Северная Осетия — по эндемическому зобу. А столица Москва — по функциональным расстройствам, психозам и реактивным состояниям. И грамотность не спасет. Да и о какой грамотности можно ляпать, коли уж мы живем в стране, где 99 % взрослого населения ни разу в жизни не прочли и не слышали ни одной строчки Евангелия!..

Лж. II: Митя!.. ты сегодня еще не прочищал горла. Может, оттого у тебя такие колокотания

и мизантропизмы?..

Лж. I: А что — у Каплана есть чего?

Лж. II: В маленьком столике: киндзмараули.

Лж. I: О…мать! А что это такое?

Лж. II: Киндзмараули — это почти что хванчакара!

Лж. I: Почти хванчакара?

Лж. II: Почти хванчакара!

Лж. I: Волоки.

За наглухо закрытым окошком приема начинаются понемногу мягкие щелчки и стуки и оппозиционные шепоты.

Лж. I: Киндзмараули! Хванчакара!

Лж. II (появляясь): Хванчакара. Но почему-то в банке!..

Лж. I: Какая нам разница! Хоть в плевательнице!.. К горячим рыбным блюдам следует подавать Су-псех, Абрау-Рислинг, Гурджаани, Цинандали, Алькадар, Сильванер и Баян-Ширей. А вот уже к филе, эскалопу, антрекотам и лангусту смело подавай Телиани, Саперави, Мукузани и Каберне.

Лж. II: А — если артишоки?

Лж. I: Что артишоки?

Лж. II: Ну, может, не артишоки, а дичь, цыплята, миндаль…

Лж. I: А миндаль зачем?

Лж. II: Да уж так: подали жареный миндаль… И вот — перед тобой миндаль…

Лж. I: Тогда чхавери!

Лж. II: Чхавери и киндзмараули!

Оба пьют, но по харям их видно, что это не киндзмараули и не чхавери, а что-то тошнотворнее и крепче.

Лж. I: Вот это, миленький, точно киндзмараули. Ты еще больше почернел и вытянулся. А я, хоть и вытянулся, но светлее стал. Нас с тобой не спутаешь, и вот почему. Я длинен, как летний день, а ты, как зимняя ночь, длинен. И еще разница: если тебя встретят темной полночью, то потребуют от тебя часы, и ты их отдашь, скажешь только: «Мерси боку» или что-нибудь такое. А если встретят меня — сами молча снимут с себя свои часы и отдадут мне. А я молча положу их в карман и скажу: «Вот и прекрасно. Вундербар». А он мне: «Чего-чего?» — «Ничего, — скажу, — вундербар». Нас поэтому и Роза даже в темноте различает. Заметил?

Лж. II: Как это могла она в темноте различить, если я ни разу не видел ее в темноте?

Лж. I: А на свету — видел?

Лж. II: Видел… А за левым ухом у нее родин-

ка — отчего?

Лж. I: А это потому, что страстная очень.

Лж. II: А волоски из носопыри?

Лж. I: Ну, это уж точно — страстная, Дима, дальше некуда…

Лж. II: А за правым ухом родинки нет — это как понять?

Лж. I: Это значит, такая страстная, что и спасу никакого нет, потому и пусто за правым ухом…

Лж. II: А почему пониже щиколотки?..

Лж. I (прерывает его): Ну, ты как Васютка-Говнодав. Ему вообще пить нельзя: он от этого сразу падает в обморок. Особенно если пьет в бабьей компании — они его так корежат, они его так пронзают, что он берет и шлепается в обморок. В один из этих обмороков он подхватил себе гонорею… а потом — вторую…

Лж. II: Это уж во время второго обморока?..

Лж. I: Да нет. Уже первого…

Лж. II: А я при дамах не падаю в обморок. И когда я первый раз услышал ее — я затаил дыхание, я слух и зрение затаил. Я затаил испускание и пот, пищеварение затаил. А ей — что ей — индифферентная баба, беспорывная баба! снежная баба!

Лж. I: А это потому, что ты при ней не выпил.

Лж. II: А если б выпил?

Лж. I: Была б не беспорывной! Только пить надо не киндзмараули, а что-нибудь полегче, Алиготэ. Алиготэ — это лучше, чем либертэ, эгалитэ, фратернитэ. Как ты думаешь?

Лж. II: Нет, не пить ничего совсем, как сказал Сомерсет Моэм.

Лж. I: Никогда не следует пить бросать, сказала Эдит Пиаф, известная французская б… А уж если нельзя не пить, то пить только молдавский белый портвейн, сказал любимый пианист Владимира Ильича Ульянова Исайя Добровейн.

Лж. II: Или Шерри-бренди, сказала бы Индира Ганди.

Лж. I (с сарказмом): Очень складно! Митя. Тогда уж давай, как сказал Акакий Церетели, продолжим киндзмараули!

Пока Лж. II в бегах, стуки в приемное окошко. Выклики: «Уже 15 минут третьего». Это значит: «расстреливать каждого третьего приемщика». «Когда будет Каплан? — Стрелять таких приемщиков».

Лж. I (притаскивает вторую банку киндзмараули):

Когда легковерен и молод я был,

Российскую водку я очень любил,

Московскую водку я очень любил,

Кубанскую водку я очень любил,

Ну, да и перцовую тоже любил.

Когда ж легкомыслен я быть перестал,

Московскую
водку я пить перестал,(и всё аккорды, аккорды) Стрелецкую водку я пить перестал,

Российскую водку я пить перестал.

А все почему? —

И вдруг – словно замер мой конь на бегу.

Стрелецкую водку достать не могу,

Российскую водку найти не могу,

Донскую Степную купить не могу.

А что за причина – понять не могу.

Лж. I: И как тебя занесло в приемщики посуды? Ты с детства лелеял эту мечту — или эту мечту ты начал лелеять после детства, или вообще никогда не лелеял?

Лж. I: Как только начался, лелеял. Я вначале

мечтал быть стеклодувом, потом — фальшивомонетчиком, вампиром — а потом опять стеклодувом! И прекрасной дамой! И…

Лж. I: Ну я понимаю: «прекрасной дамой». Но зачем же стеклодувом?! Тогда уж Моцартом! Вот тут у нас в очереди, третий год подряд, стоят сплошные Моцарты и очередь длится 2–3 часа, и Сальери ее принимает, п…бол с тремя жигулями, ну а что Моцартам жигули? Им нужна неотложная отрава, алгебра и гармония.

Шеф сказал: «Открывайте возможности, в то же время внеся неясности».

Лжедмитрии постоянно балагурят, принимая посуду.

— «Милый котик, пей наркотик. А потом, немножко сплюнув, укуси меня за грудь».

— Вчера был день полузакрытых дверей.

К Лжедмитрию II Аспазия. И Аспазия постоянно ошибается, всех называет Володей. А все отвечают: Это Ульянов-Ленин был Володей. Я тебе не Володя, а я Лжедмитрий II.

Оба Лжедмитрия, то и дело, так что становится пословицею: «Не обобщай! Не обобщай, Григорий». «Не обобщай, Дмитрий».

Лж. I: И зае…сь, кто не понимает.

Мы чувствуем локоть друг друга,

И сердце пылает огнем…

Ты, Дима, любишь музыку Сигизмунда Каца?

Лж. II (мурлычет):

Ах, эти девушки в трико так ранят сердце глубоко.

И в самом деле. На мне, как мачта, длинном, она повисла, как парус, и я поплыл.

— Каплана сейчас не ищите.

— Т. е. он еще не пришел?

— Ну… как сказать… прийти-то он пришел, но его нету.

— Он в мире чистых сущностей. Тсс!

— Т. е. пришел и ушел?

— Он никуда не уходил. Люди, которые живут в мире чистых сущностей, вообще никуда не уходют.

— Но приходить-то они приходют?

— Случается.

— И часто случается?

— Часто случается.

— Может, и сегодня случится?

— Может, случится и сегодня…

Блюститель, уже в 1-м действии: «Так будут

сегодня диссиденты?»

Лжедмитрий I: А кто их знает, вы же этот народ обсосали кругом — возьмут да будут. А возьмут — не будут.

— А, вот эта, гладкая — она о чем говорила?

— О! Она ведет с кем-то феноменологическую переписку. Она говорит, что устала быть экстравертированной. Но интровертированность ей не дается. Всякий раз, когда заходит речь об андрогенной монаде…

— А о ней часто заходит речь? (с Нечистым).

— Очень часто.

— А сам ты принимал участие?

— Принимал.

— Как именно?

— Я читал запретные стихи.

— С чего же ты взял, что они запретные!

— А мне надавали по шее.

— Кто?

— Как кто? Диссиденты!

— А ну-ка, что за стихи?

Лжедмитрий откашливается. Делает позу:

Рабочий класс колонны вывел

В олимпиады и на стадионы,

Заменим звоном шагов в коллективе

Колоколов идиотские звоны.
Мы пафосом новым упьемся допьяна,
Вином – своих не ослабим воль!
Долой из жизни
два опиума:
Бога – и алкоголь!..

— А один сказал: в Мадриде есть чего кушать безработным тореро. А я — нет, сказал, в городе Мадриде совершенно нечего кушать безработным тореро. (Мы немножко подиспутировали в Париже.)

Лж. ⟨*Л*⟩: Не могу не молчать — так я им сказал.

А другой ей шепнул… …и что это сохранит шелковистость ее волос.

— А один все кричал: непомерностей надо требовать, непомерностей!

— Русский народ вообще трудно чем-нибудь ошарашить. Объяви ему в разгар 11-й пятилетки, что каждая пятилетка будет 11-й.

— Ну что ж, скажет, 11-й так 11-й.

— Да, да. Был один священнослужитель. Бывший. Он утверждал, что служит одному лишь кумиру. И что кумир этот — утробная ненависть к свободе и прогрессу.

— Он у нас в интересном положении.

Мишель, об истреблении Востока:

«Крестоносцы тоже, говорят, были немножко мародерами, но это их рыцарского облика не исказило. Вот так и мы — если немножко побуйствуем среди сарацинов!..»

II. Так отчего же они Лжедмитрии?

— I-й вот почему. Потому что родился в Угличе и звать его Григорий (т. е. в детстве наречен Григорием).

А II-й родился на том самом месте, где некогда была та самая келья Чудова монастыря. И звать его в самом деле Митя. Так что не совсем понятно, почему он Лжедмитрий?

— Чего ж тут непонятного, если настоящий Лжедмитрий, т. е. Григорий, родился в Угличе?

Лж. I: В Угличе детей не рожают. В Угличе их режут.

— Помалкивай.

— А где это место, где был Чудов монастырь?

— Теперь это невозможно установить. Но единственное, что достоверно, — оттуда убежал Григорий.

— Какой Григорий? Вот этот? *(Пальцем в сторону Лж. I.)*

— Скорее всего. Потому что кому придет в голову родиться в том самом Угличе, с которого

удобней всего начать интригу и затесаться в келью Чудова монастыря.

И жена — Маринка.

— А у тебя как жену звать?

— Тоже Маринка. Марина Юрьевна.

— И у тебя М. Ю.? — и у меня М. Ю.

— Насколько мне и всем известно, Лж. I бежал из кельи Чудова монастыря, а не Лж. II.

— А откуда же сбежал Лж. II? Из Углича?

— А кто его знает? Сейчас, если перед тобой сидит человек, то видишь точно, что он откуда-то сбежал, а вот откуда точно он сбежал, ни одна сука не признается.

— Но ведь я-то ниоткуда не сбежал.

— А значит, это *не настоящий Лжедмитрий*.

— А коли так, почему позволяешь себе так говорить с «человеком»?

С «человеком» Лж. II — рассказывает о рыбной ловле (партийный дядя Валера).

— А кого и выловишь — сразу бросаешь назад в речку, потому что они противные, красные, да еще трепещут.

— Дядя Валера! Это ты на кого намекаешь? Красные — да. Но мы никогда не трепещем. А противные — это как для кого.

— И эти у вас бывают… помните у Вл. Ильи-

ча: «в час народной расправы с чиновниками в рясах, с жандармами во Христе…» — Бывают, бывают…

— Точно уж такие жандармы во Христе. Единственное, что я в них заметил. Законопослушность. Курсивная, слишком подчеркнутая. Охолуелостью это не назовешь, но ведь не назовешь и иначе.

2-й акт *в основном состоит из бесед людей в сером с Лжедмитриями.*

— Так этого Лж. I зарядили в пушку и стрельнули туда, откуда он пришел?

— Да нет, нет, это был не Лж. I, это настоящим Димитрием зарядили пушку и пальнули не то в сторону Варшавы, не то Кракова, не то Сандомира.

— А откуда взялся настоящий Димитрий?

— А все оттуда же. Все настоящее берется отсюда же, откуда все ложное. Настоящий Димитрий уже в стволе орудия признался, что никогда не был знаком с Мариной Мнишек. А раз не был знаком — значит настоящий Димитрий. И еще он добавил: «Дура она, мать ее е… я б зарезал ее ножиком, но все ножики продаются только в Угличе».

— Ну почему? В Угличе кого зарезали?

— Гришу.

— Гришу? А не Димитрия-младенца?

— Гришу!

— Ну, тогда я ё…ся в вашем приемном пункте!..

— Диссидентов терпеть не могу. Они все до единого — антимузыкальны. А стало быть, ни в чем не правы. Цветочки не любят.

— Ваше время пришло! Разговаривайте!

Каплан: Димитрий! Все двери на запор! Сейчас начнется главное (5-е действие). Виталик звонит фр. Дювалье и вдруг заходится — смех до слез — фр. Дювалье ему сказал, что жить Виталику осталось меньше получаса. *(Гибнет от обвалившихся ящиков, на которые падает с кровавой физиономией Человек в сером.)*

Что он замышляет против мира, знает он сам.

А вы сначала расспросите человечество и мир, что они вместе против него умышляли.

Даже тот, кто с нами, — тот против нас.

III акт

Белая горячка Мих. Каплана.

— Кто подлинный из них? скажи мне, дочь.

О Каплане. Ему не по вкусу существующий миропорядок.

— Мгновенье. Безобразно ты. Не продлевайся. А впрочем, погоди.

— Так вы теперь ходите в нарукавниках повязках? А зачем? И без того видать.

— Ну, уж так надо. Инструкция есть инструкция.

Взрыв Каплана. Относительно: Жизнь есть жизнь. Дети есть дети. Война есть война.

— С вонючими вашими тавтологиями… Вам что же — нечего больше сказать, п…е…м.

Аспазия: А разве я кого-нибудь трогаю? Даже иду когда, собачка какая-нибудь выскочит, я ей говорю: «С легким паром тебя, собачка». Только и всего.

— Это почему же это с легким паром?

— Ну, с каким паром? Если она всего-навсего маленькая собачка?..

(О ней.) Глаза ее лучились и сверкали. Нехорошее, невысокое было это сверкание. Однако ж это

было сверканием.

— Стягивает она стан свой, чтоб дивные груди ее восстали!

— 30 лет, а выглядит, как цветочек, как блядиолус какой-нибудь.

— А можешь ли ты, баламут, сделать мою жизнь яркой и насыщенной? Почему ты не хочешь дать воскрылий? Любовь это не прощает. Дай мне воскрылия.

— Да откуда я на вас всех наберусь воскрылий.

— Из всех чар земных только пошлейшие могут на нее воздействовать.

Блюститель: А вы — вы кто?

Фанни: Каплан *(опустив глаза в вязание)*.

Блюстители: Каплан?

Фанни: Каплан.

Блюстители: Пока я ничего не понимаю. Каплан? Каплан. Завороженный Дом. Каплан уж тут. Не хватает только Михельсона. Это не приемный пункт, а завод Михельсона.

— Они мне вот: Россия погибает.

— Ну и пускай. Ей вроде бы к лицу. Никому бы так не пошло умереть, как Ей. Причем самым недостойным образом. Это входит, по-моему, в расчеты Господа Бога.

Чувствуешь себя как соль рассыпанная, как разбитое зеркало, как в море оброненное колечко, как чернейшим из котов пересеченная дорога. Ты — чувствовал себя так.

И совсем это не Божья любовь. Это шашни Природы.

Аспазия: Я за сегодняшний день так ухайдокалась.

— Женщина болезнетворная, смертельная женщина.

— Ну просто надоело. Где Каплан?

— Где Каплан? — По ту сторону рек Ефиопских, вот он где. В садах Эдемских. За гранью земного кругозора.

— Чего делает? чего делает? А вы — что делаете?

— Он — текет в трех мироздания.

Лж. I: О сука! Да нет, ну хотя бы в двух мирозданиях.

Господь обнес нас пораженьем и правильно сделал.

Недочеловеки! Недолюди! Страшно и вообразить себя в вашем положении.

— Впрочем, не будем говорить о чепухе.

— Господь кого следует приговаривает к стольким-то и стольким-то годам Душевного потрясения.

— У этой девушки потрясений нет.

— Это не годится. Я не признаю в человеке чего-нибудь, если нет потрясений.

— Дочь, ведь это неправда.

«Добродетель ее подвергается частым нападаниям по причине миловидной наружности. Но она, эта белая голубка, скорее умрет, чем запятнает свое оперение».

В сером: А что он еще говорил?

— Говорил, что нижняя чакра ответственна за высшие тоны человеческих чакр.

Влюбл. Лж. II: Я, когда услышал ее, я затаил дыхание. Я не то что дыхание, я зрение и слух затаил, я затаил пищеварение. А ей — что ей! Индифферентная, беспорывная женщина. Снежная баба!

— Народ недоволен, надо открывать, — то и дело бросает Лж. I. — Не опиум для народа, а народ — для опиума.

— И зимних друг ночей, трещит мужчина перед ней. Все больше разверзается пропасть между словом и делом американской администрации.

У Лж. I постоянно: Земля — колыбель человечества. I акт. В конце к человеку в сером:

— В колыбель тебя надо! В землю тебя надо, в колыбель человечества.

А взойдем — ниоткуда не будем восходить. Взойдем — и не взойдем.

Да и было бы ради чего восходить?

— До того ли ему? Гибнет Россия или нет? Странное дело: чем больше говорит о процветании, все понимают о гибели. Ну почему? Поля зеленеют. И пр. Так он считает, погибает Россия. Он о гибели метагалактик. Он вычисляет, белая горячка.

— Не в этом дело. Это чушь. Но он считает, что если умрет метагалактика (юродивый — четыре метагалактики) — значит, вместе с ними умрет и… страшно вымолвить — и сов. власть.

Прием… — Поставщица Аспазия.

посуды…

— Ты что мне даешь дядя?..

Лж. I: Каждый должен суметь вынуть пробку из пустой посудины. Пробка была нужна, когда там что-то в посудине было. *(К Лж. II.)* Умею я?

— Не деньги надо чеканить, надо чеканить афоризмы.

— Я все пять актов буду их чеканить и х… меня кто остановит.

— Шнурок есть? Снимай шнурок, дядя. Давай сюда. *(Трюк — достать из бутылки пробку.)*

Ко всем: проверьте все, стоящие в очереди… Все помешаны на спорте…

Настали времена, когда у каждого должен быть свой шнурок. На всякий случай.

— Интересно, есть на свете такая держава, где так часто слышишь (чаще, чем ежедневно) — стрелять! Стрелять таких надо! — а ведь ни у кого, в отличие от большинства держав, на руках ни одной единицы огнестрельного оружия.

Что значит грамотный? Я живу в Стране, где больше 99 % взрослого населения ни разу в жизни не прочло ни одной строчки Евангелия.

О том, что в России не то что Лепажей — вообще ничего нет. Бутылки бронебойные — годятся?

— А ты какую птичку больше любишь, Вася Говнодав?

— Матерь Пречистая, да здесь народу собралось уже метра 2 с половиной.

— Один мой знакомый говорил: жизнь человеческая что детская рубашонка: коротенькая и вся в говне.

— Когда-то у нас была инициатива! Теперь

у нас нет даже отсутствия инициативы?

— А я хочу феодализма: сидишь, напротив и замок в плющах, а ты сидишь напротив и кормишь грудью барскую суку.

— А я люблю портвейн и притирания.

— Что это за притирания такие?

— А это когда уже нет портвейну.

Юродивый: А я смотрю только совместные фильмы: польско-шведские, австро-венгерские, русско-турецкие, татаро-монгольские…

Из нее Лорелея бы хорошая вышла. Лежит в болоте, в чепце, в цветах, и ее, как магнолию, уносит потоком.

Ну и чего ты узнал из этих диссидентов?

«Салонные поэтессы огнедышащие скрипят зубами во сне и… в самом никудышнем смысле этого слова».

(Оба Димитрия о диссидентах.)

— Мое любимое междометие «увы», но я замечаю, что с последнего времени оно становится нецензурным.

— Я же не мешал тебе, когда ты грезил. Вот и ты не мешай мне грезить.

— А то я убью тебя, Митя, ты будешь и мертвый

прекрасен. Под небом скользящих созвездий.

(О пришедшем в «сером»). Ну, принц или не принц, мы еще посмотрим. Принц должен быть черным. Черный принц! Он должен быть датским, маленьким и нищим! Остальные принцы не в счет.

— Накажет, накажет тебя Господь, и сегодня же! *(Аспазии.)*

— Ха-ха! Да как же он меня накажет? Я у себя…

Да, по радио так и сказали: счастливо, евреи, отметить Вам Новый, 3765-й год.

Юродивый (жалуется): В сырости. Завотделом Инесса его туды оттащила. Он говорит: «Как Стеньку бросила в волны эта принцесса персианская».

— Так вот и держись, погода! Пусть завтра вербное воскресенье! Сыпь разную мокрядь на эту землю! Она не стоит Солнца! Так вот и держись, погода! Так вот и стой. Не предвещая ничего хорошего, погода!

— С этими людьми надо не человеческими словами говорить, а вострым-вострым ножиком.

— Дочку назову Пилюля, и вообще как-нибудь так ласково.

Не забыть: как спит Виталик. На посудинах вверх горлышками. А тут ведь и длинные бур-

гундские, и чекушки — для неугасания духа (а некоторые вообще — с отбитыми горлышками).

— Ты, Вася, единственный предмет роскоши, который прошлой осенью не поднялся в цене.

Обо всем лучше всего спросить у Виталика. Он устанавливает связь со всеми: сняв тапочек.

Виталик. Его постоянно спрашивают:

Виталий ⟨?⟩, позвони такому-то (Андропову, госпоже Тейлор и пр.) — и узнай, который сейчас час. Мы не можем открывать заведения без точных часов.

А кремлевские часы врут… Но тут человек в сером: «Врут кремлевские часы?» Виталик опять за свой тапочек: «Кремлевские часы врут когда ж? Никогда, — говорит, — верьте. Единственным часам верьте».

— А турецкая резня: это когда турки режут или когда режут турок?

(О Вит.) «Он всякую тайну знает, но откроет ее не теперь». Аспазия тоже знает тайну. И тоже всякую и раскроет ее только в 4-м акте.

Лжедмитрий I (к клиентуре, продолжая ерничать и прибаутничать): Много пьете, дорогие товарищи, и честь вам и хвала за это от товарища Бисмарка, Железного канцлера. Он любил

повторять: «Бог Всемогущий заботится только о младенцах, пьяницах и американцах».

Лж. Л: Придурок-подсобник со второсортной физиономией.

Лж. І: А отсюда — прямо в винный отдел. Там (стоит) толстый Лёва Сальери: с усиками а-ля Бержерак, а в очередь к нему мнутся 40 моцартов.

Лж. І *(о стуке за окном)*: Феноменология духа! Не обращай внимания.

Приснилось однажды милиционеру, что он бабочка. Он весело порхал, делал ноздрями и не знал, что он — милиционер, был счастлив. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он совсем не бабочка, а милиционер. И он не знал уже — милиционеру ли снилось, что он бабочка, или бабочке — что она милиционер. — Это ты к чему? и т. п.

— Господь приговорил меня к трем годам душевного потрясения.

Я хотел у своего заведения установить водометы и изваяния, но мне не позволили (не разрешили). Вот какие бюсты я хотел установить (подумать еще): Александра Колчака, мадам Баттерфляй…

(С появлением Мишеля.) Прекратить прием посуды! Олухи. Ну, посудите сами, как в наши

времена можно заниматься приемом посуды.

К Каплану обращаются эти в сером: Подсудимый, а скажите.

Вл. Луговской:

Как снежное темя Гиссара,
Совесть его бела,
И ни одна комсомолка
Зарезана им не была.

— Духовной жаждою томим…

— Не давай гортани твоей томиться жаждою (2: 25).

— Со времени смерти Паганини скрипка его лежала в Генуе, и никто не имел права прикоснуться к ней. Первый, кто дерзнул взять ее в руки и сыграть на ней, был скрипач Б. Губерман.

— Они дышат мне в душу чесноком и чечевицею.

— И нашего Омельку убил ихний Михельсон.

Чемберлен: «Иудей же избрал трагическую судьбу, это служит доказательством его величия».

Пророк Исайя: Праздники ваши ненавидит душа моя.

Мы — за идею абсолютного будущего, которое противостоит всей реальности прошлого и на-

стоящего. (По Буберу)

— И кто из вас знает, что Иордан вытекает из Тивериадского озера, впадает в Мертвое море.

Выше всего в человеке ценить непоправимость!

И все это я не проскакал на розовом коне, а шел привычной, подрагивая, и скрипел.

— Ты как-то запала мне в душу, и я больше о тебе не вспоминал.

Хозяин заведения. (Он здесь и ночует.) Вот здесь — мой самый холодный угол, это моя Индигирка, это мой Оймякон.

— Здесь говорят непонятное о понятном. Там — понятное о непонятном.

— Ты что же, зараза, хочешь изменить предначертания судьбы.

(Алиса) — Аспазия.

— Я немножко запоздала? Славик… делал двухчасовой доклад о существе человека.

— Я в чем-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но кое в чем и нет.

— Эти дни были для меня насыщены. Насыщены напряженными научными поисками… Почему ты не бываешь в духовных центрах Москвы? Или ты считаешь свою грандиозную палатку

единственным духовным центром?

— Эманирует, сидя в гостях, флюиды и метастазы. Другой тоже эманирует, но эманирует трансградиентные корпускулы, за неимением корпускул имманентных.

— Я нахожусь все еще в той стадии, которая уповает.

— Дело не в установках, а в интерполяции.

— Нет, дело в структуре.

— Но мы в науку не подключаемся. Мне думается, к истинности не подключаются ценности, а к ценности подключается истинность. *(Осматривал заведение в связи с перекосом пола…)*

— А он просто вписался в полукультуру.

— В момент творчества я только медиум высших сил. — Мое головокружение от ее успехов. — И страсть к чему-то нездешнему, зыбкому к чему-то, коленно-локтевому.

Правый католик, но почти не Мур.

Ну, что же, большевизм — это атмосферическое явление, и относиться к нему следует как ко всякому явлению атмосферическому.

А для этого необходимо соединение крайней глубины с крайней бестактностью.

Величайший образец — Иисус. Верх неповерхностности и вершина бестактности.

Что ж, надо еще подумать, для каких целей в 40-х годах Господь обделил нас поражением.

Как говорил Гладстон своему приятелю Дизраэли:

«О! Это будет не скоро! Когда птички полетят и французы образумятся».

— И набожность должна быть одаренной.

— А у него она не глубока, а упряма (читает молитвы, как кондуктор объявляет остановки).

Покойный папа Павел VI называл это «кризисом послушания».

Несостоятельность и слабость человека.

Рефлекс антиклерикализма – тоже.

«Преступление против Бога и человека» — Павел VI.

— Для этого ты слишком лучезарен. —

Об атеизме: «Из тезиса, предназначенного для нескольких спекулятивных умов, он стал мифом толпы».

«Извращенное издевательство над наиболее обязательными очевидностями» (прелаты вселенной собора).

По Карсавину: «Мир — результат Самоограни-

чения Бога».

— Следует вести себя удовлетворительно.

Отлично себя вести нехорошо и греховно.

Когда Господь прибирает нас к рукам — против него нечего возразить. Когда человек — это еще куда ни шло. Но когда Эти!..

ОН-то есть, ОН жив, а вот мы — неизвестно, есть ли мы и живы ли?

— Противоречит или не противоречит это духу Писания?

— Как бы то ни было, единственный раз Россию возглавил католик, целых 11 месяцев. (Лжедм. 1605–1606).

— Ну, я уважаю немоту, если она высокоторжественна.

И чего стоит мир, если над ним не тяготеет ни одно проклятие.

4-й акт кончается. Ну что ж! к барьеру!

Стало быть, к барьеру!

— Просклоняй слово «стена».

Начинает спрягать:

Я – ткну и развалюсь,

Ты – ткни и развалишься,

Она – ткни и развалится.

Из Исайи: «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили!» (33: 1).

— Под натиском слишком мощного потока мыслей —

— У Диккенса

— Сжальтесь надо мной ради всех святых ангелов небесных —

— Язык мой приник к ипостаси моей —

— Я живу в эпоху всеобщей невменяемости.

Раззудись, плечо!

Размахнись, рука!

Чтобы в воздухе летали буржуазные окорока!

Меня здесь выбрали членом тред-юниона и подносят в день 2 шкалика.

А все потому, что юность мою опалили фугасы.

Прямо пойдешь — жить не будешь, налево пойдешь — жизнь потеряешь — вправо пойдешь — умрешь, назад пойдешь — околеешь.

Юродивый: Его пустошные словеса (звонящий

по тапочку, сколько времени и пр., он же предсказывающий судьбы).

— Нострадамус! — позвони де Голлю.

— О чем ты думаешь, Борис, Печальный пасынок природы? Набальзамируйте меня (из Генриха XV).

Совместить в такой компании все голоса — придать видимость махонького единства — упражнение в контрапункте.

Отличать: предметы роскоши от предметов первой необходимости (предмет 3–4-й необходимости).

— И холодно, как будто ты не у себя в постели, а где-нибудь в море Лаптевых.

И у Шекспира: ромашка растет тем сильней, чем больше ее топчут.

И у Островского: Самое главное в жизни — быть всегда бойцом, а не плестись в обозе 3-го разряда.

— Чем скромнее боец, тем он прекраснее.

– Какой же психопат
Не любит листопад.

Ему: Ну и что же: возьми на память из моих ладоней немножко водки и немножко пива…

и не вспоминай жизнь свою —

Мы будем жить на белом свете номер 2.

— пустота —

— мне хотелось бы черпать тебя загорелою рукою.

— мне такой ущербной монады не надо (о поэтессе).

— Вначале надо подвергнуть все свои хорошие чувства почти поголовному истреблению:

— мне вот что нужно, чтоб во мне проснулся вампир.

— Извергни его, на нем печать Вельзевула.

— Мизантроп, не любящий проторенных троп.

Вампирист:

Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечке варенья…
……
и молодого краснофлотца
несут с разбитой головой

(Внелогичен и по ту сторону всяких обязательств.)

(Входя.) Невольно к этим гнусным берегам —

— У меня есть предчувствие, что я скончаюсь где-нибудь между Звенигородом и Вестфалиею.

Но только интересно: ближе к Вестфалии или к Звенигороду?

— Ты скончаешься здесь. В моем сердце ты уже издох. Тебе осталось это в сердце нашей Родины. Ты понял, о каком сердце я говорю?..

— По вечерам бывает так приятно иногда прибегнуть к геноциду. Или к погоне за химерами.

— Я сначала хотел быть кавалеристом. А теперь я знаю, кем я буду: я буду следить за пожарами, чтобы никто не вредил пожарам, чтобы принимать редкие меры против тех, которые тушат пожары. Хе-хе, лет 15 назад эта мысль меня бы согрела.

Девочки должны быть парализованы. Так лучше.

— Но в нем гнездятся демоны.

— Да, да. Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

Колышется уже. Так Харонова ладья на стиксийских волнах — в царство тлена и вечного запустения.

— И днесь не пью, и присно не стану.

Все мыслью объять и все успеть совершить.

Нагадить — на вершинах Килиманджаро, Джо-

молунгмы, Фудзи, Монблана и на обеих вершинах Эльбруса. Вот это я понимаю.

Крайне левый: типа друзей поэта Делоне. Но из худших.

II акт. Вот до чего довели русские. Пришел по вызову телемастер. Всего-то навсего. А старушка ушла на кухню, и у нее от испуга руки трясутся — может быть, из органов?

Им: наши люди крылаты, наши верховные — крылаты. «Тщетны были бы все усилья, но крыльев ей нам не связать. Думал ты, пташка уж поймалась» и т. д. Законов всех она сильней. И заставит себя любить.

III. Помолчи. Не проникай в меня. Я сам знаю свои сроки. Не вводи свои танки в мой Кабул.

I. — Человек за бортом!

— Вот она, сказочная ширь русской натуры! Но убивать сразу полтора-два млн. человек — это, по-моему, несимпатично.

IV. — А когда вообще начнется настоящее действие? Вот ведь уже и ночь накануне Ивана Купала — и никакого настоящего действия нет. Может, его вообще не будет. По нашим временам, лучше обходиться без действия…

II. А Фанни-то придет наконец или не придет? Неужели весь вечер сидеть с этими вот

проб…шками?

Каплан (им): Ничего, ребятишки, если бродяга к Байкалу не подходит, Байкал подойдет к бродягам.

Борец и Каплан (ему): А хочешь, паладин, я тебе больше не поднесу.

Каплан: И сплю здесь. Здесь — мой кабинет… Вечерами прогуливаюсь: у сосновых новеньких ворот. Может быть, сюда какого супостата. Может быть, сюда того дегенерата… ветерок попутный занесет, я и сторож. Я и…

Вот — наши басурманы и супостаты!! — и…

— И это меня-то лупить! Меня! Кабинетнейшее из земных существ! Внебрачного сына Евы Браун!

I. *(О ней.)*…и трепетание предсердий. А чтоб пригожая. И чтобы внутри ее были клавикорды, а снаружи — тучные пажити.

III. *Юр.*: Идем, дома у меня никого нет, сестра-студентка — на овощебазе, брат в командировке, мать в параличе, отец — в Анголе.

— Я выбросил ее из окна, с 9-го этажа на 4-й.

II. *Она*: тот-то уже потому лучше того-то, что, когда выпьет, не говорит умных вещей.

Иностр. II (женщина неограниченных возможностей).

Иностр. — Такая женщина, что леденела кровь и волосы становились дыбом…

Он щекотал эту великомученицу.

III. — Это уж у нее так заведено. Потребность наутро уничтожить своего ночного мила-друга-приятеля умышленно деловым складом физиономии и обратно пропорциональной ночи холодностью — я бы назвал это комплексом Клеопатры.

III. — Да нет же, мы почти и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда. И вот, через полгода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

II. Дуры солнышка ждут, дуры песни поют, а дураки все сидят, разгораются.

II. — Наслаждайся, богоподобная! Ты еще в самом разгаре!

Кто-то издевается: свежа, как предание. Красавица. Писаная, как торба. И свежа как…

— От каждой двадцатой бабенки его кидает в озноб (о Гурев.).

II. *Каплан*: Твоя фатальная девочка скоро облысеет, раздавая свои локоны разным православным бабникам.

I. — Я не могу о ней говорить без слез.

I. III: Он так взволнован, что с души воротит.

II. — Спроси у него, существенный он человек или несущественный?

I. — От одних только икр ее мороз подирает по коже.

III. Она: А мне наплевать в орлиные очи твои!..

II. — Она меня обезглавила. У меня болит шея от недоброкачественных грез. И пр. *(все время поворач.)*. Сладостных дел мастерица, как сказал бы Саади.

III. — И это она вытворяла в те дни, когда твоя осанна проходила через такие горнила!

II. Веселый нонконформизм. Мишель Каплан. И придурки.

Куда ты ведешь нас, безумный старик? А х… его знает! Я сам заблудился!

Каплан. I. А если они ворвутся, я сбегу на балкон и притворюсь цветочком. Они придут, посмотрют — а это что за цветочек вон на том горшке? А моя Светочка со страху скажет что-нибудь не то, вроде «палтус» или «хариус».

А что это у него сбоку, у этого «палтуса»? А это тестикулы — и по совместительству — узурпаторы.

I. Чего гогочешь, как Плутарх какой-то недо-

резанный.

II. Или: — Сидит, надулся, как какой-то Буонаротти.

II. *Каплан*: Иным покажется, что надо экономить свои силы при освоении Нечерноземья. Но нет — я, ⟨?⟩, не пожалею всех своих сил для освоения Нечерноземья (в ответ на упрек русских националистов).

II. Придурки. Каплан: Язык Барбароссы и Эрнста Тельмана, канцлера Бисмарка и доктора Геббельса — велик и могуч.

Придурки рифмуют: Язык В. Пика востер как пика. Россы с трудом усваивают язык Барбароссы. Язык Эриха Хоннекера не дает им ни х… и т. д.

— Советскую власть все любят. Ее не любят только колдуны, лифтеры и молдаване.

II. (Вадимчик. Приверженец османской династии. Эсквайр.)

— На нашей стороне все, в ком еще душа держится.

III. На черном рынке и в швейцарском банке.

— Какой же скептик? Хорош же скептик, у которого 40 тысяч симпатий и мильон терзаний.

Это мы уже одолели. Мы уже привыкли ценить только непомерное.

II. — Мужайся и уповай! (Бытие: «Почему ты

огорчился и отчего поникло лицо твое!»)

II.

— Это уже ползалога полууспеха!

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но зачем ты выпил стакан моего портвейна? Ал. Македонский тоже был великий полководец, но зачем же пить чужой портвейн? Я — понимаю — земля — колыбель человечества, но нельзя же сидеть на ней и выпивать стакан не своего портвейна».

IV. Каплан. Друг рода человечества.

«У него не житье — а мгновения».

III. — Они не стремятся в дальние миры, еще будучи девушкой. А я — уже будучи девушкой — стремился в дальние миры.

II. Невесело встречают вербное воскресенье миллионы людей, живущие в станах капитала. Задумчиво грезят они на своих сеновалах.

III. Знаю, что такое рыцарь. И терпеть не могу рыцарства. За то, что у них забрало, а страха и упрека нет.

II. Вот у нас в винном отделе: стоит толстое м…ло Сальери и к нему в очередь сорок Моцартов.

III. — Все твои привычки пагубные! У тебя есть хотя б одна непагубная привычка?

II. *Каплан*: Надо лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

Каплан: Что ж! И Геркулес чистил конюшню, и Аполлон-Феб пас стада скота у Адмета!

III. Вергилий утверждает, что душа может чахнуть без видимых причин.

К Фанни II. — Не твоего ума дело.

Фанни III. — Это напоминало бестолковый ритуал испанского двора: испанские гранды перед королем снимают шляпы, а король в тысячный раз запрещает им это делать и возвратить шляпы на головы. И ведь все знали, что и в следующий раз будет равно так же: все снимут шляпы, а король покажет им жестом, что это (станут снимать шляпы, а король их от этого предостерегать, но они все равно снимут шляпы…)

Краткая автобиография

Ерофеев Венедикт Васильевич. Родился 24 октября 1938 года на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Впервые в жизни пересек Полярный круг (с севера на юг, разумеется), когда по окончании школы с отличием, на 17-м году жизни, поехал в столицу ради поступления в Московский университет.

Поступил, но через полтора года был отчислен за нехождение на занятия по военной подготовке. С тех пор, то есть с марта 1957 года, работал в разных качествах и почти повсеместно: грузчиком продовольственного магазина (Коломна), подсобником каменщика на строительстве Черемушек (Москва), истопником-кочегаром (Владимир), дежурным отделения милиции (Орехово-Зуево), приемщиком винной посуды (Москва), бурильщиком в геологической партии (Украина), стрелком военизированной охраны (Москва), библиотекарем (Брянск), коллектором в геофизической экспедиции (Заполярье), заведующим цементным складом на строительстве шоссе Москва — Пекин (Дзержинск Горьковской

области) и многое другое.

Самой длительной, однако, оказалась служба в системе связи: монтажник кабельных линий связи (Тамбов, Мичуринск, Елец, Орел, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия, от Гомеля до Полоцка через Могилев и пр. и пр.). Почти десять лет в системе связи.

А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан, Янгиер) работа в качестве «лаборанта паразитологической экспедиции» и в Таджикистане в должности «лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом».

С 1966 года — отец. С 1988 года — дед (внучка Настасья Ерофеева).

Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым заслуживающим внимания сочинением считаются «Заметки психопата» (1956–1958), начатые в 17-летнем возрасте. Самое объемное и самое нелепое из написанного. В 1962 году — «Благая весть», которую знатоки в столице расценили как вздорную попытку дать «Евангелие русского экзистенциализма» и «Ницше, наизнанку вывернутого».

В начале 60-х годов написано несколько статей о земляках-норвежцах (одна о Гамсуне, одна

о Бьернсоне, две о поздних драмах Ибсена). Все были отвергнуты редакцией «Ученых записок Владимирского государственного педагогического института» как «ужасающие в методологическом отношении». Осенью 1969 года добрался наконец до собственной манеры письма и зимой 1970 года нахрапом создал «Москва — Петушки» (с 19 января до 6 марта 1970 года). В 1972 году за «Петушками» последовал «Дмитрий Шостакович», черновая рукопись которого была потеряна, однако, а все попытки восстановить ее не увенчались ничем.

В последующие годы все написанное складывалось в стол, в десятках тетрадей и толстых записных книжках. Если не считать написанного под давлением журнала «Вече» развязного эссе о Василии Розанове и кое-чего по мелочам.

Весной 1985 года появилась трагедия в пяти актах «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Начавшаяся летом этого же года болезнь (рак горла) надолго оттянула срок осуществления замысла двух других трагедий. Впервые в России «Москва — Петушки» в слишком сокращенном виде появились в журнале «Трезвость и культура» (№ 12 за 1988 год, № 1, 2 и 3 за 1989 год), затем в более полном виде — в альманахе «Весть» (из-

дательство «Книжная палата») и, наконец, почти в каноническом виде — в этой книге («Москва — Петушки», Москва, издательство «Прометей» МГПИ им. В. И. Ленина, 1989), в чем, признаюсь, я до последней минуты сильно сомневался.

⟨О поступлении во Владимирский пединститут ⟩

Из 60-х беру наобум только один: с июля 61-го по июнь 62-го, и предельно документально. Если хоть одна душа усомнится в подлинности — это ее дело.

Июль 61-го. Город Владимир. Приемные испытания во Владимирский педагогический институт имени Лебедева-Полянского. Подхожу к столу и вытягиваю билет: 1. Синтаксические конструкции в прямой речи и связанная с ней пунктуация. 2. Критика 1860-х гг. о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

Трое за экзаменационным столом смотрят на меня с повышенным аппетитом. Декан филологического факультета Раиса Лазаревна с хроническою улыбкою:

— Вам, судя по вашему сочинению о Маяковском, которое все мы расценили по самому высшему баллу, — вам, наверное, и не надо готовиться к ответу. Присаживайтесь.

Само собой, ни о каких синтаксических конструкциях речь не идет.

— Кем вы сейчас работаете? Тяжело ли вам?

— Не слишком, — говорю, — хоть работа из самых беспрестижных и препаскуднейших: грузчик на главном цементном складе.

— Вы каждый день в цементе?

— Да, — говорю. — Каждый день в цементе.

— А почему вы поступаете на заочное отделение? Вот мы все, и сидящие здесь, и некоторые отсутствующие, решили единогласно: вам место в стационаре, мы все убеждены, что экзамены у вас пройдут без единого «хор», об этом не беспокойтесь, да вы вроде и не беспокоитесь. Честное слово, плюйте на ваш цемент, идите к нам на стационар. Мы обещаем вам самую почетную стипендию института, стипендию имени Лебедева-Полянского. Вы прирожденный филолог. Мы обеспечим вас научной работой. Вы сможете публиковаться в наших «Ученых записках», с тем чтобы подкрепить себя материально. Все-таки вам двадцать два, у вас есть определенная сумма определенных потребностей.

— Да, да, да, вот эта сумма у меня, пожалуй, есть.

В кольце ободряющих улыбок: «Так будет ко мне хоть какой-нибудь пустяшный вопрос, ну, хоть о литературных критиках 60-х гг.?»

— Будет. Так. Кто, по вашему разумению, оценил роман Николая Гавриловича самым точным образом?

— По-моему, Аскоченский и чуть-чуть Скабичевский. Все остальные валяли дурака более или менее, от Афанасия Фета до Боткина.

— Позвольте, но как вам может нравиться мнение Аскоченского, злостного ретрограда тех времен?

Раиса Лазаревна: «О, на сегодня достаточно. Я с согласия сидящего перед нами уникального абитуриента считаю его зачисленным на дневное отделение под номером один, поскольку экзамены на дневное отделение еще не начались. У вас осталась история и Sprechen Sie Deutsch? Ну, это для вас безделки. Уже с первого сентября мы должны становиться друзьями».

Сентябрь 61 г. Уже четвертая палата общежития института и редчайшая для первокурсника честь — стипендия имени Лебедева-Полянского…

⟨Беги, Веничка, беги!.. *Из записных книжек*⟩[4]

[4] Notes: 4

Раздел из книги: *Ерофеев В.* Безутешный счастливчик: Из записных книжек / Сост. И. Н. Сухих, А. С. Степанова. М.: КоЛибри, 2023.

Биография. Приоткр. Начало

1 сентября 1945 — лето 1946 г., ст. Хибины. 1-й класс.

1 сентября 1946 — весна 1947 г., станция Зашеек, 2-й класс.

Июнь 1947 г. — определение в детский дом г. Кировска.

Июнь 1947 г. — июнь 1953 г. — 6 лет д/д г. Кировска. 3–8-й класс.

1 сентября 1953 г. — г. Кировск. 1-я средняя школа. 8-й класс.

Лето 1953 г. — лето 1955 г. — разъезд Юкспориок.

Июль 1955 г. — 1-й выезд в Москву. Поступление в МГУ.

Август 1955 — май 1956 г. — 5-я Черемушкинская, Москва, 1-й курс МГУ.

Июль — август 1956 г. — г. Кировск. Впервые после ⟨нрзб.⟩

Сентябрь 1956 г. — январь 1957 г. — Москва. Стромынка.

Начало февраля 1957 г. — изгнание из Стромынки.

Начало марта 1957 г. — Москва. Ново-Грузин-

ский переулок «Ремстройтреста» Краснопресненского района.

Октябрь — ноябрь 1957 г. — Увольнение и амнистия.

Зима 1957–1958 гг. — Кочегар общежития. Ново-Пресненский пер.

Май — июнь 1958 г. — Подсобный приемщика посуды, ул. Горького, Москва.

Июль — сентябрь 1958 г. — г. Кировск, Мурманская область.

Октябрь — декабрь 1958 г. — Г. Славянск, Сталин. обл. УССР.

Январь — февраль 1959 г. — г. Кировск. К. Новос.

Март — июнь 1959 г. — г. Славянск, Сталин. обл. УССР.

Июль 1959 г. — Поступ. в ОЗПИ г. Орехово-Зуево.

Июль 1959 г. — октябрь 1960 г. — ОЗПИ, ул. Застройная.

Зима 1960–1961 гг. — Изгнание. По част. квартирам г. Орехово-Зуево. Ю. Рун.

Апрель 1961 г. — Въезд и вселение в г. Владимир.

Июль 1961 г. — Поступление в ВГПИ, г. Владимир.

Конец января 1962 г. — Изгнание из ВГПИ.

Начало мая 1962 г. — Изгнание из Владимира и Владимирской области.

Май 1962 г. — Вселение в Павлово-Посад. Зимак.

Август 1962 г. — Вселение в Коломну. КГПИ.

Февраль 1963 г. — Изгнание из Коломны.

Весна 1963 г. — Между Коломной, Владимиром, П.-Посадом и Орехово-Зуевым.

Май 1963 г. — Оседаю на связи под Владимиром.

СУС–5. Гусь-Хрустальное направление.

⟨*1985*⟩

Вот клички:

в 1955–57 гг. меня называют попросту «Веничка» (Москва),

в 1957–58 гг. по мере поседения и повзросления — «Венедикт»,

в 1959 г. — «Бэн»,

в 1960 г. — «Бэн», «граф», «сам»,

в 1961–62 г. — опять «Венедикт»

и с 1963 г. — снова поголовное «Веничка» (Влад⟨имир⟩, Кол⟨омна⟩).

⟨*1966*⟩

Из блокнотов ⟨19⟩56 г

«Наконец, вижу, внизу, на лестнице
До вечера привожу дыхание в норму».

21 февр. — 1-я четверть в одиночестве.

Март — апрель 56 г.: Надсон, Муз⟨ыкантова⟩, Кобяков.

24 марта 56 г. — 1-я серьезная папироса.

Лето 56 г.: подражание самым плохим стихам Бальмонта.

Из блокнотов ⟨19⟩58 г

«в тембре голоса — ноты врожденного идиотизма»

«Отсчитываю секунды и выжидаю. С наслаждением плюю в потолок. Все спокойно».

«В минуты раздраженности мне лгать нельзя, даже самая моя маленькая ложь только усиливает нервное напряжение. Когда же напряжение рассеивается — я способен врать беспредельно. Это мои лучшие минуты».

Из блокнотов ⟨19⟩59 г

«Я на небо очень редко гляжу. Я и т. д.».

«Я не люблю ничего органического. Когда-то я делал исключения для полевых цветов, но и этой последней привязанностью вынужден был пожертвовать во имя последней».

Осень. «Печень функционирует нормально. Обмен веществ восстанавливается. Соответственно угасает солнце и блекнут небеса».

1959

ДЕКАБРЬ

4 дек. — первое столк. В 20-й.

5 дек. — Толки. Вижу, спуск. по лестнице, в оранжевой лыжной куртке.

6 дек. — Вижу. Потупила глаза. Прохожу мимо с подсвистом.

7 дек. — Вижу: у комендантши меняет белье. Исподтишка смотрит.

8 дек. — В какой-то белой штуке с хохлацким вышитым воротничком. С Сапачевым.

9 дек. — Вижу. Промелькнула в 10-ю комн.

10 дек. — Сталкивались по пути из буфета. В той же малороссийской кофте.

11 дек. — Р⟨унова⟩ в составе студкомиссии.

12 дек. — У нас с Аболенским сидит два часа. С какими-то глупыми салфетками.

13 дек. — Вижу, прогуливаясь с пьяной А. Захаровой.

14 дек. — Обозреваю с подоконника, в составе комиссии.

15 дек. — В глупом спортивном костюме. Вероятно, на каток. Вечером с Красовским проявляем

ее портрет.

16 дек. — Не вижу.

17 дек. — Вижу, прогуливаясь с Коргиным по 2-му этажу.

18 дек. — Не вижу.

19 дек. — Р. с Тимофеевой у нас в комнате. Пьяно с ней дебатирую.

20 дек. — с дивана 2-го этажа созерцаю ее хождения.

21 дек. — вижу ее с А. Захаровой, студобход. Подклеила Евангелие.

22 дек. — вызывает А. Сапачева.

23 дек. — вижу дважды. В пальто, с Красовским. И столкн. на лестнице.

24 дек. — не вижу.

25 дек. — с Красовским на лыжах едут за елкой, я отказываюсь. Встречаю их по возвращении. В 22-ю. Неужели забыли? Вечером обозреваю ее внизу, сидя с Окуневой.

26 дек. — Серж и Лев у них в комнате. Встречи. Послание к Синичен⟨ко⟩. Р.: «А мне записки нет?»

27 дек. — Обозреваю Р. и К°, сидя в вестибюле 2-го этажа. Подходит Р. и просит убрать от них постылого Коргина. Отказываюсь. Встаю и иду к Ок⟨уневой⟩.

28 дек. — Встретившись на лестнице, не здо-

роваемся.

29 дек. — С Тимофеевой вторгается в нашу комнату в поисках Сапачева.

30 дек. — По сообщению Аболен(ского), была у нас в комнате около часу, покуда я слушал музыку у Захаровой.

31 дек. — Новый год. Маралина, Окунева etc.

1960

ФЕВРАЛЬ

1–23 фев. — Поездка на Кольский п-ов.

МАРТ

1 — Р. на кухне.

2 — Весь вечер соседство. «Кто кого пересидит». Она на левом диване, я на правом. Иногда взглядываю, иногда взглядывает. В час ночи ухожу первый.

3 — У Р. та же привычка, что у Ок., Ломак⟨иной⟩ и Буян., — входя в общежитие, непременно скосить глаза в сторону тупика. Дважды сталкиваюсь.

4 — Нет.

5 — Прошла куда-то в пальто.

6 — Ломакина, Окунева, Буянкина.

7 — то же самое.

8 — В 22-й бурно отмечают жен. день. Там вся моя комната, кроме меня. Синиченко врывается в тупик и пьяно умоляет меня посетить их. Отказываюсь.

9 — Красовский сообщает: Р. украла мою фотокарточку.

10 — Ломакина — Захарова — Окунева.

11 марта — Весь вечер и ночь в тупике под взглядом сверху Ломак. и Окун.

12 — Мельком вижу Р.

13 — Р. под моим окном дерется с мальчишками.

14 — Галдеж и всеобщие остроты по адресу моему и Р.

15 — Ломакина — Захарова — Окунева — Буянкина. Жюрфиксы в тупике.

16 — Каверза с Р. и утюгом.

17 — Р. и Волкова делают мне внушения за беспорядки в ком⟨нате⟩.

18–19 — Молчание.

20 — То же.

21 — Д. Денисенко.

22–24 — Silentium.

25 — В третий раз посещаю 22-ю комнату. День рождения. Смотрит на меня ежеминутно и полуиспуганно.

26 — Столкнулся с Руновой в тихой комнате по поводу альманаха.

27 — Окунева.

28 — Ломакина. «Белые ночи» в «Заре».

29–30 — Г. Пантелеева.

31 — Н. Давыдова, Р. Буянкина. Ресторан «Заря».

АПРЕЛЬ

1 — Н. Давыдова.

2 — Г. Пантелеева. В. Ломакина.

3 — Весь день с В. Ломакиной. Отплясывает канкан.

4 — В. Еселева. Д. Денисенко и до 3-х ночи с ней.

5 — Д. Денисенко.

6 — В. Окунева, Д. Денисенко в тупике до 2-х ночи.

7 — Н. Давыдова, Г. Пантелеева. Тотосик сообщает: «Ты заметил, что у тебя в тупике все прибрано и яркая лампочка! Угадай, кто это сделал». Оказыв.: Р.

8 — Н. Давыдова, В. Ломакина. До 2-х ночи с Дин⟨ой⟩ Денис⟨енко⟩.

9 — В. Окунева, Н. Давыдова, В. Ломакина. С Д. Денис. в поисках курева. До 4-х ночи в тупике. Ровно в 4, перед рассветом, Д. Денисенко говорит: «Смотри-ка, Юля вышла на балкон».

10 — В. Ломакина, Г. Пантелеева. В постирочную к нам с Ломакиной приходит Ю⟨лия⟩ Р⟨унова⟩.

11 — Н. Давыдова, Д. Денисенко, Г. Пантел⟨еева⟩ и Есел⟨ева⟩. Ю., проверяя уборку коридора, заглядывает к нам с Д. Денис.

12 — Р. здоровается за день два раза. Плеврит. И семь нянек: Хомченко — Денисенко — Давыдова — Буянкина — Ломакина — Пантелеева — Окунева.

13 — Плеврит, те же няньки. Р. И ее бумажка с надписью «Плеврит. Плеврит. Плеврит».

14 — Н. Давыдова и сцены в тупике. Весь вечер и до 3-х ночи Дина Ден. в темном тупике.

15 — Страстная пятница. С Гуревичем, сто раз наталкиваюсь на Р. С Гуревичем занимаем денег у Ю. Р. и В. Еселевой. Н. Давыдова и гитарный звон. Давыдова изгоняет Ломакину.

16 — Предпасхальные разъезды. Всенощная с Г. Пантелеевой.

17 — Пасха со спевками и гитарами. С Н. Давыдовой.

18 — Новости о Р.

19 — До 2-х ночи с Диной Денис. В 11 вечера заглядывает Р., и опять по случаю мытья полов.

20 — У буфета вижу Р. дважды.

21 — Н. Давыдова. Р. Буянкина. Д. Денисенко.

22 — Весь день с Денис. и Хомч⟨енко⟩ по случаю дня рожд. Сапачева.

23 — Наблюдаю за сборами глупых туристов. Р. прячется от меня за колонной. Г. Пантелеева, В. Окунева.

24 — Встречаю вернувшуюся из похода Р.

25 — Грехопадение Д. Ден. и Б. Уткина. Весь вечер с Д. Ден. Денис. на коленях. «Ты недостойна, Денисенко, сидеть у меня в тупике. Ты будешь стоять весь вечер». — «Хорошо. Я буду стоять».

26 — Вечер с Г. Пантелеевой.

27 — До 5-ти утра пьянствую с В. Окуневой и К° по случаю их распределения на Псковщину. Слезы.

28 — До 2-х ночи пьян. с Д. Денисенко. Слезы etc.

29 — До полпервого пьян. с В. Ломакиной. И опять слезы.

30 — Предпраздничное запустение. Пантелеева, Романова и Буянкина.

МАЙ

1 — Весь день с утра до ночи с Г. Пантелеевой и Г. Романовой. Первомай.

2 — то же самое.

3 — те же плюс Д. Ден.

4 — В. Ломак. изгоняет из тупика Д. Ден., как прежде сама же изгонялась Н. Давыдовой.

5 — Н. Давыдова с водкой.

6–7 — Silentium.

8 — Все вокруг Н. Давыдовой и Д. Ден. Р. в желтом платье входит в общ., как всегда испуганно озираясь на тупик.

10 — День рожд. Закирова. В. Ломак. и ее гнусное пение «Хоть пора мне спать давно» и т. д. До часу ночи с В. Ломак.

11 — В. Ломак⟨ина⟩ и первая вылазка в лес.

12 — Весь вечер на скамейке сквера с Д. Ден. Говорю оскорбит. С балконов ей кричат: «Спокойной ночи, Дина».

13–18 — Р. не вижу 6 дней. Попеременно все.

19 — вижу, когда сижу за столом с Пантелеевой. Пуколкина издев. над Ломак.

20 — Предзачетное.

21 — На балкон вечером выходит Р. Обмениваемся длинным взглядом.

22 — Бесконечное скопление людей у меня в тупике.

23 — Хвалков о какой-то записке с Р-ской фамилией.

24 — Сталкиваюсь у буфета с Рун. и Курахтан. Р. стушевывается и почти не отвечает на приветствие. Дина.

25 — За черемухой.

26 — Странное письмо от Р.

27 — Зачет по старосл⟨авянскому⟩. Вижу Р. — она срывается с места и удирает.

1961

НОЯБРЬ

11 нояб. — Подарки от Садковой. Веч. — Садкова.

12 нояб. — Все еще не переселяюсь. Веч. отвожу душу с Садковой.

13 нояб. — Никуда: ни в институт, ни на частную. Отправ. корот. письмо к Р.

14 нояб. — Прощальная беседа с Юзенковой. «Прощ.» беседа с Садковой. «Ты будешь приходить ко мне на частную?» — «О, буду, буду».

15 нояб. — Приказ завтра же съезжать. Весь вечер и ночь бок о бок с Садковой.

16 нояб. — Въезд на частную. В институт. — вторая беседа с третьекурс. Зимаковой.

17–18 нояб. — Кратковрем. набеги в общеж. с целью увидеть Садкову.

19–20 нояб. — Silentium.

21 — В общ. Я в малиннике: Тепаева — Садкова — Юзенкова. Сверхблагосклонность.

22 — В общ. Садкова вручает мне письмо от Ю. Р. Злое и глупое письмо.

23 — В инст. приветствую Садкову и Зимакову.

24 — Третья беседа с Зимак. Расспраш. об «ореховской девушке» etc etc etc. Говорит, что на 3-м курсе вчера был общий диспут относ-но меня и т. д.

25 — Садкова у меня. Половина общежития — у меня на частной.

26 — У меня Зимакова. Провожаю по морозу до Зол. ворот.

27 — Слезы Садковой. Институт. вестибюль, и все поворачиваются ко мне, куда ни пойду.

28 — Опускаю письмо к Ю. Р., самое длинное и самое туманное из всех писем к ней. 3-й курс биофака и 3-й курс филфака смотрят на меня в упор, проходя. Беседа с Зимак. и игра в загадочность.

29 — Столкнувшись с Зимак., не останавливаюсь. Так лучше. Миронова. Провожаю Садкову до общ. и весь вечер у нее.

30 — Миронова. Банкет в ресторане «Клязьма».

ДЕКАБРЬ

1 — С Сорокиным отправляю записку к Зимак. с приглашением на вечер 4 дек.

2 — Миронова. Нянька у моей постели. Конфеты и лекарства. «Прогони меня, прогони».

3 — Весь день с Зимак. Снежные скамьи. Учу

пить ром из горлышка. Прощение.

4 — Вместо банкета вторжение в общеж. Миронова. Садкова.

5 — Продолжение конституц. банкетов.

6 — Рест. «Клязьма». Письмо от Рун., посланное 2/XII. «Очень прошу выполнить одну мою просьбу — писать о себе». И т. д.

7 — Первое знакомство с Н. Ивашкиной. Зимак. ненормальна.

8 — Первое знакомство с Н. Николаевой. «Вы Ерофеев? Мне нужно с вами поговорить» и т. д. Крат. бес. с Ивашкиной. Примирение с Зимаковой.

9 — Смехотворно. Сидя в вестибюле, кропаю статью об Ибсене. Ивашкина. Подходит Зимакова — Ивашкина вскакивает и отходит. Зимакова садится рядом. Спустя час подходит Наина Николаева — Зимакова вынуждена вскочить и отойти.

10 — Посылаю корот. письмо к Ю. Р.

11 — Опять Ивашкина и Миронова.

12 — Миронова в кругу своих однокурсниц. Смотрит на меня испуганным, «руновским» взглядом.

13–14 — Надежда столкнуться с Зимаковой.

15 — Николаева говорит, что все это безобразие.

Ивашкина в восторге. Ибсен и Гамсун. Зимак. нигде нет.

16 — Письмо от Ю. Р. с приглашением приехать в Орехово. «В 20.00 встретимся на автобусной остановке около общежития. Я буду готова выслушать любой „приговор“. Ты согласен приехать? Напиши». Весь вечер с Садковой. Зим. нигде нет.

17 — Никуда не еду, ни в какое Орехово. Ожидаю Зим. Взамен себя посылаю Ю. Р. письмо с обещанием заехать к ней на полчаса между 19/XII и 22/XII.

18 — Радост. столкновение с Зим. Идиотка Садкова.

19 — Попеременно: Ивашкина — Зимакова — Миронова.

20 — Приглашаю Ивашкину на Нов. год. С Зимаковой весь вечер в рестор. «Клязьма».

21 — Миронова — Зимакова. Стыдливая и кроткая Миронова. И самонадеянная Зимак. с курсом «на очарование» и непреложность.

22 — Ивашкина — Зимакова — ссора с Зимак. С Ивашкиной в ресторане «Клязьма». Иваш. рассказывает: сегодня на занятиях ее курса все бросились к окошкам, когда кто-то крикнул во время лекции: «Девочки! Кто Ерофеева не видел? Вон он пошел — со своими оруженосцами».

23–24 — Не еду в Орехово. Суббота — воскресенье. Ивашкина впервые у меня в гостях. Сборище у меня на квартире.

25 — С Зимаковой в темном вестибюле допоздна. Миронова и Ивашкина неприятно удивлены.

26–27 — Предновогодняя нервозность. Новые сборища.

28 — Посылаю телеграмму Ю. Р.: «В пятницу не уезжай. Ероф.». С Зимак. в ресторане.

29 — Поезда отменены. Ивашкина.

30 — В Орехово-Зуево. Вечер с Ю. Р.: Договариваюсь назавтра ехать во Влад. на Нов. год.

31 — Утро. Размежевание с Ю. Р. окончательное. Тягостное прощание во Владимире. Конец Ю. Р. за 10 часов до конца 61 года. Р. отъезжает назад в Орехово. Врываюсь к себе — Ивашкина — «срочно напиться, Ивашкина». С Ивашкиной на Нов. год в общежитие.

Помню, летом 60 г. в Орехове меня называют великим трагиком.

1962

ЯНВАРЬ

5–6 — Новые перипетии: Зимакова — Миронова. Зим. о Мироновой: «Ну нельзя же до такой степени влюбляться, это же глупо, она ходит как шальная» и т. д. Весь вечер с Зимак. в рестор. «Клязьма». Всю ночь — скамейка, холод и милые глупости. Ночь перед Рождеством.

7 — Рождество с Солдатовой. «О тебе у нас на курсе много говорят, и больше по ассоциации с бедной маленькой Садковой». Ночь в комнате Ивашкиной. Ивашкина: «Ты не представляешь, что начнется завтра!» Всего-навсего милые шалости. Утром все женское общежитие следит, когда я выхожу от нее, коварно улыбаясь.

8 — Все факультеты, проходя по вестибюлю, в упор смотрят на нас с Зимаковой, щебечущих на диване, хотя в вестибюле сидит больше сотни и есть на кого смотреть.

9–10 — Смущ. Миронова. Ищу Зимакову. Товарищеский суд над Ниной Ивашкиной.

11–12 — Влюбленная Тюрина. Эпидемия захватила и мой курс.

13–14 — Ссора с Зимак. и примирение с Ивашк.

15 — Первый экзамен в ВГПИ. Триумф. Гитары и ресторан. Гости из ОЗПИ.

18 — Беседа с деканом. «Вы не имеете права учиться здесь, Ерофеев. Если даже вы постоянно будете отличником. Надеюсь, вы меня понимаете. Послезавтра, в субботу, вы должны прийти ко мне и сказать свое слово. Вы самый заметный человек в институте, вы это знаете» и т. д. Решаем с Ивашкиной, если меня в субб. выгонят, перепиваемся в стельку.

19 — Ивашкина умоляет декана не изгонять Ерофеева. Тюрина подымает на ноги 1-й курс филфака. Тяпаева — 2-й курс филфака. Зимакова — 3-й курс филфака. Юзенкова — 5-й курс биофака. Ивашкина — 4-й курс филфака. Николаева — 5-й курс филфака и т. д. Ресторан «Клязьма».

20 — Единственный на курсе сдаю на отлично экзамен грозному Иорданскому. Бедная Миронова — Зимакова коварно не дает ей поговорить со мною и 7 минут. До 2-х ночи с Ивашкиной.

21 — Ивашкина устанавливает диктатуру. Ректор ВГПИ передает через декана: «Я хочу поговорить с Ерофеевым». Зимакова оттесняет Ивашкину. Взбешенная Ивашкина швыряет те-

леф. трубку на ул. Нариманова.

22 — С Иваш. дурно. Однокурсницы выносят ее из аудитории. Беседа с ректором. Зимакова и К°, Тюрина и К°, Тяпаева и К° ожидают. Ресторан «Клязьма».

23–25 — Пятикурсники говорят: «За всю историю ВГПИ не было, чтобы такая масса людей ждала одного человека с экзамена». Полсотни ребят и сотня девчонок со всех факультетов. Выхожу: отлично. Пьем с Зимаковой на чердаке института.

26 — Галина Герасимова. Ресторан «Клязьма». Тюрина в ужасе.

27 — Плюю на все. Еду в Орехово-Зуево.

28–29 — В Ор. — Зуеве. Никакого желания заглянуть в общ. ОЗПИ.

30 — Н. Ивашкина: «Не буду больше, не буду больше тебе помогать за все твои подлости!» Иисус-Мария! За какие же подлости? Зимак. исчезла.

31 — Н. Ивашкина. Приказ об отчислении. «За идейное, дисциплинарное и нравственное разложение студенчества института».

ФЕВРАЛЬ

1 — Целых пять дней не видал Зимак. Столкновение. И до 6-и утра с ней.

2 — Ивашкиной предложили в ректорате: «Или Ерофеев, или институт». Она обещала подумать etc.

3–6 — Все на каникулах. Переселяюсь на кв. «аристократки». Призываю всех ребятишек адрес держать в секрете.

7–9 — Первой узнает адрес Ивашкина. Плачет ни о чем у меня в гостях. Зимакова спрыгивает на ходу с поезда и находит меня, и вторгается.

10 — С Зимаковой едем куда глаза глядят. «Плюнь на свой институт». Едем. Орехово-Зуево.

11 — В вокзал. ресторане Ор.-З. с Зимаковой. Кишкин — Моршанский. В магазине сталкиваемся с моими старыми ОЗПИ-цами: Налбалдян, Еселева, Моторина. Через форточку — в общеж. позапрошлого года. Киреев, Сапачев, Ломакина, Красовский. Зимакова. Возвращ. во Влад.

12–24 — Silentium. Полоса нокаутов. Родителей Ивашкиной вызывали во Владимир из Москвы, родителей Зимаковой — из петушин. деревни. Всем дали послед. предупреждение. Серия комсомольских собраний на всех пяти факультетах.

Запрещено не только навещать меня, но даже заговаривать со мной на улице. Всякий заговоривший подлежит немедленному отчислению из ВГПИ. Неслыханно.

25 — Изоляция кончается. У меня в гостях Н. Солдатова. Отважная девочка.

26 — Наина Николаева и Нина Солдатова.

27–28 — Еще серия нокаутов. Отчисление из института всех моих: Федорова, Зоткина, Сорокина, Модина. Ивашкина насильственно отправляется в академический отпуск. Зимак. провалилась неведомо куда.

МАРТ

1 — С вином и Солдатовой и девятью ребятишками — по всему Владимиру.

2–3 — Статьи о Гамсуне заканчиваю. Модин наз. их солнечными. Ищу Зим.

4–6 — Вторжение в институт моей пьяной кавалькады. Поручил им в канун отъезда выкрасть Ивашкину и привезти ко мне. Выкрадывают и привозят.

7 — Канун женских торжеств. Неожиданность — после почти месячного антракта — появляется Зимакова в сопр. Мироновой. Бездна вина и куча вздора. В полночь удаляется сумеречная

Миронова. Зим. остается. Грехопадение.

8 — Весь день с Зим., и теперь плевать на все остальное.

9 — Прощание со своими. Мой домик не просыхает от народа.

10 — Зимак. исключается из института. Дело в горкоме комс. Галина Герасимова.

11 — Вторжение Ивашкиной с перцовкой и истериками.

13 — Знаменат. вечер в ресторане «Клязьма». 5 оруженосцев, Нина Солдатова и Нина Ивашкина. Неожид. в рест. вплывает Зимакова. Триумфаторша Зим., коварно улыбаясь, Иваш. и Солдат. с присвистом. Зимакова к Ивашкиной: «А давайте-ка, Нина, кто кого перепьет». И т. д.

1964

АПРЕЛЬ

1. Сделать выписки из псалтири.
2.
Среда:
12:20 Немецкий
1–2 Немецкий
3–4 История КПСС
Четверг:
1–2 Введение в лит⟨ературоведение⟩
3–4 Латынь
5–6 Немецкий
Пятница:
1–2 Введение в язык⟨ознание⟩
3–4 Введение в лит.
5–6 Логика
Суббота:
1–2 Физ⟨культура⟩
3–4 Немецкий
5–6 Немецкий

Понедельник:
1–2 Введение в языкознание

3–4 Введение в языкознание
5–6 Немецкий

Я на небо очень редко смотрю.
Я не люблю небо.

Кто ждет от меня утонченности, будет разочарован.

См. у них (трудяг) черная зависть к состоятельным и добившимся положения. Воспитание подростка в Груздеве. Ср. в 57 г.: мне подносят спичку и заискивают за одно то, что я знаток и ценитель декад. стихов.

1965

Июнь 1965 г. Караваево[5]
Июль 1965 г. Мичуринск
Август 1965 г. Липецк
Сентябрь 1965 г. Липецкая обл.
осень 1965 г. Орел.

17. VI. Способность на самоубийство признаем высшей духовной способностью. Все остальные подвиги, совершаемые и совершенные, сопряжены с опасностью, в которых, что там ни говори, много шансов на благоприятный исход. Самоубийство его исключает.

Бенедикт Ерофеев — самое целомудренное существо на свете. По его же собственным подсчетам (15–20/VI) — он тает всего лишь от каждой 175-й юбки по среднему исчислению.

Венедикт Ерофеев, защитник моральных завоеваний человечества.

Амур выстреливал в меня 15 раз и всякий раз

---

[5] Notes: 5

Караваево — село в Петушинском районе Владимирской области; в караваевской средней школе работала Валентина Зимакова (жена В. Ерофеева в 1966–1975 гг.).

промахивался.

Скверный сын, скверный брат, скверный племянник, я захотел быть хорошим отцом.

Я вынашиваю в себе тайну. Потому я капризен, меня тянет на кислое, на горькое, я отяжелел в своих душевных движениях.

Я не лежу, а простираюсь.

Вздорные трудности, с которыми я расправлялся, как с филистимлянами Самсон.

Все доброе во мне — от Евангелия. Все дурное — все еще от сопротивления ему.

Я подотчетен только Господу Богу.

Умереть, уснуть и проснуться в слезах.

В сердце моем две уже уместились, и еще место осталось.

Не волынить, но и не пороть горячку.

23/IX–65 г. Замечаю по себе, как дезорганизует физический труд, как губителен для здоровья свежий воздух.

27 сент. — 5 октября
5 октября — переселение в Становую.

8 октября — переселение в вагончик.

7 октября — начало болезни.

12 октября — конец болезни и известие о переброске.

11 октября — первый снег и пурга.

15 октября — из Брянска в Москву.

Орловская обл., Орловский р-н, Неполовский с/совет, дер. Булановка, Новиковой Зое (для Ер(офеева)).

22 октября — Из Москвы в Орел.

14/XI–65 г. На станции Скуратово пью пиво и впервые слушаю: «Это ландыши все виноваты».

1966

Я занят изучением моральных процессов. Тихонов — мой ассистент.

Мне не нужна стена, на которую я мог бы опереться. У меня есть своя опора, и я силен. Но дайте мне забор, о который я мог бы почесать свою усталую спину.

И когда же будет день (5 лет ожидаемый) с quantum-satis-ом моих житейских неприятностей? 19/VI.

Лично я убежден в историчности Адама и Евы!

5. VI. Мой малыш, с букетом полевых цветов в петлице, верхом на козе, возраст 153 дня.

17–18/VI. Вот оно, обалдевание прежних времен, с метанием к северо-востоку и дорожной немотой. «Пограничная ситуация» вечером 17/VI. Фрязево — Москва.

22/VI. Передислокация: Брянск — Орел — Мценск — Ефремов — Становая.

Ночь на 1/VII — поет колыбельную на лермонтовский текст с музыкой собственного сочинения.

4/VII — Нарушение обетов и еще раз передислокация: Становая — Елец — Задонск — Липецк — Лубна.

Ночь на 6/VII — Во сне переживаю ситуацию, радующую совершенным отсутствием светлого исхода.

3/VIII. Двенадцатый день не пью, и замечаю, что трезвость так же чувствительна, как физический труд и свежий воздух. Мелкое наблюдение: я никак не могу вспомнить один редко употребляемый и более крепкий синоним к словам «мракобес», «ретроград», «реакционер», «рутинер» — который уже день не могу вспомнить. Бьюсь об заклад, как только сниму с себя зароки и выпью первые сто грамм, припомню немедленно.

3/VII. В июне, в Мышлине[6], я все это (и самые тонкие яства вроде Рильке и Малера) «кушал без аппетита». Теперь очень понятно, что значит «жрать все подряд» — только бы утолить голод. От этого голода (т. е. ни одной мелодии и ни одной стихотворной строчки за полмесяца) — самая естественная слабость, головокружение, «нечистость» и все такое. Если бы я вдруг откуда-нибудь

[6] Notes: 6

Мышлино — деревня в Петушинском районе Владимирской области, где жила Валентина Зимакова.

узнал с достоверностью, что во всю жизнь больше не услышу ничего Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери. Очень серьезно. (К вопросу о «пустяках» и «психически сравнимых величинах».)

6–7/VII. Лубна — Лебедянь — Красное — ограбление вишневого сада и сразу в Знамение — Становое-Красное — Куймань — Лубна.

8–11/VII. Меня в моих странствиях сопровождают «Два белых голубка» Самюэля Барбера.

Ночь на 12/VII — Первая ночь в Тамбовской области. Избердеевского р-на.

13/VII — Хомутец — Липецк — Хлевное — Задонье — Елец — Становая. Расх. новости.

С 15/VII я каторжанин.

Ночь на 16/VII — В районе Знаменки, под звездным небом. Всеми оставленный малыш — почему никто и не взглянет? — всхлипывает в своем углу. Подхожу, обнимаю его и уношу с собой.

Ночь на 20/VII — Посреди селения Дон-Избище, у входа в палатку.

Стоило только поправить кирпич над входом — рушится весь фасад пединститута.

Спросить у З⟨имаковы⟩х, не обрушилась ли мышлинская печь.

Жена Геббельса курила сигареты: отучить

Зимакову курить.

29/V. Спросить у Зимаковой, у Г., у Р., у М. Весь день последовательно деревенею, хотя и всеми силами «размягчаю душу». Вернее, даже так, пью весь день и, не пьянея, сосредоточиваюсь на каком-то очень громадном и очень пустом чувстве (и очень сковывающем), которому нет ни имени, ни причины. Все проходит стороной. Спросить, что случилось.

3/VII. Великолепное «все равно». Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и потому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это — только в самые высокие минуты, т. е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особенной утраты. Это можно было бы развить.

– Это кто тут у вас, Ерофеев, все стреляет? — спрашивает она.

– Это Амур, — отвечаю, — стреляет мне в сердце, жестокая девушка.

отсутствие динамичности в моем характере

все потеряно, кроме индивидуальности

И вот еще, как мне говорить о вкусах: мне

ненавистен «простой человек», т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости, и в досуге, в радости и в слезах, в привязанностях и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его «простота», наконец. Запомнить вечер в Брянске 19/VI. О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения. Я поседел от того, что в милом старом веке называли попросту «мизантропиею».

А вот еще одна моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности.

1967

ЗИМА 66/67 гг

5/III–67 г. запомнить. Во Владимире, к вечеру я напился уже до такой степени, что часы у меня пошли в обратную сторону, я давал всем слушать и смотреть, все видели, слушали и говорили, удивляясь: «А по тебе и незаметно».

Придумал для младенца новую игру, 22/XII, «мудозвончики» называется.

Если сын смотрит на меня две минуты подряд, то что это — хорошо или плохо? Говорят, что неприязненные взгляды всегда короче обожающих; спросить у знатоков.

А младенца своего надо заставить приготовить к 50-летию Октября какой-нибудь аттракцион: показывать, например, фиги или на пузе сплясать «Интернационал».

«Хорошо сохранился» за эти 6 лет. И тогда был опухший от водки, и теперь вот (на свидание к сестре).

В одну телегу впрячь не можно
Меня и трепетную лань.

Я прикован к скале. Ко мне подлетает коршун, тюкает один раз мою печень, морщится, сплевывает и улетает обратно.

Врожденно это или нет? Меня трогает любое упоминание в сочинениях классиков о зиме, метели, вообще севере, холодах etc. То же — неприязнь ко всяким проявлениям «зноя», бурности, голубизны и п⟨одобного⟩.

Что же мне-то останется, дамы и господа?
В моей долине не умолкнет свирель и т. д. Так выбирай же между суетой и блаженством.

26/II — Посл⟨едний⟩ день в Мыш⟨лине⟩, если не вернусь. Смирение…

27/II — Предпоследние сутки зимы. С Зимачихой выезжаем в свет. Петушки. От⟨ъезд⟩ в больницу. Четвертинка и солнце в петушинских лужах. Оставляю. Москва. Обнадеживающие новости. «Мир в душе».

28/II — Владимирский вояж. С Тих⟨оновым⟩ встреча в Петушках. С апельсинами в гостях у Зим⟨аковой⟩. Владимир. У Сор⟨окина⟩ в гостях. До 3-х ночи беседы с Сор.

1/III — Владимир. Просып. с Сор. Автопоилка. У Тихонова пусто. ВГПИ. В новом общежитии ВГПИ. Тих., Маслов, Сор., я, дев⟨ушки⟩. Пикник в жен. ком⟨нате⟩. В обл. биб⟨лиотеке⟩. Растет наше число и наши финансы. На всех площадках. У Тихонова. Шпик, Маслов, Люд⟨мила⟩, Сор., Тих. и пр. За полночь. Бестолковая наглость и перипетии.

2/III — В поисках опохмелки. По Владимиру. Пьяные ⟨нрзб.⟩. Ограбление Люды. Сходка в подъезде Авдошина. Втроем уезжаем из Владимира.

3/III — Утро — Люберцы. Урезанная премия. В кафе Октябрьского поселка поправление ⟨нрзб.⟩. В библиотеке МГУ. У Нины Фр⟨оловой⟩. В меру прелестно.

4/III — Вот это мне нравится. С Б⟨орей⟩ С⟨орокиным⟩ просыпаемся у Нины Фроловой. Пиво. Вторжение на Пятницкую. Нахрапом отстав⟨ляю⟩ Любчикову и Жанну. Подымаю всех, и едем. Водка — Петушки — пиво — триумф. Встреча на вокзале — в бегах — на Б. Московской наше число удваивается — ресторан «Лада» — ресторан «Заря» — прониц⟨ательный⟩ Цар. — вино — вино — у Алисы — за полун⟨очь⟩ по всему Вл⟨адимиру⟩ — ночь у Тих., вповалку.

5/III — Еще день во Вл⟨адимире⟩ — чудовищ⟨но⟩, пиво и все такое — у Люды в гостях — 6 ча-

сов ржания — исходим — к ночи уединяем⟨ся⟩ с Тих. — редкое нездоровье.

6/III — Неслыханно. По Вл⟨адимиру⟩. Увеличитель et cetera. Прощание. В автобусе до Пекши. Умоляю до Мыш⟨лина⟩ тракт⟨ориста⟩. Занятная встреча. И — noctu — возврат к давно не бывшему. Бога нет, и все позволено.

7/III — Возрожд⟨ающийся⟩ и клокочущий. Рецидивы ночи. Из школы с водкой. Вбираю конфеты и слад⟨ости⟩, и проч.

8/III — Женские торжества в Мышлине.

1969–1970 гг

Когда отступаешь от идеалов, напоминай обвинителям, что быть совершенно благородным скучно.

Сыну завтра надо построить теннисный корт, и площадку для гольфа, и комнату для игры в бридж.

Нет в мире ничего шуточного, я это знаю лучше всех, потому я ⟨легкомыслен⟩. А все легкомысленные — замкнуты, зато и свирепы.

И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества: малодушие, незрелость и недостаток характера.

14 июля — 19 июля — Зим⟨акова⟩ у меня. Расстр⟨оенная⟩ встреча на Курском и бестолковость прощ⟨ания⟩ на линии М⟨осква⟩ — Петушки.

С 20 июля — возобнов⟨ление⟩ голодн⟨ой⟩ раб⟨оты⟩ и публич⟨ной⟩ биб⟨лиотеки.⟩

25 июля. — Еще попытка вырваться в Мыш⟨лино⟩. Неуд⟨ача⟩.

Под⟨ожду⟩ еще неделю. Возобнов⟨ление⟩ трезв⟨ой⟩ раб⟨оты⟩ и публич⟨ной⟩ биб⟨лиотеки⟩.

3 сентября. — Все так. Мне ничего не надо. От-

носит⟨ельно⟩ Р⟨уновой?⟩ — посмотрим. В тиши и тьме восстанавл⟨иваю⟩ честь и равновесие.

4 сентября. — И никогда так легко не перенос⟨илась⟩ нищета и одиночество. Вечером — Ист. биб⟨лиотека⟩ и Брюсов. У Тих⟨онова⟩ — освобожд⟨енный⟩ из Горького Петяев и Свир⟨идов⟩ — вдребезги.

5 сентября. — «Никогда так легко», п⟨отому⟩ что аб⟨солютная⟩ свобода от всякой эротики, светлой и темной. Веч⟨ером⟩ — вхолостую пролетаю по моск⟨овским⟩ знакомым в «размыш⟨лении⟩, чего б покушать». Никого.

1972

ИЮЛЬ – АВГУСТ

Оставьте мою душу в покое.

А может, Он ждет вопросов крупнее и ему кажутся мелким узколобым вздором все наши «warum?», «wozu?», «зачем?», «cuz?», «отчего?» и т. д. Как мне кажутся смешными вопросы моих коллег.

У него бездна ответов, и он удивляется: почему так мало вопрошаем, почему ленивы, и нелюбопытны, и суетны?

Видеть сны необходимо мне вот для чего: для упражнения и удостоверения в моральных принсипах и чтобы понять: одинаково ли оставляют след страхи и горести сна и яви. В конце концов, горе — внутренняя категория, и оно не обязано иметь под собой основание. Граф Тостой или Федор Достоевский выдуманные потрясения и утраты переживал острее и глупше, чем иной свои основательные и т. д.

Несовершенство наших душевных процессов:

сравните, как отлично работает наш кишечный тракт. А здесь — застой, тошнота без выташнивания, неспособность вовремя освободиться от того, что накопилось нечистого, и т. д.

Каждая минута моя отравлена, неизвестно чем, каждый мой час горек.

СМУ ПТУС. Оказывается, есть и люди порядка Хеладзе, сказавшего полгода тому: «Ерофеев вне всякой дисциплины».

А что сделал в мои годы Нерон? Ровным счетом ничего.

Случай во Владимире: я наш уже до такой степени, что у меня часы пошли в обр. сторону.

Мой сын снимает майку через ноги и трусы через голову.

Уже на 3-м курсе спрашиваю: а на каком я учусь факультете?

Надо быть искушенным во всех грехах, чтобы отвратиться от них от всех. Маленькая ложь и привычка к ней необходима как средство против той, гигантской лжи… (см. прививка оспы, etc.).

Мы с каждым днем все хуже. И каждый, и все

человечество с каждым днем все хуже. И поэтому, если говорить о качестве людей, то лучше всего тот, кто это чувствует, то есть тот, кому с каждым днем все хуже и хуже.

Мы все так опаскудились мозгами и опаршивели душой, что нам 13-летняя привязанность кажется феноменом. Мы, правда, живем в мире техники и скоростей, ну что ж, пропусти технику, иначе действительность собьет, протиснись сквозь все эти такси и иди, куда тебе надо.

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ

8 августа — 13 сентября

8 августа — Водка за 3.62. Мур., Скор., Н. Скор., Шр., Бис., Ер.

9 августа — Водка за 3.62. Ркацители. Саперави. Вермут. Алексанян, Лапин, Шеремет., Ер.

10 августа — Экстра, вермут. Алексанян, Шеремет., Лапин, Ер.

11 августа — Тырново, сливянка, экстра. Рун., Ер.

12 августа — За 3.62. Экстра. Рун., Ер.

13 августа — За 3.62. Зим., Ер.

14 августа — Солнцедар. Зим., Ер.

15 августа — За 3.62. Чача. Вермут. Алексанян,

Шеремет., Лапин, Богат., Сталин, Лавеч., Ер.

16 августа — Английский джин, шотландские виски, саперави. Э. Костюх., Е. Костюх., В. Мур., Ю. Шр., Робинс, Мокс., Ю. Ром., Ер.

17 августа — Портвейн. Серак., Н. Серак., Смич., Бардин, А. Друг., Л. Друг., Ер.

18 августа — Английский джин, шотландские виски, алжирское, за 3.62, экстра, рымнинское. В. Мур., В. Скор., Ю. Рун., Н. Скор., Н. Ром., Ю. Шр., В. Губ., Г. Губ., Ер.

19 августа — 3.62, болгарское сухое, экстра. В. Тих., Л. Любч., Э. Костюх., А. Петяев, Я. Пит., Ер.

20 августа — Фруктовое, красное крепкое, 3.62, Рубин. В. Тих., А. Арх., Н. Арх., Л. Любч., Ер.

21 августа — Виски клуб 99, 3.62, Рубин. Ю. Шр., В. Тих., Алексис., Л. Любч., Ер.

22 августа — Солнцедар. Ер.

23 августа — Солнцедар. Зимак., Ер.

24 августа — лосьон «Кристалл», Огуречный лосьон. Рубин. Шампанское. Экстра. 3.62. Самогон. Брага. Искра. А. Пит., Е. Пит., Я. Пит, А. Пит., И. Авд., Б. Сор., Цедр., Т. Мих., С. Мих., А. Сид., Т. Сид., М. Арац., Н. Арац., пятеро неизвестных, Ер.

25 августа — Шампанское, прутское, рубин, гранат, 3.62, брага. А. Пит., Я. Пит., Б. Сор., Цедр., И. Авд., Б. Авд., Т. Мих., С. Мих., А. Сид., Т. Сид.,

М. Арац., Н. Арац., А. Арх., Н. Арх., шестеро неизвестных, Ер.

26 августа — Шампанское, прутское, 3.62, гранат, брага, микстура валерианы, А. Пит., Я. Пит., В. Сор., Б. Сор., Цедр., Т. Мих., С. Мих., А. Сид., Т. Сид., М. Арац., Н. Арац., А. Арх., Н. Арх., Белобр., трое неизвестных, Ер.

27 августа — 3.62, прутское, брага, А. Пит., Я. Пит., В. Сор., Б. Сор., Цедр., Т. Мих., С. Мих., А. Сид., Сид., М. Ар., Н. Арх., Белоб., четверо неизвестных, Ер.

28 августа — Дульче, Мицне, одеколон «Жасмин», Рубин. Б. Сор., В. Сор., Л. Черныш., А. Франц., В. Куран., А. Архип., Ер., оркестранты ресторана.

29 августа — 3.62, портвейн, херес. Коб., В. Хроп., Ер.

30 августа — Мицне, портвейн. Гиссар., В. Хроп., Ю. Рун., В. Ес., Ер.

31 августа — Алжирское, 3.62. Ю. Рун., Ер.

1 сентября — Экстра. Молдаванское. Ер.

2 сентября — Молдаванское. В. Зим., Н. Зим., В. Митр., Ер.

3 сентября — Молдаванское. В. Зим., Н. Зим., В. Митр., Ер.

4 сентября — 3.62, Мицне, Кебер., Ер.

5 сентября — Ипаниури, 3.62. В. Софр., Н.

Фрол., Ер.

6 сентября — Гиссар., Алжирское, Мицне. Кара-чинах. В. Свирид., Ер.

7 сентября — Гиссар., Алжирское. Кара-чинах, 3.62. Л. Люб., Н. Арх., А. Арх., В. Свир., Я. Пит., А. Пит., Ер.

8 сентября — Кара-чинах, Фруктовое. В. Свир., Н. Арх., А. Арх., Л. Люб., В. Ломон., Я. Пит., А. Пит., Ер.

9 сентября — Мицне. Рубин, Ипаниури. Портвейн. Экстра. В. Софр., Н. Серяк., М. Серяк., Ворм. Друч., Ю. Ром, Г. Ис., М. Ис., трое неизвестных, Ер.

10 сентября — Кагор, Румынское сухое, 3.62. Л. Люб., А. Авд., Б. Сор., Н. Арх., А. Арх., Ер.

11 сентября — Одеколон «Свежесть», одеколон «Жасмин», одеколон «Фиалка». Б. Сор., А. Арх., Л. Люб., В. Тих., Ер.

12 сентября — 3.62, Н. Тих., Н. Дерг., Н. Пок., Н. Богат., А. Арх., А. Кург., А. Алекс., В. Клитко, В. Хелад., И. Ур., А. Завален., Ер.

13 сентября — Болгарское сухое. В. Ес., Ер.

14 сентября — ничего. Ер.

Июльские ночлеги:

ст. Железнодорожная, ул. Шверника.

Ст. Электроугли, придорожная трава.

Ст. Железнодорожная, ул. Юбилейная.

Ст. 43 км, придорожная трава.

ул. Фадеева, 43.
Москва Шереметьевская.
Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи.
Москва, Бутырский Вал, Москва, ВДНХ.
Москва, 10-й проезд Марьиной Рощи.
Владимир, Сидоровы. РУС.
Ногинский район, Обухово.
Кудиново, пр. совхоза.
Павлово-Пасад, друг вишни.
Павлово-Пасад, переулок Маяковского, Ст. — Павлово, Б.
Орехово-Зуево, вокзал.
Бескудниково, 19.
Москва, Лосиноостровская.
станция Петушки.
Мыш. Петуш. района.
станция Видное, Ленин…
ул. Готвальда
Орехово-Зуево, Гагарина

1973

Мой путь саморастрачивания ничуть не хуже и не лучше других. «Что есть польза?» — спросил бы прокуратор Понтий Пилат.

Два вояжа через Оку: 23/VIII и 25/VIII. На исходе лета.

Я ортодокс. Бог обделил меня. Ни одной странности.

Я с каждым днем все больше нахожу аргументов и все больше верю в Христа. Это всесильнее остальных эволюций.

Меня, прежде чем посадить, надо выкопать.

Писать так, во-первых, чтобы было противно читать — и чтобы каждая строка отдавала самозванством.

В этом мире я только подкидыш.

АВГУСТ

8 — Пущино[7].

15 — Тяжелый четверг. Утро у Улитиных. Сдавленно еду в Петушки.

---

[7] Notes: 7

Пущино — город в Московской области; Юлия Рунова работала там в Институте биологической физики АН СССР.

16 — Пущино.
17 — Пущино.
18 — Пущино.
19 — Пущино.
20 — Пущино. Наконец-то она появилась. С Есе-левой.
21 — Пущино.
22 — Пущино. С Ес. первая вылазка на ту сторону Оки.
23 — Пущино.
24 — Пущино.
25 — Гнуснейший из пущинских дней.
26 — Паршивейшее и злобнейшее из расста-ваний.

СЕНТЯБРЬ

1 — Мышлино.
2 — Мышлино.
8 — Новоселье и день рождения у Тих.
9 — Весь день у Тих.

14 — Мышлино.
15 — Мышлино.
16 — Мышлино.
17 — Мышлино.
18 — Мышлино.

ОКТЯБРЬ

23 — Из Мышлино в Москву. В Поломах — опохмелился. У Серяковых в Павлово-Посаде еще. В Москве — звоню Еселевой с предложением у нее отметить день рождения. Ночь у Ес.

24 — День рождения. Переполнен бог весть чем и памятно. «Слышен голос». Звоню Лодыжной. Гости и прекрасно: Седаковы, Кобяков, Муравьевы, Натали, Лён, Величанские, Еселева.

25 — Продолжение дня рождения. У Ес. опохмеляюсь алжирским на лестнице. Появление Ледика за сумкой, еще похмеляемся. Прекрасно. Едем с Ледиком на день рождения неизвестной. Бородач Александр и 3 девицы. Ночлег.

26 — Все чаще и с трудом к полуночи подымаюсь до нормы. У Александра и его девиц. Пиво и Алжирское. К вечеру — к Нине на день рождения. Семейство Фроловых. После всего минувшего невыносимо. У Фроловых.

27 — Утро у Фр. Пиво и пиво, и не на потребу. У Авдиева Сорокин не пьет. Алжирское. С Авдиевым к новичку Эжену Павлову. С ним к К° — на вечеринку на Пушкинской. Куча девиц и черт знает кого. Сумбурный ночлег.

28 — Хоть сегодня, может быть, доберусь

до Петушков. Первая половина дня — в месте вчерашней вечеринки. Похмелье и похмелье. Совсем пустой и без копейки — в Петушки. Ночь на Петуш. вокзале.

29 — Утром просыпаю 1-й автобус и ехать невозможно. Возвращение в Москву через Павлово-Посад. Весь день валяюсь у Др., исходя дурнотой и испариной. Ослабевший до последней степени — в Москву к Ес. за сумкой. У Ес. Элла.

30 — Утро у Ес. Элла и вялая беседа. Пивбар «Останкинский». Некуда идти. Кузнецкий Мост и гроб Буден. Столкновение с Сукачом. Продажа.

31 — Ночь на вокзале Петушки. Добираюсь.

1974

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ[8]

Хорошо, я нашел эту тетрадку (она застряла в обериутах), в особенности за 2 дня до отправления в Среднюю Азию — конспект лекции (аудитория — куда «больше полсотни» и лектор бородатый и очень умный). Лекция на тему «Отличное настроение должно быть ежеминутным» (со ссылками на Восток и пр.) на квартире Мельниковых.

Лектор, старикашка лет 25–35. Единственное средство добиться добродушного расположения духа — щелочно-кислотное равновесие организма (то есть тогда тебе будут по хую все потрясения личного, национального и общественного порядка). Только кислотно-щелочной баланс заслуживает того, чтобы о нем и думать, его поддерживать и за ним следить.

Избыток солнечной, или умственной, или какой угодно энергии повышает кислотность.

---

[8] Notes: 8

В мае — августе 1974 г. В. Ерофеев работал в Узбекистане лаборантом экспедиции ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом.

Необходимо (в случае избытка) нейтрализовать клетки и ткани щелочными элементами (чай и кофе, ни в коем случае не водка). Так происходит очищение структур.

Итак, отрицательные эмоции следует устранять щелочными продуктами, а также молитвой и самовнушением. (На одной из московских квартир лекция: «Отличное расположение духа должно быть ежеминутным».)

Лунное дыхание и солнечное дыхание. Лунное дыхание — через левую ноздрю (это охлаждает мозг при усиленном перегреве от избытка мыслей или избытка солнца). Солнечное дыхание через правую ноздрю (при морозе и индифферентизме). В первом случае (при лунном дыхании через левую ноздрю) нейтрино — носители разума — пробивают наши ядра и через гипоталамус и эпифиз извергаются ввысь или просто вон.

(Из цикла «Московские салоны»)

Мир совсем не плох, если в него глядит человек, умеющий очищать свои структуры.

Он самый строгий и самый длинный из нас, как литургия Василия Великого — самая длинная и самая строгая из всех литургий.

И тут же до зарезу необходимы выдержки

из другого лектора (православного) о том, что дыхание через левую ноздрю — лунное дыхание — успокаивает душу, умеряя мозговые процессы и размышления о будущем и пр. и пр.

Как ты хочешь умереть? Как-нибудь паскудно и в то же время ослепительно. Например, я сижу у себя на даче в деревянном туалетике, ка́кая в грозу, и тут в меня ударяет молния.

22 сент. — утро в столице. С арбузом и виногр. — хор. — в Мышлино. В порывах заскак. Зимак. День встреч.

23 — Мыш. В ожид. — в Караваево, на крыльце водка и виноград. В 12.00 — едем в больницу. Еще пьем. До завтра в П.-Посад. Банкет. У Серяковых и коллег.

24 — утро у Серяковых. Уже без коп. Едва похм. сухим вином, с пом. Дружинина. Зим. едет в больницу, я в Москву за деньгой. Останав. у Тихонова — о среднеоз. впечат.

25 — Утром с Тих. во ВНИИДИС.

26 — В поисках средств до завтра. Пиво и пр. К. Кобякову.

Первая встреча с Коб. в кабинетике. Мы с Тих. отпр. к В. Мур. Безобраз. Тих. Костюхин и К°, Слугин. Отправ. к Тих. на ночлег.

27 — Получаю деньги во ВНИИДИСе. Разгул

продолж.

28

О красавица младая!

Я твой раб на всё готовое.

29

30 — К Авд. Пьем у Люб. Серг. Куча вина. Тих. сбегает — еду в Мыш. Ночую не то в электрич. Не то в Петушках.

ОКТЯБРЬ

3 — весь день в Мыш. Утром — безобразно. Трактористы решают спасти: едем в Караваево. Антенны, шифер, водка и пр. Почти здоров.

4 — С утра — сборы в дорогу. В 12:00 — из Мыш. в прекр. расп. духа. С Фафаем красное на траве. В Москве — к Тих. за 110 руб. — от него ночевать к Гудочкам. Первая встреча с полуночниками — гудочками.

5 — в поисках пиджака и пальто — на чёр. рынок на Преображ. Только пальто и варежки. Но чув. — уже поздно. Решаю с вином ворваться к Другин. Вечер у них. Выделяю ему на вечер встреч с одноклас. Хоккей. Очень мило.

6 — Похмеляемся у Друг. Он уговаривает остаться. Еду к Зим. Встреча у больницы. Обещаю быть

к след. воскресенью. Еду назад — заскак. — к Друг. и с Гапоткиным вино в рест. В Москву.

7 — у Еселихи весь день.

8 — утро у Еселихи.

9 — Первое столк. с Н. Козл. и Г. Нос.[9]

10 — Первое столк. с Ю. Р.

11 — Утро у Ю. Р. К Сапгиру. Сапгир, Кира, Бордачёв и К°.

12 — Утро у Бордачёва. Помираю.

13 — У Нос. Всё планы и планы вылазки в лес.

24 — День рождения. Авдиев, О. Целков и его невеста, Лён и Наталья, Мочалов и К°, Седакова и Лазаревич, Носова, Усачёв, Коргин и две девы из МГУ, Ю. Ким с гитарой, В. Лапин и К°. И пр.

25 — Утром вторжение Ирины Согальской, Коргина и Авд. с бут. водки. Едем в Медведково. Шумно и вес. Коргин деградирует. Согальская обольстительна. Ночь у Согальской.

26 — Утром умираю с похмелий.

НОЯБРЬ

1 — Нина Поперная и О. Седакова. Потом одна

---

[9] Notes: 9

Речь идет о знакомстве с Галиной Носовой, которая жила в коммунальной квартире в центре Москвы (проезд Художественного театра) и приютила В. Ерофеева у себя, а в 1976 г. стала его женой.

Седак. Веч. — лечу встречать Ю. Р. Прошу Носову уйти — потом стечение: Сорокин, Седакова, Козлова, Авдиев, Ирина П. Шумный выход. Слезы Руновой. Побеги. И т. д.

10 — Б. Успенский у меня в гостях.

14 — Носова и вермут. Вторжение Аллы, Любы и Авд. Проводы. Тамара Икс. с Авд. — к Мур, у Мур: Лёдик, два неизвестных, пьем без умолку. Сорокин с вином. За полночь — у подъезда Мур. Прощ. С Сор. Прихожу. Нина Козл. Ночью с Ниной Козл.

1975

Надолго затянувшаяся подсудимость у каждого из нас (прикосновенность) и выработанная этим привычка быть прокурором ближних и адвокатом себя самого.

Тебя окружают сплетни, меня — легенды, у тебя позывы, у меня — порывы.

Ты — дельный, а я — беспредельный (порывы — позывы).

Чем занимаешься? Проникновением в суть вещей.

За всю жизнь не совершил ни одного обдуманного поступка — апостериорность, то есть во всем. Заметил в 25 лет впервые, что родился и продолжаю жить.

Поведение в транспорте. Их и меня. У меня во что бы то ни стало показаться обычным, у них необычным и громким, как только возможно.

Прежде медики писали: «Тоны сердца чистые». Так вот, у меня тоны нечистые.

Вот что входит в список моих функций: видеть, ненавидеть, дышать, держать и гнать.

1976

Галина Носова мне, 16/III: «Я-то хоть жена великого писателя, а ты кто?»

На меня обращены взоры всего прогрессивного человечества.

Я продвигался вперед, как месть неумолимая, как гроза.

Май 75 — май 76. Полоса мелких административных триумфов.

Я. в 48 г.: «Удивляюсь, как пропустили и почему не сажают, слышу песню „Наши бедные желудки были вечно голодны“».

И белокаменная девушка Рунова.

Я родился через 3 недели после Мюнхенского сговора.

Отмечать 14 мая день рождения Израиля (1948).

Город Магадан, заложен в 33 г. Всего на пять лет постарше меня.

Операции мне не удавались, удавались необдуманные диверсии.

Кольская повседневность[10]. Рядовая застенчивость (мгновенно прячешь все писанное, закрываешь то есть) — значит и т. д. У них у самих сложная практика аллегорических переговоров, систем полунамеков, умолчаний и недомолвок.

Работать с простодушными неофитами, то есть там, где нога сверхчеловека не ступала.

На рыбной ловле 13/VII. Выпускают щуку без нутра. Плывет и хватает — проскакивает скрозь.

С 12/VII. На вертолете — на побережье реки Мудайок. Гора Лешая и гора Балда. Озеро Миккель — Кухтэлъявр.

С 12/VII. Уловы.
11 — 1 форель
12 — 1 щука
13 — 3 щуки, 1 сиг и 1 окунь
14 — 2 щуки, 5 сигов и 2 хариуса
15 — 1 щука, 3 сига и 3 окуня
16 — 2 сига
17 — 2 щуки
18 — 2 сига и 2 щуки

Как в июне (21–22/VI) — после выздоровления

---

[10] Notes: 10

С 27 мая по 20 сентября 1976 г. В. Ерофеев был в экспедиции на Кольском полуострове.

начинает цвести морошка и черника. Так в июле (25/VII) после выздоровления — первая начинающая краснеть морошка. Облегчение сердцу.

С 26/VII. К северу на правый берег Вороньей. С вертолета на вездеход. «Голицынская избушка». К озеру Рулюзеру. Река Белоусиха, впадающая из громадного Пакхъяври в Рулюзеро. Озеро Кумужье.

И живи примерно так, будто твою жизнь пересказывает Плутарх.

4/VIII. Возвращение на базу, почти без традиционной бодрости. И все — «откуда ни возьмись»: морошка (2/VIII), грибы (2/VIII), черника (4/VIII), темные ночи (на 6/VIII).

Странный звук в лесу, урчания вроде, похолодел: повторился снова, — оказалось, бурчание в животе (10/VIII).

Больше всего в людях мне нравится половинчатость и непоследовательность.

Отметить, например, в этом году (спрыснуть) тридцатилетие со времени моей последней пляски (вприсядку).

Я — ровесник «Катюши». Осень 38 г., совместно Блантер и Исаковский.

С 9/VIII. На северо-запад. Форсируем речушку Мартимьяврйок. Щуки, лось. Оседаем у бурно на север текущей речки Макиок, вытекающей из озера Митрипанеспадъявр и впадающей в озеро Макиокъявр.

Моря морошки (10/VIII), моря черники (13/VIII), морошковое варенье на костре (10–11–13/VIII), черничное (12/VIII). Возврат лета. Оглушительная гроза с ливнем вечером 13/VIII.

16/VIII. Сквозь обложные туманы, грозу, черничку и подосиновики — возвращаемся на базу. Уже с вечера 16/VIII — нехорошо.

17/VIII. Попеременно читаю Некрасова и Маяковского «Заблудившихся».

И почему-то в вездеходе, по шоссе. Если нет того, то это все маленькое и неизвестно для чего сделанное махонькое недоразумение, это все трудно словесно выражаемо. И глядя в глаза собаки на пьянке у Гассана — то же самое. (18/VIII.) И «какой я же штабс-капитан» до того больше оборотной фонетической стороной.

В природе более 80 000 видов грибов, в том числе мухомор, белый гриб, плесень, дрожжи, парша, стригучий лишай, септическая ангина и пр.

21–23–25/VIII. Начало грибного сезона.

Грибы за то, что они хлорофилла не содержат, обзывают низшими растениями.

От Мурманска до Кандалакши морем ровно 1000 км.

С 27/VIII — вертолетом в сторону Лявозера, самый пронзительный и зябкий из маршрутов. Под всеми ветрами у озера Спиридон. Снег 29/VIII.

30–31/VIII — 1/IX. Лучшие из всех маршрутных дней вчетвером. И умиротвореннейшее из возвращений 2/IX, вертолетом.

Узнаю из энциклопедии. В 1970 г. Кировск — 38 тыс. жителей. Апатиты — 46 тыс.

Славные городишки: Воркута и Магадан. В Воркуте 90 тыс. жителей, в Магадане — 92 тыс. В Магадане драматический театр и краеведческий музей, а в Воркуте драматический театр и кукольный театр.

Больше в этих местах меня не видели, в других местах — тоже не видели.

Ночь на 3/IX — первое сияние. Все 3/IX — на вертолете по верховьям Лицы и Харловки. 4/IX — банные суеты и чай с гитарами. В ночь на 5/IX снова сияние, иней и лужи во льду.

Дивная косность. Утром 5/IX идти за черникой

или не идти? Смотрю на часы: рано, нет еще 11, то есть черники нет.

Полеты 3/IX, 8/IX, вездеходство 10/IX, мучительный полет 13/IX, легче 17/IX.

13-го Северный Ледовитый океан.

С 25/IX до отъезда 3/X — неделя в Москве. Родители Носовы. В. Тихонов. Б. Сорокин. А. Питяев. Н. Авдиев, М. Фрейдкин, В. Муравьев, Т. Муравьева, А. Кушнер, Л. Любчикова, О. Седакова, Р. Еселева, В. Герасименко. Прохоровы. Иофе.

1977

Постоянно помню о песне «Наша милая картошка» и мой детский гнев: отчего не посадят хормейстера пионерлагеря и пр.

5/VI — Обилие гостей от Фроловых до Грабарей, от Прошки до деда. Табуном в столицу. Рун. на перроне.

5/VI — Переговоры с фр. переводчиком.

17/VI — Несостоявшееся свидание с Белоусовым.

24/VI — Состоявшееся свидание. Письмо от Ардис. Довер.

25/VI — Первая незабудка на балконе[11].

3/VII — Круиз по абрамцевским[12] местам. Розовое озеро — пристрелочный овраг — дом. Громадная сковорода грибов.

4/VII — Последняя служба.

5/VII — Опять круиз. Хотьково — Васильев-

---

[11] Notes: 11

Весной 1977 г. В. Ерофеев с женой переехал в квартиру на Флотскую улицу (дом № 17, корпус 1).

[12] Notes: 12

Абрамцево — поселок в Подмосковье, куда с 1975 г. В. Ерофеев приезжал на дачу к своему приятелю Вадиму Делоне (эмигрировал в 1975 г.) и его деду академику Борису Делоне.

ское — к ландышевому холму — сквозь грозы — палатка и костер на крутизне — от холма через Соснево — домой на попутных.

7/VII — Путешествие впятером на юго-запад от дачи: к артемовской поляне и родникам на берегу р. Сумерь. Зверобой на костре.

10–14/VII — Самое долгое из посещений дачи, 5 дней. И самая людная дача, 13 рыл.

15-е, ночь на 16/VII — Переговоры с Парижем. Каплан, Якир, Чердынцев и К°.

17/VII — В Москве на балконе: 20 незабудок и раскрывается первая ипомея.

19/VII — Самый грибной из всех этих грибных дней. Блуждания в районе деревни Уголки. Весь вечер план похода на Монблан.

22/VII — День в Москве. Подарки из Парижа, ипомеи и Любчикова. Назад в Абрамцево, с Лёном и спиртом.

22/VII — Под качелями — 2 белых, 1 подберезовик, 1 моховик, 2 сыроежки и 5 свинушек.

25/VII — Еще белый под качелями. Конец кризиса 23–24/VII.

26/VII — 6 сыроежек на даче.

С начала июля становлюсь специалистом — микологом.

Я противоударный и флагонепроницаемый.

Теперь уже прочно; на вопрос: кто твои любимые? — Петрарка, Игорь Северянин, Данте, Прутков, Фет.

И никому не подчиняюсь. Я только для формы признал сюзеренитет турецкого султана.

Вот в эти сухие дни сокрушает больше всего маломочность, скудость и преснятина всего входящего в голову.

Жидкие аплодисменты в 70–71-х гг. во Влад. Громкие в 72-м — Вильнюс и т. д. Бурные, в овацию переходящие, в 76–77-м. Так что совсем не дают говорить.

Последние пять лет моей жизни — это летопись трудовой славы.

7/IX — Почти весь день в Хотьково — на травах с Черных. Вечером сообщение о Проффере в Москве.

8/IX — Вторжение Галины. Опять прощай опята. В Москву — к Диси — деньги, подарки, Аргентина, Швеция, Германия, Италия, Португалия.

10/IX — Назад на дачу, с утра. Лён на даче. Вечером — вторжение Сор. и Белочки.

11/IX — Отъезжают вечером Белочка и Гал.

12/IX — Отъезжаем мы с Борей. Опохм. под аб-

рамцевским магазином. Вечером — Слугин. Вместо Проффера.

13–16/IX — Безвылазно в Москве. От Слугина к Мухаммед. От них к Наталье Логиновой и Костюхиным. У Мур. и Костюх. — Логин. Сов. пьян.

17/IX — Неистовейшая погода.

18/IX — С утра на дачу с Гал. Пров⟨ожаю⟩ ее в колхоз. С Кобяковым весь день.

19–20/IX — Тихое умирание и поправление умирания.

21/IX — Умирание окончательное. ⟨Нрзб.⟩

22/IX — День пробуждения. Возврат к грибам. Выздоровление и радости. Весь сбор грибов в пределах дачи (моховики, подберезовики, несколько сотен опят, 3 чернушки).

23/IX — Долгий опыт социальности говорить с астрами и пр., потому что не с кем. С собою. Так уж и быть бесстыдно, дам я тебе еще 100, только вот это съешь и вот это сделай. Но утром, за чернушками — опять нервная невмогота. В Москву.

24–25/IX — В Москве. Один у себя дома и в гостях у Прошек. Наезд Носовой из колхоза.

26/IX — Весь день в Москве с Нос. «За окнами шумит метель». Лучший из дней.

27/IX — Гости. Авдяшка, Степанов и К°.

28/IX — В Москве по-прежнему. Один, бездене-

жен и потерян.

И я спокоен. И если б был циником, сказал бы: «Что может случиться с Матильдой моей?», вернее: «Кто может случиться с Матильдой моей?»

Она у меня домовитая.

29/IX — По зову Прошки. Новые подарки и дубленки. Коньяк и шампанское.

29/IX — 1/X — У Шатуновых в ожидании Гал.

2/X — Галина с двухнедельного картофеля. С кучей денег и с подарками — на такси домой.

3–4–5/X — Дома. Коньячки и шуряга.

6/X — Тамара Вас. Втроем — на дачу.

7/X — На даче. С Там. Вас. В усадьбе Абрамцево. Дрова и печи.

8–9/X — По-прежнему на даче. Превосходнейшее из настроений. Сукач, чернушки.

10/X — Лучший день года. Утренняя прогулка на Сумере с гостями. Вечером в Москву. Проводы Тамары.

11–12–13/X — В Москве. Опохмелья ежедневные и ежевечерние. Всех приглашаю на дачу.

14/X — Покров. Один еду на дачу. Печь. Вторжение на машине Свирида, Авдиева и К°. Вслед — Лён и его приятель. Вслед — Галина.

15/X — Я по первому снегу бреду. С Лёном и К° в Абрамцево. Магазин.

16/X — Вместо Сукача — вторжение Лазаревича. Седак., Мирки и Булгачихи. Весь день — костры, прогулки, вино и пр.

17/X — В Москву.

18/X — на дне рождения у Клавдии Андреевны

21/X — Снова на дачу. С шурягой.

21–23/X — На даче. Прогулки по начинающим таять снегам. Пиление.

23/X — Возвращение в Москву в сумерках. Слугин и Вера.

24/X — День рождения. Состав:

1) Именинник
2) жена его
3) шуряга
4) Якир
5) Людмила его
6) дед Делоне
7) Тихонов
8) Авдиев
9) Филиппов
10) племянница Елена
11) Любчикова
12) Лён
13) Скуратовский

14) Каплан
15–20) шесть французов
21) Слугин
22) Вера его
23) Свиридов
24) Черных
25) Азарх
26) Седакова
27) Лазаревич
28) Марк
29) Булгачиха
30) Фрейдкин
31) Шатуновская
32) Тимачев

25–30/X — Ни минуты на воздухах. Гости и опохмелье. От Кобякова до Свиридова, от Тихонова до Тим. Тепло.

31/X — Первый выход на улицу. Лён. Мух. Тещи и тестяги.

1978

С 14/I — Все больше и чаще гостей и пропорции вина «Скурвление».

19/I — День трудоустройства и экстры.

21–22/I — Двое суток предсмертия, сотрясений и неукротимых рвот.

23/I — Реанимация. Но никуда ни ногой. Гости: Сухач и К°, Балажанова и К°, Тимачев, Мухаммед., Филиппов. И пр.

29/I — Впервые в гостях: Нина Козлова и Светлана Мельникова. Отлично.

3/II — Первый после 19/I выезд в свет. Балашиха. Надежда Дорофеева. Шампанское и пр.

4/II — По пути из Балашихи — у Шатунят.

6/II — При Прошке в гостях новое издыхание.

В ожидании весны вот чем еще взбадриваюсь.

День 7.00 21 декабря увеличивается:

На 1 час — 22 января

На 2 часа — 2 февраля

На 3 часа — 20 февраля

На 4 часа — 5 марта

На 5 часов — 18 марта

На 6 часов — 31 марта

На 7 часов — 13 апреля
На 8 часов — 26 апреля
На 9 часов — 11 мая
На 10,5 часов — 21 июня

Сижу это я на лавочке и грущу, как Богоматерь.

Из цикла смутных желаний:
Хочется в чем-то погрязать, погрязать, но до донца не погрязнуть. Хочется во что-нибудь впасть, но непонятно во что, — в детство, в грех или в идиотизм.

Эстет, я хочу, чтоб меня убили розовым резным наличником и бросили мой труп в зарослях бересклета. И такое чувство, как будто ты помолвлен и не знаешь, когда и с кем.

Хочется дать кому-нибудь достойный отпор, но кому, если никто и не напирает?

Дача с 17 мая. Царскосельская жизнь.

А зачем мне трудиться? Фарида Ахунова даст мне хлопка. Николай Мамай уголька мне подкинет, мелкого, правда, но и т. д. Мария Заглада молочка мне надоит. И т. д.

А Джимми Картер защитит мои человеческие права на тунеядство.

Середина марта. Я в Абрамцеве пробую освободить от снега согнутую в семь погибелей ольху, ломается пополам.

Ср. «Прости, девка» на Кольском полуострове, заметив отросток березы.

Изгнание меня со службы в конце апреля после звонков (3-х). Никакого наблюдения тут, собственного, нет, есть просто неукоснительность и неусыпность.

Я вот, например, сажаю цветочную клумбу весь день 6 июня. А эти суки, под прикрытием прав человека и пр., изготавливают нейтронную бомбу.

Почему молчишь целых пять лет? — спрашивают. Отвечаю, как прежде графья отвечали: «Не могу не молчать!»

Каждое утро просыпаться с единою мыслью: работает на полную мощность Тактагульская ГЭС или не работает?

Каждое утро просыпаться с мыслью: падает или повышается влажность на пляжах Апшерона?

О непитии с 11/VI. «Земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно водку пить».

«Из всех искусств для нас важнейшим является воздержание». «Александр Македонский тоже был великим полководцем, но зачем же постоян-

но водку глушить».

Муравиоффе. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Веня.

Зимой «Немецкая волна»: две парадоксальные книги: «Москва — Петушки» и книга Зиновьева «Зияющие высоты» — их авторов и на пушечный выстрел не подпустили бы к Союзу писателей.

Стыд — совесть — честь. У меня, например, так много стыда, что совести уже поменьше, а чести так уж почти и совсем нет.

Первые дни лета и августа. Толки с Запада о браке одноглазого и плюгавого, с редкими волосиками Сергея Каузова, служащего нашей судоходной компании Совфрахт. Невеста — Христина Онассис. «Ее приданое — несколько островов и 500 млн». Его — русская душа и 15-летний партийный стаж.

Это оттеснило на 2-е место домыслы об обмене кого-то на Щаранского.

«Я ценю вас за фрунт», говорили в старой гвардии. Вот. Фрунта я намертво лишен.

Хочется быть чем-нибудь совершенно бесполезным, пятым колесом в телеге, пятой ножкой у собачки, припаркой мертвому и пр.

Сплю по ночам без сновидений, а днем живу без больших печалей.

1979

1 января. Продолжение со вчерашними.

2–3 января. Смерть и воскресение понемногу. Рекорд мизантропии и рекордное количество блевотины.

4–5 января. Ожил, и слишком ожил. Гостей, Бог миловал, никаких, мелочь не в счет. Стучу и стучу на машинке.

6 января. Договор с Р. У Р. Ночь перед Рождеством. И все. Я тоже. Милый и пр. Продолжение любви. 2 салюта и 2 махоньких коньячка.

7 января. С утра — домой. Продолжение бесчинств.

8 января. Вино. Вдвоем в гостях у Грабарей.

9 января. Каплан и Зоя. Боря С. Продолжение.

10 января. После подкрепления — звонок Ю. Р. Вчетвером в Б. зале конс.: Р. и Седак., Лазарев. Очень мило по оттаявшему снегу. Успен. в метро. А у нас — Марголина.

11–12 января. Это уже хуже. Лев Кобяк, водка, водка, оздоровление и не туда и не совсем, тоска по Р.

13 января. Тим., Сор. Обещаю Лодыгиной — не иду, за невозможностью. Прелестный Новый

старый год. С салютом (и немыслимым).

14 января. Немыслимое продолжается. У Лодыгиной после звонок Ю. Р. Когда к Р.?

15 января — Наплыв: Авдиев, Цедр., Клеп., Архип., чета евреев, Петляев. Моксяков и Северянин. Все-таки как пьян.

16 января. А нынче не так. Сидя и относительно трезво принимаю О. Седак. и Гринбергов.

17 января. Умер.

18 января. Восстаю полегоньку. Оба дня спасительное безгостие. К Р.?

20–22 — Памятный выезд в Пущино. У Риммы Ник., у Люды. Булгачата.

Зима 1979/1980 гг

Итак, я остаюсь верен своей исторической надежде.

Чувствую с утра недостаток ядерного потенциала.

Если б меня спросили: как ты вообще относишься к жизни, я примерно ответил бы: нерадиво.

10 ноября. День милиции. Если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой, у нас с тобой Служба дни и ночи.

Русское народное. Моя милиция меня бережет, сперва посадит, потом стережет.

9 ноября. Решено соорудить снежную бабу-статую юбилейной Пахмутовой, с приклеенным орденом Ленина, вырезанным из газет.

А че это меня на север все тянет, может, я когда ни то птичкой был?

бесполезное ископаемое, вот кто я

31 декабря — Уничтожен и неподвижен. Пласт неподымающийся. К вечеру — предчувствие дурацкого пения моих демонов. Встреча нового года, я в постели и не могу даже чокн. шампанским.

1 января — Самый поражающий из дней. Начало треклятого пения в стене. Срочно водки. Не помогает. Мышки и лягушата. Срочно вызван Марк Фр(ейдкин), для дежурства. Всю ночь приемник, чтобы заглушить застенное пение. Из метели — физия в окне. Люди в шкафу. Крот на люстре. Паноптикум. Искусственный телевизор. И пр.

2 января — Бутылка шампанского утром — и к Докучаеву. Триседилы, седуксены, люминалы, чуть водки. Прекрасное освобождение от веселых демонов. Их трогательное прощание.

1981

Сколько душевной отваги, чистых и кротких порывов я в себе истребил? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько утопил Муму, сколько попридавил дездемон!

А если уж писать, то что-нибудь понетленнее.

Реляции русского народа на взвинчивание цен 15 сентября. До этого повышения говорили о водяре:

Будет 6 и будет 8 —
Все равно мы пить не бросим.

Теперь, после 15-го:

Будет 10 или больше —
Тогда будет все как в Польше.

Если будет 25 —
Зимний будем брать опять.

Анамнез, говорят медики. Восстановить эти последние дни, то есть первые октябрьские.

1 октября — Ни одного воспоминания, скорее, продолжение забытья после покачиваний и гу-

ляний 30 сентября.

2 октября — Единственное в памяти — Г. Нос. приносит «Гратиешты». Я говорю: «Это же дорого» и пр. Вечернее отсутствие Г. Нос, ее вызов (40-рублевый) машины с врачом Евгением и санитарами, укол и пр. — это все вне памяти. Итак, единственно: Гратиешты.

3 октября — Даже неизвестно, пил в этот день или не пил вовсе. Воспоминаний ни одного. Становится известно, что был долгий визит врача Льва кучера с Марком Фрейдкиным. Пил из ампул пирацетам, просил вина.

4 октября — Продолжение забытья. Впоследствии обнаруживается: долгие совещания Г. Нос. с Грабарями и их знакомым врачом Мих. Мазурским. Приезд «скорой помощи» и увоз. Ничего не остается в памяти, кроме самой даты увоза — 4 октября.

4 октября и в полуснах 5 октября — выглядит так:

4 октября привезен — малый домик и предварительное заточение в нем — четверо сменяющих друг друга врачей — обсуждают реп. — с ними расхлябанный тип.

5 октября — связан и гол — и скорей бы конец, лишь отвратительные уколы — и «успеть бы

опохмелиться» в соседней комнате, там пришли подземным ходом Тих., Авд., Арх., зовут, шумят, гремят посудой — наконец-то выписываюсь, но безо всего — они представляют Героя Советского Союза — говорю «Болван» или что-то в этом роде — в поддых — больно — почему-то смеются Авд., Тих. и пр. — И как это я вырвался перед ними безо всего? — Все, что осталось от 5 октября.

6 октября — Бред сложней и прихотливей: я побывал дома, на даче у Грабарей и в ночь перед тем с Ю. Р. слетал самолетом на Кольский полуостров, я остался на аэродроме в Апатитах, меня забыли в наглухо забитом самолетном отсеке, не выбраться. Прилетаю в Москву. ⟨нрзб.⟩ — я разоблачил этого сверхгангстера — целится в меня, уклоняюсь от луча-прожектора — главное, сообщить Ю. Р., что через полчаса они меня убьют, потому что я все о них знаю. И пр. Позвоните. И точно знаю, что на дворе шестое октября.

6 октября — остаются загадкой 4-е и 5-е. А теперь доставлен в новое, основное отделение. Небывшие визиты — Г. Нос. с девятью бутылками пива, не ставят в холодильник. Небывший визит Ю. Р. — она говорит ⟨нрзб.⟩ Вот здесь мы и разместимся, а этих — в шею. Беседы врачей, в одном из которых признаю Докуч. — но не по-

хож. О книге, о состоянии. Это уже почти ⟨нрзб.⟩

6 октября — И совершенно явно вечером — вырваться в соседнюю комнату, там банкет по случаю конца сельхозработ с пивом. Звон посуды и гомон. Вырваться относительно малой нужды, уже плевать на банкет. Молю развязать, выпутываюсь долго и с болью. «Но не могу же я так…» Выталкивают. — Это самое запоминающееся — возвращение. «Ведь вот это никогда я им не прощу».

6 октября — К ночи. Рассматриваю зарешеченное окно. Я — в своем доме, но в каком-то его боковом приделе. Снова умоляю развязать, чтоб сбегать позвонить из соседнего подъезда. «Это же совсем рядом».

Во всяком случае, дежурящие врачи с 7 октября не незнакомы и гадкие. И то, что получше. С раннего утра 7 октября понимаю.

Запомнить: врач покровительствующий Михаил Борисович Засурский.

На моей койке в 1-й особой палате 1-го отделения отдал концы отец Гагарина.

«Гриша, ку-ку!» Гришка — Митюха с указами.

Гена Козлов, зять маршала Хрулева: «Есть же все-таки на свете и святые люди: Венечка Ерофеев, Мао Цзэдун…»

Его же формула предельного скепсиса: «Все говно. Кроме мочи».

Ночь на 9 октября. Смерть соседки у окна в палате № 1 отделения № 1. Румяная и индифферентная врачиха броско: «Констатирую». Сгружаем на носилки. Бойкий старик из соседней палаты: «А я бы ей пару палочек сейчас бросил бы. Смех и больных, и медперсонала. А Тонька Крыса: «Да, примета есть такая, кто мертвую бабу поимеет, тот лишних 20 лет проживет».

Один поет:

Я под солнышком сижу
И на солнышко гляжу.
Все сижу
Да гляжу,
Все сижу
Да гляжу.
Я под солнышком пашу,
Я на дудочке пляшу.
Все пашу
Да пляшу… И т. д.

Заведующая 1-м отделением Элла Петровна, она же Эллочка-людоедка, Эльза Кох, она же Чучундра, Контрибуция.

Тут и в самом деле вседозволенность и неподлинность. Один декламирует: Союз нерушимый голодных и вшивых.

Другой поет:

Старушка не спеша
Дорожку перешла,
Ее остановил мильционер:
Свистка не слушали,
Закон нарушили… и т. д.

13 октября — Совершенно раздражен длящимся гриппом и «интенсивностью лечения».

14 октября — Поспокойнее. Покров. Весь день дождит. Перехожу из интенсивной палаты в общую. Элла Петровна о «молочных», «младенческих», «невинных» и «новорожденных» глазах.

15 октября — Невмочь. На подступах к чему-то крайне нервическому. Бешенство от пришедших с глупостями Г. Нос. и М. Фрейдк., Лён, Евг. Попов. Элла снимает тяжесть. Засыпаю со слезами.

16 октября — Поспокойнее, но чуть-чуть. Ожидаю обещанного переселения в 36-е наркологическое отделение. Нежданные гости: В. Тихонов и чета Степановых с детьми. В полдень — вселение в 36-е. Нервноутоляющие уколы. И все здешние колоритнее, на немножко лучше. Лён

на машине, у подъезда.

В мой последний коматозный день 6 октября в Каире по радио убили Анвара Саддата. В день моего переселения из 1-го отделения в 36-е — скончался на 67-м году Моше Даян. 18 октября — сброшен кратковременный Станислав Каня. У Ярузельского все бразды.

Покуда я здесь, Карпов с Корчным: Карп. — Карп. — ничья — Карп. — ничья — Корч. — ничья — ничья — Карп. — ничья.

То, что мне ежедневно колют — пирацетам, оказывается, колют ежедневно и лично в президентскую попу Л. И. Брежнева.

Войцех Ярузельский. В 36-й палате (отделении) — самая с воскресенья 18 октября употребительная в беседах фамилия, из титулованных.

Что ж, теперь с прояснением головы, займусь германским языком, ротозейством, баллистикою.

За здоровье Петра Петровича Кащенко!

17 октября — Второй день в 36-м отделении. Утром прием гостей: Г. Нос., Нина Фролова, Марк Фрейдкин, О. Седакова. Теперь у меня обувка и свитер. Малое гуляние по малому солнцу. Вечером — Тихонов, почти часовое курение

на лестнице.

С 19 октября — Начало всевозможных физиотерапий.
Прогревания УВЧ и ингаляторий.

У кухонного окошка «Молния»: «Сердечно поздравляем с днем рождения тт. зав. отд. Мозиас М. Р., Ерофеева В., Некрасова О. Коллектив 36 отд.».
Мне 28 октября Эжен: «К тебе столько гостей приходит, будто ты умирать собрался».

Один из 36 отделения. Никак не хочет покидать. Рассказывает: «Приснилось — я дома — противно. Старуху свою смазал по уху — она меня и т. д. Просыпаюсь — слава Богу, я у себя, в 36 отделении».

Беседуют «вшитые»: «И квас нельзя?» — «И квас нельзя, если долго стоял». — «И „Саяны“?» — «И „Саяны“». — «А майонез?» — «А майонез, наверное, можно». И пр.

Вшившего эспераль провожают из 36 отделения: «Ну вот. Теперь ты будешь работать на себя, а не на государство».

25 октября — И снова солнце и ровность. Полуденное гуляние до Даниловского рынка (впервые

так далеко). Звонок к Нине Фр. Река Кура. Пруд. Относительно спокойно. Вечерние гуляния: звонки Г. Нос. и Ю. Р. Премило. Договор о визите Ю. Р. на среду. Немецкий[13]. Солженицын.

Не «впечатление» надо говорить, а два месяца моих больничных импрессий.

4 ноября — Восстановление бодрости и оживления. В кухонных заботах, ветрах, футболах, транзисторах, кроссворды. Лён в гостях. Пухлые снежинки вращаются вокруг фонарей. Вторая ночь с малым морозом.

5 ноября — По-прежнему ровно, ср. мило. Ничтожный снег с небес. В гостях Тимак. Немецкий. Гуляние. Вечером — Г. Нос. с антоновками. Прекрасно почти.

6 ноября — Утро — в снегах. Я — по-прежнему на подъеме. Хорошо. День без гостей, и к ночи снег исчезает. Прогулка до пруда, звонок к Р.

7 ноября — На территории Кащенко — пусто, без доступа. С Г. Нос. краткий разговор через шлагбаум. Парады. Чапаевы. Прогулки, ровно, Солженицын. Звонок к Мур.

8 ноября — Так же размеренно и безнервно. Звонки к Г. Нос. и Р. (нехорошо о трихополе). Снег,

---

[13] Notes: 13

В. Ерофеев готовился к поступлению на Государственные курсы заочного обучения иностранным языкам, куда был зачислен в мае 1982 г.

как и накануне, сыплет и тает. Вечером — визит Г. Нос. и Розы. Находят обновленным и пр.

3 ноября — Расписка. Я, Е. В. В., находящийся на стационарном лечении в больнице им. Кащенко, даю добровольное согласие на противоалкогольное лечение.

Лечащим врачом предупрежден, что прием любых видов алкогольных напитков во время и после лечения может привести к тяжелым расстройствам здоровья вплоть до смертельного исхода. Подпись. Дата.

В ночь с 3 ноября на 4 ноября — первый мороз этой осени –2 градуса.

С 5 ноября — начало трихопола.

И вот я, почти новосотворенный.

Так, что чуть-чуть не испустил дыхание.

15 ноября — Звоню Г. Нос. с сообщением о выздоровлении. Весь день без гостей, ровен, разумен, абсолютно спокоен. Т. Манн, немецкий язык, «Немецкая волна». Вот так следует до конца срока.

16 ноября — И сегодня то же. И мурлыканье возвращается, и деятельность. Г. Нос. удовлетворительно. Прекрасно. Тихо и по-прежнему бесснежно. Без напряжений, и без всего худого.

17 ноября — Снега все почти нет. Пыль снежная с поземкою. Г. Нос. и я прежний и ровный. Виктор Тимак. с фотоаппаратом — запечатлевает меня у входа в Кащенко.

18 ноября — По-прежнему бодр. Немецкий, Тургенев, почти бесснежная поземка, без гостей, зябко. Чтение уже без аппетита. Звоню Р.

15–16 ноября — Письма Томаса Манна.

«Рудин» 16 ноября

«Дворянское гнездо». 18–19 ноября

Мясо в кащенской больнице смахивает на щупальца ЦРУ.

22 ноября — последний укол.

27 ноября — последний трихопол.

29 ноября — начало радикулита взамен этого.

21 ноября — Отлично. Метели. Г. Нос. с вдохновением перевожу Гейне. Превосходно. С Сукачем вечерние прогулки под метелями до пруда. И завершается «Сильвою».

22 ноября — Чуть более вяло, но не намного. Таяние снегов, без гостей. Ожидаю с завтра начала последней недели.

23 ноября — Снова зима, второй раз в ноябре солнце. Г. Нос. с обильными приношениями, Ал. Леонотович. Подвижен, в привычных занятиях.

24 ноября — Нулевая температура. По-преж-

нему на подъеме, но разбросан по кроссвордам и заморрадиослушанием. Тих. утром. Вечером — Г. Нос., потом Лён. Теперь точно — до 1 декабря.

25 ноября — Самый солнечный день в ноябре. С Ю. Р. Вечером в транзисторах, германском языке, кроссворды, подъем все длится.

26 ноября — Меньше солнца, по-прежнему нуль. Утром Г. Нос., видимо, в предпоследний раз. Вечером — О. Седак. перед отправкой в Ленинград. Ровно.

27 ноября — Почти без солнца. Утром — в последний раз Тимак. Одержим немецким. Романыч говорит об упаковке чемоданов.

28 ноября — Самый безоблачный день ноября. С Г. Нос. у замерзающего пруда. Отлично. Возвращение наверх — Азарх и Черных. Красная роза. Отлично. Вечером — без чтения, без немецкого — приклеен к телевидению по случаю его 50-летия.

29 ноября — Предпоследний день в заточении. Гостей не жду. Радикулит, начало. Будят Мельниковы и трое из поклонников студенчества. Опять никаких чтений и занятий.

30 ноября — Последний день в Кащенко.

1 декабря — По-прежнему ровно, но снижено. Формальности и сборы. Г. Нос., прощание — ледяной дождь, едем из Кащенко на Флотскую.

Первый день на дому. Томно и без дел. Звонки от Мельник., Еселевой, Грабовых.

2 декабря — Начинаю прогулки. По книжным магазинам. Впервые брожу по центру и Преображенке, Герцена и Тургеневской. В гостях — Марголина, Фрейдкин.

3 декабря — Продолжаю прогулки. На этот раз — Войковская, «Тегеран–43». Систематизация книг.

В России теперь только два оптимиста: я и радиостанция «Маяк».

Сообщают об окончании Сахаровской голодовки 22 ноября — 9 декабря.

11 декабря — Новые имена. Итальянский композитор Нино Рота. Симфония в 4-х частях на тему: «Прощание с любовью» или что-то в этом роде. Приятно, демократично, почти традиционно, etc.

И в эти дни стал незлобимой и длинной мишенью коротких и беззлобных острот.

И, слава Богу, во всем этом нет ничего, отчего бы я затрясся.

16 декабря — Еще остатки вчерашней взвинченности. Звонок из Кировска: следует почти

немедленно ехать[14]. Начало сборов.

19 декабря — День приезда. Пробужд. у Кандалакши. Почти как вчера, я неустанен. Мороз в Апатитах. Впервые после 19 лет паузы снежные Хибины. У Т⟨амары⟩ В⟨асильевны⟩. Ясные небеса. Вечером — к Ю⟨рию⟩ В⟨асильевичу⟩ и К. Среди пьющих Ерофеевых.

20 декабря — Второй день в Кировске, и все шире круги. Тот же мороз и ясность. Трижды в гостях у Ю. В. Мы с Г. среди восьмерых Ерофеевых. Впервые в церкви. В гостях у Б⟨ориса⟩ Ер., Нина и Федор с Алекс. Прекр. Впервые во дворце культуры: «Вооружен и особо опасен».

21 декабря — Третий день в Хибинах. По городу. Минералогический музей и фабрика. Прежний мороз. Весь вечер у Ю. Е. в ожидании кончины. У постели — учащенное клокотание. К ночи — северное сияние, трижды выскакиваем.

Замечаю в дорогах на Кольский и обратно образцовейший порядок на железной дороге, то есть позволительны всякие опоздания, но бога ради, никаких опережений графиков ни на секунду, никаких обгонов.

---

[14] Notes: 14

По просьбе сестер В. Ерофеев с женой дважды в 1981 г. ездил в Кировск к тяжелобольному брату Юрию.

Отмороженный голубь на подоконнике у Юрия. И маленькая заиндевелая девочка, едет в Апатиты с громадным, в снегу, контрабасом.

Ночь на 22 декабря — Смерть Ю. Стечение у него. Ночная поездка в морг. К утру будят смотреть зеленое сияние на востоке.

22 декабря — Позднее пробуждение всех. Поездка на 25-й. Оставляю записку Б. Е. Сильней ветры, морозы слабей. Похороны назначены на пятницу 25 декабря.

23 декабря — Непоседливо, и все таращу глаза на горы. Неудачная поездка на 25-й. Неудача с билетами. Вечером — опять на 25-й, в гостях у 4-х Ерофеевых. При вечернем свете срезанный Юкспор.

24 декабря — Встреча Нины Фроловой в Апатитах — небывалый мороз, а в Кировске — тепло и благодать. Втроем — по Кировску, снова по мороз. Апатитам. Билетная суета. Вечером — снова сияние.

25 декабря — День похорон. С орк. по центру Кировска. Кладбище. Кафе. Новоселовы. У Т. В. У вдовы. Спецавтобусом в Апатиты. Дикий общий вагон. Добиваемся перемещения. Полночь.

26 декабря — День в поезде. Н. Фр. в гостях. До Мед. горы — еще немножко простуд и недомо-

ганий. Вечером — снова отлично, как во все эти дни. Засыпаю у Лодейн. Поля.

29 декабря — По гостям. У Ольги Седак. остатки ее именин, пиршеств. Леопарди. Петрарка. Пушкин. Игра на волынке. К Тимаку. Тут уже весел совершенно. И Г. Нос. И басни Эзопа. И светлое возвращение.

30 декабря — Без звонка. Впервые — к немецкому и Гейне. На вечер бородинского квартета в ⟨нрзб.⟩. Ублаготворенность, ⟨нрзб.⟩ К Р. на Вернадского. Пельмень со счастливой пуговицей. 2 оп. И никакой сонной замшелости.

31 декабря — Утро на Вернадского. Бойко покидаю девок — К ⟨нрзб.⟩ — трапезуем у них — отоспаться к себе — пробуждаюсь за 2 часа до Нового года. Роскошный стол, пустопорж. концерт и крохот. пузыри.

В 25-м «Континенте». Пьеса Ник. Вильямса «Алкоголики с высшим образованием». Посвящается Платону, Гиппию и Ерофееву.

Вот эти три последние месяцы 1981 года: никем-не-взволнованность, ничем-не-охваченность, никуда не-унесенность, ни-во-что-не-погруженность, ни-на-чем-не-распятость, ни-от-чего-не-ошалелость.

1982

А потом я стал замечать за собой странности: я свихнулся. Странности, например, такие: подняв ногу, я не способен стал поднять одновременно и другую. Раньше мне это удавалось.

20 января. — Симпоз. в ин-те славяноведения. Боря Успенский. Религиозно-мифический аспект рус. экспрессивной фразеологии.

«десемантизация» и «сакрализация»

«вербальный текст»

22/I. Еще раз выползаю в институт славяноведения. На втором лит. симпоз. Знакомства: Аверинцев, Вяч. Вс., Лотман, Успенский. Лён, Дафния, Сорокин, Седак., Гринбериха и пр. Головоломные прыжки Вяч. Вс. Иванова: финикийцы — будд. Упанишады — Чаадаев — Клодель — Гумилев — Э. Паунд — Плавт — Сэлинджер — 2-я кн. Самуила и Маяковский. И т. д.

Октябрьская рев., по Мих. Зенкевичу, сделала «прививку бессмертия в солнечном теле».

Возвращ. без сил, сплю замертво.

В связи со свиданием с сыном: отец скончался, когда мне было 17 лет 7 месяцев 22 дня. Сейчас

(в августе) моему сыну 16 лет 7 месяцев.

Во время плавания[15] *слушаю, как английский певец Джонс поет наши «Дунайские волны» и в особенности знаменитая Матье — «Однозвучно гремит колокольчик». Взволнован до последней степени. Сравнить недавнее наблюдение за футбольным чемпионатом.*

За эти дни (21–28 июля) так упрочивается отвращение к воде, тяжелая робость перед всяким водным пространством.

14 июля — День отъезда из Москвы.

15 июля — В дороге. Те же боли. По югу Архангельской области. В час дня — Котлас. С железнодорожного вокзала на речной. Пиво. Теплоходик «Заря». Великий Устюг. Корабля сегодня не увидим. По городу. Розыски гостиницы. Гуляния с пивом, я все хмурей. Пиво не ⟨нрзб.⟩ Ко всем оставшимся в М⟨оскве⟩ почти индифферентен и не совсем хороший осадок. Первая ночь в гостинице «Двина».

16 июля — Утро в гостинице «Двина». Пишу и отправляю письмо к Г. Нос.

---

[15] Notes: 15

Речь идет о путешествии с Николаем Болдыревым на катере «Авось» по северным рекам.

17 июля — Еще утро в устюжанской гостинице. Пишу к Ю. Р.

О Двине: масляниста, толста и самодовольна, помесь жены Генриха VIII, Екатерины Арагонской с Екатериной Фурцевой.

С полудня 14 июля и все еще по сегодня (утро 20 июля) непролазная боль в ребрах, ею все заслонено, ни малейшего желания начать путешествие. А в ремонтных работах уже с 17 июля не принимаю участия.

В Котласе вдоль всей громадной товарной пристани надпись: «Не приставать!», «Не приставать!».

Вологодская область. Сухой закон — понедельник. (Чудовищная давка за пивом, где оно есть.) Архангельская область: продажа спиртных напитков только с 3-х. Сухой закон: воскресенье.

Надо бы переименовать корабль «Авось» в «Постылый».

Уверен, что в Архангельске застану из писем только носовское письмо, яновское меньше вероятно, Рунов. — совсем нет.

Столовая Великого Устюга. Стишки на стенах:

«Хлеб к обеду
норму бери.

Хлеб – это ценность,

Его береги».

Или: «У нас порядок такой — поел — убери за собой».

Рядом:

«Пьяница – работник плохой,

Поэтому пьянству – бой».

Первое знакомство с Великим Устюгом вечером 15 июля. 2 главных улицы вдоль Сухоны. «В октябре 1918 года в ознаменование годовщины Октябрьской революции улица Успенская переименована в Советскую». «В окт… улица Преображенская переименована в Красную».

В Великом Устюге чайки крикливые, носятся над центральной площадью и какают на кумпол Ильича с воздуха, не снижая полета.

Итак, посланы письма из Великого Устюга: 16-го: Г. Нос., 17-го: Ю. Р., 18-го: Я⟨не⟩ Щ⟨едриной⟩. Подождать даты их ответов до востребования в Архангельск.

Вечерами 19 и 20 июля неизменно на пристани, прогревая солнцем бок, и в упор разглядываю Сухону и все, что делается на ней.

Местный интеллигент-слесарь: Ну как дела,

викинги? — Ну как, отплываем, авантюристы?

И долдонящее постоянно предотъездное:

Опираясь на румпель, напевая из Грига,
Обещал он мне страны, где в цвету абрикосы.
Мы надменно следили эволюции брига,
Я раскрыла, как парус, бронзовые косы.

И все такое.

В ожидании наихудшего: 17–18–19–20-го.

Смягчившиеся боли в ребре к вечеру 20 июля неожиданно возобновились с еще не бывшей силою в первую наводную ночь с 21 на 22-е.

Вот какие пристани от Великого Устюга до Котласа: Аристово — Бобровниково — Малодвиное — Вотложба — Новинки — Котлас.

На товарном причале в затоне на Вычегде пьяный малый, отрекомендовавшись внебрачным сыном Евы Браун, дарит нам книгу лоцманских карт Большой Северной Двины.

От Великого Устюга до Котласа ровно 70 километров.

От впадения Вычегды до Архангельска — 615 километров.

18 июля — Великий Устюг. Прежняя жара

и боль в подреберье. Уже совершенно отстраняюсь от работ. В гостинице «Двина». Немножко пива.

19 июля — По-прежнему индифферентен и болен. Очередь в больницу, очередь за пивом. Жара. Неинтерес ни к городу, ни к путешествию, ни ко всему бывшему в Москве. Еще очередь в больницу к травматологу, еще очередь за пивом. Весь вечер на берегу Сухоны, пустоглазый, пустоглавый, неуверенный и в завтрашнем отплытии.

20 июля — Ночую уже на складах. Отплытие и сегодня не состоялось. Две больших прогулки по Пушкарихе. Уже большее участие в общих работах. Вечером жарюсь на берегу Сухоны. Подсчитываю, кто из трех адресантов уже получил письмо и кто ответит в Архангельск. Вечером — понемножку водки, без охоты. Последняя ночь на складе.

21 июля — Рано утром спуск корабля на воду. Сегодня уже без пива: «Золотой осенью» отмечаю на Пушкарихе ровно неделю со времени отъезда из Москвы. В лопухах и репейниках. Продолжение ремонтных работ. Еще по Пушкарихе — за «Золотой осенью» в дорогу. Отплываем за час до заката. Превосходно, но свежо. Ночлег у пристани Бобровниково, с вином, костром,

полубелой ночью.

22 июля — Продолжаем путь. Промерзшие за ночь. Отчаливаем и продолжаем путь к Котласу. Я за штурвалом — впервые — прекрасно. Учусь пересекать волны от встречных кораблей. В 9 часов — Котлас. Пиво. Продолжение пути — впадение Вычегды, немного вверх по Вычегде, устрашающие волны, проваливают и швыряют. Хлопоты на ⟨нрзб.⟩ Котласе. Вниз по Вычегде. Въезжаем в Большую Северную Двину. Путь поздно вечером и ночью. Жутковато за штурвалом.

А вот какие пристани придется пройти вниз по Двине только до Дябрино: Котлас — Забелье — Шипицыно — Крутец — Неглиха — Комарица — Федотовская — Канза — Троицкое — Телегово — Наволок — Красноборск — Дябрино.

(Такие тут имена: Коряжма, Чухчерма.).

Незабываемая ночь с 22 на 23 июля. Впервые идем ночью (попеременно и я за штурвалом) от мигающих бакенов к следующим мигающим. Трехцветные огни встречных кораблей до дрожи в коленях. Седуксен. За полночь причаливаем к крутому песчаному берегу напротив большой сигнальной мачты с красными огнями, км 15 до Красноборска.

А утром 23-го все оказалось лучше, чем ожидалось при пробуждении в холодный ветер и мелкий дождь. Костер на берегу. Ромашки, львиные зевы и пр. Первый пасмурный день за столько дней, возня с кожухом для мотора. Уже 2 часа дня, а мы еще не отплыли к Красноборску.

Отплываем 23-го только в 4 часа дня. Мы ночевали, оказывается, на острове Лябля, в 7–10 километрах не доехав до Красноборска.

Город Красноборск, в сорока с лишним км к северу от Котласа. Районный центр. До Архангельска 560. Полседьмого, запасшись стаканами, хлебом и ацетоном, отплываем в 18:30.

Весь вечер до почти полной темноты я за штурвалом. Распогодилось, двигаемся прямо по солнечной полосе. Слева, на крутом берегу деревня Богоматерь. Дальше — совершенно архангельская, на самом откосе, церковь. (Пермогорье — 540 км.) Приземистая церковь, невиданной формы зеленые холмы у Федотовской (515 км). Под фиолетовыми облаками впереди — фиолетовая гладь.

Решаем плыть всю ночь, меняя вахту. Я в полночь неохотно сдаю штурвал Ник. И укладываюсь в каюте. Последнее ослепительное зрелище — колоссальная драга с длинной вереницею огней

навстречу.

Весь день 23-го прошел под знаком баркаролы Шуберта. Утром по транзистору, после ночлега — вечером по фиолетовому штилю.

(А 24-го больше под знаком северянинского «Иногда, но это редко, в соблазнительном вуале, карменситная брюнетка посетит мой уголок. И качнет (но это редко). Вы при качке не бывали, И качнет мечты каюту, пол вздымая в потолок».)

24 июля — Просыпаюсь в каюте от холода перед рассветом, между 4-мя и 4:30. Шли всю ночь. Вольдемар у руля. Оказывается, только что проехали Верхн. Тойму (455). Вместе у руля: сгущенные туманы перед восходом и, как накануне вечером, совершеннейшая тишь. В тумане пристань Севтра, при впадении справа р. Севтры. С восходом и расс. тумана становлюсь у штурвала (около 5 утра). Промерзаю в пяти одеждах, окоченение членов. Я один, все спят.

Деревня. Монастырек. Нижняя Тойма в 7 утра (40 км). Причаливаем за спичками в деревне Борисовская. Проплываем столб 400 км и спустя км 10 в Прилухов располагаемся на 2-хчасовой бивуак напротив пристани Пучуга… Песок, жарища, сухой валежник, костер.

В полдень снимаемся с места напротив начав-

шимся ветрам.

24 июля — Уснуть не удается. Двина все шире и бурнее, встречные ветры. Бешеные стихии у Херполья. Океаническая Двина с дождем и громадными валами (360 км), хлещет в каюту. То же самое у Рочегды (345), только без дождей. Ширина и бесноватость. В 5 вечера становлюсь за штурвал. Конецгорье (330 км). Иду по узкой системе протоков и перекатов, садимся на мель. Впервые в узкой протоке меня обгоняют 2 бурных судна.

Усть-Вага. Причаливаем к Двинскому Березнику, райцентру. За продовольствием. От Березняка, сквозь бревна, в поисках берега для ночлега и ужина. Запани слева, запани справа. После Березника — столб 300 км. Наконец устанавливаемся у рыбачьего причала в районе Усть-Ваеньги и бесконечно рабочих поселков (приблизительно 2580 км).

Ночь на 25-е уже не движемся. Намерение прицепиться к плотовозу для экономии топлива и усилий провалилось: сломалась рукоятка мотора. Ночь на корабле. Костер.

Утро 25-го, воскресенье. Просыпаемся от холодных ветров и дождей. И все с севера. Прогулка в одиночку по прибрежному лесу. Это, оказывается, конец Усть-Ваеньги. Зеленая земляника,

голубика, зеленая малина. Комары, иван-чай.

Весь день я в праздности и соглядатайстве, К° плетет сети и ремонтирует мотор. Только в 11 часов вечера снимаемся с якоря.

⟨Нрзб.⟩, ночь на 26-е. В полночь: Усть-Морж (265 км), и пока еще ничто не предвещает шторма. Около часа ночи начинаются качки и прыжки: а полвторого ночи до 2-х (Коля у руля) — шторм немыслимый. Все вверх дном в воде. «Идем ко дну» (Вольдемар). «Жаль, нет спасательных жилетов» (Ник.). Невмоготу. И еще как.

В 3-м часу стихает чуть-чуть, но почти то же. Наконец с трудом причаливаем к малой пристани Липники. Часа 3–4 спим в каюте, в мокротах.

26-е. После ночного шторма. Пробуждаемся в 9 утра у причала Липник (227 км). Выбираемся из каюты на берег, костер, солнце и дикий ветер с северо-запада, строго против течения. Волны все те же. Отвратительно глядеть. Проезжаем еще 3 км до пос. Двинское. Мраморные берега, но мне на все наплевать. Решение: больше не еду, сажусь на что-нибудь и отправляюсь в Архангельск. Предварительно послав в Москву телеграмму.

Все так и делается. Отправляю телеграмму и прощаюсь со спутниками. Пешком иду из Двинского в Липовик 3 км. Сплошь лесозаготовления.

На берегу Двины бреюсь, моюсь, стираюсь. Сплю в каюте липов. пристани. Чуть не просыпаю теплоход. Благо с опозданием «Олекма». 2:30 ночи.

27-е. Проснувшись в 7 часов, наблюдаю: верстовой столб 100 км. (Я их обогнал.) Тут же Усть-Пинега, наблюдаю впадение Пинеги справа. Дальше на крутом берегу поселок с обеих сторон обнесен церквами соловецкого типа. «Это непременно Чухчерма». И точно — Чухчерма. Теперь можно спокойно вернуться к мемуарам Брежнева.

(Чухчерма — 75 км.)

И тут же, следом, окраины Холмогор по левому берегу с ослепительно-зелеными, даже под серыми небесами, холмами, параллелепипедными холмами. В 40 км, вдали, видны трубы Новодвинска. Новодвинск — в дыму, слева Архангельск. Сормово. В полдень — Архангельск.

27 июля. Архангельск. Проезжая вдоль берега, все-таки взволнован. Впереди — почтамт. Все оказалось не так, как я думал: письма о Г. Нос. нет. Два письма: от Я. Щедриной и Ю. Рун. Не знаю, с которого прежде начать. Все-таки начинаю с Я. Щедриной.

Удар: Г. Нос в Москве отсутствует. Наилучшее из писем (вечером, получаю и третье от Г. Нос.) — руновское. Она, оказывается, целую неделю жила

ожиданием письма «не обещанного, но ожидаемого».

И Г. Нос.: «Дорогой мой, Ерофеев… Считаю тебя своим, несмотря ни на какие превратности судьбы».

По Архангельску. Неприкаянно, бесчувственно. Здесь еще пух с тополей — что мне до того? Каменный гость без поступи. Убогий странник без песни. Вдоль улиц и по скверам — клевер, репейник и иван-чай.

И нищета, со слабой надеждою на завтра. Не могу позволить себе воду с сиропом, газету, белый хлеб. Сдать в камеру хранения свой сак. — уже убийство в 15 коп.

28 июля — Архангельск, весь день. В верхнем и нижнем залах ожидания. С черным хлебом и С. Черным. Периодически то всматриваюсь вверх по Двине — нет ли нашего корабля, то бегаю вниз по Двине, к почтамту — не присланы ли деньги.

И вот в 5-м часу вечера наша шлюпка причаливает. Обед из собачьей миски, собачье варево. Я часто помнить буду этот беспрецедентный аппетит. И — на почтамте — деньги. Еду на железнодорожный вокзал, с маху покупаю билет, возвращаюсь на речной вокзал, прощаюсь с эки-

пажем. В 22 с чем-то отъезжаю из Архангельска. Превосходно. Почти пустой вагон. Немножко угощают соседи, проворонившие свою станцию.

17 августа — Вот и звонок от Ю. Р. Приехала в Москву для отправки в Среднюю Азию. Долгая и экстремальная беседа, окончательное решение разъединиться с Г. Нос, обменять квартиру на две, иначе нельзя, клятвенные заверения о невозможности жить друг без друга и пр.

Больница, 4 сентября. Разговор утром двоих: сидят, курят: «Сегодня какое? 27-е?» — «27-е». — «Июля?» — «Июля».

Ночь со 2 сентября на 3 сентября. Бреды сразу четырех или пяти связанных. Примитивность и беспикантность бредов. «Полбутылки пролил, ебаный по голове!», «Проолифить надо было сначала, дура!», «Ноги поотрываю!», «Аферисты! Стрелять их мало!».

Сколько же, сколько крыс в пищеблоке больницы им. Кащенко.

Вот, например, что ввели в вену В. Ерофееву за один только день 30 августа (30-я реанимационная палата):

1. Гидрокарбонат натрия 4 %, 200 г.

2. Глюкоза 5 %, 400 г.

3. Новокаин, 400 г.

4. Инсулин 4 ед.

5. КСЛ 10 % — 10 г.

6. Кокарбоксилаза, 150 мг.

7. Гемодез, 400 г.

(Это внутривенно, остальное внутримышечно.)

Развлечения этих дней:

31 августа — «Укротительница тигров».

2 сентября — эстонский «Ультиматум Матильды, или Кто написал „Домового“».

Начало сентября. Все еще отвлеченность. Нет того просветленного, веселого и всепоглощающего взгляда на вещи.

29 августа — У меня с утра две Анапы[16]. Лучше: бритье, ванна и пр. И днем — врасплох: коварно вызванные врачи. Снова карета «скорой помощи», снова приемный покой. Знающая меня и болтливая врач. В 30-е реанимационное. Донага и в постель. Капельницы — всю ночь до утра. Не сплю всю ночь. Самая неслыханная из всех гроз минувшего лета. Не до нее.

30 августа — Малый утренний сон. Совершен-

---

[16] Notes: 16
Название портвейна.

но солнечно. Коротко Мазурский. Беда с судном и уткой. Весь день опять под капельницами. Зав. отделением Наталья Викторовна, сцена узнавания меня как автора — и резкая перемена в обращении. Н. В. вся лучится, бегает достает сигареты, бег. за спичками. Весь персонал пухл, ласков и миловиден. Визит (познакомиться) врача из соседнего (нереанимационного) отделения. Визит (познакомиться) врача из реанимационного отделения. Крайняя благосклонность. Тягостная память о прошлом (июньском) светлом сидении в больнице. Я. И пр. Тогда было праздничнo, теперь и бессонницы затхлы и угнетены.

Контрвеселость
Безотрадность
Антипросветленность

В больнице читаю о Гарибальди, etc. Сражение Уругвая с Аргентиной с участием корсара Гарибальди и его банды итальянских волонтеров на стороне Монтевидео, 43–46 гг.

Найти хоть какую-нибудь историю Латинской Америки начиная с доболиваровских времен.

31 августа — И сегодня, хоть и обещали перевести в 4-е отделение, остаюсь лежать голый в 30-м отделении. Ну и прекрасно. «А куда вы спешите.

Разве у нас плохо?» — «Ну, как может быть хорошо, если даже штанов не дают» и пр. Третья подряд система капельниц. Благосклонность ко мне еще больше. Любуюсь на них. Первый визит ко мне — и то заочно — Шевелев с минеральными водами и беломором. Снова у постели этот поклонник из 30-го отделения. А вечером уже в одежде, крайняя слабость, прогулка по небольшим коридорам. «Укротительница тигров» по телевидению. Телефон. Звоню Ю. Р. — дома никого. Звоню Г. Нос. — тоже никого. Полубессонница без всяких почти сожалений о славном июньском пребывании в Кащенко.

1 сентября — С утра переселение в 4-е отделение, не без неохоты. Крутая перемена климата — зловоние, и злобность, и суматошность. Вынужденное купание, грубости, знакомые хари. И день не приемный. Но вот — почти часовая беседа с заведующим отделением, Юрием Моис. Полная доверительность и дружелюбность крайняя. Мне предстоит здесь 18 дней. «Таких гавриков, как Вы, у меня один» и пр. Забавен его испуг, что о них написано будет. «Ну, тогда можно выпустить и раньше». Вечером опять все испоганено. Телефона не дают. Взбешен почти до слез. Опасаюсь бессонницы, но ничего: хоть

ущербно, но сплю.

Больница. Картина выползания из кризиса. Пища: 29-го — nichts, 30-го — стакан кофе, пакет кефира. 31-го — тарелка жидкого супа. Стакан кофе. 1-го — Вечер немножко и чай. 2-е и 3-е в обед. 2-го — Все съедено. Поздно вечером — голод. 3-го — Все съедено + помидоры, яблоки и 2 яйца. И т. д.

То же самое со сном.

С 29 на 30-е. Под капельницами. Сплю несколько минут.

С 30 на 31-е. 6–7 часов

С 31 на 1-е. 5 час

С 1 на 2-е. Около 6 часов

С 2 на 3-е. Около 5 часов

С 3 на 4-е. Уже около 10–11 часов

Один после укола орет: «Типичный бюрократизм и профанация! Сегодня ночью я взрываю Кащенко!»

Все в разных степенях умственной прострации, у каждого своя неповторимая форма ублюдочности… и пр.

Каждое утро будят: «Жизнь невозможно повернуть назад!» или «Три желания, три желания» и пр.

7 сентября — Нет, все-таки спал больше вче-

рашнего. Ожидаю вечером приезда Яны и Г. Нос. На уколах бесстрашен. В 4 начинаю ждать. (Я. больше жду из тщеславия, чтоб проникся медбрат Борис.) Вчера Г. Нос. говорила, что обязательно придет, а Яна добавила: «Ой, и я тоже». Нет никого. Немного зол, но не глубоко. Впервые не выхожу к телеэкрану. Сплю весь вечер, сплю всю ночь.

9–10 сентября — Во все глаза слежу за всем. Внеочередные парламентские выборы в Нидерландах. Христианские демократы наконец-то оказались в меньшем числе, чем социал-демократы. 45–47. Вернее, их названия: ХДР — христианско-демократический призыв и ПТ — партия труда.

Больница. 10 сентября. Последние процедуры.

Ник. Мельник. говорит мне: «Ходят слухи, что глаза у тебя снова посинели». — «Да нет, — говорю я, — как раз все посинело. Кроме глаз».

15 сентября — День выхода из клиники. Ровен и прямолинеен. Не до занятий. Прощание с медперсоналом мило и даже: «Если что не так, не обессудьте». Всеобщие улыбки и благожелательность. В 15:30 дома. Приведение всего в порядок. Все-таки 3 бутылки пива.

Меня стирали и перекручивали в конце августа — начале сентября, потом первую половину

сентября полоскали. Теперь я вывешен на просушку.

Пригожих людей не люблю, окаянные мне по вкусу.

2 октября — Суббота. Возвращается с курсов моя первая бандероль с оценками «отлично».

За всем этим не заметил, как в октябре рухнул социал-демократизм ФРГ и вместо Гельмута Шмидта стал Гельмут Коль. После 13-летнего социал-демократа снова ХДС.

Говорю осенью 1982 г.: Я, в сущности, не пьяница. У меня свой довольно прочный и довольно веселый стержень; в инъекциях чего-нибудь постороннего я не нуждаюсь (то есть ненужность искусственных возбудителей, избыток собственных смехов и трагизмов).

Совершенная неспособность кручиниться или быть удрученным.

Мне мешают заниматься германским. 11–12 ноября. 11-го — сообщение о смерти Брежнева накануне. 12-го — чрезвычайный пленум с избранием Андропова генсеком отрывают меня от дел.

Надо отметить в июне 1983 года десятую годовщину моей творческой бездеятельности.

1983

1 января — Поздно просыпаюсь, продолжаю лежать и новогодничать. Большой запас вина у Г. Нос. В гостях Над. Дорофеева. Чок. шампанским (я, как всегда, с 29-го, лежа). Все остальное смутно и незначительно.

2 января — И с самого побуждения дурно, начало тошнот и рвот. — У Нос. постоянно есть что. Чуть подозрительно безотказно и много. Уже 6-й день лежа. Ко мне в комнату Нос. переносит и проигрыватель. Малер. Вертинский.

3 января — Теперь уже шквал тошнот. 2 бутылки портвейна препровождаю в тазик — откуда берется? И так весь день. Нахожу к вечеру сил дойти до телефона, звоню Я⟨не⟩.: «Очень плохо. Пусть приедет Ирина, наилучшая из сестер милосердия. Я. говорит, что, наверное, тоже приедет». Спасительный радедорм.

4 января — Последний день. И день «водворения». Тошноты с утра, ожидаю девок. У Г. по-прежнему находится чем окрепнуть. Но бездыханен. Появление сиделки Ирины. Еще портвейн. Теперь Г. и И. заодно, оживляюсь и подписываю акт о капитуляции. Ирина оперативно подгоняет

такси. Едем сквозь тьму втроем, дорогой досас. остатки. Глумление в приемном покое. Обещанное 30-е отделение. Кровосостояние, капельница и пр. Засыпаю.

На католическое Рождество я был награжден обмороками. На православное Рождество — не лучше — физиологической, бессонной тревогой за свое сердце, прошу что-нибудь вроде корвалола.

Шуточки в больнице: «Курить я никогда не брошу, а вот пить — всегда буду».

Не могу быть образованным,

А хочу быть парализованным.

Почему непонятно, первый диагноз в приемном покое: «острый алкогольный галлюциноз». Говорю Нат. Викт.: «Смешно же. Надо иметь хоть одну пустяшную галлюцинацию, чтоб иметь галлюциноз».

«Журнал интенсивных наблюдений»

Не забыть обход со студентами, слишком много у других коек, у меня: «алкогольный делирий», с другой группой: «абстинентный синдром». И не привлекаю потому ничьего внимания.

5 января — Первое утро в реанимационном

отделении Кащенко.

С 9 января — полное восстановление сна.

С 10 января — окончательное восстановление аппетита.

(Не забыть 8 января трагическую историю с капельницей. Если б я не знал тех. отключения, etc.)

6 января утром милейшая Наталья Викторовна: «Ну, Веничка, счастливо, больше мы не увидимся!» — «Это как понимать?» и т. д.

Декламация в 4-м отделении: «Ты не бойся, пьяница, Носа своего, Он ведь с нашим знаменем Цвета одного».

Приобрести себе за городом маленький дурдомик.

Этот улыбающийся круглопузый имбецил — с неотрывной улыбкою глядит на меня, глядит и поглаживает пузень. Потом уже не может — его разбирает — отвернется, попрыскает, фыркнет, утирает слезу от смеха и снова смотрит на меня, смотрит, улыбается.

Еще один: Виталий Викторович. 8-й год здесь. В 1-м отделении, за кражу окурка ему ложкой вышибли глаз. Подходит к зеркалу постоянно, рассматривает свой белок. По заказу поет «Мурку».

Такой уж дух в 26-м отделении. Лучше броситься под 26-й трамвай, чем отработать полдня в 26-м отделении.

Почему заразительна тошнота и зевота, а вот кашель и чих — нет?

Больные в 4-м отделении, стоит им надеть белый халат, для каких-нибудь побочных надобностей, уже самоутверждены, глумливы, с потребностью покуражиться над «дурочками», etc.

Что ж, лучше быть в реанимации, чем в эмиграции. Лучше наш советский крематорий, чем ихние поганые кафешантаны.

12 января — Среда, и значит, определенно, сегодня никого не будет. Обилие уколов. Все возрастает раздражение. Отсутствие на этот раз всяких льгот и всякого особого попечения. И плевать. И гостей не надо. И хорошо, что снова обошлось без бессонницы, хоть вечером и было разбухание головы и перебои сердца.

13 января — Крепну. В январе еще не было такого спокойствия и почти-не-нарушаемости. Серж Бобков, Анат. Воробьев. Гости: первая гостья — Ир., потом Тимак, потом Г. Нос, с неожиданной Ниной Черкес и ее Володей. Шумно. И под зана-

вес — Еселиха с компотом. Старшая сестра уже смиреннее, допустив шестерых. Уже могу заняться немецким, но не начинаю. Обида: не было Я.

14 января — С утра неожиданно: врач Лариса («вы мне симпатичны, и я вам очень рекомендую») говорит о поездке в Поливановскую больницу[17], во избежание худшего. На месяц. Вначале оглушен, потом смиряюсь, потом даже разгружен. Переезд возможен сегодня. В гостях — Иринка. Слишком много смеха, и даже курю втихомолку. Обещает приезжать в Поливаново с Я. Хорошо, хорошо.

15 января — Настроение великолепное. С утра хохоты в компании Бобкова и Воробьева. Свидание с Г. Нос. Все о предстоящем Поливанове.

Поливаново. Ротонда — флигель, палата на трех. Оба постоянно, днем и ночью лежат, закрывшись с головой. Один скрипит зубами неустанно (говорят, кому-то откусил нос, едва разжали и отцепили). Другой тоже накрыт с головой, то и дело вполголоса: «а зачем? а почему? а зачем? а почему? а зачем?» и т. д.

При входе в Поливановскую больницу лозунг:

---

[17] Notes: 17
Филиал Психиатрической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева.

«Здесь вывод прост и ясен – пьянству нет!

Не то затмит бутылка белый свет!»

На стенде в поливановской больнице: «Алкоголь — великий убийца. От алкоголя гибнет больше жизней, чем от руки настоящих убийц, чем от зимней стужи» (К. Сикорский).

20 января — И почему-то смятение души. Сегодня и завтра не будет никого. Первый тетурам и война против тетурама. Первые «наружные работы» на воздухах. Сумеречно, безгрёзно, ровно, безрадостно.

Певцы поливановской больницы, певец-барабанщик еще поет: «Я был душой дурного общества».

Певец Дима начинает компилировать:

«Придешь с работы, усталый и голодный,

И бросишь кости на цементном полу,

А надзиратель, подлюка-блядь, не скажет:

Давай, братишка, соломки подстелю».

У него эта соломка переходит в песню о Сеньке

Буденном и пр.

И самый неподкупный из певцов: Молин.

В сверхсолнечный день 25 января у костра поет, опустив голову: «Христос воскреси из мертвых, смертию смерть покрыв». Ему: кончай эту муру, иначе сигарету хуй дадим, давай «Дан приказ ему на запад». Исполняет пародию на «Дан приказ». После сигареты, опустив голову, начинает ⟨нрзб.⟩: «И солнце померкнет, и звезды покатятся с неба». Опять: «Кончай эту поебетину, давай Луку Мудищеву» и пр.

О певцах здесь говорят: упал как-то вместе с патефоном с 5-го этажа и с тех пор все поет.

Нынешние народные шуточки: стук, то есть степень стука, измеряется в андропах.

Для чего ты упекла меня в этот каземат, в этот равелин, убийца человеков?

Относительно квартиры на Флотской, предстоящего шестилетия ее. Все пленником себя я здесь считаю, но разве я живу как пленник?

Все полосами. От Архангельска до Поливаново, от Я⟨ны⟩ до Ю⟨лии⟩ и пр. Николай Чернышевский говорил в аграрных своих статьях, что Россию губит чересполосица.

Покуда я был в Поливаново, стихотворчеством начала заниматься Носова. Вот четверостишье

(первая строчка заимствована из Есенина, после ее с Яной поездки в Петушки):

Тут разрыдаться может и корова,
Глядя на это бледное лицо.
Корова разрыдалась бы, но то корова,
А Юлия Рунова ни за что.

Г. Нос. отрабатывает на меня барщину и вдобавок платит моему сыну оброк.

В «Правде» от 23 января Рейган обвиняется в том, что не удосужился взять в руки хоть один том сочинений Ульянова-Ленина.

Меня еще спасает то, что каждый из них — один, а меня много.

2 февраля — И вот что странно: четвертую неделю подряд ни единого плотского позыва.

9 февраля — Весь день валят снега. В церковном подполе с ломиком и раствором. Все так же спокоен, бодр и уравновешен. Вечер песен Высоцкого. Краткий визит Коли Мельник. Начало немецкого.

10 февраля — Солнце и почти минус 10 градусов. Снова бодро, снова в том же церковном подполе, раствор и раствор. И не надо глядеть на дорогу и ждать кого-нибудь. Чуть немецкого фев. Сплю мертвецки.

11 февраля — В ночь сулили минус 18–20 градусов. Ничего подобного. Снова каменщицкие работы в церковном подвале. По-прежнему никого не ожидаю. Вечером — русская историография и немецкий. Спокоен, деятелен, ничем и никем не обуян. 1982 год вспоминаю без чувств и с недоумением.

12 февраля — И обещанных оттепелей нет. По случаю субботы — освобождение от работ. Переговоры в верхах: окончательно установлена дата освобождения: пятница, 18 февраля. Поглядываю на дорогу: немецкий и чтение урывками и ⟨с⟩ неохотой.

Лозунг в Поливанове: «Каждого 18-го алкоголика ожидает падучая болезнь».

Выписан 18 февраля 1983 года с итоговым диагнозом: «дипсомания».

В журналах 8 марта слишком много о «горькой доле прекрасного пола в странах капитала».

Вот о женщинах Нью-Йорка:

«Все больше и больше женщин опускаются на дно жизни. Они прозябают на улицах, курсируя от одного мусорного ящика к другому».

7 марта, промеж и без того-то хмуростей, узнаю

о вчерашнем торжестве ХДС.

11 марта — В качестве сиделки Коля М. за имбирной (он, конечно). Я лежу со 2 марта. Потом — Иринка. Потом — звонок незнакомки и появляется Вера Ворошилова. Ожидаю опекуншу Черных и вечернего бегства на «Юго-Западную». Конец малины. Вторжение (учтивых) санитаров. «Вен. Вас., Вен. Вас.». Вселение — и опять в 4-е.

12 марта — 4-е отделение. Тут же распоряжение в реанимацию. («Разве я в ней нуждаюсь?» и пр.) Реанимация. Ласково приветствует Маз⟨урский⟩ и Нат. Викторовна. И сразу под капельницу. От Г. приносят беломору и соку. Ходят слухи, что в связи с карантином свидания запрещены. Безрадостный вечер.

13 марта — Чуть оживаю, но без всякого аппетита. Повезло: с утра на ногах, знакомство с бойким врачом-усачом, чаепития, телевизор и пр. Гости: Г. всего на несколько минут, уступает место прибежавшей Ир. Все. Теперь у меня уже есть голубая рубашонка, бумага, etc. Слаб.

14 марта — Вот вопрос: как быть с Ю.? До 25-го меня не выпустят никоим образом, я убедился. Пошло прахом, что меня прямо отсюда уберут домой (вчерашнее Г. заявление). Предстоит 30-е отделение, и неизвестно насколько. Все равно,

увереннее с каждым днем, солнце, капели и потихоньку отступание сугробов.

Странный психический недуг в больнице 21–22 марта. Голова одновременно пустопорожна и тяжела. Оцепенение и нервозности. Беззаботно и крайне безрадостно.

Атмосфера в Кащенко в конце марта очень напоминает прошлогодний апрель здесь же. Снова сгребают и жгут листья. Птахи и букашки. И те же еврейские провокации, только на этот раз на сирийской границе. И на этот раз все это вместе — грустнее во сто крат.

Загадал 24 марта: вот когда оттает эта узкая полоска изо льда и снега промеж двух лип — и выйду на волю.

Встань, Венечка, встань, пригоженький, к тебе смерть пришла, коньячка принесла.

Оказывается, в психиатрии есть такое понятие «агитационное состояние» у больного.

28 марта — План не регенерации, не реанимации, а реконструкции. Договоры на воздухах с Нос. и Ир. Л.

Пациент, каждое утро в 6 стучит в буфетное окошко и просит хлеба, при этом припевает-при-

говаривает: «Миллион, миллион алых роз…»

29 марта в больнице, всерьез обдумываю пьесу.

30 марта — Нет. Бодрость все длительнее. Просыпаюсь, как все эти дни, на рассвете, щебет птиц. Прогулки под солнцем без всяких пальто. Дважды звоню Ю. на службу, неудачно. Букашки на земле и в воздухе. Снова в саду, костры из листьев. Ир. в гостях, с ней гуляния, весело в беседке с кефиром. Совершенно смехотворна и мила в своем плаще. Вечером тревога — дизентерийный карантин и могут задержать. Крайне разговорчив со всеми.

31 марта — Бодрячество, уже ставшее привычным. Даже две унылые гостьи — Нос. и Ес. меня не отягощают. Балагур. Пусть по выходе мне предстоит трудоустройство, военкомат, диспансер — пусть, я на все готов. Выход из больницы отсрочивают примерно на неделю — тоже пусть. Неунывающ. Мне некуда спешить. На дворе попрежнему около плюс 15 градусов.

Мальчик Алексей ⟨нрзб.⟩ со 2-го курса биофака МГПИ сидит здесь за «нестереотипность мышления и образа жизни».

8 апреля — День выхода из больницы. Прощание с персоналом. Андрей и Алексей провожают

меня до ворот. Дома. До вторника я могу быть спокоен. Сразу же подключ. к бормотухам.

1982 год — беспримерный год довершился беспримерной зимой.

В апреле в больнице интеллигентик-шизофреник спрашивает ни с того ни с сего: «Вениамин Вас., а трудно быть Богом?» — «Скверно, должно быть, хлопотно. А я тут-то при чем?» — «Как же! Вы для многих в России кумир».

Вторая половина мая — вся под знаком бракоразводности и помещений в клинику. Взрыв 20 мая — созваниваются даже Ю. Р. и Нос. о браке.

14 июня — вторник, арест Г. Носовой[18].

Начало одинокого бытия.

Еду оформляться на вахтерскую службу.

Юрий Андропов вступил в должность президента.

Я такой безутешный счастливчик в кругу этих неунывающих страдалиц.

Моя трудовая деятельность неоднократно прерывалась аплодисментами.

28 июня — В Кащенко. Как легко я передвигаюсь повсюду. У Нос. совершенно патологический

---

[18] Notes: 18

Г. Носова попала в психиатрическую клинику.

вид. Чрезвычайно жалко.

9 июля — С Т⟨амарой⟩ В⟨асильевной⟩ в Кащенко. Нос. нас встречает на скамейке у клумбы. Нос. уже целует меня на прощанье.

Работаю без выходных. Учусь без каникул. 13 июля.

Утром 17 июля — первый граммофончик распустился на ипомеи у меня над балконным диваном.

Определить, в какой квартире эта женщина и что за фамилия. Не в 1–2–3-й. И не в 50-й и 53-й. Проследить. И не в 36-й.

Утром 18 июля — первый мак.

Утром 19 июля — Солнце. И второй лиловый граммофон над моей балконной постелью.

Вот и проследил. 20 июля вечером. У нее 3-й этаж, значит 14 или 18 кв. Подходя к дому и уходя, машинальный взгляд в 3-й этаж.

Утром 21 июля стою у окна. В 8:10 утра проходит. О, как повернулась!

Не хочу быть полезным, говорю я,
Хочу быть насущным.

26 июля — С Ир⟨иной Леонтьевой⟩ пробужде-

ние на епифановской террасе. Дождь и дождь. Отменяем свой поход за малиной и грибами. На платформу — весело — с платформы за очками и снова перрон. И все под дождем. Успеваю на службу. Голоден. Врывается Ир. с кучей еды. Оказывается, Галина дома и окончательно выписана. Дома: Г. держится несколько особняком. Звоню Ю. и обещаю быть. Но не решаюсь.

28–29 июля — Рунова. О том, что более близкого человека нет, согласие о женитьбе и перемене фамилии.

Все семейные тяжести теперь на моих раменах.

Все. До 24-го числа замыкаюсь, сохну, зябну, корплю над языком. Во мне отключат горячую воду до 24 августа.

С воскресенья, 7 августа, приступил к белому переписыванию всех работ и хвостов; раб. 7, раб. 8, отчет по допущению экзаменации.

3 августа — Тошнит, знобит, слабость, безрадостность. Одиноко. Все-таки собираюсь и ко времени на службу. ОНА. В 9:30 — Г. с бидоном пива. Сонливость. Никаких занятий. Г. снова о разводе. Дома: Коля Мельник говорит о ситуа-

ции: Ирина — Юлия и невозможность что-нибудь предпринять. Агдам. Сонливость. Звонок от Черных с предложением на завтрашние именины.

4 августа — Звоню к Ю. в целях консультации: где и каким образом производят бракоразвод. Получаю телефон. Звоню. Но вторую нашу беседу прерывает Г.: «А я никакого развода не дам. Я не хочу развода».

С этих августовских дней начинает съедать меня неприкаянность — нечего положить на сердце, некуда преклонить голову, некуда и не с чем пойти. 8-го с утра почувствовал: совсем щемящий и один, и слеза приближается к мокрым местам.

Однако не унываю и мурлыкаю. И про себя (вместо майского «Он оглушен был шумом внутренней тревоги») — бальмонтовское «О сердце, как сердце болит!» и почти: «Душа моя скорбит смертельно».

Еще одно постановление Совета министров в ВЦСПС об усилении мер по укреплению дисциплины. Шучу по этому поводу: «Москва прежде звалась Бирюлево, теперь — Строгино».

Немецкий. Традиционно в 4 дня заполняю сентябрьскую домашнюю тетрадь: 30–31–1–2 — сентября.

5 сентября, точно в срок пишу первую кон-

трольную III курса и отправляю.

Наконец, 15 сентября. Первая бандероль с курсов: апрельская, майская, дополнительное чтение. Все — 5.

27 сентября — Нина Черкес. Звонит о пребывании Яноша[19] в России, о его обожании и пр. Спектакли в Варшаве и Лодзи[20], с успехом, преимущественно комическим. «Вы на Западе престижная фигура». Янош, узнав о моей вахтерской работе: «У нас в Польше люди стояли бы в очереди, чтобы посмотреть на Веничку».

Юбилей 8 октября. Ровно полгода, как я в последний раз покинул П. П. Кащенко.

4 октября — Скорее на дежурство от придав. и враждебности Г. Никакой день рождения субсидироваться не будет.

15 октября — После Покрова. Опять солнце и тишь, плюс 14 градусов. Безслужеб. день. Пиво. Золотистый портвейн. Ванна. Еще золотистый портвейн. Враждебность Г. Звоню к Р., дважды. Об окончательном решении развестись. Р. на это

---

[19] Notes: 19
Янош Жеромский, польский пианист.

[20] Notes: 20
Речь идет о спектаклях по мотивам поэмы «Москва — Петушки».

больше чем благосклонна. В поисках Ир. — звоню в Текстильщики: мне сообщают, что Ир. приехала вчера и теперь с Я. на спектакле. Ну, ну.

21 октября — Бутыль бормотухи с утра. Бутыль вечером. Не иду ни на какую службу. Возобновление телефонного разговора с Ю., и очень мило. Решено: 24-го я отмечаю день рождения у нее.

А вернусь на бровях, на бровях, на бровях своих чернобровых!

Вот еще узнаю о своем дне рождении (когда 30 октября собираемся с Ириной Л. в гости к О. Седак.) — узнаю, что О. Седак была на нем. И в тот же вечер у Ю., оказывается, она звонила мне — свидетельствует Авдяш, и я порол несусветицу и отказ. от нее.

Заказ из литературного общества Новосибирского научного центра: «Пьесу такую, чтоб все животики надорвали». Да зачем же животики?

1 ноября — Выдержу ли двойное дежурство? 4 часа выдержал. 4 славян. пива и никаких занятий. Знакомство с жилицей 26 кв. — у нее — бодро лечу домой, а не взять ли андроповки, наконец?

10 — Решаюсь идти на мучительную службу. И там — разг., корвалол, черная дремота.

11 ноября — На слабых ножках бреду на дежурство. И все дежурство сосредоточен на черном и ненужном.

14 — Как ни черно утро (и не только), тащусь на дежурство. Мучительно высиживаю и бездеятельно — какая еще может быть деятельность. План: операция «Хрусталь». Осуществляю. Никну. Снова под 4-мя одеялами. Вечерняя Г. снова о разъездах и разводах.

15 — Еще молодцом. В пурге Мосс(ельмаш). Флакон за 66 и Эликсир. С Г. все о разъездах. Наконец предлагаю ей ее же мыслю времен праздников: обменяться с Ю. Со службы дважды звоню Ю. — никакого понимания. Дома — еще звоню, Г. бескорыстна, Р. с оскалом. Ю. просит дать трубку Г. Их разговор, ни к чему не приведший. Обещаю завтра у нее быть.

23 ноября — Письмо из курсов от Глазуновой, с просьбой все-таки сделать ноябрьскую работу в пределах 1–9 декабря. Подчеркнуто: Если необходима моя помощь, срочно сообщите.

23 ноября — С тех пор как служу, никогда так тяжело не поднимался на службу. Две поездки за пивом. После дежурства сталкиваюсь в магазине с болваном Олегом, у него две бронебойных. Потом — Коля Мельник., в гостях с ним уже весе-

ло, две сухих. Спать.

24 ноября — И снова тяжелейший подъем на службу. И снова две поездки за пивом. Мучительно, не дожидаясь двух часов, домой. Разг., разг. Сон, разг., сон. Г. с 2-мя пивами и корвалолом — уснуть.

25 ноября — Вроде бы чуть-чуть полегче. И на дежурство. Чувствую себя сноснее. Всего немного пива. А после дежурства в одиночестве «Осенн. сад». И 3 пива. И — никакого немецкого.

28 ноября — Утром на дежурство. Неудача с пивом. Выдержу ли двойное дежурство? Нет, не выдержал. С трудом высидел и одно свое. И 29–30-го — уже практически оставляю службу.

1 декабря — Не могу идти получить на службе свой расчет. Посылаю Г. с запиской-доверенностью. И вино, по случаю бесславного окончания моей трудовой карьеры.

5 декабря — Других не помню. Но 5-го пиво на Мосс., немного вина — и в отдел разводов, о котором все эти дни толковала полоумная Г. В отделе разводов — задержка из-за фотографии на паспорте. В гостях Кононенко и Кицис. Спрыскиваем неудачи.

7 декабря — Г. спешит, я иду навстречу ей во всем, что относится к разводу. Немножко вы-

правляю себе физиономию портвейном и еду в фотографию. Продолжаю выправлять физиономию.

13 декабря — «Кавказ». Письмо на курсы с объяснением задержек и обещанием наверстать к Новому году. Мадера.

21 декабря — Второй день весны. На Мосс. Потом операция с посудой. Вечером Г. выдает мне на белый портвейн и сообщает, что разделение квартир будет на Петрозаводскую (ее) и Ждановскую мою. Уезжает на ночлег неизвестно куда. Дважды длительный разговор с Ю. Р. по поводу обмена.

27–29 декабря — все еще весна и слякоть, но не до того. Продолжает нагнетаться напряженность, искусственно создаваемая Г. Кто меня выручает в эти дни? Лабрюйер и К°. Не знаю, по-моему, так. 29-го звонок к Р. относительно Нового года.

31 декабря — Так оно и есть. Откуда-то облегчение. И даже ванна. И бутыль алабашлы, да и после нее Г. исчезает вечером отмечать Новый, 84-й к матушке, оставляет мне еще 2 бутылки алабашлы. И вот один. Ни от кого никаких звонков, никому не звоню. Только в 1-м часу ночи звонок к Ю., поздравляю, но уже смутен и пьян. Лопнуло то, о чем грезил (с разг.) вторую половину декаб-

ря: ровно в 12 час., бубн.[21] вместо шампанского и пр. Ни от кого не дождавшись звонка, тупею и засыпаю.

[21] Notes: 21
Эвфемизм.

1984

1 января — 84-й начинается с умирания. Просыпаюсь один, как и засыпал в 83-м. Впервые в жизни. Звоню Ю. Р. «Ну, как тепленький я был в новогоднюю ночь?» Обещаю на днях нагрянуть.

9 января — В ожидании квартирных смотрин и расторжения брака. Хрустальная операция. Вермут. Потом «Кавказ». Г. появляется вечером и призывает быть готовым к завтра.

10 января — Я с каждым днем все одушевлен. Прибрежное. Дворец расторжения браков, долгая, но веселая морока. Г. мрачна, как окунь. Звонок к Ю. о состоявшемся, о чувстве свободы. И пр.

11 января — Итак, ожидать до 10 апреля.

3 февраля — остаток вчерашнего алабашлы. Бегал за бормотухой. Еще за бормотухой. Звоню Ю., говорю, что Г. с дрожью ожидает вторжения людей в белых халатах.

7 февраля — День исчезновения Г.

Звоню к Я. — Я. наводит справки и сообщает об аресте Г.

9 февраля — О разводе с Ю. Она говорит о моем полном праве на односторонний развод, если

жена в психбольнице и пр. Отказываюсь. С Ес. говорю о вероломстве ее подружки.

18 февраля — В 11 еду (впервые) в Кащенко на свидание с Нос.

20 февраля — Решаюсь трудоустроиться.

1 марта — Уф, нехорошо. Все-таки надо вставать, бриться и ехать от Ю. на первый день службы. Сухо прощаюсь, еду на дежурство, не могу, отпрашиваюсь до 5-и, бутылка вина — звоню Ю., звонит Ю. Первое зябкое дежурство.

4 марта — Прощаюсь с Р., бодро чешу на свое второе дежурство. Все на выборы. Из дома звоню Ю.: все хор., всю тебя т⟨олс⟩тушка, — «Я тоже». Немецкий. Весь день ровен и добротен. Ир. потихоньку отступает, и смиряюсь. Жаль Г. Нос.

15 марта — Просыпаюсь на Юго-Западной один. Ю. возвращается со службы. Движемся ко мне. Я через Кащенко: первый разговор с Г. Нос. об отмене развода и пр. Славно. Еду к себе — там уже Ю. с обилием продуктов.

6 апреля — Спал один (!). На дежурство ровно. Уже в плаще и даже без плаща. Пересаживаю сирени, липки и пр. Звоню к Р. Звоню домой — Нос. уже там. Ее первый приход на службу. Планируем на завтра к матушке.

7 апреля — Возвращение с дежурства, дома

Носова. И — протягивает мне трубку: звонит Зимакова. О том, что сына берут в армию, что надо непременно встретиться. Договор на завтра.

(Звоню Ю., что немецкие занятия прерваны, что начался наплыв жен и пр.)

8 апреля — Суматошное воскресенье. Поднявшись у матушки, мы с Нос., с часами, книгами, фотоапп., водкой, бальзамом, — домой. Дома — получаю свою ноябрьскую и декабрьскую немецкие работы — обе «5». По телефону от Ольги Седак. узнаю об эдинбургской постановке Петушков. Тимак. Не еду встречать Зим. — и звонка от нее нет, значит не приехала.

И это желание выпить — вовсе не желание просто выпить, а то же желание к демократии. Заставить в себе говорить то, что по разным соображениям помалкивало, то есть позволить взглянуть на те вещи по-иному. Исподлобья или одухотворенно, не важно.

12 апреля — На дежурство. Нигде нет даже пива. С каждым часом — полегче. В обед — 2 пива. И конец тяж. Снова бодр. В обед звонит Ю.: обещаю завтра быть у нее. Оба озабочены немецким — я ровно неделю не занимался. Вечер. Нос.: ее вернули на работу, но младш. науч.

22 апреля — Пасха. Превосходно, возвращение со службы. Невыносимо много звонков — в основном к Нос. 2 раза звоню Ю. — ее нет. Потихоньку и без энтузиазма отмечаю Пасху бутылкой портвейна.

26 апреля — Большая хрустальная операция на Фестивальной. И себе ничего, кроме 2-х пива. Галине Нос.: ананас, джем. Г., вернувшись, в восторгах. Немецкий.

27 апреля — Расположен отлично и ровно. Вспахиваю на дежурстве весь цветник перед домом. Прелестно. И милый дождь.

28 апреля — Свободный день. Немецкий не клеится. Весь гнев обрушиваю на позвонившую Ю. Я не желаю говорить, она желает. «Ну, так говори скорее, в чем дело?» — я нервно. Она: «В таком случае я тебе никогда не позвоню». Швыряю трубку, дрянь. Еду рассеяться к Ольге Седак. У нее в числе гостей итальянка Франческа (удостоверяюсь, что «Петушки» получили 1-ю премию на Эдинбургском драматическом фестивале). Толки о завтрашнем поэтическом вечере Пригова — на квартире Яны. Муж Ирины Сед. с водярой. Дома оказываюсь только в 2 ночи.

29 апреля — Звонок от Ю. (под предлогом Тамар. письма) — это после вчерашнего «никогда

не позвоню». Тихо и мирно: о лете, о домике, о том, что сегодня уезжают в деревню и будут с утра 2-го. Обещаю быть с утра 2-го. Бутыль Кавказа. Еще бутыль Кавказа. К Яне на вечер Пригова не еду. И главное — И. там?

12 мая — Дежурство бодрое и мгновенное. Ир. обещанной нет. Нос. и Балашиха сообщают о звонке Зимачихи: Венедикт 15 мая в армию.

15 мая — Караваево. День проводов. Появление Сидоровых. Лежа на диване, развлекаю народ, в том числе сына. На проводы уже с тошнотою. Но — ничего. В темноте, всякий раз, как ухожу на крыльцо курить, Венедикт разг⟨оняет⟩ публику. «Дайте мне поговорить с отцом». Ухожу в разгар гармоник.

16 мая — Караваево. День после проводов. С Эженом за бутылкой водяры. Потом с ящиком посуды, еще за водярой. Долгие беседы с Зим. «Все о прошлом». Засыпаем.

И вообще люблю совершать действия, несовместимые с моим статусом.

С наступлением осени — начало телефонной весны. Тихонов закукарекал, закуковал Свиридов, Ольга Седакова запинь-линькала, закурлыкал Тимак., остальные защелкали, засвистели, заку-

дахтали.

6 июля — Намерение все округлить и закончить корвалолом. Но звонок Лёна. Надо ехать к Мессер⟨еру⟩. Впервые. Предварительно бутыль бормотухи с Лёном. Едем, хозяин прекрасно меня знает. Битов неведомо откуда. Вино и вино. Мессер.: «В Ерофеева Белла сразу бы влюбилась».

14 июля — Накануне от Ю. звоню Т. В. Она будет в Москве т⟨олько⟩ 21–22-го. Решено с Ю. договориться с ней о ключах и об августовской поездке на север. Долой Среднюю Азию, и без того в Москве жара несносная.

17 июля — Странное дело: после вчерашних двух бронеб. прекрасно отдежуриваю смену, даже без капли пива. Чай, чай. Ожидаю сегодняшнего обещанного приезда Р. в Москву. Над лексикой своих немецких «Петушков». Поздно вечером звоню Р. — нет, еще не приехала.

Колвица. 13 августа.

Автобусом из Кандалакши на юго-восток. 8:30–9:40. Вниз, через мост у впадения Колвицы в залив Белого моря. Первая черника и первые сыроежки. Вверх по южному берегу Колвицы. Раздвоенный, громадный и грохочущий водопад с бывшей мельницей. Первые подосиновики, бездна гри-

бов. Первые грузди. Прошлогодняя брусника. Пропасть недозрелой брусники. Первый костер и красная палатка в полдень. Разведка с В. вперед, голубичные кусты. С Ю. — сбор мхов. Первая форель. Еще десяток. Телячьи восторги. Редкий и быстротечный дождь. Солнце. Первый ночлег. Отважная Ю. ⟨нрзб.⟩ (Купание В⟨еры⟩ Р.)

Колвица. 14 августа.

Сравнительно солнечное утро. Выхожу из палатки, rund. Р. в кос. Лихо забрасывает удочки. На костре готовлю завтрак. Чайки ныряют за рыбою. Почти в час дня снимаемся с лагеря. Над стремнинами, фото. У водопада привал. Первые люди, браконьеры. Вверх по притоку — с горы определяю, что это все-таки приток. Водопады. На перекате ледяная переправа. Первая морошка. Снова на Колвице. В 7 разбиваем второй лагерь. (На водопаде выпускаем обе форельки.) Подальше от речного шума. Чуть спирта. Грибов и ягод пропасти. Второй ночлег. ⟨Нрзб.⟩ (В. Р. по бревну через пропасть).

15 августа. Странствия.

У второго ночлега подымаюсь первый. Костер. Все та же ревущая река. Первое испытание дождем. В 2 ч. в путь. Снова приток, снова босая

переправа вдоль бревна, под дождем и градом. По болотинам. Неожиданно выходим к мосту. По проселочной дороге — шоссе на Умбу, привал — пыльным автобусом — Кандалакша. Куда теперь? Решаем: Кировск — почтовым поездом — Ленинград — Мурманск — весело — в полночь автобусом въезжаем в Кировск — на Там⟨арину⟩ квартиру.

Кировск. 16 августа.

Позднее пробуждение, и все удовольствия, что мы не под небом, а в Кировске дожди и все заволокло.

Малый Вудъявр. 17 августа.

В полдень выходим в поход — на вокзале, билеты на 22-е — пешком по железной дороге до Юкспориока — от Кукисвум вверх к Малому Вудъявру — черника — переправа через Вудъявр — костер — мы с В. Р. поднимаемся на предгорье Тахтарвум — в дождь возвращение — к Кировску и солнцу — грибные заботы — и мертвый сон.

Кировск. 18 августа. Первый день без радуги. С утра обложные дожди.

Кировск. 19 августа.

Воскресенье. Я — никуда, иногда немного

спирта. Весь день обложное небо и дожди: с температурой, горлом и кашлем.

20 августа. На склонах Айкуайв⟨енчорра⟩.

Пешком из дома, по солнцу и холоду. Мерзнут руки и лбы. По школ. склону. Массы черники, набираем 5 литров. По скалам. Моросящие дожди — возврат домой на автобусе.

21 августа. На склонах Вудъяврчорра.

Последний пеший поход — единственный день без дождей — и с солнцем — через Белую речку — подъем по отрогам — грибы — вдаль уходящее ущелье — фотоснимки — назад вдоль Белой речки — последние грибные заботы.

22 августа. Кировск. Отъезд.

Р. отягощает последний день чистоп. и максимализмом. Трое с рюкзаками — самый теплый день. В 4 ч. отъезжаем из Кировска. В 18:30 — отъезд из Апатит. В 20:00 — из Кандалакши. Бойко. Таращимся на Белое море. И — бутыль медвежьей крови. Не сплю. Лодки. В 2 ночи — Кемь. Засыпаю.

23 августа — Петрозаводск. Конец карельских дождей. Волховстрой. Чудово. Засыпаю на несколько часов. Новгородская область.

Вот что у меня растет (к 31 мая) — бешеные

бобы, вьюнки, душистый горошек, маки, настурции, ноготки, космеи, периллы, бархатцы, васильки, астры, гвоздики, фиалки, георгины. Портулак.

25 апреля продолжаю рассады: еще 12 бобов. Выглядывает первая неказистая настурция.

26 апреля сажаю в горшочки неизвестные бархатцы, вьюнки. Жду.

Чудовищно растут бобы. Пока отставляю балконные земляные труды.

1 мая — Высаживаю на балконе рассады фиалок и семена ноготков. Туда переселяю бобы.

2 мая — Высаживаю настурции в маленький ящик.

4 мая — Еще сажаю ноготки промеж фиалок.

5 мая — Высаживаю немножко японских васильков, ипомеи и что-то неизвестное.

7 мая — Высаживаю бархатцы и два вида гвоздик. Еще космеи.

9 мая — Начинают всходить первомайские ноготки. Обнаружил рано утром, вернувшись с Юго-Западной. Начиная с 9-го выползают потихоньку все ноготки, в том числе посаженые 4-го.

10 мая — В ящике для настурций не первая ли настурция появляется (посаженная 2 мая). И не японские ли васильки проклевываются (5 мая).

17 мая — По возвращении из Караваева: все взошло, кроме душистого табака (10 мая).

19 мая — До обидного мало взошло настурций (3–4) и вьюнков (2). А гвоздики — еще неизвестно, гвоздики это или нет.

20 мая — Нет, точно гвоздики, и их все больше. (Душистый горошек.)

21, 23-го — Пересадки рассады во все стороны. В горшок — пиреллы.

24 мая — Бобы достигают потолка (подоконничные). Уличные бобы начинают перевиваться друг с дружкой.

31 мая — Появляется первый душистый горошек (23). Еще сажаю гвоздики.

1 июня — Еще появляется душистые горошки и периллы (23).

4 июня — И балконный боб достиг потолка. А душистых горошков — 8. Куда их, подлецов, рассаживать?

6 июня — Вечерняя гроза с ливнем. Бедствие в основном для ноготков в ⟨нрзб.⟩ ящике и для бархатцев. И васильки сгибаются.

8 июня — Еще дожди, холодные.

9 июня — Еще бедствия. Неслыханный ветер. Спасаю все бархатцы. Дожди без милосердия и ⟨нрзб.⟩

10 июня — Скоро будет первый ⟨нрзб.⟩

В ночь на 11-е сулят почти морозы. 9–11–12-го — То и дело спасаю цветы.

18 июня — Все еще холода и ветра, и все еще продолжаю спасать.

19 июня — Сажаю портулак розовый в нижний ящик. Немного пересадок.

19–20 июня — Замечаю: цветут бобы.

21 июня — Первый ноготок.

25 июня — Вот и второй ноготок.

28 июня — Первый бархатец (темный).

29 июня — Первая настурция.

2 июля — Первый василек (розово-белый).

4 июля — Первый синий василек.

8 июля — Первый бархатец (светлый).

9 июля — Первая космея фиолетовая.

11 июля — Первая белая космея.

16 июля — Рано утром первый мак.

21 июля — Рано утром первая ипомея.

(В 20-х числах понемногу чахнут от черной сыпи настурции и несколько ноготков и космей.)

С 21 июля — Каждый день вспыхивают ипомеи-однодневки.

25 июля — Их сразу 12.

29 июля — Первый душистый горошек.

30–31 июля — Первый русский желтый испо-

линский бархатец.

1 августа — Замечаю, что пробиваются на 2-х георгинах загадочные две завязи-пипочки.

6 августа — Сразу 13 ипомей рассыпаются по балкону. Продолжаю наблюдать за пипочками георгинов.

Первые дни августа наконец-то астры пошли в рост и уперлись в перила.

9–10 августа — В канун отъезда на Кольский окончательно распустился первый георгин.

24 августа — Утром по прибытии с севера вот что вижу. Настурции исчезли, съеденные чернотою, большинство ноготков тоже. Ипомей намного меньше. Пуще всего цветут бархатцы, в особенности махровые. Маки отцвели. Васильки почти тоже. Космеи тоже в черноте, но цветут. Бобы цветут бешено и сверху донизу. И душистый горошек.

29 августа — Борюсь с белыми тварями на астрах, намеренных цвести. И с черными тварями на ипомеях, настурциях, космеях и ноготках.

Ночь на 1 сентября — и первый белый георгин. Продолжают надуваться красные.

1 сентября — И опять первая настурция, после черной немочи.

5 сентября — За два минувших дня явилась

первая астра. «Но разве это астра!»

6 сентября — Уже много длинных и вымо-рочных астр. Диковинной окраски георгины. Простуженные.

7 сентября — Последняя ипомея отцвела и по-висла.

21–26 сентября — Теплынь. 16–20 градусов. Цветут: последняя, наверное, настурция. Худосоч-ные астры — две хилые календулы. Надуваются новые георгины. По-прежнему бурно цветут: бархатцы, горошек, бобы.

29 сентября — В последний солнечный сен-тябрьский день сбор плодов: стручки бобов в зарослях, семена бархатцев, вьюнков и василь-ков.

8–9 октября — Распустился последний оранже-вый георгин.

10 октября — Выселяю с балкона внутрь дома все фиалки.

15 октября — Срезаем стручки душистого го-рошка.

Ночь на 16 октября — Первый мороз. Finis.

Ночь на 17 октября — Еще мороз.

20–21-го — Погожие дни, плюс 12–13 градусов.

22 — Поливаю зеленые и так не расцветшие гвоздики. Остальное мертво.

Ночь на 31 октября — Мороз (третий в октябре). Обираю семена махровых бархатцев.

10 ноября — В ночь выпал снег, который станет окончательным.

13 ноября — После двух ночных морозов (13 градусов) вспомнил, что забыл ископать корневища георгинов. И хрен с ними! Они того не стоят.

1985

Вот как писалась «Вальпургиева ночь»:

До 19 февраля — обдумывание и копание в старых бумагах и блокнотах.

19–20–21–22–23-го. Печатаю 1-й акт. Занавес.

25–26–27–28-го. 7 страниц 2-го акта.

2 марта — 8-я страница 2 акта.

3. 3–4–5-го — 9-я стр. 2-го акта.

6–7–8-го — Подъем. Заканчиваю 2 акт. 14½ стр. Занавес.

10 марта — первые 3 стр. 4-го акта.

12 марта — 4-я стр. 4-го акта.

14 марта — 5 и 6 стр. 4-го акта.

Ч. 15–16–17–18-го — 7-я стр. 4-го акта.

19–20-го. Подъем. 4 или 5 стр. 4-го акта.

Ок. 24-го — Заканчиваю 4-й акт.

25–30-го — Третий акт, впоследствии забракованный.

31 марта или 1 апреля — Никуда не годная 1-я стр. 5-го.

2–3–4 апреля — Больница.

5–6–7 апреля — Разбираю хаос принесенных черновиков.

9 апреля — Больница. Отдаю стр. 1–4 5-го акта.

11 апреля — Больница. Отдаю стр. 5–8 5-го акта.

Од. 12 апреля — Больница. Отдаю стр. 9–12 5-го акта.

Из. 13 апреля — Больница. Отдаю стр. 13–18 5-го акта.

14 апреля — Пасха. Нахрапом делаю весь 3-й акт.

З. 15 апреля — Больница. Отдаю предисловие. 19–21 стр. 5-го.

Г. 16 апреля — В полдень ставлю точку. Отдаю последние 5 страниц 5-го акта, писанные вчера и сегодня утром. Finis.

С 17 апреля начинаю извлекать материалы и обмозговывать «Диссидентов». Совершенно пока не ясен финал. Но главное: хозяин заведения Миша Каплан. И его веселые и слабоумные друзья-нонконформисты.

17–18 марта — Выхожу понемногу из состояния без вдохновенности. По страничкам продолжается 4-й акт.

19–20 марта — Тихо продолжаю 4-й акт, с прочитыванием готовых кусочков Надьке Балаш. Прежняя система горячих спиртных.

21 марта — Откровенная водяра, и Некрасова в гостях. Застопоривание 4-го акта.

22 марта — Яна у нас. К вечеру будто бы Ир.

23 марта — Публичное платное чтение у Иодковских. Со мной Нос. и Яна. 1-й, 2-й и почти 4-й акт. Большой успех. Фотовспышка и пр.

24 марта — День, в котором, по-моему, под аккомпанемент холодного и горячего спиртного заканчиваю 4-й акт.

25–28 марта — Продолжение печатания. Но уже неряшливо и впоследствии, в апреле, забраковываю 3 акта.

29 марта — Пьяненький вечер публичного чтения у Марии Фоминой. Виктор Ерофеев, Пригов.

30 марта — Мур. в гостях. Читает 4-й акт. Нехотя даю ему 3-й, и он прочитывает со снисходительностью «интермеццо».

1 апреля — Осталось свидетельство: записка к Г. Нос. с просьбой дать на бутыль, а последний, 5-й акт я за это обещаю отстучать в 4 дня.

2 апреля — Вторник. Корвалол. Полчекушки. Санитары. Спокоен. «Только на 5 дней». Отделение реанимации. Весь вечер под капельницей. Позволяют курить. Любезное обращение.

3 апреля — В реанимационном отделении. Визит Рашидовича. Все подчеркнуто милы. Капельница. Чудо: полстакана. Дозволение одежды. Аппетита нет по-прежнему.

4 апреля — С утра чувствую переселение. В 31-е.

Ровное и бодрое состояние духа. Рассматриваю за окном: клочки оттаявшей травы. Ровная и вялая весна. Вечером Г. Нос. Бумага, авторучка, очки, штаны. Прекрасно. Мартовские рукописи.

5 апреля — 31-е отделение. Привожу в порядок хаос принесенных рукописей. Все готовлю для 5 акта. Весь день — в этом. Один пациент подходит: «У вас интеллигентное лицо» и пр. Масса уколов, деловит.

6 апреля — Вербная суббота. Впервые съедаю все меню. В ожидании гостей. Яны нет. Нос., Лён, его приятель. Куча приношений. Весело. Чудно. Но отбор для пьесы притормаживаю. Бессонница до 3-х ночи.

7 апреля — Вербное воскресенье. После бессонницы. Неутомим. Весь день — отбор для 5-го акта заканчиваю. Теперь можно переписать набело. Бодро и непоседливо. Аппетит — уже требую добавок. И снова бессонница до половины третьего.

8 апреля — Переселение в спокойную палату. Стойкая благосклонность врачей. Позволено позвонить домой: требую от Нос. прежних актов для ориентировки и «Москва — Петушки» для персонала. Вечером — Нос. О приезде Бориса Ер. Как быть? За окошком валом валит снег.

9 апреля — Весь день в отличном и победном настроении. Рыженькая Вал. под влиянием «М. — П.»: «Я потрясена, В., книгой. Это обалденно, ваш юмор, выше булгаковского» и пр. И даже не делает сегодня мне никаких уколов. И — разрешение на прогулки. 1-я прогулка. Тот самый садик и беседка. Все-таки: четыре страницы пишу набело и вечером отдаю пришедшей Нос. Начало 5 акта есть. Бессоница до 4-х.

10 апреля — Снижение во всех отношениях. Раздраженность крайняя, и закончились чернила, и остервенение, и не на чем выместить. Прогулка в 4 ч. — в назначенное время появляется Нос. С ней по скамейкам: мне нужны и стержни для работы, и таблетки для успок. Нос. бежит в аптеку и возвращается с корвалолом. Засыпаю. Пропавший день.

11 апреля — Ну вот и снова возрожден. Чистый четверг. Мне передают стержни. И — набело следующие 4 страницы 5-го акта. Холода и никаких прогулок. Вечером — веселая встреча с Г. Нос., отдаю ей написанное. Появляется Лён, дивится нашему мажору и утраивает его. Превосходно.

12 апреля — Страстная пятница. Еще холоднее и снег за окном. Снова никаких прогулок. Короткий приход Нос. — отдаю ей очередные четыре

страницы (9–12) 5-го акта. Нос. в восторге. А у меня временная апатия. Но продолжаю 5-й акт.

13 апреля — Уже и солнце, но около нуля градусов. К приходу гостей готовлю очередные (13–18) страницы 5 акта. Носова. Потом — Ирина Л. (отдаленно). Потом — Тим. Потом — Л. Майкова. Все с приношениями, и довольно оживленно. Вечер — даю себе отдых от трагедии: «Континент»[22], телевизор, грустно относительно Ир. Л.

14 апреля — Пасха. Прекращение ночных морозов. И деловое расположение духа. Прогулки запрещены, но при вытаскивании мусора, под солнцем все-таки звоню Ю. Р. (не видел с 14 февраля, не звонил с 28 марта). «Когда к тебе можно заехать?» — Р. о занятости, перегруженности, о гостях, как всегда. Я — о своем житье вне Москвы и о писанине. «Ну, до свидания». Она: «…Почему так спешно?» — «Да уж так. До свидания». Кладу трубку. Весь день, отложив финал 5-го, сижу над третьим актом. В один день весь его реконструирую, набело переписываю, все 14 страниц. Отлично.

15 апреля — Снова процедуры, работы в ре-

---

[22] Notes: 22

Пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» будет опубликована в парижском журнале «Континент» (1985, № 45).

анимации. В 2 часа — Нос. Отдаю ей весь вчера написанный нахрапом 3-й акт. Нос. в восторге: итак, остается только самый конец 5-го акта. Предисловие — посвящение. Вечером гости — Нос. со своей Ольгою, Ольга с шоколадом. Нос. — к Мур. с материалами. Чуть позже — еще гость, через окошко — Мельник. 5-й акт закончить немедленно. Делаю еще три странички. Остаются две.

16 апреля — И заканчиваю трагедию. В полдень довершаю последние две страницы (22–23). Свобода. Добавляю «Крохотное послесловие». За окном — дожди, я удовлетворен и спокоен. Ванная, прогулка под дождями. Проходящий незнакомый врач просит «Петушки». «Вашу книгу так рекламируют, что…» Обещаю. Вечером гости. Нос. и Некрасова. Чрезвычайно весело, если б не затюканная Некрасова. Вручаю Нос. последние 5 страниц последнего, 5 акта. Нос. окончательно в восторге и опять от меня едет к Муру. Еще запоздалые гости: Коля Мельник., Черных, Саша и с рыжей бородой и в коляске почти 2-месячный Кирилл. Чертовски весело у входа в отделение: о предстоящих крестинах, об о. Варсонофии, о законченной сегодня драме и пр.

17 апреля — Вчера, закончив трагедию, нынче потихоньку приступаю к блокнотикам для 2-й, «Диссиденты». Сосед-новичок всматривается в меня и улыбается. Художник из Мосфильма. Уступает мне место у окна. «Я давно о вас слышал» и пр. Ровен и общителен поверх всякой меры. ⟨Нрзб.⟩ обещает пробно отпустить меня на субботу-воскресенье. Звоню Г. Нос. — она о «хороших новостях», связанных с Фр⟨анцией⟩ и Ан⟨глией⟩. Прекрасно. 2-й день сплошные дожди.

18 апреля — Прекращение дождей, но погода от этого не лучше. И не веселей. Второй день выборочной работы над блокнотами к «Диссидентам». Гуляния днем — Г. Нос. в гостях. Сообщает об успехе трагедии в Мос. — шевелевских кругах — «нечто эпохальное» — и о чтении в кругу Островской с колоссальным успехом. Сотн. Гарик хочет даже навестить меня в больнице. По-прежнему сверхобщителен. Сомнения относительно Ю.

19 апреля — Как только проснулся и развернул 42-й «Континент»: «едва ли не все самое лучшее в современной русской литературе ограничивается именами В. Е. и И. Б⟨родского⟩». И — уже радость. Последние вливания. И — в от-

пуск до понедельника. С Г. едем домой, чтоб успеть к свиданию с фр. Ал. Я впервые дома после 2 апреля. Знакомство с Ал. Часовая деловая беседа. Обозрение издательств: Буэнос-Айрес пока не издавал, но контракт остается в силе. Большие приветы Горб(аневской) и Макс(имова). Склон(яюсь) в сторону Континента.

Все дело в окрыленности (между прочим). В «Дисс.».

С 17 апреля — Начинаю выбор материала для «Диссидентов». Блокнот зима 79–80 гг.

18 апреля — Идея: провести Гур. Через все три драмы. Слепец в последнем. Юный стихоплет (под Гарика) — в «Диссидентах». (Интрига отсутствует. Ее заменяет ожидание интриги.)

19–20–21 апреля — Отпуск из больницы и прекращение собирания материалов для «Диссидентов».

22 апреля — Механически исчерпываю блок. 2 за 82 г.

23–24–25 апреля — Чуть-чуть черпаю из блокнота Болшево.

26 апреля — Прекращение «первоначального накопления».

22 апреля — Утром возвращаюсь в больницу.

До полудня еще ничего. Потом — неодушевлен., туп, сонлив, вял. Механически вычерпываю для «Диссидентов» из блокнот.

23 апреля — То же самое. Безжизнен. Прекращены даже черновые работы над блокнотиками.

25 апреля — Отчего то все? Простуженность? Фарингит? Слабость? Наверное, в «Диссидент». Все то же, на прогулки совсем не выхожу. Рашидыч сообщает: завтра — домой. Первая гроза. Вечером — Носова, сообщает: трагедия уже в Белграде. Последняя ночь в больнице.

26 апреля — Пятница и последнее утро в больнице. В 11 утра я уже на воле — все-таки болезнен и нелегко добираюсь домой. Потом Носова с большой бутылкой карлсбад. ликера. Следом — Над. Балашова, Лён с Машей и канадкой. За шампанским. Публичное чтение 5-го акта. Ольга. Итак, выпускной банкетик состоялся.

23 апреля — Визит в больницу югослава. В ноябре 84 вышло журнальное издание, в марте этого года — отдельной книжкой. Очень большой успех. Алекс. Баднаревич. Просит фотокарточку, ибо фотокарточку пришлось ему заказывать в США. Нос.: вчера уже в 12 часу ночи он влетел, оставив такси на дворе, с тем чтобы меня приветствовать и на меня взглянуть. И все только

повторял: Ер.! Пет! Я хоть взгляну на квартиру, где он живет. Об известности везде, в Европе и США — «ничего с вами не могут сделать?». Об экземпляре трагедии, о возможности поставить ее в Югославии силами молодежного театра. (О печатании: впервые делается исключение для иностранного автора.) Сплошные рукопожатия. (Он позвонил вчера раньше, чем себе домой.)

Серб Александр на мой вопрос, много ли он смеялся при переводе, ответил: Я больше плакал.

25 апреля — На фоне уже 4-дневной болезни: маленькое вечернее оживление. Хоть вчерашнее интервьюирование с чертом и не состоялось, но нынешней ночью (в 1-м часу). Носов., оказалось, разбудил — звонок — такси — трагедия и портрет. Ожидать его звонок в понедельник. Итак, трагедия поплыла, первый пункт — Белград. То есть город, давший импульс для написания.

28 апреля — Вечерние чтения 4-го и 5-го акта: люди с магнитофонами: Шевелевы и еще одна чета, 2 магнитофона.

30 апреля — А фарингит надо всем возобладает.

1 мая — Весь день холодные ветра с дождями. Конечно, никуда не выхожу. Все длятся горловые недуги и крайняя вялость. Горячий токай почти ничего не достигает. За вчера и сегодня — звонки иногда неожиданные: Епифан зовет на дачу. В. Гудкова — к себе. Гостья Лидия Майкова — про прочит. всю трагедию и удаляется.

2 мая — Болен и беспомощен, в который уже день. Никуда не выхожу. Телезритель. Звонок от Мур. из Ленинграда — «нежный привет от Костюхина». ⟨Нрзб.⟩ совет — вылечиться через посредство Тани Закк. Звоним Закк. Она через 2 часа появляется с вонючкой и эвкалиптом. Вечерние курсы лечения. И ванна.

4 мая — Безоблачно. Начало мая: около 20 градусов. Впервые выхожу на прогулки, полоскания помогают. Дважды — пешая прогулка в макулатурный пункт, и с успехом. Два фильма «Суворов» и «Оленья охота».

6 мая — Прекращение мажоров. Горло не отступает.

12 мая — Визит Ир. Вик.: завтра к 10 утра на Каширку на биохиманализ.

8 и 15 мая — поездки на Каширский центр на процедуры.

14 мая — И всю ночь сплю. Визит Ир. Викт. Объясняю ей, что на анализы идти не мог, что всю ночь прогулял с женщиной. Вечером — вино за 2.20. Завтра — предстоят гадости. (Утром звоню Ю.: «Так навсегда расстались?» — «Навсегда».)

15 мая — С Нос. на Каширку. Процедуры. Наказ Ир. Викт.: «Ни в коем случае. Тут же звонить!» Уговариваю маленько коньячок. Пропасть лекарств. Засыпаю.

16 мая — С сегодняшнего дня по росписи лекарств горловых и психиатрических. Вечером к Лёну с готовым экземпляром для госпожи ⟨нрзб.⟩. Все речи вращаются вокруг генсековской речи об алкоголизме.

17 мая — Все холода. Звонки от Ир. Викт. и из Белграда. Визит милой Яны Щедриной. Звонок о назначенном новом чтении трагедии. По инициативе Любчиковой и К°.

18 мая — Чтение трагедии переносится на субботу, на сегодня. Смогу ли с моим горлом? Корвалолы. Еду на М. Бассманную. Все говорят, что я выгляжу больным, почерневшим и исхудавшим.

Разномастные мнения о трагедии, читанной 18 мая почти целиком. Марк и Лазаревич одними своими пожатиями выразили все. Любчикова на следующий день по телефону: «Это восхити-

тельно, это гениально!» Боря Сорокин — «о зрелости таланта» и предупреждение относительно 3-й части триптиха.

А вот еще мнение о трагедии: «Это издевательство над человеческим духом, вообще над литературой». «Я бы в 5 минут такую сочинила» и пр.

20 мая — Чета Мельниковых заказывает чтение у них 25 мая.

28 мая — все длятся пустые и больные дни. Назначено чтение трагедии у Шаховских не то в пятницу, не то в воскресенье. Срываюсь, еду вечером к Тимаку. Переговоры с Шаховским относительно дачи. Бегаю вокруг в поисках пива — и нигде ничего не находим.

29 мая — Когда закончится болезнь? Гудочек в гостях, привозит маленькую ссуду для моей Шаховской поездки.

3 июня — Утренний отъезд. Ярославский вокзал. Дмитров — Кимры. 3 часа по Волге и Старице. Наружно спокоен, и только две язвы горла и Ю. Р.

4 июня — Первые гуляния без хотений. Ландыши. Купавки, болотца. Погода сносная, но ниже привычной. Вечером — гуляния по берегу Боровка. Тишь и как будто бы отрада.

5 июня — Второй ⟨день⟩ уже почти и не подыма-

юсь: ни на прогулки, ни в огороды. Все, что есть, на себя напялив, принимаю снотворное и сплю. Вечером — небольшая прогулка к востоку. Ничего не делается.

10 июня — Тяжелая болезнь и дожди продолжаются. Маленькое спасение в порошках стрептоцида. И снова весь день неподвижен. Вечером — сквозь дождь — неожиданно приезд Г. Нос. Дивуется недугу. Уезжать немедля.

13 июня — Все то же. Ждем Шаховского, чтобы выехать в Москву для лечения. Я — как всегда, бессловесный пласт. Вечером — Шаховской. И с маленьким презентом. На закате могу даже немножко посидеть на крыльце.

14 июня — Рано, до 5 утра, подымаемся с Г. Нос., едем в столицу — моросящий дождик — катер входит в Боровик — Шаховской и Таня провожают — Кимры — Савелово — поезд из Углича. В 13:00 уже в Москве.

15 июня — Первое утро у себя в Москве. Болен и неподвижен по-прежнему.

16 июня — Все так же болен. Но почти весь день на ногах, по случаю бесчисленных гостей.

17 июня — Снова больше на ногах, чем в постели.

18 июня — Превозмогая болезнь, утром с Г.

Нос. в диспансер для направления в каширский центр. Сама больница отставлена до завтра. Чай с коньячком. Чай с водярой. Визит Там. Вас. с подарками.

19 июня — В Каширский центр. Вступительная беседа. Теперь ожидать вызова. Чаи с водярой. Уже 4-й день могу читать, без охоты. Веселая Яна уезжает. Готовлюсь к самому худшему.

20 июня — С утра вызов в больничный каширский центр. Сборы, едем. Тут же вступительная беседа, направление, помещение в 3-ю палату. Вечером — забегает Нос. Короткий список того, что мне необходимо. Спасаюсь стрептоцидом. Первый укол кардиомина.

21 июня — Начало обследований. Уколы. Кровь, кровь, еще раз кровь. У невропатолога, у терапевта. Коротко заходит Нос. вечером. Начало амитриптилина.

24 июня — Продолжаются обследования: у окулиста. Рентген откладывается до послезавтра — тревожное ожидание, загадочное слабительное, клизмы и пр. При вливании глюкозы в постели — сердечный приступ. (Валокордин! Срочно!) Ир. Викторовна после отпуска.

25 июня — Обследования продолжаются. Капельница с утра. Потом — на электрокардио-

грамму. 6-й день уколов ⟨нрзб.⟩, но давление не повышается. Неудача с ухо-горло-нос. Рефлекс выталкивания сильнее меня. Очищение чрева для 26 июня. (Марк Гринберг с чаем.)

26 июня — День, которого трепетал, — и с утра уже подымают для второго промывания чрева. Рентген, исследование печени и кишечника. Тут же — на капельницу. Чуть-чуть легче на душе: звоню к Г. Нос. Сообщаю новости, клянчу шоколадку. Понемножку начинаю читать (Лотман, В. Некрасов).

27 июня — Опять обследование. Глотаю мел в рентгеновском кабинете. Барий. Вернувшись, снова под капельницу. Вечером Г. Нос. в гостях: говорю, что получше. Любчикова с ромашками, черешней и помидор. Рассказывает, как Боря Сорокин выезжал во Владимир для чтения моей драмы, и с успехом. Вот и Боря Сор. с соками, компотами и пр. Довольно мило.

2 июля — Болезненно однообразно. Утром — в нервическом отчаянии и слабостях. Потом — двойная капельница. Потом — Г. Нос. с земляникой, черникой, клубникой. Мертво.

3 июля — То же. Весь в дрожаниях — потом двойная капельница. Чуть лучше. В гостях — Лён. Вечером — уже знакомства, и 5-й человек,

меня знающий. (Корреспондент «Московского комсомольца» по телефону: «Вы знаете, кто здесь лежит?» и пр.)

4 июля — Как обычно. Судорожное утро, в ожидании капельницы вожделенной. И — спокоен. Коля Мельник. в гостях. Вечером — Галл. со своей Ольгой, клубника, черешня, земляника, почти весело. Вечером — почти исчезает чувство подавленности и несвободы. Переписываю Высоцкого.

5 июля — Уже почти нет утреннего синдрома, но тем ощутимее горло. Привычная укрепляющая капельница. И Нос. в гостях, снова клубника и пр. Я уже немного оживленнее и даже смешлив. Но — поднялся — дурно. Послезавтра сулят первую прогулку. Переписываю Высоцкого.

7 июля — В нумерах спокойно. Ожидаю Г. Нос. с И. Вас., вместо того — Нос. с Т. Вас. и Валерием Котовым. Земляника. Вялая беседа. Чуть позже — Тимак. с клубникой. Холодный июль продолжается. Неприкаянность. Джон Рид.

8 июля — По обыкновению: полупустое и холодное утро — завтрак — капельница дв. — обед — сон — Г. Нос. с земляникой и Ольгиными вишнями и абрикосами. Чтение все-таки идет. Мих. Геллер. «Машина и винтики».

9 июля — Все, как заведено. «О минувшем

ни следа, о грядущем ни намека». Горло. Ожидание капельницы. Кап.–2. Сонный день. Гости. Ник. Мельник. и его Сергей. Сплю. Г. Нос. с термосом, клубника и пр. Чуть спустя — Лён и Леня Прудовский.

В июле поступают охлаждающие суждения о драме. Приятель Розы — плагиат «Кукушкиного гнезда». Знакомый Мельн. — этот человек внимательно смотрит программу «Время».

16 июля — Продолжение прежнего. Кап.–2. К вечеру два гостя — Тимак. и Г. Нос. Малая прогулка. Одушевляет одно: возврат к эротическим эмоциям и чтение записок 1984 г. — взволнован и Р.

25 июля — раннее опять пробуждение. Балуюсь Шукшиным. Снова кап.–2. И снова Г. Нос. в гостях. На этот выходной никакого отпуска. Холода.

27 июля — Совершенно свободен. Никаких отпусков. В 11 утра появляется Г. Бездна черной и красной смородины, клубники. Гуляем (сидим на скамье, прохлад.). Вечером — смотрю открытие фестиваля и снова спать.

28 июля — Остаюсь на Каширке. Дни проходят мгновенно. Сплю. Будят только для обеда, для ужина и прихода Нос.

29 июля — Если не считать стоматолога и получасового гуляния с Нос. — сплю весь день. И тем

спасаюсь от горловых дел.

30 июля — То же самое. Сонно безмерно. И даже гостей нет. И прекрасно, что нет. Спать.

2 августа — Готовлюсь к отправке домой. На этот раз — один. Метро. У порога дома — столкновение с Нос. Телевидение и балконные цветы.

5 августа — Пытка бритьем. Возвращение в больницу. Стоматолог. И сплю весь день с маленькими паузами. Приезд Майковой с арбузом, малиной и пр.

7 августа — Последний раз у стоматолога. Теперь лимфатический узел — средоточие всей боли. Остается прежний лозунг: больше спать.

8 августа — Спать и спать. Верх бедствия — когда будят. Будят, пришла Г. Нос. Еще будят, пришла Алена Некрасова. Толки о переходе в институт ЛОРа. Ничего не известно. Горло прежнее.

15 августа — Как обычно, поднимаюсь с горлом и лимфоузлом. Вчерашнюю терапевтичку сменяет сегодняшний хирург. Договор с Ир. Викт. завтра с утра на онкологическое обследование. Спокоен.

16 августа — несмотря ни на что, совершенно спокоен. Готов к испытаниям в Бауманском диспансере. С Ир. Викт. едем. Палач лор. Пункции.

Потом — операция с биопсией. Я выдержал, меня гладят по головке. Теперь все на месте, и И. Викт. может мне ничего не добавлять. Рак. Пришедшую вечером Г. Нос. взять меня на выходные. И. Викт. отговаривает. Остаюсь один.

17 августа — Последнее пробуждение на Каширке. С утра появление Г. Нос., и все-таки увозит меня домой. Там Любкина пол-литра и пр. Визиты. Тимак. Балашиха. Обе Андреевны. Там. Вас. Отдыхаю, и даже балашовская стрижка.

19 августа — Запоминающийся день. Преображение. К 9-и с Г. Нос. едем в Каширский центр для выписки. В последний раз в своей однопалате. И. Викт., прощаясь, смотрит с величайшим состраданием и жмет лапу. В онкологию. Очередь в 2518 каб. ⟨Нрзб.⟩ о том, что мне предстоит. Под действием всего этого — домой. Сразу в 1 ч. 45-минутную очередь за спиртным. И сообщить некому — от Гуд. до Ю. Р., все не отвечает. Боря Сор. Вермут, водка, подъем духа. Обзваниваем ближних. Даже бодро Еселиху. Тупой А. Некр. говорю, что здоров, как только можно.

20 августа — Преодолеваю себя утренними чаями с добавлением водки. Снова едем — на последнюю консультацию в онкологический центр. Лён. В очередях. Наконец — профессор Оголевцев,

ждать полторы недели.

21 августа — Горловые тяжести утром. Чай с коньяком. Галл. с утра отправляет телеграмму к Р. Звонок из-под Москвы Ирины Якир. (дважды «Венечка, родненький» и пр.), обещает быть в субботу. В гостях — Балашова. Лён. Все-таки вечером на вызванном такси втроем — я, Г., Бал., — едем к луне на вечер записи голоса. Сопровский, Островский, Сапгир, Пригов, Попов, Величанский — чтение кусков из трагедии. На такси домой к часу.

24 августа — Суббота. Такая же постельная неподвижность весь день и ожидание. Чаи с малым коньяком. Таня Закк в гостях, болтушка, мимоходом о возможной помощи из Парижа. Тимак. Потом, к вечеру, стечение народов: Гудочки, Мельник. и Лера, Лазаревич. Впархивает и выпархивает Иринка с Майк. Все, прощаясь, целуют и некоторые крестят.

28 августа — С утра бесконечные звонки, и Нос. пропадает надолго, чтоб вторгнуться в самую сердцевину Блохинвальда.

29 августа — И сегодня не призыв. в клинику. Определенно — завтра. В полусне. Забегает и попадает Яна. Заезжает Т. Вас. — но как уезжает, не слышу, сплю. Ир. дежурит у постели. Поздно

вечером — Ир. Викт. на своей машине, с башкирским медом. И снова сплю.

1 сентября — Воскресенье. Все надеются на вторник.

3 сентября — Пестро. Утром — госпитализация откладывается, может быть, завтра. Восстанавливаю силы чаями с капелью. Ожидаю в гости милую Ир. Як. Т. Вас., ночевавшая у нас, тоже принимает участие в беседах с Ир. Як. Несколько часов с Як. Прощается, обнимает, целует. «Венечка, родненький». Завтра она уезжает на месяц, обещает позванивать. Следующие гости: Ольга, подруга Нос., потом Роза. Звоню Ю., и Ю. соглашается приехать. Встречаю ее в 8 у остановки 76-го, но до того неожиданно вторгается компания Тани Закк и В. Мур. Встречаю Ю. в белом платье, в накидке. Дом — Ю. и Г. не здороваются. Три часа Ю. в кресле, я возлежу. Мне все лучше от крох коньяка. Постепенно все прощаются и уходят, Таня Закк подмигивает. Появление Ир. Леонт. Заскакивает к нам и Ю. на полминуты. Провожание Ю. растягивается до полуночи.

5 сентября — Вот оно. Уже рано будит звонок. Ерофеева везти на госпитализацию. Подъезжает Т. В. Едем вчетвером. У Каширской присоединя-

ется Лён. Дух[23], и отказ от госпитализации. Г. Н. по всем инстанциям, даже с угрозами. Лён: «гордость русской литературы» и пр. Короче, приехать завтра к главному врачу Кондратову. Возвращение. Г. Нос. выскакивает на Новокузнецкой за мах. коньком. Дома — куча снотворных, и сплю весь вечер, ночь и утро. Пробуждение от боли в ушах.

6 сентября — На этот раз утро с сухими чаями. Ничего. Снова катим на Каширку. Беседа с Кондратовым, объяснительная, быть во вторник на перекомиссии. Втроем: я, Г. Нос. и И. Леонт., возвращение домой. Звонки отовсюду. Т. Вас. в гостях.

7 сентября — Итак, ждем до 10-го. Чаи с капелями.

10 сентября — В холодную жуть едем втроем (Г., Т. В.) на «перекомиссию», в которой даже не пришлось участвовать. Возврат — все холодные ветра в горло. И неизвестно, когда теперь госпитализация.

12 сентября — И вот — день госпитализации. Я и пробуждаюсь в несколько лучшем состоянии и обхожусь безкапельным чаем. Вызов. Яна Щед-

---

[23] Notes: 23
То есть запах алкоголя.

рина. Катим на Каширскую — окончательно. Т. В. уже там. Вселение на 23-й этаж, 7 палату. Первые обследования и беседы с достаточно милым врачом Олеговичем. Вечером первое посещение Г. Нос. с припасами. Звоню Гудочкам, звоню Р., Р. обещает быть назавтра, но «без никого» у меня.

13 сентября — Первое пробуждение в онкологической верхотуре. Анальгетики. В бегах. Моча. Эл-кардиограмма. В поисках радиоизотопно-диагностического отделения. Укол изот. Запись в библиотеку. Мимоходом читаю День поэзии.

16 сентября — тяжелое пробуждение, клянчу анальгетик. Получше. В бегах. Кровь на биохим. Рентген гортани. Г. Нос доставляет склянку бауманской биопсии. В гамма-кабинете радиоизотопной диагностики, неподвижен и долго распластан. Потом — лучше. Гости: Зайцев и Мишель с розами. Г. Нос. в настроен. О звонках Якирки.

17 сентября — несмотря ни на что, в утренних бегах. Рентген гр. клетки. Спирограф. Еще рентген. Дурно о моих легких. Вечером принимаю гостей — Ю. Р. с Т. Вас. Потом — Лён. Т. В. норовит свернуть разг. Лён намерен увести дам. Все трое удаляются. Хмурый кивок уходящей Р.

18 сентября — Гости начиная с полудня. И круг-

лый день дожди. В полдень — Яна в белом халатике и Г. Нос. Запасают меня чаем. Малый сон. Тимак. Гудочек (без Гудчихи). Ирина Викт. с букетом гвоздик. Следом Марк Гринберг (без Люси). Следом Ник. Мельник. (без Леры). И — в довершение, когда мы курим на балконе с Ир. Викт. и мальчиками, подъезжает Таня Закк. Вечер с Таней Закк. И бега курить на черную лестницу.

Говорю Носовой 16 сентября: славная девка Татьяна Закк. Так и хочется погладить по головке. И не только по головке. И умирающий гладиатор шучу.

В больнице в гостях 18 сентября. Таня Закк: «Вы у нас в Париже классик». Рассказывает, что в дни книг-торг. ярмарки Анна, представительница от издательства «Галлимар», все-таки не поехала ко мне с Т. из трусости: классик. Да еще больной.

19 сентября — Вчерашних гостей было слишком много, ломота в черепе. Температура. Озноб. Свист ветров за окном, второе одеяло. В полдень Г. Нос. Говорю ей, чтоб всех отваживала от «похода» ко мне.

23 сентября — День, который мне казался потенциально суетным и тяжелым, оказался разгружающим. Утром — на компьютерную,

потом в больничной очереди на рентген грудной клетки. В ожидании противной фиброскопии. И — решительная беседа с Олеговичем: никаких фиброскопий, операция послезавтра, и тут же врывается Г. Нос. Изготовление чаев и милые беседы.

24 сентября — День последних прощаний. Утром забегает безгранично обаятельная в белом Таня Ростовцева. Г. Нос., следом — сестры с уже ненужными подарками (пельмени, с икрой). Боря Сорокин. Т. Вас. и И. Вас. двигаюсь в путь под напором влетающих Л. Черных с Мельник., В. Мур. с Т. Закк. Довольно весело, и то и дело в бегах на черную лестницу, покурить. Порознь и стадами. Розы, астры и пр. Нам не делают нареканий. Уходы. Последний, перекрестив, Боря Сорокин.

25 сентября — Утро, маленькая дыба — в кабинете ультразвука — уколы — уколы — везут — высшая дыба. Потом — содрогания и бессонная ночь в реанимационной. Ужас не проходит.

26 сентября — В пелене. В крови, в соплях — на тележку — из реанимации везут в свою 7-ю палату. Через зал перевязок. Вот и гости. Гал., следом Яна. Гудчиха глядит с выражением сомучения.

27 сентября — Продолжительная борьба с удушьем и мокротами. Еще перевязка. — Г. везет в кресле. Сегодня Гудочек со всей возможной помощью. И — Ир. Леонт. в белом халатике, тихая дежурная. Вечером подымается температура, но Г. не позволят остаться.

28 сентября — Рано с утра — Г. Нос. Хвалюсь: сам ночью пил боржоми и пр. Улучшение состояния духа.

29 сентября — если б не это вековечное полуудушье.

30 сентября — Но пробуждаюсь от удуший. Весь день поменьше мокротных натисков, чем в 25–29-х. Галина с утра и до вечера с перерывами. Заглядывает Лидия Майкова. Часа два гостит Там. Вас.

1 октября — И солнце. На перевязке сообщают, что снятие зонда и швов 8-го числа. Гал. с утра. После перевязки легче дышать, больше сижу. Галина впервые сдает пост Ю. Р. Спокойно. Вечер с Ю. Р. И ненадолго в гостях Гринберг. Довольно оживленно.

2 октября — 7-й день после операции. Ветра за окном нагоняют обещанное на завтра бабье лето. Г. Носова. Впервые температура ниже 37 градусов. День перевязок. В гостях Ю. Гудочек.

Чуть позже — Б. Сорокин. Вечером снова Г. Нос.

3 октября — Бабье лето. Снова дежурит Носова. Заезд Т. В. с носками и соками. Она говорит, что Р. будет только завтра. Нос. говорит, что Леонт. будет только в субботу. Лидия Майкова снова.

4 октября — Утреннее объявление об отмене уколов. Подготавливаюсь, что трубку снимут 8-го. Весь день чувствую себя бодро, если б не вечерняя коллизия хамки-медсестры. Гал. Нос. Потом Лён о своем на 6-е число намечаемом пиршестве. Яна. Потом — Зайцев с лекарствами. Спроваживаю Яну — тут же Ю. Р., оживленные диалоги, начало шалостей. Г. Нос поздно вечером. Г. Нос и Ю. Р. совместно дежурят и суетятся. Впервые.

5 октября — Утром снимают часть швов. Еще один страх меня покинул. Бреюсь и оживлен. Весь день тихо и уд-но. 10-й день после операции. Галл. Нос. утром и поздно вечером. Полтора часа Т. В., уже купившая билет на север. Горечь: начало болей в печени, умоляю Бога.

8 октября — Значит, день, как и предполагалось. Наконец снимают зонд из носа. И швы остальные. Первый глоток. Я — в восторге. И Г. Нос., подошедшая с утра, тоже. Пробую на вкус все подворачивающее под руку. Р. нет. Мур. будет только 10-го.

9 октября — Все туманы и теплынь за окном. Г. Нос. уже меньше забот, она гостит около 2-х часов, не более. Чтение — высвободилось время для этого — конкретики от А до Я. За этим занятием в 6 вечера меня застает в холле Ю. Р. Весело, но Р. мне не оч. нравится, она пришла, потому что ей позвонила Г. Нос. Т. В. очень коротко. В 7 вечера их изгоняют: провожаю до лифта.

Ты становишься болтливым, Ер., как всякий немой. Прекратить. 10 октября.

15 октября — Первая прогулка, хоть и мизерная. Г. Нос. появляется к полудню. На прогулке диво: Коломенское вдали, еще ромашки и клевер под ногами. Облучение все откладывается.

16 октября — Чередую Эйдельмана и Пушкина. Внизу: разметка у радиолога — теперь в ожидании долгих облучений. Сопряженное с ними долгое и сухое пребывание здесь. Весь вечер — борьба с мокротами.

18 октября — Вторую ночь мороз минус 21–23 градуса. Бесснежие. В полдень — Г. Нос. Сопровождает меня до 1-го облучения и уезжает на именины матушки. Ровная и спокойная настроенность. На несколько минут вечером забегает Ир. Як. Приносит письменные принадлежности, уезжает на 10 дней на Украину. Весь

день один. Тишина. «Портреты в колючих рамах» В. Делоне. 9-й день нет Ю. Р. (?).

21 октября — Понедельничная суета, солнечная столица сверху. Второе облучение. «Багровый остров» Булгакова. Вечерние гости: Гал. и Яна. С розой, с примусом и пр. Возвращение к прежнему смеху. Приготовление ко дню рождения: когда? где? решение завтра сделать разведочную вылазку в сторону Коломенского. В связи с днем рождения звонили все, от Седак. до Епифана.

22 октября — Намеченное первое большое гуляние не состоялось: сложности с пластиковой трубкой. Дважды Г. Нос. В раздражении решаю отменить все дни рождения. Однако раздражение скоропреходяще. «Зойкина квартира» Булгакова. Эйдельман продолжает душить Павла. Кинофильм «Выстрел в тумане», 1963 г.

23 октября — Вечернее гуляние состоялось, но вот еще маленький удар: рука во время гуляния немилосердно ноет и вынуждает прекратить и возвратиться: никаких именин. Добиваю «Грань веков» Эйдельмана. Чудо. В гостях, и ненадолго только Г. Нос. Ровно 2 недели, как нет Ю. Р.

24 октября — Утром, сонный, отмечаю день рождения черным кофе с шоколадно-коньячными колечками. И трогает даже «Девушка

без адреса». И полпятого первый появившийся — Епифан. Неузнаваем. Следом — Гринберг. Потом — Г. Нос. Я — только мал. 40 граммов чего-то заморского. Оживленно, мило. И поздно, почти в 11 вечера, — врывается с пятью розами Яна. Много приветов отовсюду.

25 октября — Опять час ожидания облучения. Тянет в сон. Будит Г. Нос. в 5 — ехать домой. Нехотя собираюсь, едем. Впервые после 12 сентября. Флотская. Московская особая с чаем. Гости: Мур. и Таня Закк. Веселый вечер. Первая проба курить.

26 октября — Пробуждение раннее у себя дома. Тревожно. Понемногу успокаиваюсь бальзамом с чаями. Ирина. Короткий визит Яны. Короткий визит Тимака, Еселиха. С Г. прогулка по солнцу — в магазин, коньяк. Вчетвером едем. И вот снова Каширская, ВОНЦ. Я, Г. Нос., Ир. Л. Здесь были за мое отсутствие 2–3 человека. Остаюсь один. Кроха — коньяк., и спать без снотворного. Назавтра сулят начало зимы.

С 25 сентября. Пара изо рта у меня нету. В сущности, с 25 сентября я сколько угодно могу дышать на зеркальце. Не потемнеет. Но это не значит… etc.

Зеркальце — страшновато, но чепуха. А вот

как я теперь буду (с) пива пену сдувать? 18 октября.

Спектакль в Брюсселе d'apres V. Erofeiev (то есть по мотивам В. Ерофеева).

Вот еще что обнаружил 15 октября. Самый больной жест теперь для моей руки — жест поднесения ко рту стакана.

Я — сторонник труда безударного.

Все откладываю письмо: 1) Зимачихе, 2) Гущиной Т. В., 3) Рунихе. На ноябрь.

1 ноября. Гал. сообщает о беседе с полячкой Ольгой. Та говорит, что организует в Польше посильную помощь, что многие откликнутся, узнав, для кого она назначена.

И медсестры бегают, как мурашки.

27 октября — Возврат к обычной каширской жизни. Нет, случайно обнаруживаю в шкафу 6 баночек голл-мюнх., дар не заставшего меня Александ. 5 из них уговариваю. В гостях Марк Фрейдкин с исполинскими грушами и театральными пародиями. Потом — Ирина Л. с харчами из Флотской. Потом — супруги Величанские (впервые). Весело — их сменяет Гудочек. Мажорен до исхода дня. Поздняя Гал. Нос.

28 октября — начинается привычноколейность: на рентген — еще на рентген — обход —

на облучение, 7-е. Последняя мюнх. Баночка, и конец именин. Г. Нос. в гостях ненадолго. Чуть позже — Майкова с желтыми хризантемами и 4-мя экз. Проверяю и правлю. За окном — снежные бураны.

29 октября — Прежняя зима со свистом и метелями. Остываю к чтению. Все нехотя: и Пушкин, и Булгаков, и полковник Румянцев. Настроения мирные, и абсолютно спокоен.

1 ноября — Туманы, иногда с дождем. Ровно 2 часа в очереди на облучение (теперь двустороннее). Не читается, не пишется — дремлется. Г. Нос. будит вечером. Кофейничаем. Чуть позже — Нина Фрол. с гостинцами. Часовая беседа (Г. Нос о Ю.: «Она сказала, что кризисный период прошел и она больше здесь не нужна»).

Очень мило. Выдается справка 21 октября. Дана в том, что гр. Ерофеев В. В. находится на лечении. 25/09–85 г. оперирован — резекция гортаноглотки.

Только 30 октября узнаю, что со мной заняты гамма-терапией.

31 октября мой львовский сосед читает «Петушки» по-польски. Итог: «Д-да-а-а… Я никогда не читал ничего подобного… Неудивительно, что

ее перевели на столько языков». И пр.

2 ноября — Двухдневный антракт с облучением. Маленький страх: не сужает ли горло начавшее вчера двупольное и т. д.? Спокойно и противоборствую. Телевидение от «Front ohne Gnade»[24] до «Потерянной экспедиции». Чтение последних стихов П., Пулковского меридиана, и реляции Румянцева, и Ницше. Впервые за 52 дня обитания в ВОНЦе — ни одного визитера. Непривычно. Наедине с бедствием. R.

И уж конечно, никаких шуток с безмолвными звонками. Да и противно. Ни в одном году не было такой прочной, выношенной неприязни и отвращения к Рун. За вычетом нескольких дней.

4 ноября — Худо: с утра подселяют безобразного соседа. Еще скверность: три с половиной часа в очереди на облучение. Все переношу стоически. Но — ни обходов, ни прогулок, ни логопедов, ни библиотек. Вечером Г. Нос. Весь день с Вересаевым. «П⟨ушкин⟩ в ж⟨изни⟩». Вечерний визит трех девчонок, Маши Фоминой и К°. Мило и весело. «В Ленинграде вас еще больше чтят, чем в Москве», «Спасибо за то, что хорошо выглядите»

---

[24] Notes: 24
«Фронт без пощады» *(нем.).*

и пр. Целуют и упархивают. Хризантемы.

5 ноября — Назначена первая ноябрьская прогулка. Второй день без дождей и с солнечными пятнами. Г. Нос. в 11 — час гуляний по замерзшим лужам. И тут же — на облучение — и спать — просыпаюсь к самому вечернему приезду Нос. и Балашихи. Бал. Впервые. 100 г ликера с соками. Славно. Шоколад. Гораций. Планы вылазки 7 ноября на берег Москвы. После их ухода — падение бодрости.

9 ноября — ровно месяц, как нет Рун. Безцветнейшее из существ. И презренна.

Если враг не издается — его уничтожают.

Пишу 9 ноября, наконец, письмо к Т. В.: «Не унывай. И, пользуясь долготою зимы, расширяй свои познания, безграмотная».

Опять уединяюсь: письма, наконец к Т. В. на север, к Зимак., в Кировск. О себе и о Вен. — младшем. И набрасываю короткое письмо к польской переводчице.

14 ноября — Шестидневка облучения длится. Прибавились новые озабоченности: ожидание «выпускных» проверок на будущей неделе. И 25-го ВТЭК. Значит, заточение продлевается до 25-го.

15 ноября — Пятница до обеда — дремотно. Потом беготня по разметкам, вестибюлям. 20-е облучение. Осталось 5. Дремлю — будят гости. О. Седак (впервые) и Марк. Фр. Не совсем ловко с ними. Позднее пришедший Лазаревич — уже веселее. И Г. Нос.

18 ноября — Начало последней башенной недели. В самом деле — начинаются обследования. Сегодня чудом избегаю их — оттяжкой вызова на облучение. Потом — спал. Потом — неприкаян. И — никого в гостях. Вечером нет охоты смотреть никаких «Евг. Гранде», спать.

19 ноября — Четвертый день подлинной и окончательной зимы. Облучение и болезненные пункции в смотровой.

На занятиях логопедией с Р. 20 ноября четче всего получается «сука», «проблядь», «блядюга» и пр.

21 ноября — Наблюдаю за Женевой и окончанием диалогов. Где пресс-конференция президента?

Поздно вечером слушаем с Мир. Ил. его приемник на волне 46. В самом деле — ровно в 22:30 начало передачи о «Петушках». Читают (едут), в районе Павловопосадской глуши.

Ребятишки пытаются определить, чем вызвано чтение именно в эти дни: антиалкогольная

кампания в России, Женевская встреча лидеров, моя горловая болезнь или продвижение «Шагов командора».

21 ноября — Мирон сообщает о приезде Тани с гостинцами из Парижа.

22 ноября — Последний лечебный день в ВОНЦ. Долгое ожидание ультразвука. Потом — сломя голову — на последнее облучение. Обед и сон. Будят запиской от Тани. Потом — вторжение пьяных Зайцева, Мишеля и Жанны. Вечер с коньяком и славянским пивом. Превосходно. Г. Нос., мелькнув в полдень без меня, более не появляется. С Мироном Ил. Слушаем в 22:30–23:00 продолжение «Петушков», до Воиново. Трудно уснуть.

По радио 23 ноября — «Даже в самые черные дни сталинизма из сердца русских писателей не исходило такой безнадежной и трагичной ноты» и т. д. Во вступлении — о том, как восприняли впервые: несоответствие «Венедикт» и крестьянская фамилия «Ерофеев».

23 ноября — Порожняя суббота, предпоследний день на башне. Маленькое нездоровье и отсутствие живости, звоню к Г. Нос. с Мироном. Дремлю. Почти в 5 — Нос. Прекрасно. Коньяк и кофе. И тут же Ир. Леонт. Вечеринка. Г. Нос. уходит с разгрузкою. Ир. Л. остается. Я — нейтрален.

Провожаю до лифта, мило, цел. Bis morgen. В 22:30 под смесь компота с коньяк. — слушаю свои «Петушки»… от Крутое почти до 105 км. Не спится и крепость духа, и желание возобновить «Мишеля Каплана».

24 ноября — Воскресенье на башне ВОНЦа. Пустоты и дремоты. Ир. Л. нет. Лидия Майкова с цветами и 2-мя червонцами за экз. И Гал. Нос. Смущенная звонками, не остается слушать по «Свободе» «Москва — Петушки». Я слушаю с 22:30 до 23:00. О 113 км. Крошечная бессонница. Последняя ночь.

25 ноября — Последний день на башне ВОНЦа. Спокойно изготовлен. Мгновенная ВТЭК — вторая группа.

26 ноября — И впервые пробуждаюсь у себя дома. Пиво, конечно, необходимо. С Нос. первая прогулка в наш магазин. 3 пива. Яна в гостях. Я. и Г. заняты бурным передвижением мебели в доме — я, для противовеса, собираю всю посуду. Никогда не сдавал на такую сумму — 13 рублей. 2 сухих. Ркацители, 2 сухих венгерского. Мур. и Таня Закк. Прелестно. Еще вечеринка. Т. З. баснословная, и о Париже.

Нынче должны закончить чтение «Москва — Петушки» и дать что-нибудь вроде маленького

послесловия.

Париж. Импрессии Тани Закк. ⟨Нрзб.⟩ пьесу не печатает. Макс⟨имов⟩, превозмогая свою неблагосклонность ко мне, все-таки согласился. Оттеснен и вытеснен Вася Аксенов. Больше всего восторгов у Нат. Горбаневской: не то что из лучших XX века, а прямо тут же вслед за Александром Сергеевичем и пр., и пр.

Хучь бы четыре часа подряд побить едыну.

И вообще, что значит «последнее слово». Мы живем в мире, где следует произносить слова так, будто они — последние. Остальные слова — не в счет.

О, какая дурная шутка: раковая шейка.

Отчасти — да. Но весь я не свихнусь.

Молод еще господь со мной спорить-то.

1986

9 января — В полдень, сквозь буран, все с тем же надорванным сердцем — сквозь магазин (пива нет) — на почту (письма нет). На Флотскую — сухого нет. Сквозь буран же — на Петрозаводскую, и вот у меня 2 сухих. Приклеиваюсь к столу, но первого вчерашнего порыва уже нет. Отъединен решительно, заявляю, чтоб ко мне не входили ни 3-летки, ни 25-летние. И снова ложусь спать, трясясь от слез.

К Лёну или еще кому-нибудь за кавказскими тостами, чтобы в «Фанни» их ослабоумить и обессмыслить до пределов.

При таких образах жизни, при таких модусах вивенди — как бы мне к весне живота не решиться.

11 января — В основном преодолел декабрьско-январскую запойную полосу, и состояние духа выравнивается до степеней теперь возможного.

12 января — Унылая канцелярская работа с бумагами, безвдохновенно. Начал 8-го с порыва, 9-е и 11-е пропущены, несколько строчек 10-го, достаточно строчек 12-го. Но все не то. Во всем все

не то. Спокойствие. Завтра я должен шлепнуть, чего бы это ни стоило.

2 приглашения
1 из филфака Парижского университета.
1 из Сорбоннского центра онкологии.
Зав. кафедрой славистики.
Старший хирург-клиницист Сорбоннского центра.
Может, вставит искусственную гортань.

К анкете чрезвычайно придирчивы.
Я написал: не менял.
Они поправили: не изменял.
Степень родства: ближе некуда.

Голоса лишен.
А филология об этом и не подозревает.
Они в этом нашли чего-то манифестальное. И решили сунуть вперед.

Я купил (7) рубашек
(жалко носить)
Хотел купить и 8-ю,
Но подумал: зачем?
Все равно в этом году умирать. И слеза с полкило.

Утром 24-го было 5–7 длительных звонков. Но я

не подходил.

А — если б я подошел — постучал.

Напротив того, раньше мы переписывались 1 раз в 4 месяца, теперь 4 раза в месяц (после ноября 85-го).

А в Париже бормотуха дешевле трамвайного билета, дешевле минеральной воды.

А знакомых больше, чем в Москве.

6 апр. — Воскр. Отмечаем первый пенсион. И жаль, что нельзя побольше положить в сберк.

18 апр. — День визита Paris — Алекс. Вот и сообщ., что вызовы в П. давно уже высланы и только что получены. Завтра мне их привезут. Ну что ж, спокойствие и «поразмыслить». «Мертвый сезон по тел.». Почти начало лета.

Какие чернобыльские пошли анекдотцы: «Мирный атом в каждый дом». «Какая самая широкая река на Украине? Днепр. Нет. Припять. Редкая птица долетит до ее середины». И т. д.

Погулять по Булонскому лесу.

2 мая — Лето кончилось. Трагедия длится: ни в одном магазине нет ничего, кроме дорогих коньяков. В гостях носовская подружка Валентина. Решаются: на ура ехать в центр в поисках спирт-

ного. И возвращаются — проклятия — с початым венгерским шампанским (2). 2-го или 3-го в гостях Саня Пирогов с крохами самогона. Звонит Тих.: зовет в деревню. Невозможно. «Потом».

6 мая — Рано проснувшись, занят Библией и пр. Мысль: куда же я без пиджака. Снимаю 80 р. в надежде купить пиджак и часы. Галине, принесшей 1 дорогое сухое и 3 пива, говорю: сухое выпью, только после покупки пиджака. Едем. Неудача в «Руслане» (Смоленская пл.). Снова едем. Неудача на Новослободской («Богатырь»). Едем с двумя пересадками в Богатырь на просп. Мира — тоже ничего. Пустые возвращаемся. Но самочувствие ровное, и сегодня впервые увидел на балконе 7 первых проклюнувшихся (в ряду маков и васильков). И сегодня теплее: доходит до +11°. Отличное вино.

15 мая — Нос. утром говорит, что сегодня в 2 часа непременно должны быть Якирка и финн. Глотаю корвалол и слабую брагу. В самом деле — финн, и умнейший. Бегу за маленькими коньячками и пивом. Чокаемся. Он сообщает о том, что в Финляндии идет перевод «Пет.» «самым лучшим переводчиком». Что призыв к печатанию меня в Финляндии звучал в улич. печати. Что пьеса — лучшее, что он читал за по-

след. 5 лет. А «Пет.» — лучшее литерат. произвед. 70-х годов. Цитирует статью обо мне в Лит. энциклопедии США. Очень приятно.

31 мая. Субб. День окончат. сдачи документов в Париж.

Мне 5-го числа принесли пенсию в 12 часов. В 14:30 она кончилась. Июнь 86-го.

8–9/VII. 8-го звонок ликующего Лёна. Завтра под окном у нас будет стоять машина и отвезет в Переделкино. Остальное стерлось.

9/VII. В самом деле, машина под окном (чуть вина). За рулем Саня Рабинович. День знакомства с Беллой. Сквозь всех сопровожд⟨ающих⟩ ее и меня — порывистый жест-бросок. Славная. Громадная гостиная, куча шкаликов. Она, по примеру Ирины Якир, спроваживает кого-то ⟨из⟩меж нами сидящих мужиков. Теперь уже весь вечер локоть в локоть, уже весь вечер коленка в коленку. Всё о любви, о сожалении о том, что не довелось встретиться прежде. Как я хотела вас видеть. И эта штука совсем не портит вашу красоту и пр. и пр. Чтение пьесы по магнитоф. Мне Беллой поставлены розы, и тосты, тосты.

10/VII. Не спится. Под впечатл. передел. визита и пр.

22–23/VII. Вчера я говорил: того, что мы набрали в магазине, хватит до листопада. На 22-е в самом деле хватило. А вот уже 23-го утром — последние крохи. Бедняге Носовой приходится снова бежать во все удлиняющуюся очередь на Флотской. И возвращается с дорогостоящими красными сухими. Всё обещаю приступить к «Фанни Каплан».

25/VII. ОВИР дает о себе знать ровно через 2 месяца после окончательной отдачи заполненных документов. Новая придирка. Галине Носовой предстоит на будущей неделе новая беготня. К концу лета — конец ОВИРа.

30/VII. День Беллы Ахмадулиной. В самом деле, как и обещали, подъезжают на машине. Скорые сборы. Едем. Беллочка почти угрюма до Переделкино. Первая прогулка в лесу: Мессерер, я и Носова. И уже первая горсть грибов. Маленький банкет.

Нам весело не пьется,
Мы песенку поем,
А в песенке поется
О том, как мы не пьем.

В антракте — прогулка по лесу уже вчетвером. Белла умиляется мною на фоне леса. Еще

банкетик. Белла произносит речь (тост) за меня, слишком лестный: «И талант, и ум, и стройность, и красота» и пр.

9 авг. Теперь уже сам могу стоять за сухим на Флотской (и опять с помощью Эдуарда). Между тем Носовой все хуже, и все предчувствия помещения в клинику.

13 августа. Взятие коварной Носовой. Они были вызваны для меня. (Весь день сухие, корвалолы и дремота.) Обстоятельства переменяются. Очень поздно 5–6 чел. Ее увозят. «Надолго», говорит один.

25 августа. Сегодня истекает трехмесячный срок со дня подачи прошения. ОВИР молчит.

Не дают, суки, не дают мне погулять-пофорсить-повыябываться по Елисейским полям. Не дают пособирать грибы в Булонском лесу.

2 сент. Утром Г. Нос. увозят в новую больницу, на Каширку.

С 7 сент. (мал. и тщетное нарушение 8 сент.) — введен в доме без подсказок и давлений — в одностороннем порядке — мораторий. И даже брага пусть стоит, ск. ей след.

Уже 7-й день сухого домашнего закона. К вопросу о моратории. Это не кв. 78, а испытательный полигон, «штат Невада», и центральный его пер-

сонаж В. Ерофеев, эсквайр.

14 сентября — Нос. последний день на побывке. Расположение духа ровное и первородное, как в дни зеленоградских гербариев. Решаем: по случаю сплошного солнца — не в Переделкино, а в парк у Левобережной. Великолепный променад с полудня до полчетвертого. Я не собирал грибов уже 45 дней. Жаден до каждого дерева и до всего. Грибы зонтики, немножко чернушек, опят, сыроежки. Ликую. Нос. отъезжает к матушке. Я один, вернее, в отличном расположении духа наедине с грибными чистками, варками. 5-й Чайковского по телевидению и тут же 5-й Шостакович. Нос. возвращается с немыслимым количеством съестного. Планы выездов: в Добрыниху, Абрамцево, Переделкино и пр. Только б не испаскудилась ⟨нрзб.⟩ погода.

15 сентября — Нос. выпускают окончательно послезавтра.

Лён говорит по телефону 16 сентября, что какая-то закордонная станция передает «Петушки» опять.

16 сентября — «Хмурое утро». И весь день — в дождях, непогодах и слякоти. Загород пока отставляется: за Фетом из приложения к «Ниве»

и Брюсовым. В полдень решаю быть деятельным. Направляюсь в центр. Вс. Рождественский и Чехов в Пуш. лавке. В ГУМе — пласт.: Русского сонета, Дельвиг и Полонский. Умница. Вернувшись домой, тотчас же и сквозь те же дождики — стою в очередь с посудою. Сдаю на 6 руб., возместив в точности расходы на пластинки. И на всякий случай 4 пива. Весь вечер в стихах Дельвига, Ап. Григорьева, Полонского.

А пиво взято из принципа. Чрезвычайное положение, введенное 7-го, подверглось искусу сухим (8-го) и упрочило к нему брезгливость: корвалолом (15-го) — только снотворное и отупевший эффект. Пиво — для того только, чтоб убедиться, пронаблюдав, что и оно не надобно.

17 сентября — Вот и последнее — пиво — дискредитировано. Для опыта: вчерашняя покупка 4-х пив, 2 вечером и 2 утром. 17 сентября — и наблюдаю за негативностью и паскудством маленьких следствий.

И табак. 14-го — ни одной затяжки. 15-го и 16-го: приблизительно по 1–1½. 17-го — только ½ сигаретины с фильтром. Прекрасно.

По радио и телевидению продолжаются игры в «полную информативность» в России. Министр финансов выступает в пресс-конференции 20 сен-

тября и точно называет размер чернобыльского ущерба: 2 млрд руб. То есть побольше червонца на каждого взрослого человека России.

«Гласность» и «духовность» — не было дня в августе — сентябре, чтоб слова эти десятки раз на день не употреблялись по телевидению.

Еще смешнее. «Комсомольская правда» за 20 сентября. Горбачев беседует с краснодарцами. «Вот тут мы недавно с Раисой Максимовной читали Достоевского…»

Оказывается (по записной книжке 84 г.), состоялся первый визит с Лёном к Мессер(еру). 6 июля 1984 г.

Скоро будет 20 дней самопроизвольного непития (!). А это — средняя продолжительность жизни комнатной мухи.

Боре Сорокину: по телефону:

Бормотуху и портвейн
Я не пью таперича,
В этом главная заслуга
Михаил Сергеича.

25 сентября — День юбилеев и прощаний.

В холодильнике 2 свадебных, но мне наплевать. Солнце. Пока нет никого, с грузом макулатуры доезжаю до Петрозаводского пункта — ради Перро и Грима. Снова осечка: произвол. выходной. С грузом назад. Появление Балашихи. Следом — Т. В. с последним визитом и сухим. Пьем годовщину моей операции, пьем отъезд Т. В. на север, 80-летие Дм. Шостаковича и пр. По телевидению последняя серия «Отцов и детей». Общая растроганность.

И к 25-му числу распустились (все лето неподвижные) белые фиалки.

У Носовой не может быть повода для недовольства: 10 лет тому назад она говорила, что за 2 года она не видела, чтоб я ел хлеб или сидел за письменным столом. Теперь я каждый день ем хлеб и каждый день сижу за письменным столом.

27 сентября — Суббота. Впервые проснувшись, обозреваю все крыши и деревья в снегах. («Что ты рано, осень…» и т. д.) Настоящие снежные бураны до 2-х, а в 2 все моментально стаивает. Обещанной именинницы нет — Балашихи. Потому цежу приготовленные на этот случай 500 г массандровского Кокура. И с раннего утра, под первый снег, кручу Дельвига, Полонского, Стоковского.

В гостях Майкова. Приношу извинения за то, что нынче не совсем уравновешен.

8 октября — Весь день в бумагах. Записи 20-летней давности. И 1-я книжка моих Паралипоменон (вторая половина 84 г., исток всего). Две маленькие вылазки на почту за пенсионом: напрасно. Зато 6 пива. Кратковременный визит Эдуарда с отдачей кредита. Все о погоде. И лучшей не сулят. Рано спать.

Вот еще что плохо. С каждым днем все безвдохновенно и неприязненно ко всем, и больше глухоты при слушании музыки — почти силком, — и нет уже той бешеной страсти читать все подряд. Ничего читать не стоит. От этого — «Паралипоменон». Чтоб понять следующий за тем 85-й.

12 октября — Превосходно. Утром еще за русской исторической песней. Потом — визит Балашихи. Наконец выплыл из крымского мрака. В. Лён — зовет на 1-й советский вечер авангардистов-концептуалистов. В 3 часа — еду. В восторге почти от всех чтецов. Финальная шальная демонстрация мод под чудовищное музыкальное сопровождение. Подходят и знакомятся. Подходят и другие и напоминают о знакомстве.

Из круга Седак., Фоминой, Дудинского и просто незнакомые. С выражениями благодарности и пр. Возвращение в 9 вечера «веселых и приятных мыслей полон». И рано засыпаю.

12–13 октября. Едва успеваю переводить восхищенные свои взгляды от всех своих (почему-то бурно расцветших) фиалок — на бурно же вздымающуюся и контролируемую брагу. 1-я: 11-го вечером, 2-я: спустя ровно 36 часов, 13-го утром.

Две именинные бражки уже имеют наименования. Первая — Офигенная. Вторая — Заебательская. Надо повесить этикетки. (Утром 15 октября.)

20 октября — Покровское солнце скрылось. Всю землю мглой заволокло. Никуда не выглядываю. 2 бадьи моей браги шуметь перестали, стало быть, готовы к употреблению. И начинаю впотреблять. Вперемежку с музыкою: и трофейные от Андреевен пластинки, и новооткрытый Берлиоз. Перемежая вечером усталость от браги.

21 октября — Настолько ухожу в брагу, что день у меня выпадает. И я следующий день среду, 22 октября, всерьез считаю 21-м. У меня отнимают мас. банки, и розлив по бутылям прихотливо прячут по всей квартире. Смутно. И на дворе —

тоже.

23 октября — ну вот, теперь все ясно: нынче 23-е и день рождения завтра. Смешно исчезновение 21-го. И начинаю прислушиваться к звонкам, и первые гости: Эдик. Сухое вино. Звонок Леонтовича о благополучном исходе операции. Все-таки и немножко бражки. И рано вечером явление младшего Венед. Радостно.

24 октября — Участвуют: Ю. Гудочек, В. Гудочек, А. Леонтович, Б. Ахмадулина, Б. Мессерер, Л. Любчикова, неожиданно Яна, Даша Леонтович, Владис. Лён и его громкие тосты. О. Седак, Валерий Котов, ни с того ни с сего Саня Пирогов с еще худшею брагою, чем у именинника; Майкова, любимица Таня Закк, ненужный Эдуард. Слишком шумно. Слишком все-таки мало говорил с Беллой. Слишком часто сепаратничал с Епиф. и пр. в своей комнате.

26 октября — Почти без движения. И никого в гостях. Страшен снаружи и изнурен изнутри. Единственная пища дня — громадная бутыль смеси малиновой воды с остатками ликера. Возобновляются желудочные боли 19-го, но семикратно. И невозможно понять, что ⟨нрзб.⟩ страдает. И сердце, и нехватка воздуха, и, главное, желудок.

30 октября — И наконец день, непохожий на те. Рано встаю, и практически без желудочных болей: очень поздно вечером вчера звонила Белла: к 12-ти надо быть в ВОНЦ на обследовании. Успеваю даже вымыться. Ровно в полдень — мы на 17-м этаже. Страх перед гастроскопией. И конец ее. Тут же — наверх, первая проба у логопеда. Вечером по телефону и в разговорах удовлетворение тем, что язва. И самое употребительное вечером слово: язва. Ольга в гостях. Ольга Седак. звонит и обещает быть. После полуночных чтений только в 3 опрокидываюсь спать.

Согласен на вечера 1 ноября и 3 ноября, а на нынешний вечер Булата и Беллы в ЦДЛ — не выполз.

3 ноября — На вечере в литературном кафе. Опять много незнакомцев, приветствующих меня (может, когда-нибудь пил с ними?). И напротив сидящий с запиской: отравление было случайным или умышленным? (о драме). Пишу в ответ: «Я сам этого не знаю». Пишет: «Очень милая драма. Спасибо». Устно говорит: «Можно сказать, классик». И пр.

11 ноября — Все-таки неможется после вчерашнего пиршества у Якирки. Конец зимы. Утром исчезают последние снега. Непогоды и слякоти.

В гостях Балашиха. Тут же — Г. Нос. И хором договариваемся шлепнуть шампанского. Шлепаем. К вечеру мне все хуже с желудком, и я от следующих гостей (Вера, Сорокин) уже отъединяюсь у себя со своей болью. Всеобщее участие. Стало быть, и завтра никуда не сдвигаюсь: ни на чтение Беллы, ни на выставку Сысоева.

Всю осень — все толки о беспощадном наступлении демократии на Россию, возвращение на Родину Андрея Тарковского, витающая в воздухе идея частных издательств, статья о Лихачеве, о Правде, публикации Флоренского, Гумилева, Набокова. И пр. и пр. Литературные новые кафе, Чингизова «Плаха» и С. Аверенцев над нею. И фильм «Покаяние» и пр.

Все сделать как-нибудь через попу. Назначить директором Малого театра Егора Кузьмича Лигачева (лучше Егора Лигача Кузмичева), а перед входом соорудить статую Фридриха II с созвездием Кассиопеи на брюхе.

14 ноября — Легко принимаю то, что в другие дни обернулось бы «днем испытаний»: на повторное исследование моей язвы. Столкновение с Нос. на Новокузнецкой — ВОНЦ — снова блуждание с этажа на этаж. Еще одна гастроскопия. Возвращение домой через Пушк. лавку, приобретаю

себе «Исландские саги» (первая трата со времен пенсиона). Безоблачно. Диета на неделю. Вечером в гостях Б. Сорокин — зачастил, подлец. После ухода его, допоздна с перепиской Сталина — Черчилля — Рузвельта.

Снова, как прежде, каждое утро подымаюсь чуть-чуть до рассвета: «с первой полоской» — и наблюдаю. Не признак ли выздоровления от язв? Но ведь к ночи — снова ломоты и боли, после двухсуточной паузы.

17 ноября. И в самом деле год назад посещавшие меня в больнице девчонки не преувеличивали, в Ленинграде популярность больше московской. Вот и Ольга об Елене Рабинович — переводчице и коммент. Флав. Филостратовой «Жизни Аполлония Тианского»: («Да, она твоя страстная поклонница. Она сама тебе пришлет Филострата»).

19 ноября — Просыпаюсь не вполне здоров, но у меня почти полбутылки коньяку. Тяну его, как давеча, с горячим чаем. Периодичные нелады в желудке. Спустя полмесяца снова сажусь за злополучную «Плаху». Г. Нос. откуда-то достает болгарского сухого (не покупала 2½ месяца). В гостях вечером отличная девка Ольга, весело. И почти не тревожит, что послезавтра — в ВОНЦ,

где могут и опрокинуть на месяц в постель.

А русский скажет на высшем Суде: «А ты-то кто? Не глубок ты, я вижу, и недалек».

20 ноября — Впервые так поздно подымаюсь, чудесно. Звонок от Милы Леонтович: снова зовет пожить, отдохнуть в Абрамцево, независимо от погоды. Говорю: если завтра на месяц не брякнут в ВОНЦе в кровать — буду непременно. Мне презентуют бутыль сухого (по случаю того, что завтра ехать в ВОНЦ). И снова веселая Ольга в гостях, с подарками — пластинками Варламова и Шостаковича. И еще бутылка сухого на трех. Перед сном кинофильм «Дядюшкин сон» 1973 г. Чувствую себя прекрасно.

Починил говорилку.

21 ноября — Все осенние дни казались чрезвычайно короткими и стремительными. Сегодняшний — очень долгий день. Сборы на окончательное решение ВОНЦа. В кабинете получаем справку, которая даже у Нос. исторгает возглас: «Без рецидивов». Прекрасно. В кабинете у Олеговича. С 1 декабря — занятия у логопеда.

А в Австрии, допустим, по утрам пьют черный кофе и без сахара.

2 декабря — Ну, конечно, потепление. В жур-

нале «Октябрь» № 11 публикация стихов Вл. Набокова со вступительным словом Андрея Вознесенского.

И с обещанием в самое ближайшее время опубликовать «Защиту Лужина» (!).

3 декабря — Ну, конечно, теплеет изо всех сил. В декабрьском «Огоньке» впервые представляют Ходасевича (статьей Вознесенского и стихами).

22 декабря — Хоть одна тьма да разрешается. Снова — в последний раз — поездка в Аэропорт. диспансер для ВТЭКа. Все. Я перевтэчен. Сдабриваю это горячим кагором.

1987

1 января — День не существовавший. Утром еще ухватываю что-то сухого и по телев. кусочки «Обыкновенного чуда». И сплю почти до полудня 2 января.

2 января — Нет. Что сегодня 2-е — это почти не вызывает сомнения. Но тяжко, что провалилось 1-е и все немыслимые (нрзб.) и пр. Последний трояк, данный Нос., с Амбалом вдвоем на шампанское. Тягостно. Главное: в эти новогодние ночи возобновление Нос. росписей стен. Любка. Делаем вот что, росписи уничтожить новыми обоями. Мимолетно Надька. Амбалы забирают всю посуду 86 года и все крохи денег, только взамен — немножко шампанского и сухого. Вечер: усиление конфликтности в доме. Нос. в очередной раз сбегает, и неизвестно куда. Постигаю размеры порчи книг, журналов и пластинок. Любка на всякий случай остается.

Об оттепелях. Что там академик Сахаров, когда в новогоднюю ночь по 1-й программе телевидения позволили Жанне Бичевской спеть «Шумел камыш».

В паспортах таких людей, как я, надо вводить

новые графы. Например, «размах крыльев» и пр.

6 января — Продолжение идиотических утрат: военный билет, свидетельство об окончании немецких курсов, 1-я четверть Благой вести, пенсионная книжка и все, что было вложено за обшлага паспорта. Утверждается, что все это для ОВИРа в субботу.

8 января — И — снова схватка по поводу репродукций в той комнате. Лён. Призывает или вызвать Ю. Р. сюда, или съехать к Ю. Р. «Но мы же в контрах». Пиво.

И в силе остаются еще две рождественские загадки: исчезновение часов и Беллочкиной авторучки.

9 января — все то же — стужа (и дома в шарфе и шапке), тьма, а за стеной зачумленность. Ну что ж. У меня последние 2 трояка — но почти 30 градусов морозу — в Заонежье. Почти час в очереди. И вот у меня 3 дешевых ркацители и 2 пива. И горячее столовое. И за вечер восстанавливаю свои поденности с середины декабря.

10 января — Нос. — посланная за корвалолом (срочно), возвращается с елкой через полтора часа. Надсада.

Вот, прекрасное средство от сердца, говорит возвратившаяся черт знает откуда Г. Нос. Смотрю:

рамнил, «препарат обладает всеми характерными свойствами слабительных средств».

11 января — Седьмой день стужи. Снова в шапке и кашне. Безмозглости за стеною все длятся: исчезновение шести книг за ночь. Исчезновение дорогостоящих витаминов. Вчера принесенная елка выброшена на балкон вместе с продуктами. Покуда сдержан.

12 января — Ожесточенность в связи с кражами пластинок и книг достигает предела. Ввожу таможенный досмотр — мои последние фотокарточки пытались уволочь — грожу телесным наказанием. Снова исчезает.

13 января — Апогей носовских чертовщин. Снова таможенные досмотры при ее постоянных вылазках неизвестно куда. С кофемолкой и пр. Требую ключей. Убегает. В горячке захлопываю дверь и иду за вином. Бутылка десертного и 3 пива. Долгое ожидание у мусоропровода наедине с десертной. Прошу дежурного позвонить Я. Щ. — еще ожидаю. Срываюсь и еду на юг. В поисках Гудочков. Пиво у них. Гудчиха раззванивает относительно ключей. Появление Мельникова с приятелем — с эскортом едем в Царицыно — там обилие пития. И с Черных, Таней, Михалычем и пр. отмечаем старый Новый год в полночь.

Как отошел ко сну — неизвестно.

14 января — Продолжение старого Нового года в Царицыно. У Черных. И сплю допоздна. До самого дома, до «Водного стадиона» Коля Мельник. меня сопровождает. В доме, разумеется, никого. Хоть мне и плохо, первое движение по входе в дом: все ли на месте. Мельник. с подарками уезжает.

15 января — Один в доме. Вынужденное путешествие по метели: наша сберкасса закрыта — на Ленинградское шоссе — потом очередь — набираю на 12 р. и все поглощаю сосредоточенно.

16 января — Утром обнаруживается Носова. Но смягченнее: позвонили с почты относительно пенсии. Получаю 101 р. пенсиона. Пару вина и продукты. У Нос. буйствует телефон. А мне только б до предела выспаться.

17 января — Просыпание. Дурно. Стояние в очередях. В гостях неожиданный гость — Цедринский. Привозит старые тетради 61–63 гг. и чего-то спиртного. Еще один вечер, окончание которого не помню.

18 января — Весь день не сдвигаюсь с места. У себя на диване, раздавлен. Исчезновения и появления Нос. С теткой Любкой. Спасает меня двумя бронебойными штуками типа «Салюта». И,

ради Бога, поскорее опять уснуть.

19 января — Продолжается система слежки, сыска, отъединенности, телевидения и радиошумов. Просит червонец — выделяю. Корвалол. Потом марочное вино и 2 розовых столовых. Все употребляется, конечно. (В очередях толпа о том, почему так тихо и тепло в Крещение.)

19–20–21 января — Каждый день выделяю Нос. по червонцу, с которым она надолго пропадает. А иногда и с ночлегом.

20 января — На этот раз марочное и 3 розовых столовых. И — звонок к Черных (заговор). Вечером звонок Черных: сегодня невозможно, а завтра днем и т. д. Нос. снова исчезает.

21 января — Тяжко. Случайно нахожу сохранившуюся ⟨с⟩ вечера розовую столовую. Нос. приносит мне обозреть: купила книгу за 7 руб. Безобразие. Тревожусь, чтоб осталась до налета. Нет, исчезает. В полночь, едва проснувшись, гляжу: ее по-прежнему нет.

22 января — Являются трое за девкой, но я развожу руками: ее сутки как нет, ставлю брагу. Раззваниваю: узнаю: Нос. вчера помещена в 3-е отделение Кашир. псих. центр. Кончено. Закупаю на Онежской два марочных портвейна (почти червонец). И — широкие жесты освобожденного

человека: Эдуарду вручаю 5-ку, посуду, мелочь — и он приносит еще 2 Дербента. Всего дальнейшего не помню (приезда Любки, уход Эдуарда и пр.).

Вот до каких степеней доходит потепление. Кто-то, не помню, по телевидению: «Наконец-то (!) мы можем называть вещи своими именами». А Тихон Хренников: «Смелость стала нормой нашей жизни».

Говорят даже о конце «серого террора».

27 января — Снова скверно и с горлом, и с сердцем. Звонит неунывающий Лён, и очень ранит Белла Ахмадулина, не рвется устраивать встречу или что-нибудь, ссылаясь на нездоровье. О ее будущей скорой поездке в США с лекциями. Критическое стояние в очереди при минус 15–16° и сильном ветре. 4 ркацители.

29 января — Все морознее с каждым днем. Паникую: горло стягивает что-то. Чуть-чуть отвлекает телевидение. Позавчера Чаковская гнусная «Блокада». Сегодня утром — «Капитанская дочка», 1958 г. После полудня включаю телефон. Обрываю все беседы. Настолько серьезно с горлом, что я иногда открываю дверь с замка, чтоб в случае полного удушья и т. д.

31 января — Я уже не один, всю ночь у меня Б.

Сор. — дежурный. Скорую вчера верно, что не вызвали. Чувствую с утра намного лучше, и почти нормальное дыхание. Б. Сор. осеняет крестным знаменем и уезжает.

4 февраля — День литературного вечера в доме архитекторов. Весь день подвижен, трезв и умница. В гости к Ольге Седак. Чай, болтовня. Стрижка. Вечером — в поисках дома архитектора. Многие незнакомые приветствуют. Подходит полузабытая с вечера Дудинского дама, отрекомендовывается поклонницей и просит позволения заехать и надписать книжку. Радостные столкновения с Мессерером. Сам по себе вечер бездарен: Евг. Попов, Виктор Ерофеев, Таня Щербина, Лев Рубинштейн и Мих. Эпштейн. Демонстративно удаляюсь в конце 1-го отделения, первый. Следом — Б. Мессерер.

7 февраля — Весь февраль весна. Уже утром плюс 1. Тротуары чисты и мокры. С утра на Флотской коньячок за 7.20 и 5 пива. Возвращаясь домой, нагоняю Балашиху. Она убирается. А мне дурно, в который день сдавление горла. Трижды звонит Нос.: говорю ей, что и в следующую неделю приму ее без фанфар. Бодрящие звонки от неизвестных художников, долгие и слишком комплиментарные. Опять гнусные Амбал и Эдик

с чем-то спиртным. Засыпаю, не помню.

Любопытно. Даже в нашем доме. Мы с Амбалом в поисках червонца. На 10-м этаже дама: «Как?! Тот самый Ер! Ни за что не поверю, пока документы не предъявите. Я смеюсь, конечно». И пр.

10 февраля — Совсем и забыл, что Белла Ахмад. обещала утром позвонить. Разбужен ее звонком. Заметно, что с похмелья. Но хоть и павшим голосом, все та же вереница ласковости: «любовь моя, радость моя» и т. д. Говорит, что надо непременно увидеться: в мастерской Мессерера, в пятницу. «Милый, милый, я обязательно должна тебя увидеть до 15-го» и т. д. 2 крепленых. Пиво. Звонит Нос. — говорю ей об ахмадулинском звонке. Она радуется тоже.

11 февраля — Снятые вчера с книжки деньги летят, как птички. Но до 2-х тщательно выписываю все из маркиза Кюстина, поскольку за ним должна приехать Ольга. Ольга Седак. в гостях: жаль, что нельзя с ней поделиться радостью относительно Беллы, не выползающей из головы. Провожаю ее до магазина: 6 пива. Новые гости: Анат. Иванов и его приятель, давно желавший познакомиться. С сухим и коньяком. Окончание дня едва помню.

12 февраля — Надо выдержать день без изли-

шеств, поскольку завтра к Белле. Принимаю в гости Марка Фрейдкина. В 2 часа выхожу вместе с ним за сухим. И слишком рано засыпаю. Нос. по телефону умоляет завтра не особенно напиваться.

13 февраля — Пятница. День проводов Беллы Ахмадулиной. Трачу последние рубли на какую-то гадость. В поиске ул. Воровского. Прибываю одним из первых, и хорошо: застаю жену Арт. Миллера, она крутится вокруг меня с объективом. Я, как все эти дни, в шапке. Стечение гостей. Беллочка подсаживается, чтоб сняться вместе. Тосты за благополучный отъезд, но Мессереры: «за здоровье Венички Ерофеева». Слишком просторно и шумно. Как оказался дома, четко «все уже оплачено», говорит довезший до дому шофер.

14 февраля — Утреннюю тяжесть развеивает добрый дух, неизвестно откуда свалившийся Б. Мессерер с забытой накануне говорилкой. С умеренным количеством водяры. И сотня. Благодарен без меры. Прощание. В магазин. 4 и 2.50 каберне! Исход дня портит вторжение таракана-Эдика.

1988

Первое упоминание моей фамилии в печати (лежу после операции[25] уже почти месяц недвижимый и изнываю от жары): 22 июня 88 г., Известия.

23 июня — Мир, как Владик Цедринский, мал, плохо склеен, скорбен и только иногда натужно говорлив и бодр.

[25] Notes: 25
25 мая 1988 г. В. Ерофееву повторно прооперировали горло.

1989

1989 г. август — сент. Оттепель в Вост. Евр., октябр. половодье и ноябрьский потоп.

10/X — Наконец, впервые за всю весну, лето, осень вырываюсь из Москвы. На машине Нат. Рапопорт. Ко времени подъезжают Ольга Осетинская со своим Александр⟨ом⟩. Серега Толстов. Через Хотьково в Абрамц. Чувств. сносно. Въездной банкетик. В восторге от мансарды. Осетинские трясут антоновку и много натрясают. Вчетвером.

11/X — С Гал. и Осетинскими. Ср⟨авнительно⟩ тепло. 1-й раз в этом году обшир. прогулки по Абрамц. Аксак. колодец. Склизкие тропы. Я оч. слаб и немного шаток. Глебово. По лесам. Много опять натр⟨ясли⟩ антоновок. И конечно, коньячки. Не прав, реплика Ал.: «Нат.[26] где-нб. сейчас на авеню…» и т. д.

12/X — Ну, вот уже и плохо. Замыкаюсь у себя в мансарде, предоставляя гулять Г. и Осетинским. Коньячковые запасы иссякли. К бумагам не приступаю: Нат, Нат.

---

[26] Notes: 26
Наталья Шмелькова.

13/X — Рано утром исчезает чета Осетинских. Остаемся с Г. Мал. прогулки на берез. задах дачи, сухой валежник и пр. для печки наверху. Проба топить.

14/X — В гостях хозяин. Серега Толст. После наших с Г. долгих гуляний по поселку. Беготня по поводу заказа на дрова, утепления дома и пр. Первый утр. снег, исчезнувший к вечеру. (Окончат. снег только через месяц ровно.)

16/X — 17/X — 18/X — Предупрежд. хозяйство поселка о том, чтоб за время нашего недельного отсут. в Москве утеплили дом на зиму. Продолж. топить верх. печь всяческим хламом. Продолж. прогулки по поселку. В один из этих дней гости неожид.: Лев Кобяков с Риммой. Книжки в подарок.

Все еще ютюсь у себя наверху, хоть и холодает.

17/X — нас не застал дома поэт Вл. Алейников, и слава Богу.

19/X — В расчете на то, что 20-го надо быть на спектакле Спесивц⟨ева⟩, а 21-го — у Славутина в МГУ, — собираемся в путь на Москву. Но вот странн. дело: удив. тяжесть в ногах и невозможность передвигаться. Было это и неск. дней до того, но не до таких степеней. Решение возвратиться и двигать завтра с утра.

20/X — Следствие долгих воздержаний или еще какая причина, но уже при выходе из посел. чувствую, что дойти до платформы немыслимо. Снова полупаралич в ногах: Нос. в растерянности хочет даже попросить хозяина поселка Сашу. Но все конч. неожиданно: останав. машину, с молодыми из 35 дачи, кот. Нос. знают и вчера вечером смотрели передачу по телевид. обо мне, где Спесив. сравнивал с Салт.-Щ. и пр. А в Москве узнаем, что и сегод. утром была в тел. передаче «120 мин.». Нинель Шахова говорила о премьере у Спесивцева и пр.

20/X — В Москве. И сразу звонки. Звонит, в т. числе непосред. постановщик Пет⟨ушков⟩ в Спесивц. театре и гов., что будет лучше, если автор появится 22/X — а нынче подбирается партийн. элита и придется искажать текст. Тем более 22/X будет «Взгляд». Ну и прекрасно. Можно вольно пить коньячок.

21/X — День театра МГУ. Еще накануне предупред. Славутина, что мы будем. Суббот. коньячки уже с 11-ти, но я, памятуя о спектакле, неск. умерен. Спектакль идет с 6 до 11:30, с двумя антрактами. Машина Нат. Рапопорт все это время на обочине ул. Герцена. Я в авторской ложе, Осетинский тоже, с глуп. повест. о том, как он

провожал Нат. в аэропорту. Как она на днях звонила ему и пр. Успех длинного спект. Славутин просит меня подняться на сцену. Аплодирую актерам, принимаю снизу цветы: розы, гвоздики и астры. По оконч. оч. многие студ-ки подходят и благодарят. Нат. Рапопорт, растаявшая от мигающей шестик. звезды и еврейс. песнопений — плясок, довозит нас до дома. (Да, по оконч. все исполнители сгрудились вокруг. Даю оценку по 6-балл. шкале. Славут.: «А за артистизм?»)

22/X — День театра Спесивцева. По мере коньячков и пр. Кто в гостях и кто сопровождал на спект., уже не стоит восст. М. — П., длящаяся всего 2 часа. Наблюд. за публикою. По оконч. оказыв. под юпитером «Взгляда», снимавшего спектак. Оч. короткие мои и недовол. ответы. Оказ., Спесивцев все слушал и видел, и оч. много праздных зевак. Недоволен.

23/X — После 2-х премьер так быстро набираюсь, что день практич. исчезает, как и 25/X. А утром 24/X, по пробужд., слышу носовское: «Нет, мальчик, сегодня уже 24-е!»

24/X — Самый беспамятный из всех моих дней рожд. Помню только первые две рюмахи, далее мгла, кроме (третьего) падения на кухне (рядом были Тимак. и Ир. Леонт., сетовала потом Гал.).

Были все, даже актерская делег., съемоч. группы ВВС и Ленфильм, Осетинский, Лён, Седак., Любчик. Даже всплывший неизвест. откуда С. Филипп. На след. день обнаруж. только бездну подаренных книг. И шишку-ссадину на теменизатылке.

25–26/X — Еще два исчезающих с утра дня. Нет времени даже посм. подарки. 26-го непомнящего меня на спец. машине Ленфильма привозят в Абрамц. Я, непомнящ., не дойдя до постели, валюсь на террасе.

27/X — Прихожу в себя, опохм. после именинной вылазки в Москву. Тяжко. Расстройства души и пузени. Не могу вспомнить обстоятельств возвращения из Москвы. И не спрашиваю об этом — тяжко.

28/X — Субботний визит к нам Епифана, по случаю его отъезда во Фр. Несостоявшиеся его переговоры с Гал. относит. франков. В гостях у Леонт⟨овича⟩. Резин. сапоги. Все еще не оправился от мос. вояжа 20–26/X.

29/X — Нагрянули Би-би-си. Абрамц. съемки. Уже в шубейке по случаю погоды. Вместе с Нос. снимают у крыльца дачи, по пути к исаев. домику, по тропке его, по крыльцу его. Дубли, дубли. Отказ. от съемок в постели, с пером в зубах…

«Не могу. Подташнивает».

30/X — Тяжко. Понемногу перебираюсь с мансарды вниз, все еще шаткой и слабейшей походкой. Все о предстоящем возврате Нат. из Штатов. Равнодушен. И главное — переждать — перетерпеть сегод. день.

31/X — Полегче. Корвалол. Перемеж. сон. Нос., уже за меня спокойная, уезжает по делам в Москву. Обещает быть завтра вечером, с гостинцем. Будет ли Нат. 2-го, неизвестно.

1/XI — Я один. Весь день до веч. В гостинце спасающем я уже не нуждаюсь. Веч. приезж. Г. Нос. Бутыль. Я отпиваю только самую малость. Прогулки по пос.

2/XI — А нынче уже основат. берусь за оставшееся спиртное. С утра. Еще нет ночных морозов: вечер, прогулка по всему поселку, вдоль и поперек, чтобы сделать перепись насел.: 5-я, 25, 35, Пастернак. Правление.

3/XI — Должна быть в программ. «Взгляд» включена сцена из спект. Спесивцева и мои реплики. У Леонтов(ича) до 2:30 ночи смотрим пр. «Взгляд». Нет про меня.

5 нояб. — На праздники, 4½ дня подряд, начинают съезжаться, со вчераш. вечера ожидаем приезда хозяев-гостей: Сереги с семейством.

6 нояб. — В самом деле: такси под окном — Серж и Марина с Настей. Размещаются. Коньяк. Нос. уезжает. Появ. гости: Епифан с Зиной, Леонтович. Серж, добыв. в Хотькове еще коньяк. Потом у Епиф. добыв. бутыль продукта.

6/XI. Доп. — Зина гов., что не было меня во «Взгляде», но она слыхала, что будет о Спесивцеве в «Добр. вечер, Москва» 11-го и во «Взгляде» 10-го. Впослед. обнаруж., что не было ни там, ни там.

7 нояб. — Не совсем хор. после вчерашнего. Чуть-чуть осталось водки. И все. Замыкаюсь в своей боковой комнате. С Сержем наблюд. за демонстр. Стук в боков. дверь: почтальон. Телеграмма от Нат. «Поздравляю Великим Октябрем. Дошли слухи, что на праздники приезжать нельзя. Приеду 9-го. Нат.»

8 нояб. — Солнце наконец. И неожид. Марина гов.: «К Вам Наташа». Оч. мило. Толстовы принимают гостью дов. хмуро. Бездна фотокарточек. Толстое исследов. о Пет⟨ушках⟩ из Нью-Йорка. Статья на фр. языке о Ер⟨офееве⟩, Зинов⟨ьеве⟩, Макс⟨имове⟩, Цветкове. Мемуары Хрущ⟨ева⟩. Ленинианы Валентинова и Солоух⟨ина⟩ Самое лучшее: бол. бут. америк. рома — «Только что из Штатов». Гуляем.

9 нояб. — Первый ночной мороз (ок. — 1–2°).

Снова с Нат. гуляем к аксак. колодцу. Ясенки. Пью лед. воду из всех колодцев — от вчераш. ро-ма. Второй соверш. безоблач. день. Под солнцем на глебов. поляне. Приезд Г. Нос. Вначале трудно совместимые Нат. и Г. Потом проще: фоток. и пр. По программе «Доб. вечер, М.» так и нет обо мне и Спесив.

Выезд в Москву (единствен. в ноябре).

10/XI — Чрезвыч. пестрый день. Просып. в бок. комнате. Нат. неподалеку. Собираемся в Моск-ву: я, Нат. и Г. Нос. Машина 35-й дачи уже у ворот. Немножко Нат. гостит у нас. Немного коньяку, немного шамп. Едем на такси в ЦДЛ — в банкет-ном зале — знакомство с Булатом, Ю. Черниченко, Д. Самойловым, Еременко, Парщиковым и др. и др. Тосты, при общем поднятии, Булата за мое здоровье. Главе изд-ва «Книж. палата», и ему автограф. Коньяк, коньяк. И не помню возвращ. на Гутманах, и безобразия, полноч. сцен с Гутм.

11/XI — Мне, издыхающему, разъясняют, как я вел вчера. Необходимо Гутм. принести извин. Гал. достает похмелку. В гостях Славутин с же-ной. Присоед. Нат. и Нат. Айги. Вместе уезжают на спектакль МГУ. Поздно веч. звонит Нат., гов., что она и ее родители в восторге от Славут. по-становки. (Таксист, возивший Г. Нос. на Войков.

за коньяком, забронирован на завтраш. отъезд в Абрамцево.)

12/XI — Из Москвы. По почте только одна новинка: из Риги некто присылает экслибрисы через редакцию «Театра». Приезд Мур., и в 11 утра на такси движемся к Абрамцеву. 3-е вселение.

Кстати, о приезде в Москву 10/XI. День милиции. Коньячок. И даже головомойка. Неожид. гостья: Ирина из «ЛГ», дает проверить окончат. текст бол. статьи для ЛГ. Звонок Б. Козлова — он только что из Польши, в Варшав. драм. театре б. успех «Пет.» — просят передать приветы и настоят. приглашения.

Голову можно поворачивать только на 25 влево и 20 вправо.

15/XI — Зима продолж., и снег весь день. Полегче. Снова за письм. столом. Под сумерки Мур. уезжает в столицу. Обнаруживается, что Нат. будет только по прибытии Лили[27] из Штатов. Весь день сыпет снег, а в ночь обещают «сильный снег».

16/XI — Любуюсь с утра: снегу навалило столько, что невероятно, что он и весною растает. За снегами на деревах не видно ни заборов,

---

[27] Notes: 27
Лилия Панн — двоюродная сестра Н. Шмельковой.

ни строений. И жаль, что он понемногу осыпается.

17/XI — Вот и дрова привезли. Сухой дуб. Нос. прекращ. таскать сухие палки из лесу. Дуб трещит в гостиной. К сумеркам Мур. возвращается из Москвы, немного коньячку. И каждый вечер у телевиз. (16-го по тел. режисс. театра «Современник» заявил, что снимает тел. фильм по пр-ниям Гоголя, Салт.-Щ., Венед. Ер-ва и других.) Это первое упоминание моего имени по телев. после 19 и 20 окт.

18/XI — Еще продолж. снежная и ср⟨авнительно⟩ мягкая зима. Система ежедневн. прогулок по поселку тоже продолж. С ужасом наблюдаю, как беспечно Нос. и Мур. расходуют мои дубовые дрова: «Ведь еще впереди декабрь — янв. — фев.» и т. д. За блокнотами. «Завтра позвони девке». Леонт.

20/XI — Внезапный наезд гостей, и самых разноликих. Сначала — вижу за окном Саню Бондарева, входит с исл. сельдью, датским пивом, коньяком и пр. Чрезвыч. весело. Попозже — еще неожид.: Наталья с Лилькой, вчера приехавшей из Штатов. Еще чуть позже: Лев Кобяк. с бутылью водяры — ее Мур. прячет. Уезжают все, кроме нас с девками. Мы — наверху, затопляем мал. печку,

греемся, с Нат. на двух распиваем плоский Лилин коньячок. Длит. прогулки по сонному поселку. Американки в восторгах от залепленных снегами елей.

20/XI. Доп. — Хор. новости от Сани о «Континенте», кот. и не думает отступать и самораспускаться. И от Лили: Пет⟨ушки⟩ изучают во многих унив-тах США. От нее 4 тома Солж., Киркегор.

22/XI — Нат. еще у меня. Беспокоится: «м. быть, уехать?» — «Да нет, Нос. будет рада, что я под присмотром». С Нат. еще раз прогулка через Шоколадку. Только вернулись — топот на крыльце — Нос. и Мур., приехали на машине с Жанной и ее прият. Мишей. 5-звезд. коньяк. Вызывающ. Жанна, печь и неск. смущенная Нат. Кроме троих нас, все отъезжают. С Нат. даже не дают проститься. Пьем водяру. Ночные долгие прогулки с Мур.

23/XI — Приканчиваю утром остаток водяры. Немножко коньяка — и снова, теперь уже втроем, на длит. прогулку. После ночных снегопадов все выглядит так же декорационно-зимне, как 16-го. До аксак. колодца с бидонами, стряхиваем с елочек снег, чтоб не надломились; заблуждаемся и по гигант. сугробам выходим на шоссе. И все печи, печи. Со старыми запис. книжками.

24/XI — Уже узоры на окнах террасы. К ночи

проясняется и сулят мороз до 14. В гостях Леонтович с собачкою. Сегодня уже малая прогулка. И с этой ночи начало бедствия: морозы.

25/XI — Одержим идеей купить термометр. По случаю падения температур. Даже не выглядываю на двор — безоблачно, солнце. И снова гость, Леонтович, гов.: «у меня на град. — 18°. Начало утепления дома, затык. щелей и пр. Телевид. «Асса» С. Соловьева и Тарковск. «Иваново детство». В ночь опустилось ниже 20°, наверняка с шампанск.

26/XI — В своей комнате, кот. прежде считалась теплицей дома, просып. от зябкости. Уже с утра начинаем топить печи. Даже в Москве и даже в полдень –16°. Здесь морознее и безоблачно. Неожид. гости: Юрий, бородач, знакомый Жанны и его приятель Володя, отъезжающие в Польшу. Краковский театр «Багатель» просит позволения постановки «Петушков». Подписываю. Весь день Нос. утепляет дом чем придется. Корот. вечер, прогулка по морозу.

22/XI — Приехавшая в Абрамц. Жанна сообщает одну дурную новость: потеряна или засвечена пленка польского телевид., кот. снимало меня весной эт. года в больнице. Зато 25/XI — в Сов. культуре интервью с главой польского телевид.

Дравичем.

В 9 веч. появ. из М. пунцовая от мороза Нос. Коньяк на столе. Вишневый ликер. Тут же по телевид. обо мне. Каневский в восторге от того, что я спаситель театра и пр. Всю ночь сижу за бумагами, за привезенной из М. прессой, за вишневым ликером. И засыпаю только полседьм. утра.

29/XI — На двор ни шагу. Снова солнце, но морозы начинают чуть спадать. В полдень ок. — 13. У меня еще гостинец: зверобой. И я его растягиваю на весь день. Мос. новости: Гал. звонила Нат., она обещала быть в субботу. Незатейл. подарки от Н⟨ины⟩ Фр⟨оловой⟩. Было созванивание с ВААЛ относ. Венгрии и Пол., с СТД об их долге мне. Генсек в Италии.

28–29/XI. Доп. — Новости от Нос. из Москвы: Н⟨ина⟩ Вас⟨ильевна⟩ гов. о какой-то Мурм. обл. газете, где о Ер. написано в связи с перечислением изв. земляков. И о том, что 27/XI в Москве был в гостях Венед. Ероф. — младший — Спесивцев поставил 3 спектакля «Пет.» в Петушках, в Доме культуры. Оч. любопытно. Нос. препятствует приезду Ероф⟨еева-младшего⟩ в Абрамц.

В журнале «Родник» № 11 за 1989 г.

«Писать по-русски совсем не то, что писать по-западному. Хороший, классический, естественно,

серьез. европ. писатель — это кто-то вроде Томаса Манна. Человек, обложенный книгами на 4-х языках, привыкший сочинять должное кол-во страниц в легкие утренние часы. Он знает, что пишет, и пишет, что знает. Совершенно невозможно представить его себе за работой без домашней куртки-венгерки, из-под которой выглядывает белоснежное белье. Не майка, а крахмальная рубаха, естественно.

А на другом полюсе наш Веничка Ерофеев, у которого нет, не было и не может быть письменного стола. Один — профессионал, другой — птичка Божья. Разве можно Веничке сказать „работай“? И разве можно вообще употребить это нелепое слово „работа“ — к понимаемому по-русски вдохновению?

Оттого-то наша лит-ра так богата неуравновешенн. героями, что ее часто сочиняли в истерических условиях. А те немногие трезвые люди, которые выбивались из рядов отечествен. словесности, — например, Чехов — заслужили презрение современников за бесстрастность, равнодушие и отсутствие Божьей искры».

«Родник». «Лит. — худож. и общест. — полит. ежемесяч. журнал на латышском и русском языках. Издание ЦК ЛКСМ Латвии и Союза писателей

Латв. ССР. Издат-во ЦК КП Латвии. Г. Рига». Тираж 147 тыс.

О бюллетенях здоровья. В нач. декабря потихоньку прекращ. бурления — пучения — поносика — и пр. «Рак пузени», неутомимо длившийся весь октябрь — ноябрь.

30/XI — С утра еще дурновато. Немнож. корвалола. Больше ничего нет в доме. Морозы продолж. исчезать. Всего –8 днем, а к вечеру еще теплее. Назавтра сулят в М. почти до 0. У меня в комн. снова теплица. Рассмат. прессу и обнаруж. интервью с Дравичем в СК. Оч. мило. И тут же беседы с Ник. Губенко. Перемежающ. сон. Вечером вполне здоров — прогулки втроем по безморозью. Славно.

1/XII — На дворе не ниже –3–4°. Можно бы и не топить печь. Неожид. гостья с утра: Лилька перед отъездом в США. Подарки: коньяк, виски, шоколад; исланд. свитер, книги Померанца, Гандлевского, Милославского, Синявского, Ницше. Прощаемся — она уезжает вместе с Мур. Как и вчера, весь день наблюдаем за нашим генсеком в Ватикане и Милане. И до пол–3-го ночи «Взгляд». Леонт. в гостях: приносит «Родник», с противопост. Т. Манна и Венички.

5/XII — Еще один день с Нат. По пробуждении обнаруж., что весь дом занесло, залепило снегом

дома и пр. Ветра, Нат. 20 раз туда и обратно протапт. в сугробищах тропу. Не могу гулять в такой ветер — только до выхода из поселка. А Нат. блуждает весь вечер в снегах. Весьма недов. — 6°.

5/XII — Но летние, осенние и вот теперь зимние зуб. — челюстные неурядицы продолжаются, умолкая т. на время запоев. А поскольку зап. теперь нет, недуги круглосуточно. Поделился этим только с Нат. 5–6/XII.

Статьи в ЧиПе[28]. Статья в Московских новостях (интервью).

7/XII — Весь день, с интервал. и сном, «привожу себя» после вчерашн., с помощью зубровки. Снова печи. Пока всего –6–7°. Стрижка наконец. В основ. замыкаюсь у себя с кучей привезенной прессы, особ. «Мос. новости» с моей харей и интервью. «Ч и П» и пр. И термометр.

10/XII — Во тьме, в 7 утра выползаю с фонариком к термометру: –24°. В 10 утра солнце за елями и — 25°. Днем –20°. Горячий чай, крошки птицам, печь трещит в гостиной. Весь день с Мур. одни, борьба с холодом. В блокнотах 86–87 гг. По телевид., как всегда, о вост. — европ. катаклизмах и о сегодняш. митинге в столице. Веч. в 9 ч. почти

---

[28] Notes: 28
Журнал «Человек и природа».

–25°. Засып. только в 3 ночи.

11/XII — Неизвестно, ск. было ночью, но в 10:30 утра солнце и безобл. И — 28°. У меня над головой нет даже 10-и, и я радуюсь, когда мне удается рефлектором довести t в своей комнате до 12–13-и. Топлю печь в гостиной целых четыре часа. Мал. прогулка по морозу и солнцу. В 7 веч. стук в окно: яв. заиндевелые Гал. и Мери с бездной подарков, с рыжим котенком, прессой, коньяком. Веселый вечер вчетвером. — 25. Пик зимних морозов пока. Новости у печки: Гал. с Нат. созванивались: Нат. собралась за город искать мне валенки, будет в Абрам. в пятницу. Были звонки от Вассермана Чикагского, от Ир., жены Славутина — все билеты в т-р МГУ проданы на месяц вперед. Похвала от корр. «Лит. России» на спектакле; звонок от изд-ва «Современник», желающего напечатать «М — П» в сборнике «Повесть–89». Пакет из Пет⟨ушков⟩ со статьей в р⟨айонно⟩й газете «Вперед». Н. Ф. о пригов-сти Фролова[29], статья в «Хиб⟨инском⟩ вест.». В «Кн. обоз.» — обо мне у Мамлеева. Потепление: в полночь только –20.

12/XII — Днем Мур. уезжает в М. на два дня. Провожаем его втроем до поворота и гуляем втроем

---

[29] Notes: 29
Муж сестры Нины.

до Глебов. мостика. Я уже избавлен от печных забот, весь в привезенной мне печати. Телевид., радио «Свобода». Письма от Т. В., от Лильки, от обва «Знание». Всего –12° (!). «С вечера все спится».

13/XII — Ну и шустер же я стал. Солнце и всего –7–8°. Гуляем с дамами (я почти до магазина). Один гуляю по своей роще до выхода на Ясенку, утопаю в сугробах. Обед из 3-х блюд (!). С дамами двигаем в сторону акс. колодца — плутаем по сугробищам с бидонами, дважды через замерзш. Ясенку — смехи и падения — в сумерки проходим по Глебову — в темноте к дому. И я ничуть не устал. Нос: «Этот день надо записать». Слишком рано и надолго засыпаю.

15/XII — Один в доме. Как только вынес птицам, небывалое скопление сорок, соек и пр. Весь в газетах и рад. Свобода. Продол. властный сон, чредой находит и пр. Жду, но не верую, что приедет, — Нат. В самом деле: вместо нее позд. вечером Мур. Еще через час — опять шумы на крыльце — и опять не Нат.: Леонтович. Мах(онький) коньяк. Раздраж. их болтовней. R.

Доп. — Утром 15/XII слышу по Свободе о кончине акад. Сахарова вечером 14/XII. Следует ожидать бума на похоронах (в воскр. 17-го?).

По радио и тел. все о вражде в Зап. Украине

католиков и правосл., вплоть до «изгнания из храма» и братоубийств. Борьба униатов, вернее, и автокефальной правосл. церкви.

16/XII — Новости из Москвы: Нат. приобрела для меня валенки, теплые брюки. Она безденежна и больна и, конечно, не приедет. Новости о звонках ГДРовцев; Пет⟨ушки⟩ д. выйти уже в Вост. Берлине. Скоро на Мал. Брон. д. пойти «Пет.». Театр МГУ хочет устроить мой вечер. Опять Леонт. в гостях. R.

17/XII — Утром ровно –30°. Весь день солнце, но выгляд. только дважды насыпать птицам в кормушку. Остатки вчераш. коньяку. Премило: весь в привезенных вчера статьях (некто Добряков из Питера), бесчисл. прессе. В старых блокнотах 70–80-х гг. По телевид. сплошной академич. Все теплеет.

19/XII — Еще теплее. В доме все двери раскрыты, снаружи капает и текет с крыш. + 2° (назавтра обещают до +3°, +4°). Мур. исчезает в Москву. Нос. не нарад. моему здоровью и равновесию. Готовлю лучину и растопку на рождест. морозы. Весь в телевид. и «Свободе»: бунт в Румынии. (Даже ванна 20/XII.)

20/XII — Еще теплее. Почти +4°. Течет со всех сторон дома. Жарища внутри дома. Все деревья

голы. Раскисшие дороги. Лужи вдоль крыльца и до калитки. «Весело сердцу». Неск. раз прохожу по тропке с оголенн. зеленью. Поздно вечером в окно стучит Мур. Снова вечер со «Свободой» и телевид. Коньяк на двух. Прекрасно. Нат?

21/XII — Опять то же: от ничтож. дозы вчераш. коньяка скверновато до вечер. сумерек, и не встаю до вечера. Снотвор. Солнце, ясно, и понемногу кончается многодневн. капель. Впервые за неделю t опускается ниже нуля. Вечером и за полночь все то же: «Свобода», телевизор, Панама, Литва, Румыния.

Шок в Москве после решения компартии Литвы отделиться от КПСС и намерение отделить Республику и политически (20/XII).

Ожидаю рождеств — новогодних подарков откуда-нб. из этих трех мест: Румыния — Литва — поимка оцененного в 1 млн долл. генерала Норьеги.

(21/XII). В «Моск. комсомольце» за 20/XII для чего-то помещена моя испитая и опухшая физия.

В журн. «Юность» (№ 12?) проза Саши Соколова с посвящ. «Венед. Ер-у».

22/XII — Чувст. себя прекрас. Весь день живу в Бухаресте и Бухарестом. К веч. снова 0° на дворе, но мне важнее: изловят этого пидораса Чаушеску

или не изловят. Попеременно включаем и наше, и басурман. радио и телевид. Гулять почти некогда.

22/XII. Доп. — Не только кровопролит. падение Чаушеску, но и офиц. торжеств. падение Берл. стены у Бранденб. ворот. Прежние, окт. — нояб. бреши в Стене были более-менее стихийными.

23/XII — Понемногу остаюсь один: утром уезжает в столицу Гал., спустя неск. часов — Мур. С крыш снова течет, +3° — +4°. Чудесно. Неожид. явление гостей: Коля Мельник. и его приятель Серж. С коньяком — другой коньяк в сугробах. Чрезвыч. весело. После их отъезда — снова стук в окно: Саня Епифан и Саня Леонтович. Епиф. с кучей приветствий из Франции: Алик Гинзбург, редакция «Рус. мысли» и т. д. С Епиф. до 2-х ночи с его коньячком. И R.

24/⟨XII⟩ — Милейший день перед Рождеством. Все еще маленькая капель. Появ. двух гостей с обильными сумками: Гал. и Нат. Нат. не было 18 дней. Начинается полоса коньяков и канделябров. Гал. расчищает снега в сторону елки и развеш. игрушки. Из столицы новости и новости, и крест., без кот. я жил в Абрам. 2 1/2 м-ца.

27/XII — День отъезда Нат. Сегод. я уже способен гулять. Мал. круг с Нат. по поселку, уславлив.

на Нов. год — она будет 31-го. Нос. провож. Нат. до дом-музея. Усаживаюсь за привезенную прессу. Но поздно веч. снова стук в окошко: появл. Мур. И тоже с провизией, и тоже с коньяком.

28/XII — Благод. Богу, в доме уже 11 дней не топятся печи. Нос. отправ. в Москву до 30-го, затем чтоб обеспечить новогод. стол. Мы с Мур. Я с головою в Книж. Обозр. и в Нат. — ских тревогах. По «Свободе» о Ленин. премиях и их заслуживающ. людях, Мур. хохочет.

28/XII. Доп. — Радио Свобода. Поверх барьеров: Смехотвор. О вручении Лен. премий — вернее, о выдвижении — «гораздо больше заслуж. Ф. Иск., Б. Окуд., Вен. Ер., Тотевосян, Валер. Попов, Юнна Мориц».

Еще одна лит. новость, привезенная Г. Нос. в кануны 89 г.: Берлин (ГДР) публикует в буд. году и пов., и пьесу, в других переводах.

Та же новость, но уже привезенная в самый канун Н. года, 30/XII из Москвы: пакет из ГДР — ВААП («не менее 21 тыс. экз.»). И еще: все, что с Польшей, можно без ВААП — Нина Черкес звонила из Минска — она (в случ. довереннн.) все берет на себя.

И все-таки минувший год был високосен, хоть номинально им и не был.

29/XII — В поселке прибыв. людей, и когда гуляю по случаю вечер. сумерек, издали вижу в центре рождеств. елку. Гул. кругами мимо нее. Весь день — параллельно — с Мур. До приезда Нат. еще 2 дня, тревожно. Вижу чью-то машину в темноте — к нам, человек по имени Рашид, из 1-й дачи, оказ., прекрасно знает, с 73–74-го, благодар. жмет лапу.

30/XII — Едва проснулся — почти полдень — явление Г. Нос. с матуш., с обилием поклажи, немыслимым. «Таких запасов, — говорю, — мне хватило бы до Крас. горки». Письмо из Восточ. Берлина с договором о новом перев. «Мос. — Пет.», уже на ostreich-овый язык, не менее 20 тыс. экземп. Пресса за неделю. Черкес передает, что все польские финанс. дела она берет на себя. Вечером втроем, а потом впятером, прихватив Леонт. и его собачку, гуляем по пос. — куча народов у центр. елки. Коньячки.

31/XII — Полуденный отъезд Мура. Остаемся с Нос. и Андревной. Не очень верю, что Нат. подъедет к Нов. году, с сопровожд., и после сумерек или до. Заготавл. дровишки для верх. печки. Но — возмущ. даже Нос. — уже тьма, все нет. Уже и коньячка не хочу, лежу в оцепен. Шум в доме: появ. Нат., влетает с бесчис. любезностями

Ольга Осетинская. Появ. еще Кобяк. с тремя суками. Перипетии, связанные с двумя играющими в ревность пьяными бабенками: Ольга, Нат. Вмешат. Нос. и недоумен. Риммы. Нов. год под елью, при свете светильн. 2 мужика и 6 баб. Я все-таки умерен. И мой верх протоплен.

1990

5 янв. — Третий день топим печи, но солнце уже исчезло, и мороз к ночи смягч. до –10°. Гуляния без всякой усталости, и до Шоколадки, и снова вниз, к оврагу. Веч. появл. Мур. с пачкой новогод. открыток от неизвестных, с журналами и пр. С зубровкой. Вечер вчетвером. Мило. Но непонятно до сих пор, когда мы двинем в столицу.

6 янв. — Канун Рождества. Чуть скверно. Вылакав вчера Мур. — ым привезенный двойной корвалол, дремлю. Нос. надолго исчезает в Хотьково, после проводов матушки в Москву. Веч. — скопление людей: супруги Епифаны, Леонтович. Коньяк. Прогулка с Епифанами до 4-й дачи. Вручают глупейшее интервью в Лит. газете. Надпис. Зинаиде ее билет в театре МГУ, она о впечатлениях. У них немного продукта — и прогулка домой. Тепло.

Доп. — Сразу свалилось на меня в первые же дни нов. года Литгазета от 3 янв. 90 г. и Сов. культура от 6 янв. 90 г.

Мур. 5-го янв. привозит из Москвы «Лит. учебу», послед. номер 89 г.; в нем, в статье о молодых: молодые больше «пугают» — убийств и изнасил.

у них гораздо больше, чем у Вен. Ер. и А. Зинов.

7 янв. — Тепло и тихо. Рождество. Опохм. найденным у Нос. коньячком. Первые гости: Светл. Мельник. с сыном Федей и бородачом. Я чрез. оживлен. По просьбе Свет. надписываю «Весть»[30] Ник. Ник. Губенко: «с прежними теплотой и почтением». Провожаю гостей до Шоколадки. Возвращ. домой в темноте — еще гость — из редакции журн. «Даугава». Оч. мило, и достать «Собеседник», о кот. шла речь. Уклончиво обещаю к 22 янв. расширить Лен⟨иниану⟩ по мере сил. Провожаем гостя — еще теплая прогулка. И — тут же — послед. гость — Епифан. С мал. толикой продукта. Прогулка до него, и у него ср⟨авнительно⟩ долго («под опята»). Нос. увозит домой, и засыпаю насмерть.

8 янв. — Рождеств. мешанина стала роковою: весь день не подымаюсь. С раздраж. слушаю шумы Мур. + Нос. Страшно омрачен, еще — тревога и др. относ. Нат. И эта безобр. статья в Литгаз. Веч. Гал. отъезж. в Москву на 40-дневие Любки. Приним. снотвор. и сплю еще 17 часов.

9 янв. — Тепло по-преж., и я наконец подымаюсь. Весь день вдвоем с Мур. Никаких прогулок.

---

[30] Notes: 30
Альманах, где опубликована поэма «Москва — Петушки».

В журн., газетах, телевид., Свободах. Вчераш. одержим. N. отходит совсем.

10 янв. — Еще один спок. день с Мур. В ожидании Нос. из Москвы. Уже даже и не в бумагах: немножко «Свободы», немнож. телев. На дворе 0 и даже чуть капель. Вечерняя прогулка по нулю с Мур. до аксак. музея. «Невидимкою луна» и пр. Нос. нет. Стало быть, нагр. завтра.

11 янв. — С утра еще нуль, но сулят зверское похолод. на завтра. Приезд очень памятный. Некто Вит. Мих. Савенков, директор изд. «Интербук». Подпис. с ним контракт под 5-звезд. коньяк. Еще письмо от ГДР изд-ва «Volk und Welt». Контракт из Италии, от изд-ва «Джулио Ginaudi»? — по свед. Мура, и то и другое изд-ва оч. весомые. Трехчасовые собеседования: за те неполные 2 дня, что Нос. была в Мос., были звонки и приглашения в Швейцарию и Бельгию. Письмо от Лильки. Нат. обещает быть 13-го, на стар. Нов. год. Икра от Зинаиды. «Ну, что тебе не жить? Слева коньяк, справа икра, впереди приезд твоей…» и пр. Вит. уезжает на своей Волге, прихватив Мур. Отлич. день.

О новых приглашениях: Швейцария и Бельгия. А Лилька в письме продолж. говорить всерьез о венециан. приглашении.

12 янв. Доп. — Леонтович привозит из М. «Сов. культуру» за 10-е со статьей о спектакле. И «Голос Родины» с прозой С. Соколова, мне посвященной.

Достать «Горизонт», послед. нумер за прош. год с беседой А. Зиновьева.

16 янв. — Как всегда, просып. к полудню. И Нат. слышит стук в дверь: Галина! Выскак. на крыльцо: с подарком? Само собою. Втроем по немн. коньяку, и Нат. начинает собираться в путь. Провож. ее до Шоколадки — гов., что буду в столице через 3 дня и тут же позвоню. В сумерках возвр.: у меня на столе еще полбут. коньячку.

Доп. — ⟨Нрзб.⟩ новости Гал., привезенные утром 16/I из Москвы: первое, конечно, что в Крещение мне придется после 40-днев. сидения в Абрамц. съездить на неск. дней в столицу: премьера «М. — П.» 20-го на Малой Бронной с участием Би-Би-Си-й кампании Поля.

18 янв. — Погода катится к нулю. И неожид. гости в дверях: Яна со своей Ксюхою. Гал. враз настораж. И я весь день стараюсь уединиться у себя в комнатенке со своим чтивом. Яна с дитем суетны и, мало того, решают остаться на ночлег.

19 янв. — Крещение. С крыш уже не капает, как вчера, а почти текет. В Москву. С Гал., Яной

и Ксюхой дожидаемся «Волгу» Виталия Савенкова и едем после полудня. В Хотьково озера: весна, +3°. Вит. довозит до самой Москвы, до крыльца, и — мало того — надо во что бы то ни ст. что-нб. проглотить, но нигде нет ничего — Гал. с Вит. едут на поиски. У меня в гостях впервые люди из гнусного ВААПа: обстоят, с ними беседую. Подписываю польский (варшавский) и итальянский (туринский) договоры. Гал. с Вит. привозят только 2 крас. шампан. Хочу позвонить Нат., но она меня опережает. Зову ее на завтраш. премьеру Мос. — Пет. на М. Бронной. Гал. всем раззван. о завтра и всех зовет, даже Любч. Звонят Би-би-си.

Доп. — Пакет из Польши: 19/I. Поздрав. с премьерой, афиша Варшав. театра, славное письмо от всех актеров. И пр.

20 янв. — Москва. День премьеры «М — П» на Мал. Брон. Гал. продолж. трезвонить, но м. делом достает коньяк. Попиваю в ожидании. Веч. Нат. Раппопорт запаздывает и потому в театр запазд. Манана, Жанна. Нат., Т. Закк, Портнов, Карад⟨жев⟩ и пр. Мы в ложе, и я не выползаю даже в перерыв, только затаск. на перерыв в ложу Нат-ю. По оконч. мне кладут на барьер пропасть гвоздик. С Портновым. Банкет, зал. Я в малиннике промеж Нат., Закк и Рапп. Надписываю сцена-

рий для всех актеров и т. д. Портнов, среди всего проч., гов. об обещанных для театра «Диссид.». Возвращ. домой на Раппоп. с гвоздиками и Нат.

20/I–90. Доп. — Б. Караджев в день премьеры передает мне послание из Вроцлава. Вроцлав. драм. театр ставит меня (Вальп(ургиеву ночь)) в послед. числах янв. и, как и Варшава, приглаш. в Польшу. Чрезв. милое письмо.

21 янв. — Москва. Соверш. выпадает из памяти, что вчераш. премьеру и меня пост. снимали ребята из Би-би-си. И обещали быть завтра у меня. Пробужд. с Нат., конечно. Громад. букет гвоздик у меня на столе. Коньячок весь день не переводится. Мельком Балашиха. В гостях «люди из Кракова» (впослед. оказ. Петранюк: человек, поставивший Вальп. в Кракове и с уже киевской афишей). Не слишком ли много за 3 дня: Москва, Краков, Киев, Вроцлав, Варшава?

25 янв. — Все еще Москва. Будит стук капели по подокон. и прежняя гадость. Но обнаруж., что я вчера страдал напрасно: в доме было полбут. коньяку. Немнож. поправ. Заезжает ненадолго Нат., она ночевала у Айги, убеждается, что я жив и мне чуть легче. Гал. заказ. на завтра такси на Абрамц., приносит мне откуда-то бутыль 8-руб. бормотухи. Тихо-тихо прихожу в себя от всех ошеломлений.

Позд. веч. звонок Нат. Говорю ей, что завтра еду наконец, что хорошо бы, если б она приехала 3–4 фев.

25/I. Доп. — Бесконеч. звонки Гал. в связи с предстоящим отъездом Поля. «Настырная Жанна». Поль с кампанией BBC за 23–24-е побыл у Тих. в Добрынихе, вывез его в Москву, тот служил им проводником в Петуш. 24/1, но в Караваев. поехать не дерзнули.

И слава Богу, бибисята — черное воспомин. о 22/I — не заедут больше в Абрамцево снимать снега. Уезжают в Британию 26/I.

26 янв. — Отъезд из Москвы. Подкрепляю себя остатком бормот. и полбут. шампанск., кот. никак не лезут. В полдень такси. В Хотькове снова грязь, как и неделю тому. С обилием сумок приходится пешком взбираться к музею Абр.: пробка. Сквозь метель добираемся: О! У меня неск. бут. шампан., и я могу чуть-чуть сосредоточ. «Мне еще долго не отойти от москов. вояжа». И с отвр. цежу шампан. проклят.

27 янв. — Первое пробужд. в Абрамц., спустя неделю. Послед. крохи отврат. шампан. Мизантропия сохраняется прочно. В основ. лежу, никаких прогулок, только из окна слежу за капелью. С неохотою приним. в гости С. Леонтовича.

Уточняю у Гал. все об-ва, ускользнувшие от меня за 20–21–22–23/I. Начинаю привыкать к телев.

28 янв. Солнце с утра. Но капель продолж. Слиш. мал. прогулки. Гости многочислен. и недолгие: Лён, женщина с дитем и Сергей из Мосфильма. И тут же Леонт. с песиком. Бут. бордо. Глупый Леонт. все захват. и выз. ярость. Провож. гостей уже в темноте до их «Лады».

29 янв. — Наилучший день зимы: солнце весь день, и капель, и тишина. + Г. Гуляю и гуляю, вниз к оврагу, к Шоколадке, куда угодно — нагуливаю больше 2-х ч. И даже вербы. И никаких усталостей и ущербов, кроме нат-ской озабоч.

М. делом Леонт. сообщает, что их сотрудник ФИЛНа Фейнберг счит. М. — П. выше Солжениц. Не удивлен.

31 янв. — Утром отправляюсь к платф. Абрамцево встречать сестер — туман. Никто не приезжает, полчаса у платфор., возвр. назад. Снова двигаю в стор. платф. и встречаю сестриц на подъеме от Шоколадки. Весело. Поминаем Ю. Фр. мал. рюмками клюкв. водяры. Вечером с Н. и Т. еще 45 мин. гуляем по поселку. Итак, за день я набегал больше 10 км, и никакой усталости. Прекрасно.

Доп. — Незабыв.: и 30-го, и 31-го глупый дятел на верхушке декад. дуба. Специал. остан., чтобы задрать голову и послушать.

3 фев. — День приезда Нат. Прекращение капелей, длившихся 9 дней. Мороз целых –3°. Нат. яв. точно в угад. Гал. час. Милый вечер, хоть и без прогулок. Епиф. Веч. — Леонт.

4 февр. — Втроем: я, Гал. и Нат. Тяжеловато, но в доме пусто: поход Гал. к Епиф. за помощью неудачен. Гал. решает ехать не то в Мос., не то в Хотьк. за лекарством. И исчезает надолго. Конечно, все натовское. Появ. Гал. с подарками. Я с Нат. гуляю к аксак. колодцу с бидонами — потом в темноте вниз по роще. Потом, втроем, с санками, за ветками дуба, и топим ими печь. Просто для понту. Пав. Кармаков.

6/II–90. Гал. привозит новости из Москвы: подарок из Питера: куртку за 250, письмо от «Молодежи за милосердие». Сообщение о сыктывкарской затее с Лениниан. О намерении Еревана в этом году издать Пет. 50-тыс. тир., а Интербуком — 500 тыс. Письмо из Китая.

12 фев. — Немн. нездоров с утра. Гал. выделяет 100 гр-овый остаток епиф. варева. И весь день в больш. ком. на диване, не высовываясь за дверь. А высунуться оч. хоца: весь день капель — почти

течет с крыши, +4°. Весь день солнце. И до самого заката «на солнышко гляжу».

13 фев. — Спокойно. Хоть еще не все недуги прошли, уже выгляд. во двор и впервые пробую леонт-скую ножовку, пилю на верхнюю печурку «на март». Прекращение капели. Весь вечер и ночь у телев.: Юл. Семенов. 1-й по возвращ. концерт Ростроп(овича).

Гал. говорит, что в Москве, появись там на 1–1,5 дня, куча звонков и пр. Хорошо, что я отъединен в Абрамцево уже 4 месяца.

15 фев. — Я один. Метелица. Прогулив. до калитки, все перемело, и воображ., что делается в поле за Шоколад. Все, что таяло весь февраль, все сызнова навалило. Впервые в своей курточке. Весь в прессе и никого не жду.

16 фев. — Снова один. Метелица почти стихает. «Скоро март», говорю себе, и больше ничего не говорю. Мытье с ног до головы (!). Размеренно. Тихо. Обозреваю месяца затмений 89 г. Веч. в сугробах — ненужный Леонт.

17 фев. — В ожидании долженствующей подъехать Гал. Пробуждаюсь на рассвете — это след. ввести в обиход. Ок. 2-х на дорожке показ. Гал., помогаю ей переволак. санки с продуктами через

недав. сугробы. Не успел даже приступить к гостинцам (успел только прочесть корот. писульку от С. Аверинцева), как в доме новые голоса: Нат. и Саня Москаленко. И тоже с гостинцем. С Нат. изображаю надутость. Чокаемся по случаю завтр. масленицы. Моск. делает мой новый портрет. Провожаем его с Нат. почти до Шоколадки — ему в Загорск — тихо и тепло. Обряды: впих. снега в морд. Нат. и без визга. Швыряю то и дело в сугробы — и опять стоицизм. По возвращении домой: вечер коньяка и наконец-то нагреваю печь, впервые почти за месяц.

Доп. — Утром 17/II впервые по 1-й пр. Сов. радио поздравили сов. людей с наступающей завтраш. Масленицей и сообщили, что в этот день жрать надлежит. И сообщ., что проводы Масл. — 25 февр., в воскр., после чего последует Велик. пост.

19 фев. — Смехотвор. наблюдать, как Гал. с Нат. провалив. в сугробах в сторону мал. домика (Гал. все чаще о нем и все серьезнее). Чрезвыч. жалко прощаться с Нат., выпив послед. остатки коньяку и завернувшись в ее задрип. шубу, сплю в б. комн. Провод Нат.: теперь неизвест., когда она будет. Девки катают на санках др. друга в пути. А я — домой. Корвалол. И спать до рассвета.

20 фев. — Утр. вскакиваю, чтоб срочно топить печь: на дворе –18 с полтиной. И прояснение небес. Весь день никуда, да и невмоготу. Гал. гов., что вчера Нат., прощаясь, говорила, что вдруг в субб. и заглянет. Дремлю у натопл. печи. Неохот. прочитываю всю 3 дня назад привезенную корреспонд. И ровно на 3 часа уже прибавился день, слежу за ним сев. окно.

Доп. — Достать для копилки это «Лит. обозрение» (или что-то в этом роде), кот. читала Нос. в Москве у Мур-х.

Странное дело: записка от Аверинцева приходит из Владимира через Флотскую.

Письмо от Ольги Седак.: «Также привет тебе от И. Бродского, твоего горячего поклонника», из Венеции.

Обидно мизерен счет ГДР — ВААЛ — Ер. Не забыть: уже три счета положено на «счет В» через ВААП: польский, венгерский, ГДР-ский.

Просматр. «Огоньки»: в № 7 первое упоминание обо мне в «Огоньке».

А в ЧиПе № 1 за 20-е ч. что-то мелет обо мне Арк. Ровнер.

23 фев. — Один. Меня будит солнце. И с утра потихоньку снова начин. капель. Много гуляю, так, без особого масштаба и смысла. На солнце

птахи уже тенькают и пиликают звончее. И — заметил уже 3 дня тому — круглые обводья вокруг всех дерев. Первая проталина будет: под новогод. елью. Ср⟨авнительно⟩ здоров и подвижен.

24 фев. — Один. Привыкаю пробуждаться на рассвете. Неутомим. Гуляю, чтоб протоптать свою привыч. тропку вниз, — и нападаю на упавшую под ветром осину — ольху. Режу ее на части, таскаю вверх, гуляю вниз и снова пилю. Ожидаю гостей. Около 2-х выхожу по тропке, по кот. можно только ехать, и то с риском — и встреч. машину: Витал. Мих., Серж Толстов, Гал. и Вл. Мур. Вечер бесчис. коньяков. С Толст. ночная прогулка по сугробам, через аксак. колод. (у него фляга из горла) домой. Весна. Неутомимо.

Доп. — Привезенные Гал. новости 24/II из столицы: звонки от ФРГ-шников, — и они нагрянут с интервью или в Москве, или прямо сюда. Испания.

Приветы от Мстисл. Ростроп. и Гал. Вишневской. Хотят даже нагрянуть в Абрамцево и пр.

25 фев. — Остаемся: я, Гал. и Мур. с текстолог. правкой гранок для Интербука.

Доп. — Кобяковы 25/II не только с кагором и коньяком, но еще и с тюльпанами. Я вечно об этом забываю, как о мимозах Москаленко неделю

назад: т. е. напиток помню, а мимозы нет.

Новости о посещениях театра: 1) сестры были на М-П на Мал. Бронной. Недовольны только глав. героем. 2) племян. Марина с супругом были в МГУ на Вальпур. «Он прямо катался». 3) Муры были в МГУ на Вальпур. В восторгах. И еще что-то.

26 фев. — Самый весенний день и самый подвижный день весны. Три круиза. Первый: вниз, уже в рез. сапогах, напропалую: вижу громад. проталину на том берегу под елью, но добраться даже с посохом невозмож., из боязни зачерпнуть. С удовол. возвращаюсь вверх, чуть коньячка, и 2-й круиз: вниз и вправо, подснеж. притоки Ясенки образ. омуты, ступаю осторожно, Яс. ревет на изгибе-подходе к акс. колодцу. Вдесятеро больше привычной. Не могу дома (с крыш все текет): в третий круиз: протапт. впервые с декабря тропу, сокр. путь от больнич. пункта до Шоколадки. Тону в сугробах, но иду, потом тону в водах справа от Шокол.: она уже вздулась и выплеснулась через край. От проталины к проталине. Головокружит-но. Огибаю Шокол.: в нее с ревом впадает сквозь шоссе тот самый поток, кот. бывает в апреле. Дома — а Мур. все «работает» — быстро засыпаю.

27 фев. — Все весна и весна. Все проталины становятся еще больше квадратурою, и думаю — не чувствуют ли это в Марокко и Судане грачи? Прямо с утра, опрокин. стопку кон., снова иду вниз: зелень прет из-под кажд. дерева вдоль моей проторен. дороги. Возвращ. от родника — ручьи даже по асфальту. И на этом прекращ. мои весен. прогулки. Коньяк, еще коньяк, и отдыхаю с гудящими от весны ногами. Все тропы от калитки до двух крылец — безо льда и с зел. травою.

28 фев. — Конец весне? Весь день косит мокрый и крайне нехор. снег. Хоть и продолж. тепло. Прекращ. прогулки и начинаю перемещения дома. Еще немнож. дров — и взбираюсь наверх для поселения. «Март — апрель буду жить тута». Полыхает мал. печурка, довожу t до 20°. И мирно засыпаю там, где с Нов. года не засыпал.

1 марта — Пробужд. наверху и снова затапл. печурку. Давнее: N.N. Капели все скуднее. И опять накат снега. Все-таки, в ожиданье отъезда Гал. в Москву, покидаю верх, кот. уже считал окончат. весенним. Весна уходит. Телеграм. от «Толи и Тани»: «М. П. сто тысяч гуляют по Росс.» Значит, вышел Прометей. Гал. уезж. в столицу до завтр. вечера.

2 марта — Один. Мал. соседство с корвалолом.

Никуда. Снег валит систематично и обильно. Весне пиздец. Веч. появ. Гал. из Москвы, новости, пресса, гостинцы. Гов. о предстоящих приездах завтра Нат. и послезав. Лейкина с кучей экземпл. только что изданной «Промет⟨еем»⟩ «М — П».

4 марта — Не забыть: дал новые экз. Прометея М. — П. с подписями для Инны Лиснянской и Семена Изр. Липкина. 4/III.

7 марта — Возвращ. Гал. и гости: Св. Мельник. и Сергей Ст. Куняев. Коньяк от журн. «Москва» — «Ну вот с этого б и начинали». Корот. беседы и корот. проводы. А вечером провожаю и Анюту Мур. «Милой Анюте М. в надежде, что она все-таки будет покорной своим Извергам-Родителям». Гал. провож. ее до платформы.

Доп. — В очередном (первом — мартовском) номере Книж. обоз. о предстоящем (3-й кварт.) выходе сборника «8 нехор. пьес» (в канун 8/III).

Доп. — Сестры 6/III забирают 5 экз. М. — П. Прометей: для Бориса Вас⟨ильева⟩ и пр.

О мален. доходах начала марта: 4 марта — 1300 от Лейкина. 7 марта — 900 от СТД.

Доп. — Все ожидают понедел. 12/III, чтоб усесться перед телевид. и наблюдать за первым в русс. истории избранием президента. Там. Вас. даже отклад. на эти дни отъезд на Кольский.

11 марта — Я один. На дворе тихая зима, даже утр. с солнцем чуть-чуть. Ожидаю возврата Нос. из Моск. Она появляется — снова с Анютой Мур. Подношн. и подарки. Чрезвыч. доволен. Постоянн. хот. идти гулять по своему излюбл. маршруту, и взяв с собою Ан. Чтобы прониклась. Отрад. сообщ. Нос.: в Киевском каком-то театре поставили М. — П. и получили 1-ю премию.

12 марта — Нас трое: я, Гал. и Анюта Мур. Потихоньку подкрепляюсь рюмахами — и вот снова бодр. Готов к вылазке. Мал. поход с бидоном и с Ан. через родник. Все мои тропы 8 мар. снова заметены и завалены. Анн. в валенках прыг. в Ясенку. Смотрим открытие Чрезв. съезда.

14 марта — Утр. даже –11°, с солнцем. А следом — сильный снеж. буран. Короче, все, чтобы остановить намерения Нат. приехать на свой день рождения. Гал. и Анн. с санками идут ее встречать и встреч. у спуска к Воре. Торжества, и я все косею: коньяки, водяры с клюквою и пр. Утр. мне говорят, что я рухнул в свою постельку как подрубленный.

Доп. — Гал. сбесилась: из Загорска привезла кровать и устанав. ее дома (и это еще не имея

дома?)[31].

15 марта — Просып. с Нат: первый раз спал на нов. кроватке, привезен. вчера Гал. из Загорска. Нес. рюмочек для поправки. Сообщают наконец рез-ты ночного голосования: Миша стал президентом, и Гал. беснуется от радости. Мал. прогулка по солнцу (–1) с Нат. и Анной и санками. Гал. отъезжает в Мос. до послезавтра. С Нат. и Анной в моей комнатенке, мне нехорошо, и она успок. сотнями «милых слов». Нат. в 9 веч. тоже уезж. в Москву. Слабость.

17 марта — Мы вдвоем с Анютой. Вечером заходит племяш Леонтовича и сообщ., что звонила Нос.: сегодня ее не будет, она будет завтра в полдень.

18-е. Шальной день. В полдень подъезжает чер. лимузин с завхоз. министра просвещения. Поездка на нем с выбором домика. И все о домике. Коньячок. Еще один, белый, лимузин, с бородачом-снабженцем и Светл. Мельн. Обмеры по сугробам.

---

[31] Notes: 31

Речь идет о дачном домике, который Ерофеевы хотели построить с согласия Сергея Толстова на его участке.